

НОВОБЫИ
МИР

|| 6 ||

НОВОБЫИ МИР

|| 1975 ||

(6)



1975



НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 6

Июнь, 1975 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ФИКРЕТ ГОДЖА — Письмо без адреса, поэма. Вольный перевод с азербайджанского Сиявуша Мамедзаде	3
С. ГЕОРГИЕВСКАЯ — Монолог	12
АНАТОЛИЙ АНАНЬЕВ — Годы без войны, роман. Конец первой книги	83
РИММА КОВАЛЕНКО — Отчим, рассказ	119
ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ	
ПАВЕЛ ШУБИН — Воинам Волхова, стихи. Публикация А. Когана и А. Шубина	132
АЛЕКСЕЙ ПРАСОЛОВ — Стихотворения. Публикация Инны Ростовцевой	141
ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ	
НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ	
АЛЕКСЕЙ КОЖИН — Переключка	146
ПУБЛИЦИСТИКА	
А. ПУМПЯНСКИЙ — «Каждый человек — король»? По следам одного героя. Экскурс из романа в политику	157
РАССКАЗЫВАЮТ ВЕТЕРАНЫ	
Г. И. Щедрин. Сильнее смерти.— Г. Р. Старовойтова. В тылу врага.— П. М. Пархомовский. В дни штурма Берлина. Окончание	184
ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ	
П. КОЗЛОВ — «Илы» летят на фронт. Окончание	202

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ	
Б. ЧЕХОНИН — Австралия: города и люди	220
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
АЛЬБЕРТ УСТИНОВ — Эмоции критики. К вопросу о единстве социального и эстетического анализа	237
В. КИРПОТИН — О Пушкине, о личности, смене поколений и надличностных ценностях	244
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	
Дмитрий Ковалев. О самом заветном.— А. Кондратович. Пути победы.— М. Харитонов. Письма Томаса Манна.— Р. Орлова. Верить ли Брэдли Пирсону?	256
<i>Политика и наука</i>	
Б. Галанов. Дорогами войны — дорогами победы.— И. С. Ков. Книга зовет к новым исследованиям.— Ф. Бурлацкий. Загадка и урок Никколо Макьявелли.	271
КОРОТКО О КНИГАХ — Т. Комиссарова.— Юрий Рытхэу. Белые снега. Роман. ♦ Геннадий Красухин.— А. Шаров. Волшебники приходят к людям. Книга о сказке и о сказочниках. ♦ С. Ломинадзе.— С. Г. Бочаров. Поэтика Пушкина. Очерки. ♦ В. Сапогов.— Б. Эйхенбаум. Лев Толстой. Семидесятые годы. ♦ Г. Грубман.— Генри Джеймс. Повести и рассказы	282
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	287

ФИКРЕТ ГОДЖА

★

ПИСЬМО БЕЗ АДРЕСА¹

С азербайджанского

Поэма

Мы способны дорожить ценностью его примера, и мы абсолютно убеждены, что этот пример будет служить образцом для подражания.

Из речи Фиделя Кастро на торжественном митинге памяти Эрнесто Че Гевары 18 октября 1967 года.

БИОГРАФИЯ

(Вместо пролога)

Родился в Аргентине.
Жил в Мексике.
Делал революцию на Кубе.
Погиб в Боливии
тридцати лет от роду.

1

Я один.
Дым сигареты.
Холод безнадежности.
И тепло остывших воспоминаний.

2

Ты — память, которую должен
по крохам я собрать,
шагая сквозь времени толщу,
товарищ, друг, собрат.
Печалюсь, гордясь, негодуя,
семь лет неотступно иду я
к тебе сквозь незнанье свое,
сквозь правду, молчанье, вранье...
Рождаясь, живя, умирая
с тобою в далекой дали,
семь лет я тебя собираю

¹ Эрнесто Че Гевара посылал письма из Боливии без обратного адреса.

по памяти старой земли,
 по пулям, по ранам, по песням,
 по видевшим шаг твой глазам,
 по высям, по звездам, по безднам,
 по звавшим тебя голосам...
 Восстань же из праха к тлена,
 из тьмы онемевших ночей,
 шагни из смертельного плена
 к живым, товарищ Че!

Как в нас воскресают другие,
 так мы умираем в других,
 слагаем черты дорогие,
 чтоб мертвые жили в живых.

3

Сочится ночь по капле.
 По капле сочится ночь.
 Думы мои ослабли,
 думам моим невмочь.
 Воображенье стынет,
 и застит глаза мне туман...
 Плутает по пустыне
 усталых дум караван.
 В мыслях запутываются
 завтра,
 сегодня,
 вчера,
 то, что не забудется,
 то, что забыть пора.
 Но это мне запомнится,
 наверное, навек:
 вижу, в моей комнате —
 человек.
 Я не заметил времени,
 когда он присел на стул,
 как от вселенского бремени,
 плечи согнул, сутул.
 Словно таким и родился он,
 вросший ногами в твердь,
 словно куда-то двигался
 через
 вчерашнюю
 смерть.
 Я ничего не спрашиваю —
 не до праздных речей!
 И думать не отваживаюсь:
 «Кто?.. Неужели?.. Че?..»
 Мнусь нерешительно.
 Как же она длинна,
 эта оглушительная
 тишина!..
 Дольше такого молчания
 выдержать не смогу.
 Сердце отчаянно

колотится, как на бегу,—
словно воздуха нету,
это не сон, а факт,
словно вдруг всю планету
стиснул

инфаркт.

Тиски молчаливые
из сердца выжали стон:
— На что тебе эта Боливия?..
Зачем было лезть на рожон?..
Он смотрит долго и пристально.
Речь по-испански быстра:
— Говорят, что издали
кажется легкой игра.
Оно, конечно, выгодней
глядеть со стороны.
И если дело не выгорит,
то нету твоей вины.
— Ты знал хорошо: свобода —
не куш, не дар, не пай,
в кулак напихал — вот она,
носи по стране, раздавай!
Свободу нельзя на экспорт.
В этом резона нет.
Мрак не пускается в бегство,
если от спички свет.
Жаждающей чахлой пустыне
нужна ведь не капля, а дождь.
Истины эти простые
ты знал хорошо... так что ж..
— Ты хочешь сказать — не выстояли?..
Свобода созреть не смогла.
Легко изрекать истины,
трудно делать дела.
Разные правды на свете..
Много лжеправд, полуправд.
Правда моя — эта:
«Смертию смерть поправ...»
Можно иначе — от астмы..
В ласке, тепле... как в раю..
Но умираем раз мы,
значит: надо — в бою!
Ради правды смело
жертвуйте собой!
Это не гибель — дело!
Вызов.

Удар.

Бой.

— Может, лучше бы выждать,
чтобы — наверняка?..
Может, лучше бы выжить,
пока не черед, пока..
— Рабство тебе незнакомо,
в свободной живешь стране.
Я видел когти законов,
свободу — только во сне.

Подростком на велосипеде
Америку исколесил,
видел всякие беды,
вынести не было сил...
— Мир молодым покинуть?
В годы твои умереть?
— Кто-то ведь должен погибнуть,
так было,
так будет впредь.
Думаешь, годы несметны,
их можно держать про запас?
— Как же... слава... бессмертье?
— Я — это каждый из вас!
Снова в майорском чине
в руки оружие беру.
Я партизаню в Чили,
я митингую в Перу.
Я в Аргентине врачую
больную страну мою,
в джунглях далеких ночью
и боливийцам пою.
С Кубой шагаю на сафру,
спешу на карнавал.
Я — это ваше завтра...

Он замолчал.

На языке безмолвия
договорили мы,
и вспыхивали, как молния,
глаза его из тьмы.
Наша немая беседа
напоминала реку.
Я остался на этом,
он — на другом берегу...

Шлялся под окнами ветер
и бормотал свое.
Тронуло сонные веки
теплое забытье...
Снова часы затикали —
время тащилось прочь.
Снова сочилась тихая
ночь.

Он был на свете светом —
не умирает свет.
Свободы был поэтом —
поэту смерти нет.
Был океанским валом,
разбившимся о риф,
вал возвратится к скалам,
свой прилив повторив.
Угас закатным солнцем —
но будет вновь восход
и солнцем переполнится
завтрашний небосвод.

На Кубе, в отеле «Гавана либре», я встретился с сестрою Че. Ее зовут Анна Мария. Усталое, озабоченное лицо. В глубоко запавших черных больших глазах — затаенная боль, решительность. Темные круги под глазами говорили о болезни. Я попросил ее через переводчицу рассказать о своем брате. Она взяла сигарету. Закурила. Вскинула испытующий взгляд: «Могу ли я доверить тебе свою сокровенную боль, свою ненависть и любовь? Поймешь ли ты меня?»

Что рассказать о брате?
В детстве далеком моем
снились мне сказки и платья,
а он мечтал о другом.
Был он серьезней и старше,
я же девчонкой была.
Звали его бесстрашные
взрослые дела.
Может, спеша на свиданье,
не ведала я о том,
что в эти минуты тайные
брат мой схватился с врагом.
Может, я млела в ласках
нежной моей любви,
он же на тропях опасных
захлебывался в крови.
Стала женою и матерью,
видите — жизнь проста...
Я для всех, понимаете,
только героя сестра.
Впрочем, какая сестра я,
какая сестра ему,
если жила я, не зная,
как он прожил, сгорая,
как он ушел во тьму...
Может, в той крошечности
яростных дней и ночей
ему не хватило нежности
единственной —
моей?
Может, в бою неистовом
до смертного конца
ему не хватило единственного
слова,
патрона,
бойца?..
Может, когда соперницей
к славе подкралась беда,
я грудью кормила первенца,
пеленки стирала тогда...
Можно придумать разное,
тысячу разных причин.
Но оправданье напрасно!
Он смотрит со стен, с витрин...
Мне достаются почести,
меня возвышает родство,
только делить не хочется

честную славу его.
 Ты за героя горой стой,
 когда придет пора!
 С героем родство не геройство
 сын ли, брат ли, сестра...

Родство меня обязывало
 беречь не себя — его...
 Кто раны ему перевязывал,
 с ним доказал родство.
 Скала, отразившая пулю,
 дерево, камень, трава,
 с ним пережившие бурю,
 взяли родства права.
 Каждый, с ним насмерть стоявший,
 встречавший свинцовый град,
 тот ему настоящий,
 тот настоящий брат!
 Вспомни Адама и Еву
 еще — и родней назови!..
 Есть только родство по гневу,
 по ненависти и любви...

5

Земля чудная,
 Куба моя...
 Америка — судно.
 Куба — маяк.
 Овеян легендами
 над континентом
 взмывший стяг.
 Подвигов невоспетых,
 славы твоей
 хватило бы поэтам
 планеты всей.
 Куба — это
 в огнях побед
 Нового Света
 новый свет!
 Красной свободы
 первая строка
 в синие воды
 вписана на века.

6

Снова Кубы
 мерю пространства,
 снова губы
 шепчут: «Здравствуй!»
 Горы выставили
 цветы поярусно,
 краски неистовы,
 солнце яростно.
 Ветер музыкой
 льется ласковой,
 сердца союзник,
 грезящий плясками.

Лица смуглые,
взоры — звездами,
страстью обугленное
небо в роздыми.
Деревья-деревушки,
чинару к вам бы...
В грации девушек —
ритмы самбы.
Пальмы кокосовые
вытянулись в рост,
зелеными косами
касаются звезд,
кровью пламенной
скалы залиты,
из раны каменной
брызнули цветы.
Можно неосторожно
вспугнуть красоту.
Был бы художником —
сразу к холсту.
Я в мире сказочном —
дитя дитем.
Игрушки красочные
рассыпаны кругом...

7

После тяжелых, изнурительных боев раненного, потерявшего сознание Че взяли в плен. Он предстал перед высшими военными чинами. Среди вояк, рассказывают, был и молодой лейтенант. Его глаза, похожие на бутылочные осколки, лихорадочно блестели.

Воцарилось молчание. Лейтенант впился в Че бутылочным взглядом, выражающим удивление и... зависть. Лейтенанту не повезло. Почему не он взял Че в плен? Упустить такую возможность! Такой короткий путь к славе! Он, лейтенант, и сам не лыком шит. Чем он хуже других? Чем он хуже этого самого Че Гевары?

— Дальнейшее молчание бессмысленно, — сказал один из генералов. — Ты — Че! Не так ли?

Пленник вскинул голову. Взгляд его больших темных глаз устремился поверх голов куда-то вдаль. Иссохшие, непослушные губы еле зашевелились. С них слетело хриплое:

— Кончайте.

Вояки переглянулись. Допрашивавший чин вздохнул как бы с облегчением.

— Покажи, на что ты способен! — Лейтенант бросил взгляд на свою винтовку. — Вот этим штыком я сейчас проткну твоё сердце, Че, и выну из него половину твоей славы. Впредь мое имя будут упоминать наравне с твоим.

В мгновение ока он метнулся к пленнику... Че рухнул. Бутылочные осколки сверкали дико и злобно. Вояки молчали. Один из них, седой старый генерал, потупился, делая вид, что разбирает бумаги... Через три дня молодой лейтенант был найден мертвым.

— Была ли мама у тебя?
Баюкала в тиши?
Все шалости твои терпя,
Терзалась ли, скажи?

Занозишь пальчик -- ей слеза
 туманила ль глаза?
 Тобой, вчерашний егоза,
 гордилась ли, скажи?
 Скажи-ка, бравый лейтенант,
 ей сердце не заледенят
 кровавый штык и дикий взгляд?
 Скажи, палач, скажи!

Г о л о с л е й т е н а н т а б о л и в и й с к о й а р м и и :

— Я не подкидыш, ваша честь,
 я не наймит — боец.
 Мать у меня, так точно, есть
 и, значит, есть отец...
 Хотели, чтоб я стал герой,
 а не такой, как все,
 чтобы увидел род людской
 себя в моем лице...
 И почему не мы, а он
 прикончить должен нас?
 Ведь есть порядок, есть закон,
 в конце концов — приказ.
 Да что молоть тут языком!
 Он красный — значит, враг.
 А я его вот так штыком,
 штыком его — вот так!
 Держался, правда, черт возьми!
 Таких я не видал.
 Не сник пред нашими людьми.
 Учтив был генерал.
 От взгляда этих-то чинов
 меня бросает в дрожь.
 А он, гляди, каков, каков —
 не ставит их ни в грош.
 Он враг законов наших, он
 законы чтить отвык.
 А чей закон, какой закон —
 ему ответил штык...

— Закон — одежда государства.
 Бывает — не тот покрой.
 Бывает — шитье не удастся.
 Бывает — не тот портной.
 Это замечают немногие,
 такие, как Че.
 Тогда рядятся убогие
 портные в палачей.
 Бунтарь призывает к ответу их
 на благо родной земли.
 Встают на пути одетые
 и голые короли.
 Бунтарь призывает: родина,
 скинь же обузу тряпья!
 Встают на пути юродивые,
 слепцы вроде тебя.

Г о л о с л е й т е н а н т а б о л и в и й с к о й а р м и и :

— Одежда уже или шире —
 это не моя вина.

На государственном мундире
 я только пуговка одна.
 Я только ворсик, нитка только,
 я слеп не слеп и глуп не глуп —
 меня не трогает нисколько.
 Я просто винтик,
 я — шуруп.
 Шуруп шурупить не обязан
 своей железною башкой.
 Сорвете пуговицу с мясом —
 заменят, видимо, другой.
 А если выкинут однажды
 мундир потрепанный как хлам,
 то крышка пуговице каждой
 и, значит, крышка тут и нам.
 Одежда уже или шире,
 моя забота — в петлю влезть.
 Я защищаю честь мундира
 и, значит, пуговичью честь.
 Окончил я свой век мундирный,
 теперь... осмелюсь доложить,
 я буду в памяти всемирной
 с мундироподданными жить.
 Вот вы слагаете поэму
 о том, кого я заколол,
 но я пробрался в вашу тему,
 приобретая ореол.

— Мертвые сраму не имут,
 если живые мертвы.
 Имя твое отнимет
 ропот земной молвы.
 Имя твое — отрава
 в памяти нашей земли,
 твоя геростратова слава
 сгинет в грязи и пыли.
 Нащупывая новые вежи,
 бушует двадцатый век.
 Пребудет планета навеки,
 пребудет Человек!
 Восстанут сегодня и завтра
 тысячи новых Че,
 солдаты добра и правды
 с оружием на плече!

БИОГРАФИЯ

(Вместо эпилога)

Родился он снова — в Чили.
 Бронзовый, с автоматом в руке.
 Первым сразился с хунтой.

Вольный перевод СЯВУША МАМЕДЗАДЕ.



С. ГЕОРГИЕВСКАЯ

★

МОНОЛОГ

ПАМЯТИ МОЕГО СЫНА

Недавно умершая известная писательница Сусанна Михайловна Георгиевская — давний автор «Нового мира». Здесь были напечатаны ее повести «Отрочество», «Серебряное слово», «Тарасик».

В архиве писательницы-фронтовика (С. Георгиевская была награждена орденом Отечественной войны II степени и медалью «За отвагу») осталась законченная ею повесть «Монолог», посвященная военным годам, воспоминаниям о фронтовой юности.

Мы предлагаем ее вниманию читателей с небольшими сокращениями.

Г. СЕМЕНОВ, Ф. ИСКАНДЕР.

Предисловие

Там, в конце длинного неосвященного коридора — коридора сомнений, горестей, утрат и страданий, — теплится свет. Это горит свеча. Живой ее пламень все разгорается, крепнет.

И шагает по темному коридору на ее свет человек.

Впереди живое зыбкое пламя, все устойчивее, устойчивее...

Может ли вещь, которую я обращаю к тебе, мой невидимый собеседник, считаться биографической?

Нет.

Жизнь нынешнего поколения сложна. Всякий рассказ о прошлом состоит из множества нитей, продольных и поперечных.

В силах ли, должно ли, способно ли любое признание охватить многообразие жизни — при всем желании автора широко поведать тебе о пройденном?

Нет. Он сделать этого не в силах, не следует и пытаться. Повествование разрослось бы, запуталось. А лирическая повесть стремится быть покороче. В ней мало событий, и главное из них — исповедь.

Перепутанные между собой нити нарушили бы все каноны литературного ремесла. (А литература, как и всякая другая работа, есть ремесло.)

Поэтому эта повесть, как всякая другая, всего лишь попытка быть прочитанным, понятным и принятым. И не обо всем (ибо в се необъятно даже в кратком отрезке жизни одного-единственного человека) должен пытаться рассказать пишущий.

Моя повесть — вещь не автобиографическая, но она основана на фактическом материале, которым по мере сил своих обязан владеть любой пишущий. Вот только и всего.

Любое время, особенно наше, ищет свою новую форму, «звук», тональность, свойственную ему одному.

Кто такой пишущий? Всего лишь человек.

Каждый литератор понимает свою задачу по-своему. И каждый, а в том числе и я, склонен по-своему отдавать тебе, мой невидимый собеседник, свои чувства и мысли.

Я сознаю, что подчас они чрезвычайно спорны. Однако закон любой книжки, сработанной всерьез, это полная откровенность. Без этого ни одной, самой скромной, книге не дано обрести дыхание.

Надо помнить — и помнить твердо, — что каждый измеряет мир сантиметром, заложенным в нем самом. Другого способа видеть, чувствовать и судить у человека нет.

И еще хорошо бы не забывать, что наша память более склонна удерживать доброе, чем плохое. Иначе как могли бы мы жить?

Этой малостью мыслей и малостью других мыслей я стану прерывать свое нехитрое повествование о молодой женщине...

1

Сознаю ли я, могу ли угадать, предчувствую ли, куда поведет меня эта дорога?

Нет.

Я испытываю только сдержанное волнение от ожидающего меня путешествия и скованность от сознания близости чужих мне людей.

Я, как всегда, озабочена тем, как стану себя держать, ибо, будучи чужими, они все ж таки не совсем чужие — мои коллеги. Что-то в этой моей зависимости от них, без внешней зависимости, есть детское, глупое. Ведь это мои товарищи.

Я не выполнила завета своего убитого на фронте учителя: «Научитесь-ка презирать». Презирать я решительно не умею. Напротив: можно подумать, что душа моя состоит из множества «усиков» — уловителей восторга и боли (бывают же, например, уловители влаги!).

Но день так светел, дорога обещает так много, а я так люблю путешествовать!

Перрон и поезд. Меня провожают двое. Их обеих я очень люблю, не только маму — чего уж тут рассусоливать, это яснее ясного, но и вторую — мою ученицу. Она моя ученица, как бы не будучи ею, ибо самостоятельна вполне.

Чудесное свойство толковость. Она им владеет. Это то, чего так сильно недостает мне. Я бестолочь. Толковость меня обошла. В чем это выражается, объяснить трудно. Видимо, эмоциональный фон опережает разум, логичность, умение строить сложное здание книги. Однако дело не только в этом.

...Итак — молодая писательница, провожающая меня, талантлива и толкова. (Она — ученица. Привыкла аналитически мыслить.)

Из глубины, — не из тех глубин, где живут мысли, не из тех, где чувства, — из тех, где инстинкт, поднялось однажды: «талант»! Поднялось, гудя в тишине ночи, заставляя меня ликовать, как человека, открявшего еще одну маленькую вселенную.

Талант! Страна, населенная мыслями только этого человека, только его людьми; страна, где в людях пульсирует живая кровь, где над ними — живое небо. Мир, трепещущий то радостью, то печалью. Ребенок, рожденный живым. Трепет, судьбы, горе и радости...

И вот она — «талант» — на перроне, подле меня, в дурацкой шляпке с высоким донышком. Очень серьезная и молодая. Стоит с цветком в руке и бормочет:

— Вы и об этой поездке напишете, вот увидите. И помните, я... то есть мы... то есть я... А?.. Хорошо?..

Люди из нашей группы все прибывают и прибывают.

...Поезд тронулся. За поездом побежала моя юная проводная в шляпке с высоким донышком.

На краю платформы мелькнула мама.

В нашем купе три бабы, один мужик, слегка хромой (след войны). Он молод. Во всяком случае, мне он кажется молодым. Мы с ним на верхних полках; Клава (моя соседка по дому) — на нижней. Она сейчас же, как только тронулся поезд, принялась укладываться.

Выхожу в коридор из тесного пространства купе. И там оказываюсь с глазу на глаз с самой молодостью.

В коридоре стоит дочь руководительницы нашей туристской группы — худая девушка с распущенными волосами.

Мы, естественно, и дальше встречались с ней во время поездки, тут и там мелькали ее распущенные волосы, ее худенькая высокая фигурка. И всегда мое сердце сжималось чувством выборочной, личной симпатии.

Говорили мы с девушкой о случайном, но что-то в моей уважительной к ней серьезности ее тронуло.

Мы признались друг другу, что не любим всего, что трудно дается (я была совершенно искренна и упустила из виду свою профессию). Имелись в виду только платья, любовь, поездки по белу свету.

Да, да. Я могу, разумеется, не любить того, что трудно дается. Но ничего, между прочим, и никогда мне еще не давалось даром.

Она ушла к себе, тряхнув на ходу прямыми длинными волосами, но след от нее остался, как от улыбки. Он и сейчас во мне.

2

Когда поезд с нашей туристской группой доехал до той остановки, где следовало высаживаться, был поздний вечер, быть может, ранние часы ночи.

На вокзале нас встретила женщина-гид. По-русски она говорила плохо.

Тьма неба, неяркое освещение вокзала, большая группа моих коллег — все вместе, смешиваясь с чувством усталости, давало чувство странной ирреальности.

Я много ездила по нашей стране. Но тогда у меня была деловая цель. Дело и чувство свободы, раскованности рождало подобие опьянения, чувство новизны шибало меня еще на аэродроме. Неутомимое, неутоленное любопытство стучалось в душу. Я жадно оглядывала новое место — через окно такси, трамвая или автобуса.

Мир, впервые мною открытый!

А здесь мысли только о том, чтобы не отколоться от своей группы, не потеряться в темноте чужого города, и чуждаковатое, незнакомое мне ощущение «путешествия», игры, в которую охотно играют взрослые.

Но так чувствовала и думала, видимо, я одна. У всех лица были нормально озабоченные (это для них не первая поездка «за рубеж»). Они знали, чего хотели. А я своего не знала.

Сели в автобус, автобус подкатил к гостинице.

Франкфурт.

Темными показались мне его улицы, и мало того что темными,

но — невиданно и неслыханно! — через столько лет тут и там маячили опознавательные знаки прошедшей войны.

Не зализала еще земля своих ран.

Вон стенка полуразрушенного дома с пустыми проемами окон...
Война! Долго ли будет гудеть твоё эхо?

«Да. Долго. Ведь в твоей душе всё ещё гудит оно, верно?»

Пронзительней всего кричат те самые-самые первые минуты, когда ты узнала о ней, о войне.

...Пробил её грозный колокол над юностью, над молодостью твоей.
Был вечер накануне страшных событий.

Ветер гнал вперед твою юбку и волосы, которые можно сегодня, за давностью лет, весьма свободно назвать кудрями.

Как парус, вздувалась летящая вперед юбка (тогда ещё не носили «мини»). То и дело падали на тротуар шпильки. Тебя обнимал ветер. Шляпка соломенная. И вдруг над соломенной шляпкой (помнишь? ты очень ею гордилась?) раздался гул: гул войны.

Синее небо. Лето. И вот, наподобие отражения в замутненной воде, ушла молодость.

Ещё вчера она была. Накануне того безгранично страшного воскресенья.

Ночь. Шаги по улицам в белой ночи. Две пары ног, развевающееся пальто, соломенная шляпка, а над головами и крышами (небо цвета грязного жемчуга) — белая ленинградская ночь.

Катер по Неве летит на Стрелку. Ветер в лицо. А на островах под ногами поскрипывает гравий. Гладь залива, который все величают морем. Он плоский. Он неподвижный. Он отражает светлые небеса. Море — без тьмы и без флуоресценции.

...Два голоса, трава по краям песчаных дорожек. Бесконечность ночи, сливающейся с рассветом.

Рассвет.

Как можно не сохранить благодарной памяти о молодости своей? Как можно не уберечь прекрасной усталости той ленинградской ночи, незаметно слившейся с утром?

Да, да... Мы выиграли войну. Но в этой жизни, даренной и сохраненной, надо выиграть не только войну. Надо выиграть самих себя.

Я вернулась после войны в Ленинград, в одиночество своего опустевшего дома. Каждое утро в мою одинокую комнату приносил дрова для печи недавно демобилизованный солдат — сын дворника.

Мы с ним перебрасывались словом-другим, как двое фронтовиков. Он сидел на вязанке дров, мы смотрели друг другу в глаза, двое военных, чей бег внезапно остановился.

К этому чувству мы никак не могли приспособиться. Оглядывались назад, нам слышался гул прошедшего.

Трудно бывшему фронтовику. Очень трудно. Надо учиться жить...

...Туристская группа.

Наш автобус катит вперед.

1970 год. Франкфурт. Пре-екрасно.

Промелькнула стена разрушенного войной и не восстановленного дома; затеплились зашторенные окна. В одном из них я узнала свои портьеры из ткани, что покупала в Москве. Смех и грех! Но ведь ткань-то была немецкая!

В окнах мелькали немецкие лампы, хорошо нам знакомые. Они продаются в московских магазинах.

Что увидишь в пространстве, освещенном только светом из окон домов?

Ничего. Мглу.

Но я, человек, привыкший к поездкам, вот именно — не к путешествиям, а к поездкам, ухитрилась различить и в черноте ночи смутные очертания города, его мостовые.

Айзенхютенштадт. Новый город. Вестибюль гостиницы. Свет. Чемоданы.

Я оказалась в комнате со случайной попутчицей.

В окно глядела ночь. Рядом со мной раздевалась женщина. Она уснула, а я заснуть не могла — все думала и думала об утре и почему-то боялась проспать. Но вот наконец потихоньку я стала задремывать. Разумеется, я не знала, что ждет меня завтра. Грозным было то, что ждало меня завтра: пленка, прокрученная назад; отступ в прошлое, в печаль моей пролетевшей юности.

И вот пришло утро.

Из нас двоих я проснулась первая.

Подошла к окну и выглянула на улицу.

За окном незнакомый город — Айзенхютенштадт. Строители, видимо, попытались противопоставить его капиталистическим промышленным центрам. Объемно-пространственные композиции симметричны. Новые дома такие же, как у нас на окраинах Москвы.

Но Москва велика. Когда глянешь на ее новостройки где-нибудь на краю города (впрочем, кажется, теперь не бывает окраин), они (дома) почему-то сливаются с ощущением простора и широты неба, чаще всего с закатом. Все вокруг розово, будто тронута тонкой кисточкой, которую обмакнули в розоватую краску. Дома... И вдруг кусок какого-то поля, где еще валяются железяки, рельсы, неведомо что — ошметки недавнего строительства.

Из окон гостиницы в Айзенхютенштадте видны только ближние улицы, крыши домов. Серо. Чисто. В свете разгорающегося дня просвечивают на окнах задернутые шторы.

...Шесть утра. Спускаюсь вниз. Оглянувшись, сажусь в какое-то кресло. Вокруг знакомая, хорошо мне знакомая речь — говорят по-немецки. (Язык для человека не умирает, он в нем задремывает.) Сколько лет прошло с тех пор, как я говорила по-немецки в последний раз?!

Всего однажды после войны мне пригодился немецкий язык. В Чехословакии, в магазинах. В Карловых Варах я была для русских переводчицей.

А там, в Чехословакии, помнится, есть Кракарош — огромное каменное изваяние, выступающее из скалы. Если схватить Кракароша за нос и быстро задумать желание, желание якобы исполняется.

Из пригорода приезжали чешки-молочницы, ставили бидоны на землю и хватали за нос бедного Кракароша. Его хватали за нос француженки из Парижа и наши русские женщины. Нос у огромного Кракароша со временем облутился (Кракарош жил в скале, высоко над землей). Мужчины деловито подхватывали женщин под локти и приподнимали их: «Скорей задумай желание!..»

Я тоже, не будь дура, задумала: «Пусть твой волшебный нос, дорогой Кракарош, подарит мне уверенность в несокрушимости сил человека».

Но я, должно быть, плохо или как-то не так дотронулась до Кра-

карошева носа, потому что вот: сижу в гостинице в креслице и не решаюсь выйти на улицу.

Постепенно один за другим из номеров выходят мои товарищи. Выходят и... марш на волю («Послевоенный город Айзенхютенштадт. Интересно!»). А я все сижу и сижу, словно мешком прибитая из-за угла.

Я, конечно, люблю одиночество, дающее свободу зрению и мыслям. Я — странник, не только много колесивший по земле, но человек воевавший. Много морей исплававший и после войны. Моря мне не друг и брат, однако я их все же пересекала — с их скалами, встающими из глубины вод, с их (очень, впрочем, редкими) дальними берегами, туманными очертаниями далекой земли, с их чайками, дельфинами, с их подводной таинственной глубиной, где так отчетливо и страшно слышится затаенная жизнь. И маяки темнели в дневном свете как большие, торчащие из воды пальцы.

А маяки ночные с их зажегшимися, призывными, мигающими огнями?

Даже на самом маяке — посреди моря — я однажды была. Там, где пришвартоваться-то, казалось, — да и на самом деле — было трудно (острые скалы). Спустившись с большого транспорта, мы подошли на лодках к скалистому берегу.

Сверху, из окон маяка я вдруг по-новому увидела просторы моря. Как велика, как печальна, как однообразна была его серая, его дышащая испарениями равнина.

Ветер, волны, отраженный свет транспорта в водах морских, а дальше — мгла, тайна, затаившаяся и незримая.

...Здесь за берегами гостиницы — всего лишь Айзенхютенштадт. А я боюсь выйти, боюсь потеряться, отстать от группы.

...Подъехал автобус. Мы оперативно выволакиваем из номеров чемоданы. Молодые мужчины — их двое (бедняги!) — энергически орудуют с багажом.

Автобус трогается.

Вперед.

Здесь уместно упомянуть, что в автобусе (то есть в нашей группе) оказалось всего лишь двое бывших фронтовиков. (Вероятно, смешно говорить об этом сегодня, когда далеко отступила война, но в данном случае это существенно.)

Фронтовиком был мой бывший сосед по купе (тот, который хромал). Он и я. Мужчина — армия. Я — флот.

Перед тем как автобус тронулся, мне померещилось вокруг какое-то странное оживление. Руководительница группы о чем-то шепталась с женщиной-гидом, та шепталась с шофером.

Едем, едем и едем. Окаменело смотрю в окно.

Шофер автобуса — молодой паренек с волосами, стриженными скобкой. (Женщина-гид сказала, что он молодожен и что жена его в Берлине.) Хороший парнишка шофер, славный немец из поколения молодых.

Что они, кто они — молодые немцы? Ничего я о них не знаю.

Все циклично, все повторяется, но, может быть, недостаточно помнить свою собственную юность?

Я уже несколько раз дарила шоферу сигареты. Он принимал их очень просто и мило.

...Итак, мы едем. Едем по полю. Все отчего-то с любопытством косятся в мою сторону. В руках у нашей попутчицы, молодой девушки — той, что с распущенными волосами, — цветы.

Памятник.

Машина вздрагивает и тормозит.

Словно пыль на незнакомом мне памятнике — пыль времени. Огромный якорь, огромная якорь-цепь.

Некрасиво. Грубо. Покинуто. Памятник у самого входа в город — там, где первые городские дома.

Товарищи, прихватив фотоаппараты, спускаются вниз.

Вышла из машины длинноволосая девушка с цветами. С непередаваемым чувством изящества, склонившись, возложила цветы у подножья памятника.

Я... а ведь я здесь когда-то уже была...

Да это же Фюрстенберг! База нашего флота в Германии.

Фюрстенберг! Фюрстенберг! Как я могла его не узнать?!

Женщина-гид:

— Мы слышали, что вы моряк и здесь воевали. И вот мы сделали этот крюк ради вас. Тут, говорят, была ваша база.

Я ошалело молчу.

...Эхо-о-о! Звук ускользающий. Издалека бежит дыхание прошлого. Когда-то очень давно я на самом деле была моряком, носила тельняшку (узенькую тельняшку, в которой бы не вместиться сегодня моей расширившейся груди!).

Юность в белом платье, ты с трогательной серьезностью приносишь цветы моей ушедшей молодости — тому страшному крику, когда меня ранило и кровь, молодая и жаркая, испачкала мой выходной офицерский китель. Первая моя мысль: не «а буду ли я жива?», а «что я буду делать без выходного кителя?!».

И вот теперь ты склонилась, чтобы возложить к подножью памятника цветы.

Не говори: «никогда». Не смей! Не греши. Потому что я, например, не могла догадаться, что когда-нибудь опять окажусь в Фюрстенберге, что автобус сделает ради меня этот двадцатидвухкилометровый крюк.

Знала бы, не села бы в поезд, в автобус.

Мое прошлое — это я, зачем же мне до него дотрагиваться?

Не хочу!

Молодой шофер и молодая девушка с цветами! Почему вы до сих пор поете наши песни? Что для вас пронзительного в той, далеко ушедшей войне?!

Звенят, гудят и дрожат провода, бегут новые соки в стволах деревьев. Грустно шевеление травинок над могилами павших.

Не выплакать, не выкричать войны.

Этой дорогой и этим поездом я уже ехала однажды.

Нас, военных, доставляли тогда из Москвы в воюющую Германию.

В вагоне, помнится, было много народу, все невольно жались друг к другу, каждый, которого жали, от раздражения ненавидел того, который жал.

Я была единственной женщиной в этом вагоне — меньше всех ростом и самая робкая. Несмотря на присущую мне одесскую дерзость (быть может, происходящую от слабости — я все же не в силах толкнуть, потеснить другого человека), я стояла, стиснутая плечами, спинами, животами в темных морских и сероватых армейских шинелях, молчаливая, опустив голову. Всех это почему-то смешило. Я стала по-

водом для острот. Чем больше меня пытались задеть, тем ниже я опускала голову. Не хватало воздуха. Я спрашивала себя: «Сколько эдак смогу простоять, сколько буду в силах все это вынести?.. Часы, сутки? Неделю?»

Но ехала я, к счастью, не одна. Лейтенант флота, который ехал со мной, был жизнеспособный человек.

Пробившись через все эти ноги, спины, фуражки, насмешки, он проскользнул в передние вагоны (плацкартные), долго отсутствовал и вдруг возвратился — важный, довольный... Он мне сказал: «Пошли!»

Мы стали ввинчиваться в толпу по направлению к площадке вагона. Нам вслед летели насмешливые окрики.

Вот и площадка. Воздух и ветер. Возможность дышать, расправить плечи.

Мой попутчик самодовольно шагал впереди, я едва за ним поспевала. Но ведь я привыкла не жаловаться (ах, если б эта полезная привычка осталась со мной до сих пор!).

Мы шли. Он оглянулся, посмотрел на меня. Лицо почему-то выразило пренебрежение.

Площадка, другая...

И вот купе на четырех человек. Два места заняты — нижняя и верхняя полка.

Лейтенант, добывший нам это великолепие, лег на нижнюю, а я все стояла не в силах опомниться.

— Специальное приглашение требуется тебе, что ли? Взбирайся-ка наверх. И ложись.

Я повесила на крюк свою шинель и задумалась по глупости, как быть с сапогами. Виновато, робко, чтоб никому не помешать, взобралась наверх и там стянула сапоги. Волнение от бега и неожиданности, от давки и человеческого раздражения, обрушившихся на меня, было так сильно, что я не сразу смогла уснуть.

За окном — ночь. Проплывая мимо поезда, моргали деревья. Создавалась картина суетной жизни неба, жизни пристанционных не то чтобы огней, а какого-то неясного, едва уловимого, замаскированного света.

Я лежала на голой полке в темной военной форме, на большущей земле, где шла война, в маленькой вселенной своего тела, мыслей и робости. Эта маленькая вселенная мне казалась огромной — она была огромна в своей противоестественности, печали.

В вагоне — трое мужчин. Окно зашторено тонкой шторой. Сжавшись, я глядела на волю сквозь ее щель.

На нижней полке лежал человек с открытыми глазами. Глаза смотрели вверх, на меня, смотрели с удивлением и любопытством. В любопытстве вообще нет холодности; это теплая категория потому, что в нем, в любопытстве, вопрос и признание того, что ты существуешь. Я была, должно быть, одним из самых маленьких и тощих военных, которых он когда-либо видел.

Рано утром выяснилось, что это поляк: в польской армии, и тем более во флоте, было гораздо меньше военных-женщин, чем у нас.

Лицо поляка тонуло в полумгле. Волосы были лохматые, с рыжиной. Его товарищ (человек с верхней полки) спал, повернувшись лицом ко вздрагивающей стенке вагона. Мне был виден только его затылок, его ноги, но не в портянках, а в шелковых носках.

Мир рушился на меня движением поезда, его мерным покачиванием; его мглой там, за окнами; войной на шаре земном; спокойствием звезд — высоких, млеющих в светлевшем небе.

Я согнула руку, положила голову на согнутый локоть и крепко уснула.

...Утром стало известно, что мы проезжаем границу.

Надо вспомнить, что в те времена не были приняты поездки за рубеж. Ощущение того, что я проезжаю границу своей страны, отдавалось во мне почти физической болью — незабываемым ощущением рывка, выброса.

Такова психология человека, связанного со своим временем.

Польша. Варшава.

Но перед нами не город — его скелет, обгорелые камни, выщербленные, задымленные. Поблескивает широкая и далекая Висла (странным кажется, что река все еще течет, что она сохранилась, не умерла).

Как пустынные улицы! Варшавяне, должно быть, спят в подвалах или на третьих, вторых этажах своих полуобвалившихся черных домов.

Вокруг расщепленные деревья, есть среди них деревья без крон — стволы похожи на черные пальцы, что-то растерянное, недоуменное в этих торчащих из земли пальцах, в этих бедных стволах, избитых и обезглавленных.

А как страшны пьедесталы памятников без памятников! А развалившиеся костелы? А этот пустырь посередине города, в том месте, где раньше, как нам сказали, был Венский вокзал?

Изыртые площади, взорванные мосты... Нет больше старого города, умерла Варшава, обвалились ее дома и домишки, унося с собой сотни дыханий, улыбок, рождений, плачей, вечерних сидений за чайным столом. Здесь, быть может, жили когда-то те люди, что ходили еще в камзолах.

Нет больше тех старых стен, нет мха, коснувшегося старых оград. Казалось, не только улицы умерли, но и самое воспоминание, что в мире живет не одно разрушение, а рождение, созидание, радость.

Притаившийся где-то в щелях человеческий муравейник...

Как страшно!

Я первый раз за пределом своей страны. И вот «заграница» встречает меня останками обгорелых домов.

Как жалко, как страшно возвышались их стены. В проемы выбитых окон глядели плывущие облака. По городу неведомо почему проезжали монахини на велосипедах. Их белейшие накрахмаленные головные уборы с торчащими по обе стороны большими белыми углами, в сочетании с черной одеждой и велосипедами — вот что стало моим первым понятием о том, что не есть Россия.

4

— Скажите, пожалуйста, — спросила я вежливо и осторожно женщину-гида, сопровождавшую нас и с ликованием смотрящую на меня (ибо меня привезли сюда, в Фюрстенберг, действительно проявив большую человеческую чуткость), — скажите, пожалуйста, здесь, в Фюрстенберге, живет еще фрау Соббота?.. Это, вероятно, очень наивно с моей стороны. Вряд ли вы с ней знакомы. Но, может, знаете? Волей случая? Что с ней стало? Она когда-то была моим другом.

— Как же, как же, — ответила женщина-гид, — я действительно ее знаю. Знаю отлично. Здесь, за углом, ее обувной магазин. Вы даже можете сняться возле витрины. «Фирма Соббота». Пожалуйста! Рейнхардт, отвези-ка нас до следующего угла, до магазина «Обувь».

Никто вокруг не понимал решительно ничего. Мы говорили по-немецки, и говорили взволнованно.

Туристы заняли свои места, мы покатали по улицам Фюрстенберга.

Фюрстенберг! Как ты далеко от меня отступил. Я тебя не узнаю.

С годами, если отсчет не ведется от времени детства, принято все-му, что вокруг, расцветать и преображаться, становясь богаче, нарядней, пышней,— хотя бы земле, хотя бы деревьям. Ведь прошли десятилетия с тех пор!

Когда-то город был зелен, хоть и разрушен войной. Он был — вода и цветение, он был — берега Одера и спелые клубничные ягоды... Тогда шевелилась листва, колыхались ветки, тесно прижавшись друг к другу, стояли кусты, освещенные вечными (а может быть, и не вечными!) солнцем и луной, рассветом и сумерками, а теперь все бедно, безрадостно, голо.

Я стала старше. Юность прошла.

Прильнув к окну туристского автобуса, я впивалась глазами в тротуары и мостовые.

Узкие. Провинциальные. Народу на улицах очень мало — по нашим российским понятиям. Большое количество глухих, высоких, длинных заборов, чуть выгоревших от солнца.

Где буйство былого движения? Где гоньба мотоциклов? Где молодые красивые немки на узких улицах города, только что нами занятого? А главное, где шествие листвы, зеленого света, гармоническое сплетение цветущего? Где не забытый мною перламутровый свет над городом? Куда все это девалось? Как странно стерся мой Фюрстенберг. Что это значит?

Товарищи в автобусе спокойно переговаривались.

— Вот! — ликуя, сказала мне женщина-гид.

И автобус остановился.

— Вот. Пожалуйста, фирма Соббота!

И я увидела окно и выставленную в окне обувь.

— А фрау Соббота в этом же здании, на третьем этаже. Вы помните, конечно? — продолжала женщина-гид. Она постарела. Сдала. К сожалению, ее нет сейчас в городе. Уехала навестить сестру... Попросите тех, у кого фотоаппараты, заснять вас у магазина. На память. Ведь почти что у всех фотоаппараты!.. Как странно, что женщины тоже были моряками во время войны! Я это узнала только сегодня от ваших товарищей... А вот и улица Флота. Вы ее узнаете? Не правда ли? Улица моряков!.. Справа, справа... Что с вами? Вам плохо?!

— Да нет... Просто так... Со мной ничего...

5

Север.

— Не забудьте предупредить своего старшину, — говорит мне вечером мой начальник, — что завтра вы отбываете на передовую. Возможно, на целый месяц... И в кубрике объявите. Девушкам. А то как бы не забеспокоились.

— Есть предупредить старшину, что я отбываю на передовую.

Тишина, тишина, тишина. Звук Севера, звук городка Полярного. Большущая тишина тундры. Не раздастся здесь скрежет трамвая — здесь нет трамвая. Не прошуршат колеса грузовиков — какие ночью грузовики?! Ничто живое не шагает ночью по этой равнине, на которой вырос маленький городок. Не видно птиц в высоком широком небе, даже утром не видно, когда просыпаешься.

Птицы — они не дуры. Зачем им мертвая тундра, где лишь снега, и снежные горы, и ледяное море? Есть на свете иная тундра, где застыли и сохранились остатки жизни.

Птица — она все знает. Она — опытный путешественник.

Мы, девушки-моряки, живем у морского залива, у моря, открытого Баренцем. Так оно и зовется — Баренцево.

Там, где суда и отбросы с камбузов, взлетают и суеются чайки — над пирсом, камбузами, незамерзающими волнами. Их согревает теплое течение Гольфстрим.

Наша команда находится далеко от пристани. Нам не слышно шуршания вод, даже звуков прибоя о доски пирса.

Война... В этот час, в час ночной, выходят в море подводные лодки, и мы, девушки, это знаем. Ночь Заполярья — это война. Война полярников. В час ночной тишины воюет Северный флот.

Мы знаем, что от берегов отправляются в море моряки истинные, — не мы. Они отправляются в глубину морскую на современных подводных лодках. В холодную тишину.

По утрам они возвращаются.

Залп. Второй... Это значит — вернулись наши. Залп — один потопленный вражеский транспорт; два — два потопленных вражеских транспорта.

Все мы, девушки, подававшие заявления на флот, не знали, что женщины не ходят по морю на кораблях.

Только мне одной в обход всякой логике приходилось впоследствии плавать на транспортах. По морю пешком не пройдешь, не так ли? Ведь ты не Христос. А нашей группе, седьмому отделу, следовало добраться от городка Полярный до полуострова Рыбачий, до хребта Тунтури, где Северный флот держал уже много месяцев на сухопутье оборону города Мурманска.

Начальник рассказывал, что в первый раз меня вообще не хотели брать вместе с ним на борт и якобы капитан катера, увидав меня, встал на мостик и пожевал краюшку черного хлеба с солью. Он должен был меня обезвредить.

Капитан жевал. Он ел хлебушек из патриотизма, чтобы благополучно доставить к Рыбачьему необстрелянным доверенный ему катер.

...Нас было трое: наш маленький капитан (начальник), старшина-радист и я — переводчица. Мы ехали на Рыбачий.

Большие стеганые брюки, которые мне выдали, наш радист из жалости подпоясал на мне ремнем чуть что не под мышками.

Он встряхнул меня и затянул ремень накрепко — повыше, потуже...

— Вы бы все ж таки хоть из скромности сидели на одном месте, — сказал мне начальник. — Как-то все же нехорошо получается. Вас неохотно взяли на борт, а вы, вместо того чтоб проехать понезаметнее, носитесь туда и назад, как сальфида. Как вихрь. Под самым носом у капитана.

Мой начальник — самый добрый и самый рассеянный на свете человек. До войны, несмотря на молодость, он успел защитить какую-то диссертацию по турецкой литературе.

«Приехал я к матери и говорю: «Мама, я кандидат наук». А она: «Да когда же ты, мой сердешный, станешь членом науки? Все бьешься, бьешься, а бесполезно. Мытарь ты мой!..»

Два раза начальник отдавал мне часть офицерского своего пайка — печенье и масло.

— Такие вещи не для мужчин. Они для детей и женщин.

— Но при чем здесь я? По-моему, я матрос.

— Как хотите, но, между прочим, печенье ваше.

Нашему старшине-радисту маленький капитан отдавал свои папирсы: он не курил, не пил.

Смешной он, наш маленький капитан: светловолосый чуть не до седины, белес, как крестьянские дети. Голубые глаза его почти не видны. Они скрыты большими очками. Нос кнопкой. Когда он о чем-нибудь говорит с увлечением и жаром, нос у него раздувается. Ноздри

так и ходят, так и трепещут. Не какой-нибудь, а говорящий нос у нашего маленького начальника.

— Я бы отдал свою диссертацию за арию из оперетты «Сильва». А кстати, что это вы соорудили на голове? Трубочки, что ли, без заварного крема?

— Это я... это мы... для того... наш кубрик...

— Не перечьте мне! Размочите сейчас же этот дьявольский перманент.

— Я обрею волосы! Достану синильную кислоту и окуну голову.

— Не перечьте! Довольно сенсаций! Скажут, что вас обрили наголо на гауптвахте. Большая честь для отдела, не так ли?! Почему вокруг вас все девушки, как подобает девушкам, а вы — в обличье папуаса? Проверьте листовки, организуйте отправку. Ясно?.. И по вечерам, вместо того чтобы кудри крутить, могли бы несколько позаниматься с наборщиками, помочь им кое-как овладеть шрифтами... А кстати, слышали сверхмощную новость? Мурманску сдался вражеский транспорт. Прибыл с нашей листовкой. Листовка была в руках у кого-то из старшего офицерства. Вот так, в таком духе, как говорится. Погодите-ка... Между прочим, имейте в виду: я все вижу через ученые окуляры. Чтобы листовки нынче же были на почте. Ясно? А кудри тщательно прикройте беретом... Если ясно, то действуйте!

Мы действовали. Плыли, или шли, как говорится по-флотски, по морю, где теплое течение Гольфстрим. Хотя море здесь никогда и не схватывается льдом, но воды его — ледяные воды.

Над Рыбачьим — белое небо с блещущим солнцем. По снегу тянутся темные полосы — следы шагов. На этих узких дорогах снег смешивается с грязью. Вдалеке угадываются редкие маленькие землянки.

Но вот исчезают землянки, не видно дыма из труб.

На смену той, обжитой нами земле приходят земли другие — земли времени оледенения. Да нет... Вот меж щелей в снегах маячит морозка, трогательная, розово-красная и печальная. Она думает, что никто не съест, не тронет ее. Но она ошиблась.

— Где вы там? Не отставайте!

— Сейча-а-а-с...

Какими звонкими здесь становятся голоса!

Сколько времени нам идти? Кто знает. Все кругом бело — и земля и небо. Злая, злая земля.

Это фронт? Это передовая? Да нет же! Фронт — огонь и стрельба, а не бескрайний белый, дикий и такой молчаливый простор Рыбачьего полуострова.

Нас теперь одиннадцать человек — караван во льдах: наш начальник, наш старшина-радист, я и восемь матросов-подносчиков с нашей радиоаппаратурой.

Перед нами — равнина, а дальше — хребет Тунгури, длинная рыжая каменная гряда, куда мы держим путь.

Мы шагаем молча в своих измызганных мокрых белых халатах поверх серых брюк, серых стеганок.

...Мы шли, мы влачили по белой равнине. Над головами нашими было солнце. Оно бежало навстречу нам множеством обжигающих маленьких круглых солнц.

Мы шли. Мы шли. Мы утратили чувство времени. Хотелось есть, обогреться, разуться. Сильно хотелось чаю. А бывает разве на свете чай, огоньки в печурках?

— Не отставайте, — говорил мне наш маленький капитан.

Мы шли. Мы шли.

Долго ли?.. Этого мы не знали.

— Взгляните-ка на часы, товарищ начальник!

— Не отставайте, не отставайте, не отставайте!

Не видно ни птицы, ни дерева. Что это бьется о камни коротко и назойливо?

Осколки металла. Пул!.. Они падают в снег.

— Не отставайте, не отставайте!

Вспыхивают под солнцем крошечные озерца; здесь водится жирная рыба форель, ничего не знающая о рыбаках, о сетях, о спиннингах. Вот в ледяных озерах яркие рыбы тельца, блещущие на солнце.

Я иду и размахиваю руками, мне кажется, что так легко шагать.

— Что вы там делаете, вы пляшете? — оглядываясь, спрашивает меня капитан.

— От наказание на наши головы! — вздыхает радист.

Мы идем, а хребет отступает все дальше, дальше.

Может, уже наступил вечер? А может, ночь? Кто знает? Перед нами все та же равнина, все те же камни, все те же блестящие озерца.

Вечный день и снег, снег...

Через пористые снега не проехать машине, не проскакать коню. Одолеть их, видно, под силу только военному человеку.

— Земля-я-анка! — сказал радист.

— Бросьте дурить, — очень строго ответил начальник.

Она мелькнула на белой равнине, будто оазис в желтых песках. Мелькнула. Пропала.

Мы продолжаем шагать, не ускоряя и не замедляя шага. Молчим. Не надо думать ни о каких землянках.

Мы шли. Мы шли. Чтобы не отставать от мужчин, я размахивала руками. Все притворялись перед самими собой, что не верят они ни в какое тепло, ни в какие чаи, землянки.

Землянка исчезла. А над головами все то же солнце. А впереди все те же темные камни и светлые озерца. Тундра, тундра..

— Землянка! — снова сказал радист.

Вот она. Стоит в котловине, защищающей ее от ветров.

Впереди неясно виднеются горы — хребет Тунтури.

К землянке ведет настоящая, вытопанная людьми дорога.

— Не отставайте! — захлебываясь, говорит наш маленький капитан. Он, возглавляющий шествие, устал, может быть, сильнее нас.

Стук в дверь (военная вежливость). Двери распахиваются. На пороге — солдат-вестовой.

— Товарищ майор, к нам гости, гости, товарищ майор! — обрадовавшись, кричит вестовой.

Мы в сенях.

Но, видно, даже землянке не уберечься от талых вод. Под ногами нашими в сенях широченная лужа.

Мы оглушены теплом.

Вот печка... Вот чайник... Из его носика валит пар.

— Нет, удивительно все же, — вдруг говорит мне наш маленький капитан, — как это вы ухитрились нанести в жилье на сапогах столько грязи? Простите, товарищ майор. Они у меня совсем одичали в тундре. Медведи! Медведи!

Мои сапоги и на самом деле, как будто опомнившись от того, что им больше не шагать, расплакались на свой лад. Сапоги мои плакали мутной водой.

Сев на пол, я принялась побыстрее стаскивать их. И вдруг случилось немислимое, чудесное! Хозяин землянки встал на одно колено и стащил с моих ног измокшие, измызганные сапоги.

Он сделал это с выражением величайшего простодушия и вместе

с тем почтительности, будто в моем лице приветствовал всех на земле женщин. Всех женщин, шагающих в сапогах.

— Сева, дай-ка мыло, дай полотенце и побыстрей собирай на стол. Действуй!.. Сахару. Хлеба. Шпику.

— И тушенку, товарищ майор?

— А как же! Ясное дело. Все собирай. Есть тушенка — давай тушенку.

Стол был накрыт газетой, чистой старой газетой.

В слюдяное окошко глядела тундра. Но кто же думал о ней? Мы пили чай.

Добро и робко косились в сторону моих иззябших рук глаза майора.

Он был почти совершенно лыс. В его бровях поблескивали сединки. Из-под измятых, усталых век глядели глаза, желтоватые и усталые, глаза с хитрецей.

— Сева, — вдруг сказал майор вестовому, — приготовь-ка для гостя яичницу! Слыханное ли дело — девушка! В нашей землянке — девушка! Гостя!.. Чествуй. Изжарь яичницу.

Бодрясь, расхохотался наш маленький капитан, решив, что майор острит. Его смеху вторили радист и матросы. Откуда здесь, где не бывает птицы, взяты яичнице?

— Сию минуту! — весело подхватил вестовой. — Раз такое прекрасное чудо, как девушка, будет яичница.

Из красного света коптилки выплыли две руки. На широких ладонях лежало четыре пестрых больших яйца.

Далеко от нас, на склонах крутых и отвесных гор, вьет свои гнезда птица гагара. Взобравшись на эти склоны, добыл яйца гагары молодой и ловкий солдат-альпинист.

— А как звать-то вас?.. Для памяти... Для примеру... — спросил вестовой.

Я сказала.

Оно, мое домашнее детское имя, лежало там, за пределами тундры, за пределами войны — там, где птицы вьют свои гнезда не только на скалах. Они вьют их, помнится, на деревьях.

Широко и добро улыбнулся этому неожиданно сорвавшемуся у меня короткому имени пожилой хозяин землянки — майор. И вдруг он сказал:

— А красивое имечко. Очень славное... Я, знаете, получил из дому письмо. Жена спрашивает, как наречь нашу дочь...

— С вас пол-литра! — сказал радист.

— Сердечно вас поздравляем, — подхватил наш маленький капитан.

Вестовой поставил передо мной яичницу. От нее шел пар.

— Здоров заливать, — чуть слышно шепнул мне на ухо вестовой. — Нет у него жены. И нету детей. Очень даже большая случилась беда. Всю его семью... того... убили фашисты.

— Ешь давай!.. Нажимай на яичницу, дочка, — не расслышав его и переходя на ты, сияя, сказал майор.

Через час мы собрались в дорогу.

— Ни пуха вам, ни пера. Хорошие, храбрые вы ребята, право, — ободрил нас хозяин землянки.

— Можно мне поцеловать вас?.. Если, конечно, можно? Потому что я очень люблю яичницу.

— Что это значит?! — заорал наш маленький капитан. — Где элементарная военная дисциплина?.. Уж вы нас извините, товарищ майор. Они у меня совсем одичали в тундре! Медведи, медведи!

Увидев на равнине бредущих впереди людей, враг принялся энергично стрелять по живой цепочке. Пули снайперов с коротким и нежным стуком ударялись о валуны. Однако солнце било немецким снайперам прямо в глаза. Яркое, оно лишало их нужной прицельности.

— Надо разбиться на группы,— сказал наш маленький капитан.— Такое скопление людей подозрительно для противника. Я пойду вперед и возьму с собой пятерых подносчиков. Вы пойдете следом, Васильев... Кстати, вы отвечаете мне за сохранность и жизнь переводчицы. Ясно?

— Ясно. Кроме прочего, я отвечаю за сохранность и жизнь переводчицы.

— Пошли,— сказал наш маленький капитан.

Нас стало пятеро. Мы залегли в траншее. Ребята поставили на землю аппаратуру и закурили. На дне траншеи была ледяная вода, а за бортом траншеи — равнина в ржавых воронках. На снегу виднелись комья свежей еще земли и осколки черного камня.

Долго курят ребята. Мы ждем. Чего мы ждем? Но этого я не знаю. Вокруг все то же: тундра с черными валунами, неглубокие ржавые впадины, осколки камней и огромное небо с очень светлым холодным солнцем.

— Я добыл себе невесту с козой,— сев на корточки и пригибая голову, шепотом весело рассказывает радист.— Мне очень даже полезен стакан хорошего молочка в условиях Дальнего Севера... А? Как ребята, по-вашему?

Матросы прыскают со смеху. Все знают, что никакой невесты у него нет и что в Полярном нет ни одной козы.

Они хохочут и шепчутся. А вокруг траншеи ни жилья, ни птицы. Снег, снег... Огромные небеса. Серо-белый купол не рассекается ни деревом, ни кустарником.

— Спрячьте-ка голову,— сердито и коротко говорит мне радист.— Расселась прямо как дома на оттоманке.

Немцев я не боюсь, поскольку их никогда не видела. Но я сильно боюсь своего начальника — маленького капитана. Он, должно быть, уже в землянке и поджидает диктора.

— Ребятки!.. Куда бежать?..

— На-а-зад, назад!..

Однако поздно. Я выхожу из траншеи, оглядываюсь — и бегу. Бегу что есть мочи, размахивая руками. Бежать нисколько не тяжело. Это не требует от меня ни малейших усилий.

Весело ударяют пульки о камни.

Что-то шмякнуло в снег. Взлетели снежные комья. Это похоже на белый фейерверк.

И снова фейерверк. И снова бьются с жестким стуком пули о черные валуны. Кое-где расступился снег. В щелях закраснелась моршка. Вкусная ягода. На ходу я ее срываю.

— Назад!

Я бегу. Рядом со мною взапуски бежит ветер.

И вдруг я оглядываюсь.

● Следом за мною бегут матросы и старшина.

Нас пятеро. Пять вселенных на белой равнине снега. Пять сердец. Пять жизней. Я — впереди.

Возвратившись в Полярный, наш маленький капитан, хохоча, показывал, как он глянул вниз на равнину и ахнул: увидел, что я несусь

вперед и размахиваю руками. За мной старшина. А за ним матросы. Гуськом, гуськом... Вот эдак. Ха-ха-ха-ха!

Как передать, что такое война у подножья хребта Тунтури?

Здесь, на склонах хребта Тунтури, на полуострове, что зовется Рыбачий, у берегов холодного моря стояли люди, стояли насмерть. Здесь держали они оборону города Мурманска.

Оборона. Какое страшное слово! Дни, недели и месяцы ожидания.

Оборона — лето без солнца, почти без лун, тусклое белое небо, распростертое над землянками. Небо, лежащее над горами, над горным хребтом, где нет ни дерева, ни кустарника.

Когда зима, тундровый снег становится тверже, воздух каленее. Небо чернее. Большое тусклое небо над белой землей. Два-три брезжущих светом часа.

Ночи долги, как месяцы. Изредка коротким пожаром затеплится в небе северное сияние. Но и оно, говорят, тускловатое, не такое, как на Северном полюсе. Тусклое, томное, беглое, будто лень ему здесь разгореться всерьез.

День. И снова ночь, ночь...

Должно быть, когда-то, когда Земля освобождалась от оледенения, она забыла об этом крае, об этой дальней точке своей. И вот остались на свете снега.

Черные камни на белой равнине. Не так чтобы густо они лежали. Нет, нет... Но все же — одни на снегу, среди необозримых пространств снегов и вод. Черные, отшлифованные, облизанные ветрами, исхлестанные снегами.

Белая равнина и черный камень. А еще дымок, дымок из трубы: жильё человека — землянка.

Дым похож на дыхание. Он бежит к небесам — жестоким, высоким и белым.

Бесконечность снега. Бесконечность земли. Бесконечность времени. Бесконечность неба.

Все это называется — «оборона».

Противник сидел по другую сторону сопки, по другую сторону Тунтурей. Им достался склон, сливающийся с шоссе, — не то что у нас.

С великим трудом мы переправляли раненых на Большую землю. Каждый наш шаг был виден противнику.

...Лето. Полярный день. Вечный день. Ни луны, ни мглы, ни ночей, ни мхов, чтоб заделать щели в землянках. Хрупкие их дверки подхватывал ветер. По слюдяным окошкам выбивала тихую дробь пурга. Ветры, ветры... И блеск ледяного солнца.

А печурки — чем их топить?

Кустарником.

Но где же набрать кустарника? Ведь кустарник на склонах гор обломан, оборван.

И все же в землянке упрямо горит огонь. От крошечной печки бегут красноватые сполохи. Из мглы выступают лица матросов.

Все тонуло в дыму махорки. Безостановочно булькал на огне чайник. На длинной проволоке сушились портянки.

Огонь коптилок отбрасывал неширокие, дрожащие, нетвердо очерченные круги.

Из темноты раздавались стоны. Занавешенная тремя белейшими простынями, дремала в свете коптилки операционная.

У слюдяного окошка, где откидной стол,— вторая коптилка. Красноватый свет ее кажется дрожащим и робким. Полушубками забиты щели в углах. Кое-где намело снегу.

Время от времени откидывается входная дверь. Вместе с клубящимся паром врывается в жилье человек — матрос.

На дворе все бело. Огромное колеблющееся пространство, видное на мгновение сквозь открывающуюся дверь. Все мглисто от неба до самой земли. На сугробы наваливаются сугробы. Над утоптаным, обледенелым снегом как бы вырастает новое пухлое поколение снегов.

Пурга.

Пурга продиралась сквозь щели, пытаясь выломать слюду из окошка.

Люди, которые возвращались с вахты, шумно и вместе молча встряхивали тулупы. Снег растекался по полу, таял, бежал под нары большими лужами.

Казалось, будто пурга молит нас, людей, об отдыхе и покое, стремится задуть огонь в печи, погасить коптилки, упасть тулупом под нары и тоже спать, спать... И храпеть, отдыхая. И видеть сны.

Когда человека вдувало в землянку, ветер подбрасывал пламя коптилок, выхватывал ручку двери из замерзших пальцев.

Она бушевала, пурга! Но никто в землянке не обращал на нее никакого внимания. Все смотрели на нас. Развлечение! Прибыли «разложенцы». Вот радиоустановка. Сейчас будет музыка. И того... Одним словом: трансляция.

— Внимание, товарищи... Приступаем. Просим вас соблюдать полнейшую тишину. Учтите, шумы передаются.

Мне страшно. Тихо колдует что-то свое радист. Сейчас я говорю в репродуктор.

— Больше энергии. Бодрей. Веселей! — говорит мне начальник.— Старшина! Прежде всего попрошу вас поставить музыку. Легкую музыку по возможности. Мы должны фиксировать внимание противника. Так. Приступили. Ну!

— Сей минут,— отвечает радист (и считает, что это он на немецкий лад).— Мы их, знаете ли, фиксируем... До того фиксируем, что они ополоумеют.

Раздается шипение. Чуть подпрыгивает иголка.

И все Адамы
до наших дней
при виде дамы
стремятся к ней!..

Раненые с перевязанными головами и забинтованными конечностями привстают с коек. Протер наконец и стыдливо надел очки наш маленький капитан. Как спокоен радист! Как строго лицо хирурга. Шутка ли, в его землянке разлагают войска противника.

Все серьезные. Хочу смеяться, видимо, я одна.

Я и противник. Он заглушает нашу пластинку бросками мин.

— Энергичней. Грозней. Валяйте!

И я стараюсь. Я становлюсь мужественной. Все мужественней и мужественней! Я сильно стараюсь. Я горстями швыряю свое возросшее мужество в репродуктор.

Но будучи матросом армии победителей, я добра: я предлагаю немцам, несмотря на их никудышное положение, сдаться и сохранить жизнь.

— Сдавайтесь, сдавайтесь, солдаты!!!

— Не с таким пафосом! Они решат, что кто-то нас пародирует...

...Я сплю. «Играй, играй, моя музыка. Пой, моя музыка!» Ноги болят.

«Вам... гм... очень больно?» — слышу я во сне чей-то знакомый голос.

«Нет. Не особенно больно, товарищ начальник, можно терпеть, конечно».

«Вот. Берите. Хромовые голенища».

«Голенища? От вас?.. Не может этого быть» («Играй, играй, моя музыка!..»)...

«Война!.. Чего ж вы хотели?.. Чтоб я не был вашим начальником и швырял вам под ноги розы? Вот! Это все, что я мог добыть. Хорошие. Хромовые. Серенада — не голенища...» — это слышится мне во сне.

Сны причудливы. Ни с того ни с сего какие-то голенища!

— Перебежчик! Вставайте! — кричит начальник.

И это явь.

Я просыпаюсь.

В окошко землянки заглядывают легкие, нежные отражения солнца.

Повернувшись щекой к слюдяному окошку с видом добитого обстоятельством человека, сидит наш маленький капитан.

Против него, опустив голову и зажав ладони коленками, незнакомый мне человек. Лицо у него интеллигентное, остроносое, молодое.

— Мы вас ждем, — говорит мне начальник с яростью. — Разумеется, если сумеете уделить нам минутку внимания. Без вас мы в данном конкретном случае, увы, обойтись не можем... Увы! Мы действительно без вас обойтись не можем. — Голос его осекся от злости. — Мы в вас нуждаемся, а вы спите... Ну как? Готовы, надеюсь? Совершили свой утренний туалет?.. Битте, долмэтчер, — сказал он, указав на меня перебежчику.

— О-о-о, фрейлейн!

Вопль любезности.

Это был первый немец, которого я увидела на войне. Немец! Живой. Один из тех, кто убил моего отца. Один из тех, по воле которых голодает нынче в осажденном городе моя мать!..

— О-о-о, фрейлейн!

Живой. Настоящий немец!

Вокруг толпились все, кто был в силах ходить. Ребята, пришедшие с вахты, внимательно оглядывали перебежчика, прислушивались к тому, что говорит ему начальник и перевозжу я.

— Его зовут Отто Генц. Он антифашист. Он просит учесть его убеждения... Давно он решил: при первом удобном случае перебежать на сторону русских. Вчера, поскольку была пурга... И плохая видимость. Это раз. А второе то, что поднят был ураганный огонь в ответ на трансляцию... Да, да... Он, разумеется, рисковал жизнью. Он просит это учесть в дальнейшем. Он рисковал жизнью. Он верит в твердость слова противника. Русские обещали сохранить перебежчикам свободу и жизнь.

Вчера, когда все пошли спать — это было в левой от переднего края землянке, — он притворился, что вышел по нужде. Под утро до-

полз до колючей проволоки... И ринулся сейчас же вниз, в нашу сторону. Его увидел русский матрос. Он, перебежчик, поднял вверх руки. В одной из них был зажат носовой платок. Как белый флаг. Когда матрос подошел, он, Отто Генц, объяснил ему: «Гитлер капут».

Теперь война для него окончена. Военные действия не отвечают его гуманистическим убеждениям.

— Диспозиция частей? Каков ваш личный состав? Каково настроение противника? Каким оружием располагают близлежащие части? — опуская лирику, деловито допрашивал пленного немца наш маленький капитан.

В этот период войны на Севере перебежка немца на нашу сторону была событием значительным. Каждый к этому событию отнесся по-своему. Начальник радовался, что нас перестанут дразнить в Полярном «листовочниками» и «разложенцами». Старшина ликовал, что сумел протянуть рацию под носом у врага: он был храбр — и вот награда за его храбрость. Я же так приняла это обстоятельство, что вывела, мол, из строя вражеского солдата.

У всех в землянке, даже у раненых, было чувство приподнятости. Все хотели узнать, как живет противник на той стороне хребта. Перебежчика засыпали вопросами. Я переводила.

— Что они едят? Что пьют? Сколько у них землянок? Живут ли врозь на той стороне солдаты и офицеры?

— К их землянкам ведет шоссе из Норвегии, — объяснял пленный. — На той стороне хребта есть деревья — пихты и ели. Там земля живая, там птицы, не то что здесь. С той стороны к подножью Тунтурей по шоссе подкатывает грузовик. Каждые сутки немецким солдатам и офицерам подвозят пищу, письма и боеприпасы.

Он говорил все это сдержанно, немного смущенно. До перебежки он, видно, и представить себе не мог, как выглядит наш склон Тунтурей. Его удивляло теперь, что здесь так мало землянок, что мы живем в землянке санбата. Он не знал, что подходы к нашему рубежу идут только через огромное снежное поле, обстреливаемое врагом. Что другого подхода к нашим землянкам нет.

Мой начальник знал турецкий и английский языки. Но немецкий он знал пассивно и разговаривать не умел — не обладал достаточной беглостью.

Сидя втроем у слюдяного окошка за откидным столом, мы — наш маленький капитан, я и немец — составляли тексты для выступления по радио Отто Генца.

Видно было, что ему не хочется выступать от своего имени, что он жметя и чего-то недоговаривает.

— Разве вам недостаточно, что я, берлинец, проведу эту передачу как диктор?.. Могу, если вы хотите, проверить любые ваши листовки, придать им блеск. Я готов помогать: листовки и передачи делаются безупречными в смысле формы. Но мне не хотелось бы себя называть и говорить от своего имени... Право, я думаю, это лишнее.

— Товарищ капитан, он почему-то не хочет сказать по радио, что это он — Отто Генц.

— «Почему-то!» — пожал плечами маленький капитан. — Естественно, он боится Гитлера... Боится расплаты. Ясно? Однако ему придется поговорить. А на листовках в Полярном мы напечатаем его фотографию. Это будет наилучшей агитацией для нашего отдела: вот он, пленный. Перебежчикам мы действительно сохраняем жизнь.

Принесли ужин. Надо было накормить немца. Оказалось, что у нас нег лишнего котелка. Радист ему отдал свой котелок. Немец ел

стыдливо и медленно. Нет!.. Не скажешь о нем, что перебежчик. Впечатление такое, будто кто-то из наших ребят приволок языка с другой стороны сопок.

Мы ужинали. Молчали. Каждый был занят своими мыслями.

А за пределом землянки, за слюдяным окошком продолжалась тихая, огромная, вечная жизнь.

Я подняла глаза. Ярко, жутко и неподвижно блеснуло солнце. Оно, как и прежде, творило свою работу, обдавая сиянием белую пустошь. Озерца внизу, похожие на разлужье, были подернуты сверкающей рябью. Вокруг стояла заколдовавшаяся, затаенная печаль зимы и вечного снега.

Немец давился, ел. Теперь он напротив меня. Сидит, переплетя пальцы, низко опустив широкую голову, похожий на человека, перенесшего тяжкое потрясение.

И вдруг с видом очень застенчивым и виноватым он глянул на старую банку из-под консервов. Она стояла в углу, у двери. В этой банке хранился жир для смазки сапог.

— Вы позволите, фрейлейн?

Я не поняла, что именно должна ему разрешить.

Сопровождаемый конвоиром, немец робко подошел к банке и старательно смазал жиром свои военные башмаки.

— Обувь надо холить,— сказал он мне виновато.— Моя покойная мать говорила: каковы ботинки, таков и сам человек.

— Немецкие солдаты! — хрипло прозвучал голос немецкого перебежчика.— Я, Отто Генц, нахожусь среди русских. Я жив и здоров. Меня приняли хорошо. Мне сохраняют жизнь. И дали поесть: пшеничной каши, немного тушенки, сладкого чаю и хорошие белые сухари. У русских офицеры живут на переднем крае в одной землянке с солдатами. Пьют и едят то же самое, что солдаты. Друзья мои, Генрих Верт и Фриц Бауэр! Переходите линию фронта. Сдавайтесь! Русские побеждают под Сталинградом. Положение нашей армии безнадежно. Перебегайте к русским!

— Все. Ваша очередь, диктор,— сказал мне маленький капитан.

— Немецкие солдаты! — с чувством крикнула я.— Рядом со мной ваш товарищ. Я ему отдала свой шарф. Вы ведь знаете: он бежал налегке. Отто Генц пробудет у нас до конца войны, а потом поедет в Берлин. Скоро настанут дни нашего генерального наступления на этом участке фронта. Перебегайте, пока мы еще стоим в обороне, пока мы еще не перешли к боевым действиям. Будет поздно! Не принимайте участия в ненужном кровопролитии. Тишина и отсутствие боевых действий со стороны русских обманчивы. Мы обороняем подходы к городу Мурманску. Но близок час, когда мы пойдем с боями вдоль шоссе по направлению к Норвегии. Далеко позади останется хребет Тунгури и могилы ваших товарищей. Сдавайтесь! Сдавайтесь! Соппротивление бесполезно!

6

Нынче, при свете ясного дня, когда в мою комнату долетают дальние шумы улицы, тархтят автобусы, слитно шуршат машины и прохожие у переходов, дожидаясь зеленого света, ворчат: «Он что, уснул? Обалдел, а?..» — итак, в этот ясный солнечный день, теперь, когда, казалось бы, далеко отступила война, мне вспомнилась одна незначительная история.

Может, она имеет значение лишь для меня одной. Но я верю тебе, мой друг, мой таинственный собеседник. И обращаю ее к тебе.

Трансляции с переднего края велись относительно регулярно. И вот однажды мы шли сквозь тундру. Нас было двое: я и подносчик аппаратуры. Ему было лет восемнадцать.

Мы шли, а со всех сторон, как оно и положено в летнее северное время, ослепительно блеснул снег. Снег был пористый. Каждая снежинка, оставшаяся живой, блестела из самых последних сил, сверкала светом всех в мире солнц — множеством самых разных оттенков, неслыханных и невиданных, — не только красным и голубым, сиреневым и оранжевым. Она сияла черным. Как странно, право!.. Бесконечной была она. И пела свой гимн, и орала об остроте и жгучести черноты, прикрывая ее снегами.

Купол жизни — небо стояло над нашими головами, высокое, строгое, лживое и обездоленное, потому что небо должно быть ярко, пронизано дрожью солнца или дождя. Но это небо мертво! Так сделала война, так она захотела, распахнув свой занавес над землей необитаемой. Живучи здесь оказались лишь черные камни, притулившиеся к снегам.

В тишине пронзительно, остро и так назойливо свистели пули. Но кто на них обращал внимание? Мы привыкли и к этому свисту, и к этому небу, и к свечению этой земли, и к мокрым кирзовым сапогам.

Мы шли. Так шагают военные, для которых близость смерти — работа. Мы думали о супе, каше, а не о смерти и свисте пуль.

На нас были белые маскхалаты. На плечах у юноши аппаратура, на мне — рюкзак.

Мы смеялись. А как же иначе?! Смеялись над чем придется — над тем, что я, например, из простыни решила сделать себе гражданское платье; над тем, как он, бывало (якобы!), являлся там, у себя, на танцы: брюки из шелкового полотна, рубаха из голубой фланели, а в руках тросточка. И все (ох-ох-ох!) от восхищения замирали.

Без улыбки и смеха не проживешь. Можно жить без тепла, на овсе и на сухарях, но каково без смеха? Право, легче прожить без каши.

Ладно. Сейчас... Сейчас...

Пора признаться, что, несмотря на мою поражающую молодость, худобу и странную инфантильность, я до войны успела побывать замужем. У меня был сын. Я овдовела в первые дни войны, сынок мой умер от тифа.

Мой мальчик меня любил. Я это твердо знала и знаю. Встречая меня в передней, он целовал мое пальто, видел во мне напарника и ребенка. Мы с ним играли в маму и папу, принимали гостей, раскалывали квадратный кусочек сахара на много маленьких сахарков, пекли хорошенькое карликовое печенье. Я добыла ему откуда-то крошечный самовар. Мы вместе его вздували.

Мой мальчик был высокого роста, хорошо ориентированный в пространстве (не то что я). Глаза его — словно крылья, всегда в полете.

...Велосипед... Я не успела купить ему трехколесный велосипед. Я была бедна.

Он знал все марки машин. Потому что — мальчик. Мой сын был мальчиком.

Перед тем как уйти на фронт, я каждый день зарывала в холмик его могилы игрушки. По ночам мне казалось, что он стучится в двери ко мне. Он одет в свое некрасивое желтое пальтецо. Стучится и улыбается робко, потерянно...

— Ма-а-ама!

Защитить?.. От кого? От смерти?

На фронте никто не знал, что я мать и вдова. В потоке горя народного мое горе казалось малостью каждому. Но не мне.

Итак, мы шагали к хребту Тунтури, пытаюсь смеяться по всякому поводу, чтоб скоротать дорогу.

Волосы у моего попутчика были светлые. Глаза голубые.

Увидев такие глаза, девчонки ошалевают: «А отчего у тебя такие глаза?» «Ха-ха-ха! А мне почем знать?»

Живые, нежные, тонкие волосы, развевающиеся под шапкой-ушанкой. Белый чуб легонько колышется на ветру. Пух, в который, должно быть, девчонке так хорошо зарыться губами и носом.

Хорошо бы десятикласснице прижать к себе эту голову, вдавить в себя, в свое тепло.

Рукам бы этим хорошо рассекать волны. Хорошо бы! В теплых морях. Хоть в Черном, у которого я родилась. Им бы рассекать воду, а губам фыркать, выплевывая ее. Ногам хорошо бы взбираться по склонам лесистых гор; взору — обнимать степи, гладить пальцем кору древесную, измазав палец в смоле. Хорошо бы вечером, сидя в пивнухе, выпить пивка с товарищами и побеседовать по душам: «Ты меня уважаешь?»

...Галстук яркий, красиво повязанный. Ясный голубой взгляд. Хорошо бы вдруг, невзначай во время заката — песню... И в песне выдать тайное, затаенное. Не мальчик, а лук с натянутой тетивой. И стрела.

Бесстрашие. Способность к истинно русскому состраданию. Рубаху — товарищу.

Воротиться домой и позвонить в двери:

— Ма-ама!

Или:

— Братишка, знаешь ли, у меня в Мелитополе... Очень даже хороший парень.

Или:

— Сестренке купил на блузку. Как скажешь?.. Хороший шелк? Молодая. Замуж охота. Ясно. Только о том и думают, чтоб пристроиться. Э-эх! Бабье!

...Шагаем. Сверху круглое солнце. Белое. Без лучей. Солнце без солнечного тепла.

А пули летят, ударяясь о черные камни, уходя в снег...

Завиднелся хребет Тунтури.

И вдруг он упал.

Повалилась его шапка на снег. Он поднял ко мне лицо. Оно было бессмысленно — по ту сторону далекого края, о котором я еще ничего не знала.

Я села подле него на снег. Он не видел меня. Глаза открыты, а... спят.

Только что глаза были жизнью. Жизнью — его шаги. Жизнью — его дыхание.

Приоткрыл рот (должно быть, ему не хватало воздуха).

Я назвала его по имени. Не отозвался.

...Сердце, забейся! Вздохни, малыш! Давай-ка снова смеяться, чтоб скоротать дорогу. Нас ждут котелки с кашей, мы оба разуемся, высушим сапоги, портянки...

Я легла рядом с ним. Прижала его, согревая своим телом, обхватила его за шею руками.

Безмолвно, бессмысленно, неподвижно мы долго лежали в нехватной, великой белизне тундры. И вдруг его веки дрогнули. Он тихо сказал мне:

— Привет ребятам.

Это было последнее, что он сказал.

— Ма-а-альчик!.. Мой ма-а-альчик!.. Встань. Жи-иви-и.

Сын. Товарищ. Брат.

Волосы! Они все еще были теплые. Жизнь еще теплилась в волосах.

Я рыдала...

Но вот моя рука поднялась и закрыла ясную синеву глаз.

Когда я стою у Доски почета, где выгравированы имена погибших товарищей, я готова просить прощения у них за то, что осталась жить.

За что?.. Почему?.. Вас нет. Я — есть.

Если можете, то простите!

7

Ночь. Надо было пристроить на ночь нашего перебежчика.

Пристроить? Но куда?

— Постелим ему на полу, товарищ начальник,— подумав, сказал радист.

Пленный словно бы догадался о замешательстве капитана:

— Нет, нет!.. Не тревожьтесь из-за меня. Фрейлейн! Прошу вас, переведите: я слишком взволнован, я не могу спать. Право, право... Я совершенно не хочу спать.

В эту ночь я тоже не могла спать.

Мне отчего-то стали малы и узки мои большущие кирзовые сапожища. Спрятавшись в угол, разувшись, я с удивлением разглядывала свои побагровевшие ступни.

— Фрейлейн!.. Вы спите? — шепотом спросил перебежчик.

— Нет,— ответила я.

— Фрейлейн, можно немного поговорить о доме?

— Конечно!

— Можно, я расскажу вам про воскресное утро?

— Конечно!

— Лето... И вот я сплю. И вот просыпаюсь. Мать накрыла на стол в саду под каким-нибудь деревом. Отец сидит у стола. И курит. Он курит трубку. Скатерть белая. На столе цветы. Ах, какое неторопливое воскресенье! Солнце. Скажите, пожалуйста, все это было, фрейлейн?.. Матушка в белом фартуке, фатер...

Перебежчик сделал резкое и неожиданное движение руками как бы для того, чтобы обхватить голову. Солдат с ружьем, спокойно сидевший на табуретке, вскочил и принялся не отрываясь глядеть на пленного.

Прошло минут пять или десять. Солдат опустился на табурет. Закурил.

— ...Это было счастьем. Но я его не сознавал. Счастье — река! Воскресенье — счастье... Признаюсь вам,— он перешел на шепот,— первое время при Гитлере можно было жить, и неплохо жить. Работа у всех. Я лично, видите ли, бухгалтер. Для юношества организованы были экскурсии. Очень дешево. Экскурсии на пароходе дня эдак на два, а то и на три-четыре. Ужас с войной пришел гораздо поздней... И по-одумать только! Я единственный сын, а между тем меня мобилизовали... Отпуск на девять дней. Не могу рассказать вам, фрейлейн, с каким страхом я приближался к дому. Дорога все та же, та же... А дома — нет. Его смело. Как будто бы сдуло! Отпуск?! Зачем? Первый раз в жизни я радовался войне. Я хотел не быть, не существо-

вать, не думать, не чувствовать. Я словно оцепенел. Мать! Вот она. Ведет меня за руку... Кроватка. Я маленький. Я лежу в кровати, она наклоняется и говорит: «Оттхен, спи!» Нет матери — значит, нету меня. Меня нет!.. Нет! Нет!..

Ночь. Тишина. Храп матросов, повалившихся после вахты на койки, не только не нарушает, а словно бы еще больше подчеркивает ее.

Потрескивает кустарник в печи. На печурке на всякий случай чайник с кипятком. (Кипяток — он может всегда понадобится. А вдруг тот, кто на ночной вахте, вернется в землянку раненым и нужно будет делать срочную операцию. Кипяток — это для врача.)

В свое время проснется медицинская сестра Саша.

Сон во время войны — это как бы особый сон (когда надо, проснешься словно бы от будильника; когда надо — опять уснешь).

Сон, он необходим. Особенно для военного человека. Сон возвращает силы, делает человека трезвым. Не лопнешь — проснуться. Не лопнешь — опять уснуть.

...По ночам отчего-то громче слышатся стоны раненых: то ли именно в эти часы ослабевает воля человека, то ли ночь для страдающего — тяжелейшая часть двадцати четырех часов, из которых состоят сутки.

Тишина. Раненые перевертываются с боку на бок, пытаются найти ту щель, куда бы упрятать боль. Щель, щель... Она есть! Но где?.. Как бы хоть на минуту оттолкнуть от себя страдание, уйти поглубже в глубину сна?

Врач Михаил Николаевич (за глаза его называют Мишутка, поскольку ему, бедняге, всего двадцать четыре года) перевертывается с боку на бок в своем углу, завешенном простыней. Хирургу приданы в помощь два фельдшера и медсестра Саша.

В этом году он окончил медфак, но не успел пройти обязательной практики — провести хоть несколько самостоятельных операций под наблюдением хорошего опытного хирурга.

Михаил Николаевич тянет не на двадцать четыре, а лет на двадцать. Это его окончательно добивает.

...Но разве в том дело? Нет!

«Как избежать ампутаций ног, рук, если именно благодаря им удастся сберечь, сохранить человеку жизнь? Все остальное... Да!.. Если хотите знать, все остальное, в сущности, пустяки!»

Михаил Николаевич — человек с агрессивной совестью, направленной против себя самого.

Ему не спится. Поскрипывают на койке доски в его углу.

«Спать. Уснуть. Черт знает что такое. Нет на войне человека несчастней меня. Хоть бы меня подстрелили, что ли! А мама! Господи, я с ума сойду! О чем я думаю?.. Завтра работать, работать, может, еще и сегодня ночью. Спать. Спать!»

Так эн думает, а мои незримые «усики» подслушивают его мысли.

Койка Михаила Николаевича скрипит.

— Чего-о-о вам? Кто это? Что случилось?

— Тише! Это я. Вера.

— Какая Вера?

— Ясно какая. Снайпер... И нечего притворяться. Мы с Сашкой заметили, что вы ничего не покушали нынче вечером.

— Извините, Вера... Но вы понимаете... Интимные ночные бесе-

ды в санбате... Одним словом, это вас может скомпрометировать... Давайте-ка перенесем вашу чуткость на утро. Ладно?

— Это еще чего-о-о? До того ученый, что ум за разум зашел... Короче: Саша сперла для вас муки.

— То есть как это, извините, «сперла-а-а»?

— Обыкновенно. Взяла и сперла... Вы, конечно, красавчик, но, извиняюсь, просвечиваете. Нам тошно на вас смотреть. Берите. Закусывайте. Мы для вас испекли оладушек. Мука, конечно, того... Не особенно первоклассная... Но эта дура набитая, да вы знаете! Ну, эта, как ее — переводчица из Полярного, она догадалась натолочь сахару... Лежите, лежите, я все подам. А чайку желаете? Смейтесь. Сколько влезет — столько и хохочите... Эй, лежите, лежите в койке!.. Я вам подам.

— Вера! Но я как старший по званию и вообще... Я не в состоянии санкционировать воровство... Ни муки, ни сахара. Я понимаю, что все это из наилучших чувств... Но мы, между прочим, фронтовики... Приходится — увы! — вам об этом напоминать...

Вера:

— Короче. Вы на передовой. А мы не на передовой. Вы себя блюдете, а мы не умеем себя блюсти... Ладно. В блюдце, что ли, чаю налить? Олады стынут. Жалко. И не вы, а я здесь ночная хозяйка. Ясно?.. Не вставайте. Сидите, сидите в койке... Можете прямо хлебать из блюдца. Чай сильно горячий. Так. А в эту руку — оладушку. Или вы уважаете чай в стакане?

— Ве-ера!

— А наша Сашка, между прочим, в вас влюблена. Кушайте, кушайте на здоровье. Это я так, для приятного разговору. Ну как оладушки? Вы нас почему-то не уважаете. Уважали бы, так делились бы с нами мнением. А вы с нами не делитесь. Небось считаете, если доктор, так сильно большая фигура? А нам плевать!.. Между прочим, вы целовались с Сашкой, или это она сбрехнула?..

— Ве-ера!

— Доедайте оладушки. И не орите на всю землянку, перебудите раненых. Они расписхуются, вам же их усмирять, не мне. Я снайпер. Мое дело сторона.

— Извините, Вера. Но что это за ухватка будить врача посреди ночи?.. Мне же завтра работать!

— Плевать хочу... Объясните мне, между прочим, как врач.. Отчего у вас на макушке не волосы, а дыплячий пух?

— Прекратите! Сейчас же... Я... я вам не давал никаких прав!

— Ха-ха-ха!.. А за глаза вас зовут Мишуткой! Все. И раненые... А что, разве раненый не человек? Если вы его оперировали, так это еще не значит, что он обязан вас по фамилии величать... Э-эх!.. Каково теперь вашей матушке? Вас сколько у ней? Один? Единственный?! Это да-а-а! А у нашей трое. И все на фронте. Она... да ладно... Вы никому не расскажете? Она заказывала молебен за воинов Николая, Геннадия... И за воина Веру. Батюшка служил — чуть не плакал. И у него есть сын. На передовой. Лягте. Я вас накрою. Спокойной ночи...

8

Я и пленный сидим у окошка.

Храп матросов.

Шепот немца, моего перебежчика, и мое ответное бормотание.

Сидя у коптилки, мы оба клюем носами. Неярко горит коптилка. От дыханий колышется ее пламя.

Разговариваем. Вздыхаем. Молчим.

Коптилка высвечивает розоватым пламенем острое лицо перебежчика. Щеки его успели покрыться легкой щетиной. (Что б ни случилось с человеком мужеского пола, а борода у него растет, роста ее подчас не остановит и сама смерть.)

В те времена, бывало, всех немцев мы называли фрицами. И все же... Бетховен, которого я люблю...

Об этом я думаю и зеваю. «О чем бы с ним поговорить, а то, пожалуй, уснешь некстати...»

Мы сидим у знаменитого слюдяного окошка. Оба похожи на привидения: я — в засаленной куртке, растрепанная, он — с округлившимися от пережитого глазами, в шапчонке, похожей на пирожок.

Легко ли это, если всерьез подумать, перебежать к нам с той стороны хребта? Ведь немцы нам еще не стали сдаваться пачками, группами, косяками. Сам решил и драпанул сквозь колючую проволоку. Может, он и на самом деле антифашист?!

Что-то в моей бессонной, усталой, встрепанной голове взлетает и мечется. Глаза то слипаются, то разлипаются. Плывет в глаза потрескивающее пламя, красноватые сполохи. Мир огня при всей своей бедности похож на волшебное царство — искры, багрянец, синька.

9

Я не сплю. Протиснулась в щелку на общей койке, словно сардинка в консервной банке. С обеих сторон матросы. Храп такой, что, кажется, можно его пощупать.

Я слишком устала, чтобы уснуть. До того устала, что будто бы навсегда разучилась спать. Я проваливаюсь в полудремоту и сразу оттуда выныриваю. Покой состоит из багровых колеблющихся кругов: это дремота — преддверие снов. Я то врываюсь в эти круги, то выплываю оттуда. Тишина. Храп.

И вдруг меня поражает стон. Он тихий. Он близко... Кто это стонет? Я? Я стону. Я стону сквозь сон. Но ведь я не спала! Как проверить, сон это или не сон?

Спать, спать, спать.

Я в багровых кругах — сходящихся и расходящихся. Я протискаю ладони в эти круги. В багрянец сна.

Может, скоро утро?

Тяжело спать одетой. Я схватила себе привычку спать в сапогах, потому что боюсь: утром не смогу натянуть сапоги. Опухли ноги. Вокруг меня на этой почве хохот и остроумие:

— Выпиши себе из Парижа хрустальные башмачки. Если не умеешь как следует натянуть сапог из кирзы, обернуть портянку — не прись на передовую.

Все это ничего, молодые ребята позубоскалят и успокоятся. Но мой начальник, маленький капитан. «На-аказание на мою голову!»

Противогаз... Хорошее дело — противогаз. Противогазы очень даже нам пригодились. Вместо подушек. Молодец ученый, который придумал противогазы.

Мама! Я сплю на противогазе. Хорошо на противогазе. Хорошо спать. Хорошо, когда кругом храп. И хорошо спать в стеганой замусоленной кацавейке. Это вы придумали одеяла. Можно и без одеяла.

И вот я сплю. Вплыла в желанный багровый сон. В сон рассыпающийся, нетвердый. Глаза неожиданно раскрываются, видишь пламя копилки. Пламя дышит. Оно дышит дыханием, похожим на человеческое.

Стоны, вздохи... Пламя колеблется. Это жизнь. Оно, то есть пламя, как бы сочувствует человеку и говорит: «Я огонь костров. Я сияние звезд»...

— Пи-ить, сестрица.

— Сейчас, голубчик.

— Пи-ить, пи-ить...

И вдруг дверь широко распахивается. В дверь влетает мороз и ветер. Пламя коптилки сильно колеблется, норовит погаснуть. Слышится, нет, не стон, это вой. Воет раненый. Санитары вносят носилки. В землянке гуляет мороз и ветер, в раскрытую дверь видны далекие звезды в ледяном небе.

— Доктор! Раненый!

— А? Чего?.. Сестра, попрошу вас в операционную. Санитары, таз... Берите таз и в таз побольше чистого снега. Если поблизости окажется лед, еще лучше, несите льду... Да, да, сестрица, вместо анестезии... Се-естра-а-а!.. Быстрее... Лейте на руки, на руки, а не мимо. Ну же, проснитесь! Да нет! Из чайника, чтоб вода горячая... Вера, вы? Ладно. Давайте работайте. Видно, тяжелый... Разрежьте штанину. Быстро! Да, конечно, вижу: куртка тоже в крови. Придется разрезать куртку. Что-о? Да кто я вам, бог? Не умею я видеть сквозь куртки. Не знаю, плечо или грудь. Спирту. Живее. Для раненого. Побольше! Проснитесь! Действуйте!

— ...Тут я, миленький! Тут, мой хорошенький... — бормочет медсестра Саша.— Красавчик мой ненаглядный. Это спирт. А как звать тебя?

— Ко-оля-а-а, Николай...

— И брат у меня Николай. Николай. Вот какая выходит история. Ну так я тебя сейчас ублажу, братишка! Ты свой человек!.. Доктор разрешил поднести тебе спирту. И не жалеть. Дуй! Дуй вволю, пока не уснешь. Сколько хочешь, столько и дуй.

Опустилась в углу простыня.

Опять послышался вой. Ка-ак страшно! Вой и ругательство. Короткое, хорошо знакомое.

10

Там, в закутке, отгороженном простыней, стояли две койки, три табуретки. Я сидела и ныла, что никак не могу расчесать волосы.

Темно в закутке. Он расположен в дальнем углу землянки. Привычно и глухо ухают за окном мины. Что-то нудно врывается в мрачную тишину тундры. А я сижу и ною, что не могу расчесать волосы.

В землянке санбата на нижних койках множество раненых. Они терпеливы. Утром не слышно стонов.

Раненые!.. А я, завешенная простыней, скулю, что не могу расчесать волосы.

Мои руки покрыты ранами обморожения, это раны незаживающие. Там, где их нет, пальцы кажутся темными, это кожа потрескалась, пальцы как бы навечно грязные, не отмыть.

Мне очень стыдно, что тут же, в землянке, есть некий снайпер Абасов. Из Грузии. Он всегда смеется, сияет, сверкая зубами. Не мерзнет, не обмораживается.

Глядя на него и меня, люди с укором покачивают головами, они говорят:

— По-о-одумать только... Снайпер Абасов. Из Грузии! И ничего... А ты...

Я виновата, я прячу от людей руки.

Но ведь приходится жрать, одеваться, пить, подкидывать в пещурку дрова. Иногда потихонечку греться у ее красноватого пламени. Как спрячешь руки?

Все вокруг умывались снегом, как пушкинская Татьяна, все, кроме меня одной. Прикосновение снега причиняло мне жгучую боль.

И вот я сидела за простыней и скулила.

Однажды терпение у снайпера Веры Коротинной лопнуло. Она строго сказала:

— Давай-ка, Саша, устроим ей головомойку. Над этим тазом. Ты станешь мне поливать из чайника, а я как следует ее поскребу ногтями.

Надо сознаться, я сопротивлялась. На меня, однако, не обратили внимания: они были заняты делом, им было не до меня.

Вода была очень горячая. Я выла, как ветер, как вьюга, завывала наподобие пурги... (Но разве здесь это кого-нибудь удивит?)

Саша окатывала мою голову горячей струей из чайника, снайпер Вера скребла мою голову изо всех сил (а силы у Веры были могучие, руки большие, сильные).

Сперва я выла. Потом притихла. Землянка замерла. Никто не мог догадаться, что происходит за простыней.

— Эй вы там, потише! Кажется, слышите? Небось идет операция без наркоза.

Все. Чайник пуст.

— Так. А теперь расчешем ей голову.

Одна из них держала меня за плечи, другая орудовала гребенкой.

Всему, однако, приходит конец. Окончилась и эта тяжелая экзекуция.

Мокрые мои волосы, к удивлению нас троих, оказались прямыми и длинными. Чуть не до самых плеч. Волосы европейского человека (не папуаса!).

Так. Что дальше?

— Завтра им уходить,— серьезно сказала Саша.— Надо подумать, как бы ее половчей причесать, чтоб она потом сама могла расчесывать волосы.

Мои волосы разделены на пряди. Девочки достали стерильный бинт, разрезали его наподобие ленточек. И принялись без всякого юмора заплетать мне косы.

Они заплетали их совершенно молча и очень старались.

Это не было больно. Я перестала стонать — сдалась. Я передохнула.

— Погоди-ка... Мы тебя сейчас развлечем. Подруга мне переслала письма. Верка, давай зачитывай!

Письмо

«Товарищ цензура!

В конверт я вкладываю кусочек туши, отколотый из коробочки. Убедительно прошу тебя ее не выбрасывать, а переслать по адресу (хотя понимаю, что в высшей степени не по правилам).

Тушь для моей подруги. Она фронтовик. Воюет на передовой. Такая тушь, как ты можешь сообразить, употребляется для ресниц. Намочи палец и осторожно потри в коробочке. Если хочешь, можешь даже один раз накраситься.

Учти, товарищ цензура, что с подкрашенными ресницами тоже умеют сражаться и отдавать свою жизнь за Родину. Если нужно.

Ресницы у моей подруги, понимаешь ли, как назло, светлые.

Кроме нас троих — тебя, меня и ее, — о туши знать никто не имеет права. Особенно, ясное дело, ее начальник. Ты, я, она. Закругляюсь.

С доверием и уважением к твоей ответственной работе.
Счастья тебе. Любви, цветов и... ну, в общем, сама понимаешь.

Привет.

Светлана».

Ответ цензуры

«Товарищ Светлана!

Пишет цензура.

Твою просьбу о туши я выполнила (хотя действительно, как ты верно заметила, в высшей степени не по правилам). А вдруг в следующий раз ты надумаешь переслать ей в конверте пудру, губную помаду и карандаши для бровей (если брови у нее светлые)?

Мне сорок восемь лет. У меня на фронте погибли муж и два сына, хотя ты не знала этого и знать не могла. И вот я слаба, как все матери.

В тебе я вижу хорошего друга.

Твой друг на передовой, в условиях особо тяжелых. Она заработала право на наше сочувствие и активность.

Если я, к примеру, скажу тебе, что красота — явление больше духовное, чем физическое, ты ответишь мне, что я человек отсталый и что я ничего абсолютно не понимаю...

Так пусть она воюет с ресницами черными, а не белыми. И пусть хорошо воюет.

Прими мой сердечный привет.

Пусть сила моих пожеланий вас уберезет от смертей и горя.

Цензура (она же ваш общий друг)

Полуэктова».

Сколько времени длилась операция заплетения моих кос? Сникшая, я не слыхала времени.

А сколько их было, кос-то?

В Одессе на этот вопрос ответили бы вот так: сколько? А чтоб тебе перепало столько счастливых дней!

Каждая коса была аккуратно завязана тонкой ленточкой марли.

В тишине стало слышно, как тихо переворачиваются и вздыхают раненые.

— Воды, сестричка.

— Сейчас. Потерпишь.

Руки снайпера Веры Коротинной быстры и ловки: раз косичка, два... десять...

— Все. Красота. Кто из вас, ребята, просил попить? Ну-ка, дура! Вот зеркало, погляди, какая ты аккуратная.

Поглядела и ахнула. Голова окружена черным, торчащим во все стороны нимбом тонких тугих косиц. Все это заканчивается белыми бантиками из марли.

— Девочки! Помилосердствуйте.

Они сжалились. Волосы подкололи шпильками.

Я была умыта, расчесана, волосы заплетены.

— Ну, теперь голова у тебя как у человека!

— Ничего себе голова, — неуверенно подтвердила Саша. — Когда дойдешь до Большой земли, сумеешь как следует причесаться.

— Давай-ка попарим ей руки, — войдя в азарт, предложила Вера.

— Отчего же! Можно попарить. Это полезно. Сейчас я в чашку водички погорячей.

— Карау-ул! Не могу терпеть!

— Тихо. Не забывай: здесь раненые. Раненые и то не орут, они ведут себя аккуратно. Держи-ка в кулачке руки, и чтобы без стонов и разговоров.

— Бо-ольно!

— Авось не лопнешь.

И я не лопнула. Как видите, дошла до Большой земли.

Тридцать лет прошло... Сажу у письменного стола. Мучаюсь от того, что не так получается, как я бы того хотела... Однако сажу, не лопнула.

Теперь я это всегда себе повторяю в тяжелых случаях.

Я часто думаю о Рыбачьем, слышу ветры и завывания вьюги... В озере у подножья Тунтурей блещут серебряные спинки форелей. Слюдяное оконце в землянке выбито, по землянке гуляет ветер и вьюга.

Ну а зимой?

Зимой надо всем так робко и осторожно встает как бы размытое северное сияние, и каждый лучик его похож на торчащую кость. С ленточкой. Белой ленточкой из стерильной марли.

11

Однажды не успели мы перешагнуть порога землянки, как противник начал особо сильно стрелять.

— Придется идти зигзагами,— сказал наш маленький капитан.— Зигзагами! Ясно?.. Чтоб лишить снайперов прицельности.

И мы побежали зигзагами. Впереди старшина-радист, конвоир и пленный. Капитан и я отставали. Из-за меня.

Мне показалось, что я сейчас упаду на равнину и, обессиленная, буду громко кричать и плакать. Я сильно хромала. На один широкий шаг капитана приходилось два моих нетвердых шажка. Свалилась ушанка. Я нагнулась, чтоб подобрать ее.

— Скорей! — сказал мне маленький капитан.— Не до шуток. Скорей, скорей...

И побежал вперед не оглядываясь.

Вокруг со свистом рвалась земля.

— Скорей! — говорил капитан.— Скорей!

Но у меня отморожены ноги!

Откуда-то издалека — туман. Туман какого-то странного рыжего цвета, как клубы дыма. Ах да! Это обещанная нам дымовая завеса: нас пытаются оберечь.

Разглядев дымовую завесу, враг наверху, на сопках, учуял, что на равнине происходят какие-то боевые действия. Завеса дыма, вместо того чтобы нас прикрыть, привлекла внимание противника. За плечами нашими поднялся огненный шквал.

Я шла, я влачилась за капитаном по белой равнине. С обеих сторон нашей снежной дороги стелился пар. Я сняла рюкзак и бросила его в снег. Тяжесть рюкзака казалась мне непомерной.

Наш путь шел в гору. Небо над нами как бы рдело, змеилось светлыми огоньками.

Жить! Жить! Жить!.. Я бежала вперед, я покорно следовала за капитаном, не понимая, откуда берутся у меня силы.

Кое-где от мин и фугасок снег распустило и будто съело.

Над нами золотисто-светлое небо. Мы затеряны в белой пустыне, мы идем вверх, все вверх, вверх.

Дорога становится круче, круче... Нет больше сил бежать. Я останавливаюсь и перевожу дух.

И вдруг капитан поворачивает ко мне небритое молодое лицо. Его ноздри раздулись, очки блестят, создавая впечатление огромных и страшных глаз.

— Милая! Поднажмите... Я... я жить хочу, но не брошу вас. Не положено. Военная дисциплина.

До сих пор, хотя прошло столько лет, я помню искренность его очкастого взгляда, душевность голоса.

Дым вокруг нас немного рассеялся. Мы увидели часть нашей группы, ушедшую далеко вперед. Позади траншеи, по левую сторону озерцо. Как весело поблескивает озерцо!

И вдруг что-то с силой меня ударило. Я продолжала бежать. Пробежала, помнится, еще три-четыре шага. И взмокла. От бега прилипла к телу рубаха. Для того чтоб бежать скорее, я изо всех сил размахивала руками. Но левая рука моя двигалась как-то уж очень медленно.

И снова толчок. Что-то задело о голенище моего сапога — видно, камень.

Я упала на снег, попробовала продвигаться дальше на четвереньках. Но левая рука не хотела меня поддерживать. Щека прижалась к снегу. Снег рядом со мною будто порозовел.

Приоткрыв глаза, я увидела своего начальника. Он что-то ласково мне говорил, но я ничего не слышала. Видела только его шевелящиеся и вздрагивающие губы.

Я лежала в снегу и чувствовала себя виноватой.

Наш старшина развернул плащ-палатку. Меня уложили на плащ-палатку. Я коротко застонала.

Кровь. Моя кровь. То розовое было кровью. Моей... Стало быть... Да, да!.. Рубаха, она прилипла ко мне от крови.

Кровь! Живая. Липкая. Настоящая.

Что-то кружится. Я теряю сознание.

Они несут плащ-палатку: начальник, радист, конвоир и немец. Лицо у немца влажно от снега. Нет, кажется, это от слез. Он — баба!

Больше мне не надо бежать. Ноги... А пусть болят себе на здоровье! Мне можно лежать спокойно. Ноги могут болеть.

И вот я лежу как барыня... Как... как английская королева.

Кровь. Плащ-палатка. Немец. Зигзаги. Надо бежать зигзагами. Ватник. Кирзовые сапоги...

12

С того места, что ли, мне продолжать, когда с руками, покрытыми ранами, с ногами, которые едва ступали (с ногами, обернутыми в портянки и вбитыми в сапоги), когда каждый шаг — страдание, каждый шаг — усилие, рывок, я выехала в военный санаторий на юг?

Это было после того, как окончились боевые действия на Северном флоте, после того, как нами было взято Петсамо.

Нет! Я начну сначала.

«Взятие» началось с глухой и полной темноты. Полярная ночь. Зима холодная, особенно по ночам, черная, страшная, ледяная, чертоги холода, земля замерзшая, белая, как бы рассеченная темными огромными камнями разной формы, разной величины. Снег и ручьи, невесть откуда взявшиеся (до сих пор понять не могу!), земля с замерзающими озерцами, в которых бьется нетронутая рыба (а как ее тронешь?! — сидеть и удить под пулями, так, выходит, что ли?..).

В этой зимней тьме, в которой тонули очертания землянок, на грязной от снега горе, истоптанной ногами людей, у порожка этого медсанбата, где вместо ступенек была проложена тонкая досточка (как это на нас похоже — за столько месяцев не сделали лесенки!), у этого порожка, в этой землянке, во мгле ее — нам стало известно о наступлении.

Во мгле. ибо даже сквозь слюдяное окно не проникал свет, казалось, весь мир стал тьмой — мир, пронизанный пламенем двух коптилок, пламенем жалким и вспархивающим от дыхания человека.

На полу носилки. На носилках лежали раненые. Они были ранены тяжело. Если б легко, если бы выносимо, они бы встали, пошли к берегам Баренца, шатаясь, падая, вставая, борясь, поддерживая друг друга, преодолевая страдания, как свойственно преодолевать его человеку русскому — терпеливому безмерно и беспримерно. Они бы шли, шли... Но они были ранены тяжело. «Под дужку». Под самую смерть.

Светились в темноте их глаза, раздавались тихие, замедленные, безнадежные стоны. Наступление! Здоровые и целые пойдут к Петсамо (к Печенге), а раненым надо в обратную сторону: к Баренцу, к его судам — в госпиталь.

Наступление — это важно, важнее, чем жизнь, потому что война, потому что окончилась оборона.

Оборона! То есть ожидание.

А нынче — вперед! И теперь — наконец, наконец-то! — на другую сторону хребта. А они вот — они лежат и беспомощно стонут.

Раненые стонали на носилках, устилавших пол. Они были одеты в дорогу — в теплых меховых шапках, в стеганках.

Шум в землянке, разговоры, и — пах-распах! — раскрывается дверь и в эту дверь — ветер. «Ветер-ветрило, не дуй мне в рыло».

Гуськом, шагая один за другим, мы движемся (наша группа) вперед, в ветер, в ночь, в слабое звездное сиянье, во мглу, в камни, в шершавые скалы.

Поземка. Неведомо откуда она взялась, ведь снег слежался! Поземка колет лицо, но не жалуйся даже и про себя, не смей замечать, ты идешь в бой.

Внизу ручей. Через бурный поток, светящийся странным сияньем, более светлым, чем густая чернота ночи, проложена досточка.

Вперед! Вперед!

Перешли. Только ты, идиотка, копаешься — шаг твой короток и неловок. Росту в тебе сто пятьдесят три сантиметра. Нога — китайская. Номер ее — тридцать два. А сапог на этой ноге — номер тридцать шестой... Валяй! Порхай! Перепрыгивай! Действуй!

Досточка скользит у меня под ногами, снизу, под ней, вода. Я канителилась, канителилась... А война между тем шагала вперед. Бои. Наступления. И вот я возьми да и бах в ручей!

— Чтоб вы сгорели! — Так мне крикнул радист.

Но от холода не горишь. И в воде не тонешь.

Насквозь промокли моя ватная куртка и кирзовые сапоги.

— На-а-аказание на наши головы. Все сначала!.. — Это опять радист.

Я шла. Я шагала безропотно, измокшая. Не я: «наказание на чьи-то головы».

Выбрались и пошли по снегу. И по камням. Вода пронизала мою одежду, проникла к телу, а так как на мне очень много всего навьючено, я не просохну скоро, нет, нет! Я навечно промокла. Человек в ледяном компрессе. Храбрый воин в ледяном компрессе.

А вокруг — ночь. Тундра и наступление, которого мы ожидали так долго, мы его ждали, и вот — пришло.

Чудо свершилось, из всех земных чудес наиболее чудесное!

Нет! Мы, разумеется, не на небе, я не в гостях у северного сияния. Я на другой стороне хребта, там, где так долго стоял противник.

Месяцами — в пургу, холод и стужу! — держали мы оборону под пулями немцев, под взрывами его мин. Мы стояли: держали горы, держали камни, держали тундру, держали ветры, держали лето, держали зиму, держали подходы к городу Мурманску и только жизнь свою не держали. Нет — это добро мы отдавали, и тратали, и швыряли, и дарили его земле.

Мы хотели победы.

Только что неприятель был близко, был рядом, по другую сторону гор, по эту сторону Тунтурей — здесь стоял фашист, непостижимый в непостижимейшем из безумий, он притаился, был туточки, как в кошмарном сне. Разведка боем, разведка подслушиваньем. Меня спустили вниз на канате. Канат держали старшина и двое матросов — подносчиков нашей аппаратуры. Я повисала между землей и небом, скрытая от немцев скалой. До меня долетала немецкая речь, их возгласы, смех. Но я ничего не слыхала. От страха. Только удары своего изо всех сил колющегося, трусливого сердца.

— Ну?.. Чего?!

— Ничего.

— Зачем же ты предложила это?

— Они... Они хохотали и пели. И... ничего военного. Как назло!

— Ври больше!

— А я не вру!

Шагая свособком во мраке, в стуже, в ветре, в россыпи звезд, мы... мы... мы... свободно, спокойно проходим на эту, на заколдованную сторону хребта.

Землянки пусты.

Волшебная лампа Аладдина! Заколдованная пещера! Враг ушел. Драпа-анул!

Все здесь будто бы не тронут. Все хранит следы недавнего присутствия, прикосновения фашистов.

Кровати.. Неслыханно... Койки, похожие на кровати. Застланы со всей тщательностью, с которой это делают дома.

На кроватях поверх одеяла рядом с большой подушкой — другая, маленькая. Потом я узнала — у немок (у их рукодельниц) обычай: посылать своему солдату на фронт небольшую вышитую подушку. Над кроватями (то бишь койками) коврики. У окон землянок столы, окруженные табуретками. На столах кувшины. И кружки. И... неостывший кофе! Он был почти горячий — они его собирались пить, когда пришло известие об отступлении. И кофе остыть не успел.

Это примета из области волшебства.

Многочисленные ожидания. Ранения. Холод наших землянок со щелястыми стенками, забитыми ватниками. Наши печурки с их желтым, с их желанным, слабо разгорающимся огнем; испарения от мокрых портянок, развешанных над печурками, облако горьковатого пара...

И эта благоустроенность! И этот кофе в фаянсовых кувшинах, и эти аккуратнейшие ступеньки, ведущие к их землянкам.

Консервы! Много консервов: сардины и мед. И вино. Сколько у них на продовольственном складе вина! Вина хороших марок — со всего света. Их склон Тунтурей — не наш. Их склон сливался с шоссе. К ним по шоссе действительно прибывали грузовики. На их стороне

кусты и деревья, белые, заснеженные. На их стороне Тунтурей была жизнь земли, которой не было у нас.

Так вот откуда вы слушали передачи, так вот какая у вас война! Половички! Подушки!

Так вот отчего мы выиграли войну! И никакие учебники тактики и стратегии не уверят меня, что это было не так, что мы выиграли ее по другим причинам. Для нас война — я знаю — бросок, когда все отдаешь — сердце, горло, внутренности, согнутые колени. Ржавый сухарь, кровоточащие десны, горячую, плохо сваренную овсянку, от которой во рту шелуха... Нам невозможно было доставить ни пищу, ни боеприпасы — равнина обстреливалась. Наша часть тундры лежала у них на ладони. Но мы — победили.

И вот мы геройствовали сейчас по эту сторону Тунтурей. И я геройствовала в своей мокрой одежде, забыв о ней в том состоянии подъема, когда все на земле не в счет.

...Вот их медицинская часть. Раскидав ноги, лежит на столе огромный раздутый немец. Гигант. Страшно к нему подойти. Это дом — помещение, жилье. Не землянка. Смерть принимает здесь обличье нормальной смерти — здесь она не смерть на равнине, на поле боя.

Ушли и не унесли с собой своего умершего.

А мы унесли бы! Мы бы несли его, рискуя собой, вставая и падая от напряжения. И мы бы его предали земле.

Наш старшина открывал консервы, доставал где-то хлеб, наливал нам в кружки вина — он был хозяйственный человек.

И тут-то я совершила свое единственное за время войны преступление, караемое законом, безумие, за которое я бы могла попасть под трибунал.

Ничего не сказав начальнику, я набрала в карманы, в брюки, за пазуху десять бутылок с вином.

Перебежать. На другую, на нашу сторону Тунтурей...

Мне взбрело это в голову потому, что ночь, а ночью мысли у человека пьяные — вспархивающие, пузырчатые.

«В нашу землянку... На-зад...»

Это было как наваждение.

Наш склон. Землянка санбата. В окно чуть брезжит красное зарево.

У коптилки, пододвинув к столу табурет, сидит медсестра.

— Кружку, Саша! Скорей!

— Ты что? С ума сошла? Зачем ты вернулась?

— Саша-а-а! Кружку!.. Сашенька, помоги. Давай раскупоривать.

— Ты взбесилась!

— Скорей!

Булькает и пенится бордоское, выливаясь в кружку, пенится соком винограда, запахом спирта, блеском солнца, багрянцем крови.

Жадно и благодарно пили раненые вино — быть может, перед смертью, быть может, перед уже разгорающейся гангреной. Они пили, хлюпая, как дети малые хлюпают молоко. В вине родилось солнце — южное солнце той части земного шара, где зреют волшебные виноградные лозы.

— Пейте, ребята! Вино хорошее. Очень даже хорошее. Это Франция.

— Спасибо, сестренка.

— Молчи и пей.

— Где вы были? Куда вы делись? — спросил меня мой разбушевавшийся маленький капитан.

- В соседней землянке.
- Неправда! Вы провалились в тартарары! Из-за вас... из-за вас... Чем все это кончится?! Я... меня под трибунал... С меня погоны сорвут!
- Но ведь я рядом была. Надо было только меня позвать.
- Мы звали!
- А я... я от счастья и от волнения не слышала. Я оглохла.

Мы спускались вниз с хребтов в таинственной, освещенной мерцанием снега темноте ночи. Внизу лежало шоссе — та обетованная дорога в Норвегию, о которой мы столько слышали и думали, сидя по нашу сторону Тунтурей. Шоссе вело к Петсамо — нашей старинной Печенге. Ее нам и надо было освободить.

Сколько раз, сидя по другую сторону гор, я пыталась выкликать эту живую землю.

И вот мы по ней шагаем. Над головами нашими звезды — холодные и такие бледные в печальной высоте неба. Казалось, будто морозный разреженный воздух можно пощупать руками. От дыхания пар. Тундра спрячет его, запрет, «захочет». Холодная, немая, огромная — она заколдованная, если захочет, она сумеет его сберечь.

Впереди на шоссе нас ждала машина, прозванная «вещалкой». «Вещалка» не могла перевалить через горную цепь, нам предстояло ее разыскать в дороге.

Вниз, вниз...

И вдруг я остановилась: увидела дерево. Ель. Живую, игольчатую, покрытую снегом. Сколько месяцев мы не видали деревьев! А правда ли это, будто на белом свете живут живут деревья?

Вот — она. Ель. И еще одна.

Я услышала щебет птицы. Птица? А разве на свете бывают птицы?

На шоссе мигают точки огней, костры.

Огонь! Знак присутствия человека.

— Вперед!

Белый, странный, потусторонний свет разрывает равнину и темноту. Это «катуши», наши «катуши»!.. Пронзительно-страшен их рокот в великой тишине ночи.

— Ложитесь!

Мы падали.

— Встать!

Мы вставали.

— Бежа-ать!

Мы бежали.

— Встать. Лечь. Встать. Лечь.

Мне доставляло удовольствие падать и, лежа на животе, отдыхать на снегу.

— Лечь. Встать. Лечь. Встать. Лечь. Встать.

Потом начальник мне говорил, что я проявляла трусость в поспешности, с которой падала в снег.

С наслаждением, как ребенок, падала я на землю, почти зарываясь в снег носом, когда все вокруг озарялось белым сиянием. Я была одновременно и снегом, и озарением, и чернотой, и холодом и, как всегда, боялась своего маленького начальника. Я трепетала перед начальником. (Во время войны начальник всемогущ, в его руках нечто большее, чем твоя жизнь, — твоя честь.)

Палило. Долго. Бело. Нескончаемо.

Вот наконец-то и наступление!..

«Катуши», вступившие в строй, прогнали далеко вперед обезумевшего противника.

Когда пишешь сегодня об отступившей войне, многое тонет в поэтической дымке прошлого.

Многое я забыла, многого не умела понять.

Оглядываясь, я вижу будто во сне конец нашей белой дороги, вижу древнюю русскую Печенгу.

Пока до Печенги докатил наш автобус-«вещалка»... Одним словом, морячки уже получили свои сто граммов.

Много ли надо ребятам? Особенно молодым. Над нами, надо со- знаться, здорово издевались, что называется, на полную катушку, в полную власть и сласть.

Известно, что люди вообще не отличаются самостоятельностью мышления — один заражал другого. «Выпустите-ка на улицу свою де- вушку. Пусть она нас разложит. А кого вы приблизительно разлагае- те? Кого вы намерены разложить?»

Далеко угнали немцев наши «катюши».

Мы сидели в автобусе и молча ели хлеб с кусочками шпика. Скамьи в автобусе были заняты проигрывателем, пластинками. Стар- шина вынимал из мешка (условной чистоты) фаянсовые кружки. Он прихватил их с собой на отвоеванной стороне Тунтурей (хозяйствен- ный человек). Напились воды. Хорошо. Порядок.

— На кого вы похожи? — удивившись, вдруг спросил меня ка- питан.

Интересно, на кого я могла быть похожа — нечесаная, спавшая на полу, вывалявшаяся накануне ночью в грязи, измокшая в ручье, не снимавшая ночью сапог от страха, что утром не смогу их натянуть на ноги?

На кого я была похожа?! На призрак войны, на призрак молодос- ти — я со своими грязными, потемневшими, обветренными руками, много раз обмороженными, деформированными, кровоточащими.

«Вещалка» вздрогнула и остановилась. Вздрогнула радиоаппарату- ра. От резкого толчка повалился на пол какой-то мешок. Что-то звяк- нуло, тренькнуло.

Мы вылезли из автобуса и вошли в первый встречный дом. Пер- вый «военный» дом на военных моих дорогах.

В сенях еще стояли ведра, наполненные водой (здесь не было во- допровода), в спальнях — распахнутые шкафы. Все в шкафах, несмот- ря на страшную спешку, мелко изрезано, чтоб не досталось русским.

А на столе в столовой или на кухне все те же уже знакомые нам фаянсовые кувшины, в них кофе, на ощупь еще чуть теплый, и недо- еденный, но надкусанный хлеб.

Вымерший город с елками, с колокольной католического собора посреди ухоженных, чистых улиц, с уборными, вынесенными за пре- делы домов, — уборными с занавесками, полочками, пипифаксом.

На мостовых валялись знамена. А вот матросская фланелевка не нашего образца и рядом тут же на мостовой — старомодное женское бархатное платье.

И вдруг — звон. Это кто-то забрался на колокольню и принялся изо всех сил лупить в колокол.

Окна домов смотрели пусто и удивленно на эти улицы, по кото- рым медленно ехали брошенные в наступление и уже ненужные тан- ки. Содрогалась земля от их тяжести.

...А далеко, там, в конце белой улицы, в черной шинели, худой и высокий, стоял адмирал, блестя золотым околышком. Он стоял непод- вижно, сняв черные перчатки...

Кончились боевые действия пехоты на Северном флоте. Страна дала за нас двенадцать залпов.

...Четвертое обморожение рук, ног.

Я лежала в госпитале, в огромной палате, пытаюсь вычитать на полке, высоком и белом, истину о жизни и войне, о смерти и молодости. Лежала. Умнела. Серьезнейшее занятие.

Однако... к столу! Из тишины кухни, из утреннего страха перед белой страницей — страха, свойственного не мне одной, а многим писателям...

К столу! К делу!

Мне, понимаете ли, хотели оттяпать правую стопу из-за незаживающих ран четвертого обморожения.

Это не особо значительная ампутация для человека мужского пола. Но для женщины, молодой («для девушки»), с высшей степени неплохими ногами (в этом свободно можно признаться за давностью лет... В те времена, скажем к слову, еще не входили в моду ноги патологической длины, нарушающие естественные пропорции тела человека)... Ампутировать ногу хотели (то есть не хотели!) хирурги наипервокласснейшие, ведь я лежала в госпитале Полярного (не на передовой).

При любых обстоятельствах задача врача — сохранить жизнь. Хотя «оттяпывать» для этого ногу нежелательно...

Хорошо. Ну а рожица?.. А глаза, напряженно глядящие прямо в глаза врачу со скрытой покорностью, с кротостью лошади?.. Нет, пожалуй, собаки. А худоба? А хрупкость?..

Между прочим, врачи, они тоже люди, с людскими слабостями. Люди. Отцы. И матери. И — война! Где дети хирургов? Сыты ли? Целы? Одеты ли или, может, мерзнут, как мерзла вот эта девочка?

Чьи семьи во время войны проживали в хрустальных дворцах? В чьих снах мелькали ковры-самолеты, переправляющие детей в те местности, где не было затемнения?

Палата, в которой лежала я, естественно, была палатой для женщин. Раненых мало — ведь не передовая, а база флота, Полярный. Женщины... И все больше с рабочими травмами, с заболеваниями терапевтическими, гинекологическими и прочая.

Выходило, что вроде бы женским объектом с передовой была только я одна. Да еще вдобавок с виду подросток — юнга. Девушка. Человек из большого города.. «Объекту», как полагали врачи, еще следовало «устраиваться», выходить замуж, рожать детей. И вдруг — вот те здарсьте! — долой стопу.

Меня осматривали (вернее, не меня, а мою злосчастную ногу) по нескольку раз на дню!.. Осматривали ее с — ай-люли! — какими веселыми лицами.

Выходило, будто врачи развлекаются. И кто только в то время не обозвал меня (то есть «объект») голубчиком!

А «голубчик» дремал. Канючил. Выспавшись, принялся эксплуатировать окружающих — затребовал из центральной библиотеки Пруста. Пруста, видите ли!.. И при этом желательно, чтоб на французском, а не на русском языке.

В госпиталь тут же направили библиотечаршу.

Пруст был доставлен «раненой». Правда, на русском, не на французском.

«Раненую» навещал старшина команды. Сидел у койки, не знал,

о чем говорить, потихоньку кричал. Приходили матроски (матросы-девушки). Причесывали, умывали, норовили накормить с ложечки.

А спас меня от ампутации, между прочим, врач-психиатр.

Ее имя Александра Павловна. У нее была четырнадцатилетняя дочь. Девочка застряла в тылу, мать не знала, жива ли она, не имела о дочери никаких вестей.

Психиатр зашла в палату как бы затем, чтобы тоже слегка развлечься.

Поговорив со мной, она рассмеялась в лицо хирургам:

— Да пошлите вы ее в санаторий. На юг. Поняли? Она южанка. Солнце! Вот ее лекарь! Там затянутся раны сами собой... И опять-таки жестокий авитаминоз. Что вы и кто вы? Дети или врачи-хирурги?

Как я добралась до юга, история особая. Через две недели, однако, с быстротой, возможной лишь для очень стойкого организма, мои раны зарубцевались.

Нога была спасена.

Болезни профессиональные... У машинисток — суставы рук. У горняков — легкие. У врачей — сердца.

Судьба! Поскольку это люди самой человеческой в мире профессии, валяй, позаботься о них! Заклодай! Охрани и обереги!

Помнится, в госпиталь врачи привозили мне из Мурманска рыбий жир.

С каким трудом они его добывали.

Я не могла дождаться, когда мне дадут рыбий жир. Я гила его жадно, мечтала о следующей ложке — ничего вкуснее, мне не жжется, я за всю свою жизнь не пила.

— Что ты там читаешь на потолке? — спросил меня как то раз старшина.

— Я хочу и буду участвовать во взятии Берлина.

Над моим «заявлением» о Берлине потешался весь госпиталь, его передавали друг другу из уст в уста. Надо мной трунили: «Решила податься в Берлин?»

Смеяться смеялись. Но не учли одной существенной мелочи. А именно: моего характера.

15

Долго ли мне «прохлаждаться» на юге, когда наши рвутся к Берлину? Неровен час, его возьмут без тебя. И ты... ты останешься с носом.

Так я думала, засыпая там, в санатории, где в южном небе ярче звезды, где в траве под вечер тихим светом загораются светляки. Море! И не какое-нибудь, а Черное. Родимое море. Мое! Мои берега!

И все-таки, засыпая, я думала о Берлине. Думала об этом всерьез, без всякого юмора. Убивалась от беспомощности и бессилия.

Выписавшись из санатория досрочно, я прибыла в Москву (как известно, все дороги — через Москву).

В Москве я воспользовалась правом любого военного обратиться с частным письмом к любому большому начальнику.

Это отступление от дисциплины нам было разрешено.

Счастлива поведать читателю, что прекраснейший этот человек жив. Он в отставке. Проживает в городе Ленинграде. Военный очень

высокого звания, он вполне обо мне забыл. Естественно. Но я-то помню его и (что тоже вполне естественно) позволяю себе:

Товарищ адмирал!

Я обращаюсь к Вам с письмом из дальности десятилетий.

Вы... Вы оказались большого роста. И кабинет у Вас очень большой. В кабинете огромный письменный стол.

Помнится, войдя в этот кабинет, я робко остановилась у Ваших дверей. Я была в разутюженной морской форме. Пуговицы формы надраены. Китель — с белоснежным (хорошо накрахмаленным!) подворотником. В боковом кармане торчал носовой платок (нарушение морской формы). Мои военные полуботинки (номер тридцать второй) были очень ярко начищены. Я готовилась к встрече с Вами. И я — старалась.

Что-то при виде меня будто дрогнуло в глубине Ваших глаз.

Может, Вас охватило горькое сознание того, что сделала с нами война? Сознание великой своей вины — ведь Вы сильный, а не можете изменить того, чтобы женщина, то есть слабость, стояла у Ваших дверей и чтоб она была военной?

А может, блеснула в Ваших глазах простая и великая русская доброта? Быть может, Вы сын крестьянина? Я этого не знаю.

Помню только, к великому моему изумлению, увидев меня, Вы привстали, отошли от письменного стола и с учтивостью военного очень высокого звания пошли навстречу мне (признаться, легонько заколебавшись).

Вы шли очень медленно. Шагали тяжело, как бы задумавшись. Подошли, обхватили меня за плечи и повели к столу.

Каждый наш шаг был верстой. Километром.

Вы сказали:

— Садитесь. Слушаю.

И я заговорила.

Что-то безмерно трогательное, мужское и жалостливое было в серьезности, с которой Вы меня слушали. Вы не позволили себе улыбаться. Ваше лицо выражало изысканную учтивость, серьезность и напряжение.

Ваши добрые, милостливые глаза засекали на мне старательно начищенное: медаль «За отвагу» и орден Отечественной войны.

Может, Ваши глаза хотели кричать об усталости, об ответственности, в которых Вы жили? В Ваших глазах, мне помнится, было что-то такое (ведь и Вы человек, не так ли?). Грусть полыхала в глазах, как флаги, изорванные ветром войны.

Я сказала ледяным голосом подчиненного:

— На Севере военные операции для сухопутья закончены. Я доброволец. Хочу участвовать во взятии Берлина.

И у Вас хватило доброты не прыснуть и не спросить: «А то без тебя, полагаешь, мы его не возьмем? Так, что ли?..»

Нет, нет... Вы этого не сказали. Вы ответили:

— Ясно.

И позволили себе — в первый раз — улыбнуться.

Несмотря на улыбку, грустным все же было Ваше лицо.

Быть может, Вы понимали детскую пылкость и сумасшествие моего желания? И бессмысленность своего поступка. Но... ничего не поделаешь! — война. Молодые жизни, словно болотные огни, то угасают, то загораются ярким светом. И странствуют заколдованно. Так же принято угасать судьбам, то сливаясь в сплошной поток, то разъединяясь. Без этих огней не преодолеть ночи. Без них не бывать победам. Без отдельных судеб, без крошечных огоньков не будет палитры пламени.

Трагично и очень серьезно писали Вы что-то на листике, который вырвали из блокнота.

И вот теперь я пишу в ответ:

«Спасибо Вам, товарищ адмирал!»..



«...За период боевых действий в районе Фюрстенберга корабельная артиллерия уничтожила одиннадцать артиллерийских и минометных батарей противника, тридцать семь дзотов и пулеметных точек, подорвала два склада с боеприпасами.

24 апреля Фюрстенберг был моряками взят».



...И она, фрау Соббота, меня научила дружбе, и уважению, и тому, что в жизни нет штампа, который по-ученому называют «комфортностью».

Сам обо всем суди. Иначе ты лишишь себя права сохранить свою сущность пусть слабого, но все же человека. Ты лишишь себя великой любви к земле — к листьям, к воде и небу. Потому что ты не осмелился наперекор всему жить законами собственного сердца.

Комнату у меня убирала Элли. Стирала пыль, приносила воду для умывания, наливала ее в кувшины.

— Элли, где мне уменьшить белье, которое достали ребята? Белье велико, магазины закрыты и неизвестно когда откроются. Я не могу, пока суд да дело, ходить в этих огромных штанах и сорочках.

— Пойдите, пожалуй что, к госпоже Соббота,— ответила Элли.— Она шьет, и шьет хорошо... Это вон там, в конце улицы, третий этаж. Раньше внизу у них был обувной магазин. Большая такая витрина, стекло не выбито. Вы ее найдете, найти легко.

Мне помнится лестница, которая к ней вела. Эта лестница была переполнена уютной мглой и узкими треугольниками света. Что-то напоминало детство — юг, где я родилась, лестницу, где прыгала, перекакивая через три-четыре ступеньки. Та лестница, помнится, колыхалась от звона детских голосов. Мерещилось, что в этих детских воплях — свет, что все лестничное пространство пронизано светлой пылью.

Наклонив голову с двумя туго заплетенными косами, я себя спрашивала в те далекие дни: «А есть ли кто-нибудь на свете счастливей меня?»

Так я себя спрашивала тогда.

Внизу сквозь дверной проем «скучал» во дворе большое толстое дерево. Оно не было самым счастливым на свете. Нудно было ему, старому, с таким толстым стволом и высокой кроной, упирившейся в небо. Шелестели его листья. И все они были не самые счастливые. А я — была.

Внизу, под деревом мне отчетливо помнится кран. Из крана била вода, люди ее набирали в ведра. Вода все капала и капала. На земле образовалась большущая лужа.

Наше парадное переполнено витамином летнего воздуха, мглы, пылинок и дребезжания.

...И вот я в далекой Германии. Шагнула в парадное, и отзвук моих шагов вернул мне память о моем детстве, я увидела пылинки, перекачавшиеся в светлом луче.

За пределами Фюрстенберга стояли немецкие улицы, пылающие пожарами. Страшное, страшное, стра-а-ашное! — кресло паралитика посреди мостовой. Кресло толкала какая-то пожилая женщина. А в кресле — паралитик.

Не дома, не улицы, а стены пламени, лопнувшие оконные стекла. Покинутое людьми царство. Поля и — одинокий лошадеенок без матери.

— И-и!.. И-и!

Но вот шажок — и я в детстве.

Прохлада каменных ступеней, а на улице — весна, и клекот дерева, и шевеление травинок.

Медленно поднимаюсь по лестнице. Шагнула, зажмурилась.

...Помнится, когда мне было лет восемь, я стояла на балконе и в руках держала мамин деревянный грибок, на котором штопали когда-то чулки; его почему-то нельзя было брать и трогать. И вдруг грибок вырвался из моих непослушных пальцев и упал вниз с балкона.

Я поняла, что грибок разбился и все поггло, ведь он деревянный. Сердце забилось. Зажмурившись, я бежала вниз, чтобы не видеть то страшное, что случилось с грибком.

Сейчас под балконом я подберу его остатки. Но что-то внутри меня вопило, взывая к чуду: «Пусть грибок будет целый, целый!.. Я хочу, чтоб грибок был целый!»

Он лежал под балконом. Я села на корточки, наклонилась...

Грибок был цел! Не было на нем даже самой тонкой царапины.

Этот грибок сохранил мне веру в волшебство и чудеса. Навсегда. На всю жизнь.

И, знаете ли, чудеса сбывались.

Сбывались и будут сбываться. Я это поняла тогда, в темном парадном в городе Фюрстенберге. Во время войны.

...Поднимаюсь по лестнице к фрау Соббота. В Германии. Несу внутри своей шинели, под кителем, усталое сердце, но в нем бушует жажда чуда. (Я вспомнила тот деревянный грибок.)

Шла и шла. Дорога вверх казалась мне длинной. Я поднималась словно во сне, где все иррационально, логично и совершенно лишено смысла.

Я шла, наполненная предчувствием. И если глянуть вниз, в проем раскрытых дверей, там млела зелень — шевелились кроны старых деревьев и пропылившиеся травинки.

Верхняя лестничная площадка. Я стучусь в дверь.

Кристалл моей памяти, повернись к свету, вспыхни радугой, возврати мне ту старую немку, которая сделалась моим другом.

Я в Германии. Война. Германия разрушена по воле фашизма. Стоят поля, не засеянные хлебами. Над барками, над крошечными судами, застывшими где-то в заводах, под тенью ветвей, вырвались на волю дикие гуси. Совсем одичавшие. Сделавшиеся своими собственными предками. Бело летел их пух над водой. И куры зажили на барках. Они зажили там, они заменили собой людей.

Все кинуто, брошено, как в закодванном царстве, вместо людей — птицы, птичьи перья, летавшие так страшно и так свободно, так странно и голо, говоря о запустении и о войне.

А старая немка сделалась моим другом.

Не сразу. Нелегко это сделалось, оно просачивалось медленно, как вода, дробя камень.

По разные стороны порога стояли две женщины — одна старая,

Другая молодая, годившаяся ей в дочери. Стояли и сухо смотрели в глаза друг другу.

— Здравствуйте. Мне сказали, что вы можете пригнать по мерке мое белье?..

Она молчала. Она не ответила: «Здравствуйте». Спокойная, высокомерная. В мягких туфлях. Ее волосы были подобраны, аккуратно подколоты.

Не сказала «здравствуйте», ответила:

— Войдите, я посмотрю.

Из темноты коридора сухо блестели глаза — сухо, мертво, напряженно.

Потом я узнала, что у нее один-единственный сын. В тот час, когда я к ней пришла, ей было неизвестно, жив ли он или там, далеко в России, лежит в земле. А может быть, в плену?! Она никогда не узнала, что перед нею не молодая девушка. А мать. Две матери глядели друг на друга через порог. Готовые к ненависти... Но что такое «ненависть»? Будто можно заплатить всей Германией за смерть одного-единственного ребенка?

С утра до ночи она, фрау Соббота, о нем, о нем... На этом кафеле в кухне он когда-то играл. Кафель холодный. Она простудила здесь ноги. Давно бы надо переложить! Под этим окном он кричал ей: «Мутти» — и вскидывал голову.

Но все это потонуло, стерлось, он был таким, каким он стал — в военной форме, коротко стриженный, с простреленной ногой.

...Сухо глянула она на меня, офицера Советской Армии. Глаза блеснули. Как она нас ненавидит!

Я вошла в комнату.

Сколько раз потом эта комната вставала передо мной. Встает и сейчас.

Посреди комнаты старомодный квадратный стол, буфет, стулья. Окно. И словно мне такое окно уже когда-то виделось где-то, во сне. Вот из окошка — узкий переулок... Откуда я его знаю?! А я знаю его, словно это переулок моего детства. Напротив окна забор. Он выкрашен в серо-зеленое. Видны одуванчики. На стебельках.

— Вы сказали, белье?

— Да. Извините. Вот. У меня в планшетке.

— Хорошо. Это можно. Придите завтра.

Я двинулась к двери и вдруг отчего-то споткнулась. Она стояла у подоконника, обняв локти ладонями. Невозмутимая. Неподвижная. Старая женщина — старше, чем моя мать. Она смотрела мне вслед.

Я шла в своих плохо начищенных сапогах (мы нигде не могли достать ваксы), в своей темной шинели с протертым воротом и стершимися манжетами. Ее глаза смеялись. Я чувствовала это спиной. Не глазами видела, а чувствовала своими особыми «усиками» — нервами нервов, ловителями влаги, тепла и холода.

Я пришла к ней по поводу белья. Но между мной и ею стоял ее сын. И мой. Ее частично разбомбленный Фюрстенберг и мой Ленинград — город юности. Ленинград с замерзшими реками, с обледенелыми санями, на которые выкатывалась вода из ведер. Мой теперешний город. Мой город — крик! Мой город — смерть! Мой город умерших детей.

Когда речь о маленьком — самое горькое, что он не понимал ничего. Мы — понимаем. А он не понимал. Нет. И в этом непонимании — как бы высший укор, обращенный к нам, и каждый из нас безвинно как бы несет за это ответ.

Между нею и мной — ледяные равнины, угасающие юные жизни, раненые, которые стонут, хлебная из кружек вино. Каменные сухари, обмороженные ноги и руки, выплюнутые на снег зубы.

И вот — я здесь. Но я не счет ей принесла, не квитанцию, по которой ей надобно платить. А белье... И ноги, обутые в сапоги, старая шинель, которой случалось как одеялом укрывать меня спящую. Эта шинель — она еще была моей матросской шинелью. А потом к ней пришили погоны. Шинель из лохматого материала, с темным и жестким ворсом. Не манто от Пакена. Нет. Всего лишь флотская шинель. Она говорила о том, чего мне не досталось, и обо всем, что досталось мне: и мне и ей.

И я и она, мы помним и о тогдашних дорогах Германии, и о ребенке на тонких ногах посредине поля. Голодный. Не понимающий ничего. Мы помним об одичании, о птичьих перьях над брошенными катерами, об угнанных людях, запрудивших дороги и возвращающихся домой.

«Мы идем, мы идем, мы идем. Голландия. Франция. Мы вырвались из-за колючих проволок, мы покинули немецкие фермы. Мы — батраки, мы — полуголые, в деревянной обуви, в обуви рваной. Мы идем, мы идем! Идем!!»

И нет конца живому потоку: головы, плечи, дыхания.

И все это — моя шинель! Шинель, потертая у ворота. Шинель с лоснящимися локтями.

Мантия королевы! — шинель, служившая в боях.

Не своей волей я к вам пришла. Это вы захотели, чтобы я мерзла в снегах, чтоб я глядела ночью широко раскрытыми глазами на потолок в палате военного госпиталя; вы этого хотели! И вот: все это моя шинель.

Сапоги мои не заказные, а те, что нашлись на складе для такого маленького матроса. Но я дошагала в них до Германии, до вас, фрау Соббота, до города Фюрстенберга.

Нет у меня манто! Но есть потрепанная шинель.

И я... Первый раз за время войны я заплакала. Я заплакала, позволив себе эту роскошь, потому что теперь нам стало полегче...

Я шла по коридору. Я плакала. Мои плечи дрожали.

— Что-нибудь с вами случилось? — спокойно спросила она.

— Да. Случилось. Сегодня ваш бургомистр спросил, почему у меня такая потрепанная шинель. Он сказал, что это неженственно. Должно быть, много женственнее газовая шинель. Из органди, не так ли? Я укрывалась этой шинелью на Севере. Но следующую шинель я справлю себе из шифона... Видите ли, я родилась, чтоб ходить в шинелях. Счастливые рождаются в рубашке, а я — в шинели!

Слезы высохли. Я стояла, прижавшись спиной к стене. Я чувствовала, что из моих глаз рвется бешенство. Но лицо было все еще мокро от слез. Руки мои дрожали. Я не вытирала слез, чтоб не выдать, как дрожат руки.

В коридоре горела тусклая лампа — свечей в пятнадцать. Старая женщина смотрела на меня исподлобья.

Надо напомнить, что я была похожа на девочку.

— Да... Люди злы. Очень злы, — с запинкой сказала она. — А на свете — войны! Сколько все натерпелись горя. Знаете ли... Оставьте мне вашу шинель. Я попробую подчернить воротник — там, где стершийся ворс, и... ну да... это тоже можно попробовать... Я подновлю манжеты.

Голос был тихий, ровный.

— У вас есть кто-нибудь на войне, на фронте? — спросила я.

— Да. Сын. (Коротко. Почти зло.) В котором часу вам удобно завтра зайти за своей шинелью?

— А... а сколько у вас сыновей?

Молчание.

«Сколько у вас сыновей?!» Будто это имеет значение для тех, кто родит детей.

Всегда один, сколько бы их ни было на фронгах. Один-единственный. Незаменяемый.

Даже если их десять. Каждый сын — это сын. Для материнства подлинного, для настоящих матерей.

— Готово,— сказала она, выходя из кухни и вытирая на ходу руки. Мы прошли в комнату. Она сняла с распялки мою шинель, встряхнула и подала ее мне. Я глянула в зеркало и от радости порозовела. Воротник и манжеты были в порядке. Шинель отутюжена. Я поглядела на нее и сказала:

— Данке.

— О-о-о! — ответила мне она. Выражение ее улыбки, чуть тронувшей сухие губы, сказало, что я ей нравлюсь, что ей меня жаль, что она видит во мне ребенка.

Я скованно рассмеялась.

Непонятно было, однако, как с ней рассчитываться.

18

...В Фюрстенберге две комендатуры: одна армейская, другая флотская (морская).

Флотский комендант — товарищ Пауль, майор.

У нас с ним своя история.

На этой круглой и поэтому тесной земле до Германии мы с ним служили на Северном флоте (он был директором клуба Рыбачьего полуострова).

Возвращаясь в Полярное с Тунтурей, мы сделали в клубе ночной привал.

Клуб, как все на Рыбачьем, стоит посреди снегов. Его сени влажны, потому что тает снег на сапогах у входящего человека.

Я спала в сенях. Неудобно быть женщиной на войне, ты зачастую оказываешься бельмом на глазу у своих товарищей.

А куда им было меня девать?! Они спали вповалку на общем топчане, а я в сенях.

И вот я спала на каком-то невесть откуда попавшем сюда диванчике, из которого торчал волос (когда-то этот диванчик, видно, числился реквизитом).

Он стоял у самых дверей. Двери вели на улицу. Кто бы ни входил в помещение, в сенцы врывались клубы густого пара: морозный воздух тундры смешивался с теплым воздухом клуба.

Я так устала с дороги! (Ведь ходить-то мне приходилось быстрее других, потому что ноги короткие.) И я уснула, как только повалилась на этот диван. Спала в белых клубах морозного воздуха как в облаках.

Дело сделано. Мы возвращаемся на базу. Мне бы вот только в баньку! Не раздевалась около месяца: мы жили в одной землянке с мужчинами.

...Я спала в облаках. В небе. Мне снилась бесконечная тундра, полная перебежчиков. Тундра горела под солнцем, перебежчики покорно шагали за мной.

Хлоп-хлоп — это дверь.

Мне холодно.

И вдруг пришло тепло. Что-то тяжелое прикрыло меня. Чьи-то руки расправили на мне какое-то теплое одеяло (они расправили, как оказалось, доху).

Я лежала, повернувшись к стене лицом. Тот, кто меня прикрыл, видел только маленькое тело, скрюченное на диване, затылок и несколько тощих коротких кос. Косы были завязаны на концах бинтами (так меня — помните? — причесали девчонки в медсанбате, чтоб не сбивались жесткие густые волосы. Ведь мне было трудно их расчесать, руки изъедены морозом).

Доха. Тепло. Как зимовщик под снегом. Тепло дохи и чых-то рук. Это были доха и руки директора клуба — Пауля. Когда я проснулась, он прислал за мной вестового.

Майор был весьма длиннонос. Белокур. По-русски говорил с легчайшим акцентом (должно быть, эстонец или литовец). Он шепелявил. — Лозитесь на мою кровать. Вот здесь. У меня. Вы грязная? В чем же дело? Можно помыться. Владислав, принеси горячей воды в цане, в цане... Вот цан под кроватью. А чистую рубаху я дам ей свою. Забирайтесь в кровать под одеяло.

И я спала. Спала счастливая, мытая. В чистой рубахе. Спала в раю. На белых облаках из белых простыней.

...Снег, снег. Весь мир в снегу. В снегу наше небо. В снегу земля. Только сердце взяло и — бац! — растаяло. Растопилось. И сделалось лужей...

— Отчего вы плачете? — спросил майор, когда я встала и принялась одеваться.

— Па-па-грончики! Я потеряла патрончики. Вот револьвер. Оружие... А запасные патрончики я потеряла. И я... я боюсь своего начальника. Оружия не сберегла. А ведь начальник предупредил!

— Это не оружие.

— Я... я все равно его боюсь.

— Эка беда! Владислав! Иди в тир. Насобирай гильзы. Скажете начальнику, что это я вас учил стрелять.

Бывают же на земле такие умные люди! Вот! Вот они, мои патрончики...

И надо же, чтоб именно его я встретила на улицах Фюрстенберга! Не своим голосом я заорала:

— То-о-оварищ майор! Пауль, Пауль!

Мы обнялись. Он был высокий, длинный. Мои ноги повисли в воздухе.

— А?.. Что-о-о? Чего-о-о?

А ничего такого. Встретились двое. Североморцы.

И надо же, чтобы именно он оказался нашим морским комендантом в городе Фюрстенберге.

Теперь я спала на пуховых подушках из молока! Каждый вечер мне присылали две бутылочки кипяченого молока. И печенье. И масло.

...И он был не один, этот безмерно добрый человек. Помнится, там, на Севере...

Вот как обстояло дело.

В землянку на Тунтурах как-то к нам пришел генерал. Лицо у него было мягкое и спокойное, глубоко изрытое складками (но назвать их морщинами было никак нельзя). Выражение лица генерала выдавало в дальнем прошлом крестьянина. К тому же можно было легко догадаться по каким-то неуловимым признакам, что он вечный солдат, с самых, что называется, молодых лет, что военное дело, и только оно, его единственная профессия.

Он явился поговорить с людьми на передовой.

Присел у столика, поглядел в окно и принялся из кружечки попивать чай. Чай он пил вприкуску, обстоятельно и серьезно.

Напившись, задумался, обтер вспотевший лоб носовым платком. После этого начал медленно обходить раненых, справляясь о самочувствии.

— Ничего, герой! Обойдется. Скоро дернешь на танцплощадку. Дело, как говорится, ясное, молодое.

Лицо его выражало спокойствие.

Когда генерал слушал, губы его потихоньку жевали, все двигались, двигались; чтоб подчеркнуть внимание, он кивал.

Подошел к девушкам.

— Ну как, девчата, дела? — спросил он у снайпера Веры Коротинной.

— Э-эх! Товарищ генерал, — с обычной своей прямоотой отвечала Вера. — Если б вы только знали!.. Если бы я умела выразить...

Не о том она пыталась поведать ему, как часами неподвижно лежит в снегу, следя за врагом, замерев, держа в замерзших руках винтовку. Не о деле снайпера, не о деле военного человека, о чем-то гораздо более глубоком и сокровенном.

Он понял.

— Ты... ты все же того... человек, так сказать, военный, — отвечал он ей. — А жизнь, жизнь, она того... жизнь — борьба и сопротивление. Достоинство — это зеркало человека, крылья, так сказать. Поняла? Так что ты того... не робей. Держись. И повыше голову.

Он говорил ей это вполголоса, заглядывая в глаза, — для того, чтоб в ее сознание вошли не только слова, но и его сочувствие.

— Э-эх, — повторила Вера. И вдруг, откинувшись, прижалась коротко стриженной головой к его плечу.

— Ну-ну-ну, — солидно сказал генерал. — Распускаться никак нельзя. Неподходящая обстановка. Воюем. Впереди — враг.

И он рассмеялся хриплым баском, смехом человека, много-много всего пережившего.

Затем подошел к медсестре Саше.

Широко раскрыв голубые глаза, она объявила:

— С тех пор как из дому, в сухих сапогах не хаживала. Ей-богу! Забыла, что значит сухие ноги. Если б мама знала, она... она бы, ей-богу... Ну, не знаю, как выразить, но ей-богу!

— Ну, ну, ну, — с мягкой, нежной улыбкой ответил ей генерал. — Вернешься домой и справишь себе модельные туфли. Первейший сорт. Зашагаешь, как королева. Воевала! Герой, а в модельных туфлях. А ты знаешь, что это значит для нас, мужиков? Чтоб герой — и красавица? И опять же — ножки!

Саша всхлипнула. Ей, видимо, стало полегче. (Он заметил «ножки». А они были в сапогах!)

— А твоя какая будет фамилия? — спросил генерал у раненого.

— Моя? Прелуцкий.

— Ну?.. Как дела, дружище Прелуцкий?

— Дела ничего. Хорошие. Рапортую.

— Ампутация, стало быть?.. Того...

— А мне-то откуда знать? Я не доктор...

— Это правильно, — сказал генерал. — Ты вот что... Беспремерна женская жалость. И тебя, дружище, они полюбят. Им бы только любить! Это основное занятие ихнее... Так что порядок... А ты поправляйся. Бодрись.

— Я бодрюсь.

— И правильно.

Генерал опять подошел к столу. Он кивал и слушал.

— Все, пойду. Время позднее. Мне пора,— сказал генерал.— Я в Полярный.

...В открытые двери ворвался ветер. Двери захлопнулись. Генерал стал медленно спускаться с горы. Шел. Вслед ему глядело множество молодых глаз.

Он был староват и бежать не мог. Шел спокойно, твердо, не оборачиваясь.

Сняв почему-то шапку, держал ее сзади в скрещенных на спине руках.

Шел. Вслед ему стреляли. Он не убыстрял шага. Может, не под силу было ему убыстрять шаг — не молод. А может, из военного, особого суеверия (суждено умереть — помру). А может, это и так — для примера? Спокойствие, мол, оно и есть залог победы.

Шагал против солнца, поднимался все вверх и вверх, как бы врезаясь в небо. Все вверх и вверх.

Исчез не сразу. Уменьшился, будто сливаясь с воздухом. Шел передаваемой, крепкой походкой — походкой солдата-профессионала. «Что ж делать. Воюем. Вот, значит, дело какое».

Становился все меньше, уходил в небо. Исчез.

Умный был генерал. И опытный. Ничего не скажешь.

Исчез навсегда.

Я слыхала — вскоре его убили.

Но в моей памяти он почему-то слился с майором Паулем...

19

Я оглядываюсь назад по прошествии десятилетий, и жизнь в Днепровской флотилии встает передо мной постоянными окликающими, хватанием меня за рукав, отсутствием возможности скрыться, оглядеться, подумать. В те далекие времена я была нужна каждому: ведь это Германия, а я — ее язык. Надвигающаяся победа сливалась для меня с ощущением светлого неба, с пылью, поднятой на улице Флота трофейными машинами, с шевелением листьев, с немецкой и русской речью. Она слилась с возрождающейся жизнью деревьев, травы.

Растаяли тундровые снега, поднялась жизнь естественная, с естественными желаниями, с ощущением живого тепла и света моей собственной, как бы возрождающейся жизни. Мы побеждали. Я снова хотела жить.

Трудно было подумать, что станет с нами после победы. Казалось, каждый будет принят страной наподобие сказочного героя. Думалось, что война и те лишения, которые она потребовала от нас, никогда не забудутся.

Чаще всего мы представляем себе счастливое будущее как живую и добрую связь с людьми.

В те дни все, что станет с нами потом, казалось далеким, неясным, но обязательно счастливым.

Чем? Я, например, не могла на это себе ответить. Будущее для меня вставало растопившимся небом, потому что такой была жизнь на улицах Фюрстенберга.

Каждый оплатит твои потери. Их не забудет страна.

Как именно ей следовало не забывать о тебе?

Тогда я по молодости не умела себе на это ответить. Цветы тебе присылать, что ли, каждое утро? Пару-другую роз?

Кто пришлет? Тот, кто сам пострадал? Может быть, инвалид войны? Может быть, тот, кто лишился крова, жены, детей?

Война была горем народным. Всеобщим. Сколько же нужно земле за это вырастить роз всех видов и всех сортов?

Север... Там не надо было думать, что такое моя работа. На Севере я переводила и вычитывала листовки (а наборщики снова и снова наводняли эти листовки ошибками). В далеком северном прошлом я была диктором на сторону врага.

Если, зажмурившись, оглянуться, мой труд переколдовывался в равнину из снега; снег говорил о своем могуществе. Помнится, меня ослепляли его крошечные фонари.

А город Полярный, уже отступивший для меня в далекое прошлое, он вставал деревянным мостом. А там, за мостом,— почта.

Я грузила листовки, физическое напряжение, попытка быстро шагать, волоча на спине мешок. Я себя видела как бы со стороны: вот она — дура! А ноги-то, ноги! Обуты в огромные сапожища!

Огромными они не были. Сапоги казались огромными на моих коротких ногах.

Иду, а вдалеке — сопки. Их вершины высоко в небе, их контуры неотчетливы. Сопки словно бы улетают вверх, придавливая твердь неясными очертаниями.

Как бы ни было точно и просто задание, оно обязательно встанет из прошлого, слившись со всем, что ему сопутствовало.

Север — блеск солнца, обжигающего глаза, бедность земли, тишина. Вечность.

Там я была так долго. А здесь... Мы шли вперед, наступая рывком, рывками. В воздухе словно бы разносился победный марш.

Там я была на самой передовой (передовой сухопутья). Здесь не была на «передовой». В Германии я не плавала, не воевала на Шпрее и Одере на наших суденышках. А ведь, в сущности, лишь они подарили нам право на фразу: «Берлин... при содействии флота...»

Нашей базой для сухопутья был Фюрстенберг.

Моя роль: связь с немцами, то есть связи с населением.

Население убирало город. После сражений за Фюрстенберг мостовые были завалены камнями, щебенкой.

...Основной «контакт с населением» разворачивался около склада со старой мебелью — там мы хранили содержимое опустевших домов, стараясь хоть сколько-то сохранить его для немцев, которые драпанули, но возвратятся.

Это было распоряжением Москвы.

— Фрейлейн! Спуститесь, пожалуйста, вниз. Прошу!.. Взгляните, не попало ли на склад мое старое кресло. Красное. Плюшевое. Ручки — жесткие, деревянные. Хорошее, дорогое... Посмотрите, фрейлейн, пожалуйста... Я так привыкла к нему. Хорошее кресло.

Но признаюсь... Еще тогда, когда шлюзы Одера были взорваны и вода осела, а каменную землю засыпало битыми осколками (а мы флот, хоть и микрофлот, флот речной — глиссеры, катера-малютки); еще тогда, когда дороги были наводнены человеческими тенями и сквозь рваную одежду просвечивало тело, когда шел, и шел, и лился этот сорвавшийся поток — страданий, судеб народных, когда немцы еще стреляли из-за углов, из своих засад, когда еще валялась на земле в городке Фогельзанге матросская бескозырка, залитая кровью, и ветер играл ее лентами, а рядом выла собака, — еще тогда я дружила с одной молодой немкой.

Ее звали Кетэ. Кетэ Вольф. Ей было столько же лет, сколько мне, а может быть, немногим больше, и не была она антифашисткой, а была самой обыкновенной бабой. Никакой доблести — ни фашистской, ни антифашистской не числилось за ней.

Мы встречались на углу какой-нибудь улицы или во дворе какого-нибудь старого, заброшенного дома.

Что вы делали целый день, Кетэ? Должно быть, помогали убирать улицы от битого кирпича и стекол, надев на светлую голову косынку, а на руки рабочие рукавицы?

Во дворах было тихо. Город словно дремал в закатном свете. Небо вспыхивало и гасло медленно, осторожно. Ровный свет его переполнял улицы, переулки, ложился на черепичные крыши.

Беседка в глубине разрушенного двора полна теней — стоит, заколдованная.

Бредет по улице, в тишине, одинокий прохожий.

Дом покинут, заброшен. Удрали хозяева. Но еще лежат на кроватях перины, еще откинута вторая перина, которая служила немцам не периной, а одеялом.

На кухне на полках — кастрюли. На кухонном полу валяются стеклышки. Это осколки. Стоят, небрежно отодвинутые от кухонного стола, табуретки. А на столе, как всегда, кувшин.

Все заколдовано: брошенный дом, а на вешалке кухонные полотенца.

Уснула жизнь.

Дверь. И еще одна. Гулко эхо наших шагов в пустоте дома.

А на дворе весна, вечер.

В садике возле дома буйствует жизнь земли. Хоть и разрушена беседка, хоть и валяются на земле кирпичи, но прет откуда-то из глубины трава, деревья шумят листьями так тихо, листья словно бы делают зарядочку на своих тонких черенках.

Но самое удивительное, что во дворе в весеннее время созрела клубника. Из окон сверху она едва видна — красные редкие точки, но когда Кетэ ее приносит в подоле платья, клубника оказывается большая и очень сладкая — ранний сорт.

И цветы приносила Кетэ наверх и клала их передо мной с несмыслым выражением (боялась унизить свое достоинство). Незабудки и маргаритки. Внизу, во дворе, их целое поле-ковёр.

...Темнеет. Темнело. Все вокруг размыто тихими, нежными сумерками. Солнца нет. Но небо все еще светлое. Однако вот уже выглянула в его несгустившейся синьке первая звездочка. Хлопают от легкого ветра створки окон; взлетают на гвозде полотенца, вздымаются, опадают.

Мы сидим на табуретках, едим клубнику, молчим. Узнает ли Кетэ когда-нибудь о том, что лежит за моими плечами?

Нет.

Я никогда ей этого не расскажу. Не потому, что Кетэ немка. Нет, вовсе нет. Просто своей боли я словом не оскверню.

А Кетэ все говорит, говорит, говорит... Она говорит о любви. В ее белокурой прелестной голове, в ее серых глазах мужские образы. Она любила русского. Пленного.

— Как его звали, Кетэ?

Она колеблется:

— А вы не скажете никому?

— Разумеется, нет.

— Его звали Иван. (И вот теперь я ее предаю. «Его» звали Иваном. Тайна. Русский Иван. Кетэ изболита! И так, Иван...) Он доил корову и попросил у меня кружку, — шепчет Кетэ. — Мы стали встречаться. Прятались. Сперва на берегу Одера, потом вон там, в сарае. Я любила его. Я хотела в Россию. Мы прижимались друг к другу лбами, чтоб лучше видеть глаза друг друга. Мычали в хлеву коровы. Пахло сеном, дверь сарая была открыта, в дверь проходил ночной свет.

— Свет? Но ведь на дворе ночь, Кетэ?

— Нет свет! Свет ночи. Потому что небо светлей земли. Блестели в темноте его глаза. И я любила, любила. Мои глаза — это было все, что ему оставалось на свете, далеко от родины, от матери, от сестер. Он зарывался в меня лицом, как в теплую землю. Его угнали в Мюнхен. Я шагала неподалеку по той же дороге, по самой обочине шоссе. Шла и плакала, плакала. Я — любила. Четыре дня я успела быть замужем. Еще во время войны. Он был немец. Я... я думала, что люблю. Но разве это была любовь?.. Нет! Я приходила потом одна в сарай, где бывала с Иваном, и стояла на коленях перед открытой дверью, глядела в небо. Я лбом прижималась к балкам сарая. И... и еще наш Одер. Я, знаете ли, люблю Одер. Это ничего для русских, что я люблю Одер? По-настоящему люблю Одер. Я ведь здесь родилась! А на фронте наши солдаты все-таки были храбрые? Верно?

— Кетэ! Я была знакома только с вашими перебежчиками. И пленными.

— А наши солдаты сильно стреляли?

— Да, Кетэ. И в меня...

...Становилось тихо. Мы сидели у стола. На столе цветы, которые принесла Кетэ.

— Простите нас! Простите меня! — всхлипнув вдруг, говорила Кетэ.

...Дом темнел. Похрустывали сухими костями полы, ветер, влетая в окно, раздувал занавески и кухонные полотенца, все еще висевшие на крючках.

Мы выходили из дома.

Темно на улице. Кетэ хочет покувыркаться в траве. Занятие хорошее. Оглянувшись, я кувыркаюсь рядом в своей офицерской форме.

А потом мы обе лежим на теплой земле, прижавшись друг к другу плечами, в том необъяснимом непрактичном единении, которое называется дружба.

Нам обеим так мало лет!

— Кетэ, вы знаете фрау Соббота?

— Ту, у которой вон там, на углу, обувной магазин? То есть я хотела сказать, она раньше была хозяйкой этого магазина. Да. Я знаю ее. Месяца два я даже работала у нее приказчицей.

— Как мне с ней расплатиться? Ведь деньги сейчас не в ходу, а она на меня работает, перешивает белье, чинит форму.

— И вы не могли догадаться как? Продуктами!

На следующий день я, почему-то жестоко стесняясь, передала фрау Соббота молоко через Кетэ.

Во дворе фрау Соббота в углу стояла будка, похожая на будки наших милиционеров-регулирующих.

В будке сидел господин Соббота — пожилой, толстый. Он чинил обувь. В зубах у него были гвозди.

Кетэ поставила молоко на притолоку оконца и указала на меня смеющимися глазами.

Каждый день я носила фрау Соббота хлеб, молоко, все что только могла добыть. Она коротко говорила: «Данке».

Закрывать глаза, зажмуриться и нырнуть в прошлое — в ее теплеющую улыбку, в ее шаги, которые отдавались как эхо в темноте дома.

Мои шаги были жесткие, ведь я в сапогах (форма!). Ее шаги были легкие — потому что комнатные туфли.

Мы боялись пристально посмотреть друг другу в глаза. Боялись сказать друг другу лишнее слово, выдать друг другу взаимное расположение. Шла война. Я была офицером вражеской армии. Ее сын — солдат.

В душах каждой из нас, в сердцах двух женщин жило великое сострадание. У нее — к моей матери (о большем она ничего не знала), у меня — к ней...

Ведь я для вот этой немки — несчастный ребенок, девочка в форме. Ей, поглядывающей на меня исподлобья, хотелось бы для меня красивых туфель, платья, белья.

А мне — чтоб жизнь ей вернула сына.

И я вспомнила слова пожилого солдата, крестьянина, там, на далеком Севере. Мы шли с ним рядом сквозь тундру. Был день полярного лета. По нас стреляли. «Ничего,— говорил он мне.— Авось не убьют. Это еще смотря какой человек попадетя! Дойдем».

«А ты бессмертная,— говорил он мне.— Пусть за тобой шагает кто-нибудь детный».

«Я детный»,— робко отзывался какой-нибудь старый солдат.

«Ну так шагай за ней. Она колдовка. Она прикроет».

«Человек!...»

Солдат сказал: «человек».

А вдруг ее сын, сын этой женщины, фрау Соббота,— все-таки того... человек? Хоть немец, а человек?

И вот в один прекрасный день «человек» возвратился домой, к своей матери!

Не знаю, как это случилось. Не видела.

Ждала ли она его или уже перестала ждать?

Он шел, он ехал — к этому парадному, вот в этот дворик, где стеклянная будка, похожая на будку милиционеров-регулирующих.

А как открылась дверь дома, встречая его?

Ах да... Я забыла: дверь всегда была открыта.

Он толкнул дверь, мать услышала его шаги. Он был в сапогах.

Как я.

А что же дальше?

Крик? Или, может, молчание?

Не знаю. Я не слышала.

Прильнула ли ее голова к его замызганной гимнастерке? Заплакала ли она?

Я ничего не знаю о том, как восстают мертвые. Они восстают только в моем сердце и памяти. И снах. Годы. Десятилетия. А они восстают. И говорят: «Ма-ма».

«Человека» в первый раз я увидела во дворе. Он был в гражданском, поскольку война для него закончилась. Стоял посреди двора, подле отцовской будки, глядел на меня и улыбался.

Он был очень молод, лет восемнадцати — девятнадцати. Волосы белокурые. Рубашка сатиновая, выгоревшая от солнца. Увидев меня, «человек» чуть-чуть наклонил голову (так, чтобы, если я не отвечу, осталось загадкой, здоровался он со мной или нет). Я ответила.

Все в доме кричало, что он вернулся... Вот в передней его ботинки. Солдатские. Вот слышится со двора его голос — молодой, ликующий:

«Я ту-у-ут. Я остался жи-и-ив».

Однажды, когда я рассеянно выглянула в окно, я увидела, что в руках у него лопата. Он копал грядки.

Да. Детство. Конечно, оно бывает у каждого человека. Но ведь тогда я маленькая была, я думала — все на свете мое: земля, и дерево, и кран во дворе, и акации, и колодец.

— Утром, когда проснешься, пошарь под подушкой,— сказал мне папа.— Вот так. Поняла?.. Нет, нет... Не скажу! Перетерпишь, узнаешь утром.

Я еле-еле дождалась утра. Пошарила под подушкой, повторяя движение отца. В уголке, под подушкой не было ничего.

Я опять пошарила — ничего!

Задумалась. Пригорюнилась. Ушла в философские размышления — подняла подушку.

Под подушкой лежала коробка. Я быстро ее раскрыла. В коробке крошечное колечко. Золотенькое. С рубином.

Первое в моей жизни кольцо (первое и единственное).

Я надела его на палец и стала смотреть на него, растопырив пальцы. Рука с кольцом. Красотища!

Было рано. Все спали. За окном не спеша разгоралось утро. Во дворе трепетали сонно листья несчастного, по моим понятиям, старого дерева.

Встало солнце. Осторожно тронуло дерево. Я показала ему кольцо.

Солнышко побежало дальше. Залило желтым звоном темную крону и ствол. Коснулось старого дерева, всех его листьев. Оно их тронуло и побежало дальше, все дальше, дальше. Крона затрепетала под ветром — светлая, радостная, покрытая пятачками золота.

Начало светлеть небо. Синеву его разорвал ярко-розовый лучик, сгреб ее в свои ликующие дрожащие световые пальцы.

Рассвет! А у меня на руке — кольцо.

Кто-то пришел во двор, открыл кран, полилась вода. Этот кто-то стоял у крана, зевал. А вода все лилась, лилась. Выплеснулась наружу и стала — лужей.

Лужа! А у меня кольцо.

Сверкнула лужа.

По двору прошел человек.

Сегодня мне восемь лет! У меня день рождения. И у меня — кольцо.

Среди солнечной мути оживал город. Внизу сквозь нежные ветки дерева пробивался свет. Кое-где виднелись неровные арабески светящихся окон. Нет, это не электричество: это в стекле отражалось солнце.

Помнится, я прижалась к окошку лбом.

Все спали. Я стояла недвижная, широко раскрыв глаза, и смотрела во двор, переполненная русалочьей, что ли, мечтательностью. Короткие мои пальцы легли на стекло окна. На левой руке сверкало колечко.

В апреле мой день рождения. Апрель на юге — месяц цветов, сирени и роз. Весь наш дом переполнен розами и сиренью. И еще я помню — мороженое. И еще — кто-то сыграл на пианино «Молитву девы». И запах цветов — густой и терпкий. Хохот. Печенье в столовой. И мне восемь лет...

Апрель. Германия. Я проснулась и вспомнила... Да, да... В этот день.

Прибежала с нижнего этажа моя подружка, другая переводчица. Женья. Принесла цветы. И отрез.

— Вот пройдоха! Где ты разжилась? (Наверно, ей помогал Пауль.)

Фрау Соббота шила мне первое за время войны гражданское платье. Шерстяное. Узкое. С белым воротничком и клетчатым голубым бантом. Она обещала, что нынче платье будет готово.

А туфли? Как же так, в платье и в сапогах?

Яркий звенящий день. Все вокруг ликovalo (мой день рождения!).

Парадное фрау Соббота вспыхивало солнечными треугольниками, ложившимися на ступеньки лестницы.

Я осторожно толкнула дверь. (Ведь она же не закрывала входную дверь.)

— Фрау Соббота!

Молчание.

— Фрау Соббота!

Я тихонько прошла в столовую.

На столе — мое шерстяное платье. А рядом туфли! И вдобавок белье, расшитое розочками. И — цветы.

Стол именинницы. Вот еще отрез из пестрого шелка!

Чего только не доведется пережить военному человеку! Я стояла, опустив руки. Мне... восемь лет.

— Спасибо... Не знаю, как вас благодарить!

— Да полно!

— Ведь это праздник. Первый за всю войну.

Мне бы к ней броситься и обнять ее.

Но наша армия шла к Берлину. Я все же была не в силах поцеловать немку.

Повернувшись спиной к окну, стояла она и ласково улыбалась. Лицо ее было бледно (ей тоже в голову не приходило обнять меня и расцеловать).

— Поздравляю вас, фрейлейн лейтенант.

— Спа... спа... спасибо.

Мой день. День цветения. Апрель. День молодости. И солнца на улицах Фюрстенберга.

Как забыть? Не хочу забыть.

Вечером я принесла фрау Соббота спирту — мне его помог раздобыть комендант Пауль. В мой день рождения, надо думать, как следует напились ее сын и муж.

День рождения так день рождения!

Когда мы уезжали и я пришла попрощаться с ней, за мной шло шествие: Элли, Кетэ и Женя.

Мы ей несли продукты. Элли — большой мешок с не очень качественной мукой. Тогда все это представляло собой большую ценность. Горел Берлин. Наши солдаты, вынимая из вещмешков колбасу и хлеб, отдавали продукты немецким детям.

Свидетельствую.. Я-то свидетель времени. Слышите? Я — эпоха.

Продукты для фрау Соббота достал «благодетель» — комендант Пауль. Среди них было масло, роскошь неслыханная!

Мы шли по улицам Фюрстенберга. Шествие... Все оглядывались на нас.

Мы поднялись по лестнице. Мы толкнули дверь. Вошли. И в полном молчании: Женя — масло на стол, Элли — мешок с мукой, Кетэ — водку (обменный фонд).

Фрау Соббота стояла у входа в комнату. Не сказала ни слова, чуть улыбаясь, глядела на нас. На меня.

Она уже знала: я уезжаю.

— До свидания.

— Желаю вернуться домой... здоровой. К матушке. Выйти за муж. Любить...

...Движение легчайшее. Как рябь на гладкой воде. И... обе остались.

Не обнялись.

Этого мы еще не могли.
Всего лишь только движение — рывок друг к другу.
И все.
— До свидания.
— Желаю счастья.

21

...Среди прочих наук существует наука — стратегия, я имею в виду стратегию военную.

В этой науке принимаются во внимание численность вооружения, количество людей, которыми в данный момент располагает армия или флот, рельеф местности и многое другое, чего я не знаю и знать никогда не буду не только по той причине, что не проходила этой науки, но и по складу личности, то есть совершенного отсутствия способности к подсчетам. Мне эти способности не требовались ни в мирной жизни, ни на фронтах...

Но пролистав сегодня у своего рабочего стола книгу жизни, книгу войны, я бережно дотрагиваюсь до ее страниц.

Флот помогал сухопутным частям перебираться через водные переправы;

флотилия помогала армии в переправах с великим и даже поражающим искусством и мужеством. Об опасностях говорить не стоит: опасность для моряка была абсолютной нормой.

Мужество воевавших матросов оказывалось иногда сверхъестественным. Известно, что один из них, имени которого я называть не стану, поскольку это не очерк, довел свой глиссер до самого Берлина, раненный сперва в одну руку, потом в другую, а после этого в голову. Вел он глиссер один. Все на транспорте были мертвы. Однако вслед за глиссером волочился плот. На прицепе. На плоту стояли солдаты. Армейцы высадились на берегах Шпрее.

Глиссер уперся в сушу в центре Берлина, и довел его... мертвый моряк. Он умер, направив штурвал в последний раз и в нужную сторону. И глиссер дошел куда надо, управляемый мертвыми руками мертвого моряка.

Другого подхода к центру Берлина не было. Бросок. Здесь много решала оперативность.

Военные резервы флотилии, по существу, ничтожны. Но она, флотилия, должна была и могла проходить реки Одер, Шпрее и другие. Я не буду сейчас вдаваться в географические и стратегические подробности боев.

Пройти по реке может транспорт только речной, не морской — флот «москитный».

Его — то есть речные транспорты, «москитный» флот, — не раз доставляли к месту боев из глубины России эшелонами (сушей!). Речные крошечные суда всех видов, всех сортов и мастей.

Моя книжка ни в малейшей мере не претендует на то, чтобы стать учебником. Да и, кроме того, при моей технической некомпетентности я рискую наделать множество ошибок, неприятных для специалиста.

Мой рассказ не повествование о том, в какой именно мере мы, то есть флотилия, участвовали во взятии столицы врага.

Об этом расскажут другие.

Флотилия тоже брала Берлин. Вот и вся недолга.

Мы, то есть флотилия, участвовали во взятии Берлина так же, как части армии. Флотилия вышла на реку Шпрее, то есть в Берлин;

вышла, верней, ворвалась всеми силами мужества, умения и мускулов, отданных стране и победе.

Для такого технически неподкованного человека, как я, этот ответ во всех отношениях исчерпывающий. Чего с меня взять?

Для меня важны жизни, и только они. Важен хоть малый, хоть слабый, но взлет человеческого усилия — не поддающийся никаким анализам, никаким измерениям, стратегиям, тактикам.

Люди! Это они проходили реки со взорванными мостами; пересекали водные бассейны — фактически непроходимые; проскальзывали по рекам, где немцы взорвали шлюзы.

Однако спроси моряка:

— Ну, а как вы этого, черт вас возьми, достигли?

Моряк ответит:

— Извиняюсь, конечно, нельзя ли еще кусочек селедочки? Э-эх, славная водка. У-уф! Пошли помаленечку, что ли, за ваше здоровье, товарищ. И благополучие.

1973 год.

Передо мной — герой. Он один из тех, что врываются в Берлин на катерах. Я с трудом его разыскала.

Каким славным мне кажется лицо моряка — простое и доброе. У него недостает одного переднего зуба.

Герой доверчив, учтив, простодушен.

А понимает ли он теперь, когда прошло столько лет, что это значило — быть героем?

Думаю, о таких предметах он вовсе не размышлял и не размышляет. Он попросту носит звездочку.

Долг. Сражались, а если надобно — умирали. Дело такое. Нешуточное: фашизм.

Да он и об этом, пожалуй, не думает. Во всяком случае, не в таких торжественных выражениях. Глупое дело так рассуждать.

Воевали. Долг.

Сидит. Задумался...

Он (разъясняя):

— Штабных кораблей было двадцать пять, восемнадцать бронекатеров, двенадцать плотов — батарей, пятнадцать полуглиссеров. Армию, вернее часть армии, мы вели за собой на прицепах.

Я:

— На плотях?

Он:

— Да. Пожалуй что на плотях... Воды в реках, понимаете ли, на наше счастье, весенние. Кое-где высоко стояла вода, несмотря на то, что шлюзы, как вам известно, противник, конечно, взорвал.

Одер? Ну да, для нас он был наподобие канала: по Одру к Шпрее... Ведь Берлин — это Шпрее...

Воды — полые; берега — безлюдные, глянешь кругом — ни единого человека.

Я:

— А вы, если, конечно, можете, пожалуйста, поподробнее...

— Да я того... Я стараюсь. Чтоб поподробнее. Как было дело, так, стало быть, и докладываю... А вы записывайте, записывайте, чего ж.

Я:

— Ну хоть что-нибудь, пожалуйста, о природе!

Он:

— Э-эх. С моим удовольствием. Но, право же... Не знаю чего

сказать. Нам было не до природы. И все же, между прочим, уже зацветало на берегах. Конец апреля, начало мая. Для того чтобы очистить дорогу, приходилось бомбить каждый перекал на реке. Перекалы — в обломках. Мосты. Их, конечно, тоже взорвал противник. Смешно, но первыми прорвались к Берлину полуглиссеры. Команды на глиссерах всего ничего — по три человека (это если считать с капитаном). Но в деле они оказались весьма маневренными. Бывало, уже возвращаются, а мы по первому разу идем к Берлину. И... того... Поверите ли, наши матросы плакали, если на полуглиссере оказывался убитый матрос. Наши матросы становились во фронт и плакали. Извиняюсь, конечно.

Я (ледяным голосом):

— Где хоронили мертвых?

Он:

— На берегах рек. Не найти, должно быть, нынче этих могил.

Я:

— Сколько рейсов примерно бывало за ночь?

— А множество рейсов. Кто их считал. В берегах Шпрее — дзоты, это само собой. Враг не дремал, стрелял из укрытий. По нас. А как же? Здания, лежащие близко от берега, тоже того... встречали нас шквальным огнем. Довольно-таки интенсивным, надо сказать.

Я:

— Можно ли считать, что основной задачей Днепровской флотилии была помощь армии? Подвоз солдат к Берлину?

Он:

— А как же! Именно так.

Я:

— Что вы видели, когда подходили к городу? Что чувствовали?

Он:

— А то, что надо кое-как поторапливаться.

Я:

— Можно ли полагать и верно ли это будет, что «содействие флота» при взятии Берлина исчерпывается высадкой армии в центре города? Что главные маневры флотилии разворачивались на реке?

Он:

— Пожалуй что так.

Я:

— На Северном флоте тоже далеко не все принимали участие в морских операциях. Однако все воевали.

Он:

— А как же. Все воевали.

Я:

— Как жалко, что я не была ни на одном из плавтранспортов. Для того чтобы рассказать о маневрах москитного флота, нужно было вместе с вами войти в Берлин.

Он (удивленно):

— Да кто же это допустит, чтобы на военном транспорте — женщина? Это раз. А второе то, что там вовсе нечего было переводить. Переводить, как свистят снаряды, не надобно. Мы и так понимаем и понимали, что значит снаряд. Отчего же не понимать?

«На малых небронированных катерах и буксируемых пароходах небольшой отряд моряков-днепровцев перебросил в течение трех дней более шестнадцати тысяч солдат и офицеров в Берлин.

Подвиги моряков отряда полуглиссеров, их воинское мастерство и решительность в обеспечении переправ Девятого стрелкового корпуса в завершающие дни боев в Берлине достойны быть занесены в боевую летопись советского Военно-Морского Флота».

Я не умею и не хочу это говорить такими словами. Слов— много. Особенно в богатом русском языке. Но чувство, которое ведет мою руку, в этих строках.

Не умея быть хоть сколько-то военным писателем, я больше к тому, что сказано, не вернусь. Зачем?..

Каждый имеет право на исповедь, право взять в руку перо. Но не каждый вправе писать приказы.

Вот я их, стало быть, и не пишу. Я осмеливаюсь писать лишь скромную повесть о человеке.

23

Благословенна каждая могила безвестного; каждая ветка дерева над могилой безвестного; воды, вечно текущие — как жизнь,— в честь погибших воинов.

И нет за них возмездия, и нет им замены, и нет для них воскрешения, кроме как в дудочке пастуха, кроме как в вечных рожденьях и вечных смертях. Кроме как в горечи моих слез (ничего не стоящих) и в старой моей тельняшке.

Люди!

Если можете, если в силах, простите друг друга в честь подвигов войны и не кричите, пожалуйста, друг на друга в память этих свершенных подвигов в очередях за малосольной селедкой.

24

Не здесь ли место этим строчкам? Должно быть, нет...
Но странице хозяйка я.

Флотилия расположилась у Одера. Неподалеку от Одера был медсанбат. Берлин находился от наших армии и флота всего лишь в тридцати километрах. Подтаскивая резервы, мы готовились к наступлению.

В районе Кюстрина была крепость.

Русские предложили противнику, укрывшемуся под защитой крепости, сдаться. Немцы не приняли предложения о капитуляции. Мы были вынуждены приступить к штурму.

Когда крепость была взята, немцы тут же выбросили белые флаги.

И на что, на что они их только не повесили! На винтовки (носые платки), на столбы посреди двора, на палочки, палки...

Все вокруг запестрело белыми тряпками. Полыхали по ветру простыни, прикрепленные к амбразурам крепостных стен.

Тем из немцев, кто уцелел и был в силах ходить, предложили добраться до нашего медсанбата (он находился на территории мельницы).

Начальник санбата, хирург, по званию майор, сказал персоналу: — В данном конкретном случае я не имею права приказывать. Но

помните, что мы медики. Пусть каждый действует так, как ему подсказывают личные убеждения и совесть.

Сестры ответили, что согласны потренироваться на ампутациях.
Начальник:

— Тренируются в первый раз на мертвых, а не на живых.

Он тоже был ранен. Всего три недели тому назад. Рана у него на ноге еще не вполне зажила.

Первым майор осмотрел молодого рыжего немца.

Ранение предплечья. Рана грязная. С отеками. Стужки крови.

— Ампутация! — сказал врач. — В ране ткани одежды, кровь запеклась... Ранение не пулевое, осколочное. Если не примем меры, гангрена. Все.

Так он объяснил (через переводчика).

Раненый отвечал:

— Пусть я лучше умру, чем останусь без правой руки. Я рабочий. Без руки не смогу себя прокормить.

Хирург задумался.

— Хорошо. Подождем до завтра.

Раненому наложили асептическую повязку.

Пришло утро. В операционной сняли повязку. За ночь рана порозовела. Ткань стала жизнеспособной.

— Рассечение. Обойдемся без ампутации, — сказал хирург. Так он объяснил (через переводчика).

И тут-то немец заплакал. Он зарыдал. И принялся целовать, рыдая, руки русского человека.

Этот врач высокого роста. Лицо у него спокойное. Волосы белокурые.

Прошла война. Врач демобилизовался, стал терапевтом. Однако в прошлом он был хирургом, был молод (лет двадцати пяти).

Лицо у врача полноватое. Брови светлые.

Военный в прошлом, он, как говорится, в свое время повидал виды.

...Руки врача, как и прежде, большие, пухлые.

Когда-то, плача навзрыд, молодой немец целовал эти милосердные руки.

Войны побеждают лишь справедливые. Хозяин земли и жизни — только подлинный человек.

Велика милость русского человека.

Прекрасна, достойна и высокочеловечна профессия врача.

Нынче это мой лечащий врач.

И подумать только, за что мне такая честь?

25

Перед тем как навсегда уехать из Фюрстенберга, автобус с туристами проезжает улицу, где мы когда-то жили. Вот она — наша Флотская улица. Здесь, бывало, слышалась русская речь, наши окрики и равномерный нудный шумок мотоциклов. Мотоциклы были трофейные. Ребята с чисто детской, мальчишеской жадностью их достойным образом «оттрофеили», каждому — по скромному мотоциклу. Они то и дело драили, заводили, мыли свои драгоценные мотоциклы.

Здесь, на этой улице, мы повторяли давно надоевшие всем морские остроты. Вместо «ферштеен» (немецкого слова) «форштевень» (флотское). Вместо названия морского журнала «Вымпел» — придуманное нами «вымпел и закусил».

Улица бывших тельняшек, ленточек от лихо сдвинутых бескозырок. Не улица, а морская колония. Редко пройдет по ней молодая немка, поглядывая исподлобья на наших ребят.

Наша улица длинная, так хорошо знакомая, одним словом — улица Флота.

Я сейчас с трудом узнаю ее. Вот как будто бы особняк нашего главнокомандующего? Здание политотдела; деловая квартира начальника штаба...

А так ли?

Так.

Я преподавала ему немецкий. Чудесный он был человек, небольшого роста, интеллигентный (подавал мне, бывало, шинель, как будто это манто французенки). Он был полноват, рыже-белокур. Густые волосы и молочная белизна кожи создавали впечатление свежесмытого ребенка.

У него была молодая жена и подобранная на дорогах Германии немолодая, травмированная переживаниями собака. Плохо было дело с немецкой собакой! Она ни слова по-русски не понимала. Мне приходилось переводить.

— Хочешь мяса?

Не понимает.

— Вильст ду флейш?

Виляет хвостом.

В кабинете начальника штаба на стене, напротив письменного стола висела географическая карта. На карте то и дело передвигались флажки; каждый день изменялось на ней расположение флажков. Но я не была в ладах с географией и стеснялась расспрашивать, как и куда мы двинулись.

Когда я к нему заходила, мне навстречу тотчас же кидалась собака, клала большие лапы на плечи мне. Собака была большая, породистая. Выражение ее глаз — таинственное, звериное, но в них расположение и доброта. Остро и бойко торчали собачьи уши; большой шершавый язык норвил облизать мне лицо.

...За столом улыбающийся, белокурый, свежий — как только что принявший ванну двухлетний мальчик — начальник штаба. Он радовался встрече друзей.

Как все это далеко! В неведомом царстве, в невиданном государстве. Улица, где мы прежде стояли, мы, флот, нынче словно подернута пылью или скорее ржавчиной времени, будто бы все вокруг пожухло и пожелтело: здания, заборы, деревья. А разве может такое быть? Неужели все припорошено дальностью расстояния?

...Безлюдные улицы. Словно томная грусть и какое-то сожаление носят здесь над крышами и домами.

Сожаление? О чем?

О прошедшей молодости.

Машина с туристами проезжает улицу Флота.

И вот уже позади она.

Я смотрю в окно застыло и скованно. Запомнить! Вобрать в себя! Унести!

Зачем?

Но этого я не знаю. Видно, существует тайная связь между землей и человеком.

Собака начальника штаба! Выйди из того парадного, кинься ко мне навстречу, положи мне на гимнастерку большущие свои лапы, загляни мне в глаза с выражением того, забытого, непередаваемого блаженства!

Черт возьми! — выходит, что важно не самое путешествие, не «са-

мообогащение», а взгляд забытой старой собаки, которой давно уже нет в живых?! Взгляд собаки, и смутное дыхание прошлых лет над порывшей улицей, и далекое эхо как отклик прошлого.

...Между тем автобус минует последний дом. Дом осторожно сливается с гладью степей и асфальтированной дорогой.

Позади Фюрстенберг.

Далеко.

Нет!

Да и позади ли мой Фюрстенберг?

Он рядом со мной, на скамье в автобусе.

В окошке мелькает пространство степей, деревни.

Машина едет вперед, вперед.

Зачем? Что за надобность?

Ну да. Ведь я забыла про путешествие. Как говорится, запамятовала.

Это было в той жизни, там, на той стороне земли, за пределами забора, выросшего между мирным временем и войной.

Мы собирались покинуть город по той причине, что Фюрстенберг далеко от Берлина. Флот нуждался в базе, расположенной ближе к боям. Нам нужно было ее найти.

И вот мы едем на поиски нового города, городка, деревеньки, где можно было бы расположиться.

Ехали. Впереди колонны был наш главнокомандующий, за ним — член Военного совета и я — переводчица.

Третья машина — начальник штаба. Длинный эскорт. Около десяти машин.

...Раннее утро. Серо. Очень хочется спать.

С расстояния десятилетий мне не видится последовательность тогдашних дорог.

С обеих сторон — деревья, сросшиеся наверху кронами: так безмятежно и зелено, словно нет никакой войны.

Как возможно то, о чем мы знаем сегодня и что знали тогда, как возможно это рядом с нормальными, хорошо разросшимися зелеными кронами? Ведь деревья — благо: срастающиеся наверху кроны, нежная тень листвы, зеленоватый свет, струящийся сквозь древесные ветки.

Темнота. Коридор теней, нежных, легких, прозрачных. Если поднять глаза, сквозь кружево листьев тут и там синева неба. Шибанет в глаза наотмашь ярчайший свет. Но солнце будто размыто. Размыто мягкостью бесконечного полукруглого потолка листьев.

Поля, поля...

Город или, может быть, городок?

Нет. Это пламя. Оно одно маячит издалика, и кажется — вся земля в огне.

Она живет вихрем дальнего пламени и тишиной листвы, мягким звуком дыхания веток и разрушением.

А поля не горели. Нет. В поле просто нечему было гореть.

Помнится, стояла у края дороги, вперившись в даль осоловелым взором, недоеная корова.

Одиноко брели покинутые собаки.

Сажу в машине. Молчу. Дремлю.

Расскажу-ка я себе, чтобы успокоиться, о собаке. То, что мне когда-то рассказывал лейтенант у костра, который мы невесть зачем однажды вечером развели в Фюрстенберге — для того, должно быть, чтоб вспомнить школьные годы, пионерский отряд.

Младший лейтенант:

— Так о чем же, девочка? Про смешное? Ну что ж... Попробую... Я, надо признаться, с детства любил собак. А кроме того, если о чем-нибудь посерьезней, так какой я, к черту, рассказчик?! Примите, однако, и то, товарищи, во внимание, что здесь климат теплый, не северный. Наши, которые помоложе, не глядели в сторону зелени. Говорили: германские, мол, цветы плохо пахнут. Я в спор особенно не вступал. Чего ж тут спорить? Каждому ясно: земля, она повсюду как есть земля.

Едем мы по шоссе, а над нашими головами — сами знаете — большие деревья. Выедет грузовик из-под зеленого такого тоннеля, а впереди — поля. Над полем — жаворонок. А голоса человечьего не слышать... Едем и видим: поля позаброшены, а дороги запружены людьми. Не военными. Это, как в старину говорилось, беженцы. Вы вникаете? Это вместо того чтоб пахать и сеять, фашист свои поля оголил и во всякой другой стране поля оголил. Им есть дело гораздо важней: война! По дорогам — знаете сами — шагали немки и престарелые немцы с ребятами. Шли угрюмые, лились вперед потоком. Усталые. Одежка рваная. Кое-кто из них сколотил кибитки и впрягся в оглобли, как конь. Чудно: кони по полю бродят, а люди тачки везут. И говор над этой дорогой, языки — какие хотите: голландский, французский, немецкий, английский. Кто их там разберет! Вас, может, не удивляет, а меня удивляло... Я признаюсь.

Едем, едем, едем. А впереди поток человечий и за плечами — людской поток, не видно ему ни конца, ни края. А в небе — солнце. Жаркое. Ни до чего ему дела нет. Ну, мы, конечно, с земли глядим, а не с неба. У кого был хлеб, так мы его роздали. У кого сахар, так мы его тоже, ясное дело, роздали. Детям. И где уж там разбираться, который голландский, который английский, который немецкий. Ребенок, и все! Многие были люди семейные. У самих дети, а несемейные тоже легко догадывались, что ребенок тут ни при чем.

Ночью устроились мы на привал у берегов Одера. И вдруг смотрю: выходит в поле угрюмый волк. Печальный такой. Остановился поодаль, поглядел на нас. «Да это ж не волк, а собака!» — говорит кок. Гляжу и вижу: вправду собака. Я ей кричу: «Давай, не бойся! Подгребай, Жучка!» А она слова «Жучка» не понимает. «Немецкая, — говорит повар. — У них свои клички. Бросьте ей хлеба, товарищ младший, — вот вам и будет Жучка!» Я бросил собаке корку. Она отпрыгнула, будто я камнем в нее шуганул. Потом не то принялась, не то прислушалась, наострила уши и подошла. Не ко мне, а к хлебу. Она подползала к хлебу на брюхе. Понюхала, вгрызлась в него зубами. Замерла и оглохла. Я снова кинул ей корку. Она подползла поближе, уже без страха. Доела хлеб — и ко мне. Но не так чтобы близко. И не то чтоб ко мне... Не то чтобы именно лично ко мне. Сидела тихо, не огрызалась, умно, печально глядела вперед. Не иначе как на котелок с кашей.

Когда хотят похвалить собаку, говорят, что у нее глаза человечьи. Неправда это. Не понять человеку собачьих глаз. Глаза у собаки по большей части бывают желтые. Не говорящий взгляд у нее, а настороженный. Стало мне ее жалковато. Была она очень даже хорошая, охотничьей породы. Растянулась неподалеку от нас, а дремать не стала. Слишком это занятие глупое для умной собаки. Уж либо спи, либо думай. А дрема — ни то ни се.

Утром сели мы в грузовик, а собака за нами. И будем по-честному говорить — уж совсем по-честному, — я ее за собой втащил. Матросы смеются: «Ох уж этот младший!» (так меня называли — «младший», потому что звание лейтенанта мне вышло потом; в то время, когда я собаку в наш грузовик втащил, на моих погонах была еще всего одна

звездочка). Начальник наш, капитан, говорит: «Ты бы ее, Соколов, еще шоколадом попотчевал. Дети голодные, а ты собаку — хлебом. Нехорошо... Эх, Соколов!.. Тебе бы не воевать, а сидеть у мамкиной юбки». Стало мне очень обидно от этих слов. А тут еще, знаете, вот досада какая... Собака ко мне не ласкается. И выходит, ни радости, ни утешения от нее, а одни насмешки. «А ты к ней эдак вежливенько, по-немецки,— объясняет мне капитан.— Расстарайся и достань себе переводчика!»

...Было дело, подъезжаем мы как-то раз к городку Фогельзанг. По-русски: «Птичье пение». Да вы-то, конечно, вы — переводчица, знаете... Не один матрос полег на этой земле. Остановились, молча сняли фуражки. Стоим, молчим. Что скажешь?

А рядом — собака. Будто прислушивается, принимает к чему-то. И вдруг завyla и поползла на брюхе, словно стыдно ей. Почуяла горе, почуяла смерть. «Пшел прочь!» — закричал капитан. Отошла и поджала хвост, виноватая. Собака, а разум есть. Так что ж выходит?! Фашистский разум слабей, чем умишко собаки? Вот какое дело, сестренка.

Едем дальше. Молчим. А над нами солнце. И нет ему, видно, дела до Фогельзанга. Сияет. А впереди — дорога. Едут цугом грузовики. Вот и последний, значит, привал. Развели костер. Вскипятили, ясное дело, чай. Подзываю собаку (дал я ей кличку Альма, по-иностранному). Зову, а она на меня и глядеть не хочет. Понимаю — звали ее иначе. Что ж... А может, она голландская? Я ее погладил. Оглянулся, не видит ли кто. И опять погладил. Она в ответ и ухом не ведет. Говорят другой раз: «Животное благодарнее человека». Да какая же тут благодарность? Я к ней всей душой, по-хорошему. Уважаю. А она на огонь глядит.

Что тут долго рассказывать? На другое утро я с пятью матросами должен был переправиться на другую сторону Одера. Жаль мне кинуть собаку. Кричу ей: «Альма!» А матросы опять за свое — смеются: «От тоже собака!.. Хозяина не признает. Сразу видать — не голландская, не французская, а фашистская. В вашу сторону ни разу и не поглядела, товарищ младший». Что скажешь: верно. Ни разу не приласкалась. Иду по мосткам на катер, а на берег не гляжу. Не окликаю ее. Пусть сгинет, раз доброго слова не понимает.

Отчалил катер. Метров эдак пять отошел. Я на берег не гляжу. Я на прыжку ремня гляжу. И вдруг как что дернет меня: обернулся. Уж лучше было бы не оборачиваться! Сидит, наострив уши, и смотрит вслед. В глазах не укор — тоска. Рвется из глаз, поверите ли, душа собачья, горе собачье. Удивить я ее не мог — столько всего она пере-видела. Удивить не мог. А плакать заставил. И не стыжусь признаться, сестренка, что взгляда того собачьего я забыть не могу.

Много чего я понял тогда: терпением, любовью лечится душа человека, душа земли и душа животного. И даже, если хотите знать, то и деревце, что покалечено, только терпением к жизни вернешь. Трудно, конечно, высказать, что я понял тогда. Я не оратор... А только многое понял. Да и как не понять — война!

Машина с туристами и я — ведь я тоже теперь турист — вперед, все вперед... Но я все еще в той легковой машине, в длинном цуге военных машин. Я там, где война, где прошлое.

Цвели поля.

Они цвели одуванчиками. Гладь земли, как бы назло покрытая пестрым ковром диких маков, ковром, не сгоравшим в пламени, давала прибежище гари. Ключья чего-то легкого, сероватого тихонько носились по ветру.

На перекрестках стояли регулировщицы в трофейных перчатках — красных, желтых, белых, с большими крагами.

Мир пожаров был переполнен ликующими голосами регулировщиц.

Мы шли к Берлину. Регулировщицы, молодые девушки, забывшая о том, что они военные, улыбались проезжавшим машинам — улыбались не по-военному, а по-женски, по-девичьи, счастливо, весело, озорно.

Да и какая тут дисциплина, когда счастье невысказанное, неохватное: мы на земле врага. Мы... мы — к Берлину!

Все задушевное, задвленное взяло и вырвалось из девичьих душ. ...Ликование. Оно дрожало в воздухе, в солнце, в листве, в асфальте дорог, в этих пестрых дурацких крагах на руках у наших девчат.

Их приветствовали, им что-то кричали, выглядывая в окошки машин.

А вдалеке полыхало пламя.

...Мы — цуг наших машин — проезжали большие и малые города. Ехали по мостовым. Дома по обе стороны улицы — не дома, а факелы. Наши машины шли огневой дорогой. От ветра летели искры. Пламя вздымалось то тут, то там голубоватыми, красными языками. Шагал по улице потерянный, одинокий прохожий — немец, не понимая, куда бредет.

Нам то и дело встречались колонны беженцев или группы немков с нагруженными тележками.

Едем... И вдруг взвонится издали фейерверк — упрямо, свободно и коротко. Это рушится дом. Огонь — его всплеск, как бы всплеск дыханий, которые он когда-то в себя вобрал. И зла, которое не захотел стерпеть.

«Я — дом. Я — жилье человека, не зверя. Я не восстану. Рухну. Вместо меня, если вам угодно, пусть вырастет новый дом...»

Из-за обвалившихся стен виднелись кровати, куски уцелевших кухонь, провисшие в проеме рухнувших лестниц. Вот буфет, стол, диван; вот как будто летящий стул — все то, что зовется мебелью; все то, что прежде жило внутри человеческого обиталища.

А на земле угли полыхают синим и голубым.

Но вот позади огонь. И снова удобная, вовсе не тронутая войной дорога, и тень от крон высоких деревьев, сросшихся наверху ветвями. Они срослись, чтоб родить густую, широкую, полную теньевую реку.

А издали, в конце древесного коридора вспыхивало дребезжащее солнце.

Едем. Двигается цуг машин, люди тихо переговариваются.

Вечереет. Небо не то что темнеет, нет: оно становится нежно-розовым и словно бы по примеру земли охвачено дальним пламенем. Сразу, пожалуй, даже и не решишь, это небо или пожарище.

Небо! Вот вдалеке большое круглое солнце. Время от времени мы останавливаемся, ищем какой-нибудь уцелевший город, деревню, берег реки с сохранившимися строениями. Тут и там речушки и реки. На берегах — кустарник. Но водоемы тоже брошены человеком. Посреди речушки раскачивается баржа. На палубе — одинокий сапог, словно в вечном беге или заколованном страшном сне. Баржа, глиссерок, лодка... Нигде не видно следов человека. Кажется, что лодочка там, изнутри, где дно, поросла камышом. Не камыш — водоросли, упруго и странно поднявшиеся с деревянного дна.

Иногда на нашем пути попадались деревни. Пламя не тронуло их.

Деревни! Не наши. Непривычные для русского глаза. Все они как одна вытянулись по краям шоссе: остроголовое здание — кирха, цен-

тральная площадь, как бы рассекающая село, на площади — дом с часами. Часы — будто заколдованный, остановившийся дремлющий глаз.

Все реже и реже дома. И вот самый, самый последний дом.

Нет села. Есть поле, вернее, степь.

Въезжаем в небо. Солнце прячется. Вокруг тишина. И начинает казаться, что от земли идет тонкий, едва уловимый звон — крик, моление.

Дача Геббельса. Она не разрушена. Сколько наших военных уже побывало здесь?!

Мне больше всего запомнилась комната для пластинок: музыкальная библиотека, что ли? Пластинки стоят рядком на аккуратных полках, но самое странное, страшное и удивительное, что здесь музыка всех народов.

Чем сложнее человек, тем больше и сильнее он ненавидит фашизм во всех его проявлениях — открытых, скрытых и полускрытых. Трепет до сих пор страшный занавес — скрытый фашизм, поднимающий осторожно голову. Он хочет укрыть от мира добро, справедливость, красоту и любовь.

Уж больно, конечно, сложная тема. Не мне ее поднимать.

...Не бывает, по нашим понятиям, на свете народов малых. Мне думается, например, что народ — он всегда велик. О народе мы должны судить по лучшему его сынам. Они как бы гребень волны, венчающей море народное.

А о художниках нам следует судить по их лучшим творениям, ибо в душе у человека, достигшего этих вершин, остаются веки, ибо вершины, до которых он еще не успел дорасти, — они жили в нем как наиболее точное выражение художника, его скрытого ощущения мира.

Неестественно забывать, как от фашизма страдали и сами немцы. Он им принес позор, сиротство, вдовство и обездоленность. А опустошение душ, скованных страхом?!

Раны войны, развязанной фашизмом, не изгладились и не скоро изгладятся. Есть зло, за которое «отомстить» невозможно. Как отомстить?.. Чем?..

Сокрушение душ и ломка мышлений. Земля — как перчатка, вывернутая наружу, жаркие, огненные темные глубины ее стали земной корой, а земная кора — с ее морями, лесами, травами, цветами — ушла в глубину земли.

Так захотел фашизм.

Мы не нашли себе новой удобной базы.

Ночь. Домой. В Фюрстенберг.

Автобус с туристами едет, едет и едет.

Впереди и позади земля с ее травами, влажноватыми запахами, с дубами, что выросли от желудей других долголетних дубов.

Но вот в степи появляется дом. Еще и еще один... Перед нами центральная улица городка. Все ближе друг к другу теснятся домишки. На стенах домов шелестят старинные ржавые вывески. Безлюдные улицы, на окнах вздуваются занавески.

Все... Городок растворяется в просторе степи.

Как далеко Фюрстенберг, берега Одера, грустный и тихий звук того, что уже прошло.

«Все проходит».

А так ли? Может, наше прошлое — это мы? В Фюрстенберге был когда-то мой дом с ярко-желтым крашеным полом, мое окно со вздымавшейся занавеской, стены, на которых плело свой тонкий узор мое молодое воображение.

А теперь автобус с туристами катит по тому же гладкому, уже знакомому мне шоссе, о котором я, признаться, успела и захотела забыть. В окошко дует легчайший ветер, он шевелит волосы. Ветер разобрал на лбу мою челку.

За окошками — яркая синева, видно, как над лиловеющими весенними пашнями бегут испарения. Кажется почему-то, что где-то далеко белеет полын. Небо кроткое, ясное, на репейнике сидят щеглы. Небось так и будут сидеть весь день, взлетая изредка и умиротворенно перенося по воздуху свою бездумную жизнь.

Кроны деревьев, сходящиеся над нами, — знакомый мне коридор из веток. Сквозь узорчатую листву — яркий, теплый весенний свет. Деревья старые, из тех, что называются вековыми. Небось забыли про сорок пятый! Война не разрушила их, их было незачем «восстанавливать».

А разве кто-нибудь когда-нибудь восстанавливает деревья?
Не знаю. Может, дерево тоже можно восстановить?..

Однообразно дыхание автобуса, его покачивание, вибрация.

Молчим. Устали. Кого опьяняет езда? Неужели меня одну?

Эта часть страны чем-то похожа на среднюю полосу России — леса, как у нас в ближних пригородах Москвы.

Деревья редкие, но дальше, вглубь, густеют, густеют... Зеленая паутина. Сквозь нее проглядывает весна.

Может, не так уж далеко от Фюрстенберга отъехал автобус?

Валяй-ка, валяй-ка дальше! «Познавать, путешествовать». Я закрываю глаза. Устала.

27

В молодости, я уже говорила об этом, я не боялась одиночества, не металась в поисках собеседника, когда оставалась сама с собой. Я была своим собственным собеседником, и не было у меня потребности делиться своими тревогами... Далекое не всегда я нуждалась в чужом присутствии; умела, допустим, лежать больная в кровати и не испытывать ни малейшей тоски. Это потому, что мир вокруг был одушевлен для меня: говорил, думал. Плелась во мне невидимая паутина; принималось дышать вокруг все, в чем не было собственных душ. Вещи жили в своей отчетливой странности; трава, земля, потолок.

28

...Назад. Назад.

Подождите-ка... Я забыла...

Он потерял сандалики.

Это случилось в эвакуации.

...Но, может, не с этого? А сначала?

Но где начало?

Тогда, когда тронулся поезд с эвакуированными детьми?

...Почему северяне так не выносят южного выражения страстей?

Он никогда не ходил у нас в детский сад. И вдруг — пришлось отправлять его. А куда? Зачем?

В окне уходящего поезда мелькнуло его лицо. Он еще ничего не понял. Он и потом ничего не понял.

...Ну, а может, все-таки понимал?! Душа человека умнее, чем его возраст. Может, понял потом, не сразу?!

Ну а я как мама тут же сразу, все без остатка... Все! Больше того, что следовало бы понять.

Как безумная я бежала за поездом. К стеклу лепилось его лицо. Прелестное лицо моего дорогого мальчика. Чуть растерянное, с застывшей полуулыбкой... Мелькнуло. Пропало.

Как будто дернулось и опустилось веко.

Передо мною были пустые синие рельсы. За мной — перрон. И несколько провожающих. Пап.

Я откинула назад голову и завывала...

Я шла с вокзала покачиваясь, как пьяная.

И вот я вернулась домой без мальчика: вбежала в ванную комнату, открыла кран, чтоб не было слышно, как я рыдаю.

Нечаянно я заглянула в зеркало (зеркало висело над самым краном).

Но не было у меня лица!.. Была маска, искаженная, перевернутая. Не маска: уродство. Не лицо, а — багровые складки. До чего отчаяние близко к комическому, смешному.

Через несколько месяцев я нагнала его. Он стоял у изгороди детского сада. Босой. Никто не достал из чемодана его сандалики... Ну, а если б зима?!

Ничего. Зимой я буду рядом.

Тогда, в самый первый раз, лицо у него отчего-то было веселое, оживленное. Я чуть что не запрыгала от благодарности к каждой женщине, которую отправляли вместе с ними.

И вдруг он заметил меня. Личико исказилось, дрогнуло. Медленно подошел ко мне и вцепился в юбку.

С тех пор он словно сошел с ума. Все боялся меня потерять. В глазах был ужас, потрясенность, которую он никогда не осознавал.

Я стала работать в совхозе. После работы бежала к нему, в детский сад.

Он меня ждал, тревожился...

Я сняла себе у крестьянки комнатенку. Иногда мне удавалось прихватить его на ночь с собой.

Мы шли по длинной дороге. Пропыленной. Шли между хлебов. В огородах — чучела... Мне помнится мельница. Она тоже будто неподалеку была — небо вроде бы рассекалось подвижными крыльями.

Нас — двое в огромном мире полей, дорог, крыльев старенькой деревянной мельницы.

Вокруг летали стрекозы. Среди хлебов виднелись ромашки и васильки.

Мы приходили ко мне в ту комнату, которую я сняла. Хозяйкина дочка мне кричала:

— А дедушка спер ваш одеколон и надушил бороду!

Стояла, ждала, а не затею ли я скандала. Скандала не было.

Она:

— Он крепенько надушился, дедушка.

Молчание.

...Дверей у комнаты отчего-то не было. Двери считались роскошью.

Пройдя к себе, я кормила мальчика. Сознывая, что пища нынче, во время войны, бесценна, он ел охотно. Пил молоко. Из Ленинграда я привезла ему шоколадок (блокады еще и в помине не было).

Он играл в саду и все на меня поглядывал: тут ли я, в окне?

То и дело выглядывала наружу — в садик, где он играл. А в комнате я стирала детские майки, трусы. Как мало я захватила ему носков! ...Воздух пропитан зноем жаркого лета. Вечереет, а все же тепло на улице.

Загоралось небо. И гасло.

Мы, обнявшись, ложились спать.

Кровати не было, спали мы на полу... Я к нему жалась, не могла уснуть, бормотала что-то, похожее на молитву.

И вот разомкнулись объятия. Наступил холод.

Когда? Зачем?

Никогда ничто не согреет меня. Никакие солнца.

...Стрекозы. Крылья на солнце вспыхивают. Дорога. Пыль.

Золотые колосья.

Тишь.

Вот это и было счастьем!

Назад, назад.

29

Все дальше шел наш автобус, все серьезней, официальнее, «познавательней» становились лица моих попутчиков, теплее — ветер; энергичнее проклеивались на ветках листки; из земли энергичнее перла травка. Острые, тонкие ее головы похожи на зеленые язычки.

Проезжаем степь. Навстречу — маленькие городишки, названия которых наш гид за ненадобностью не называет.

Безлюдные улицы, старые тумбы у старых ворот.

И снова степь.

Я единственная пассажирка, которая здесь когда-то уже была. Ознакомление, о котором я вовсе не думаю, чем-то похоже на сон, так жгуче оно и странно...

А я-то была уверена, что забыла! Ничего на свете не забывается, все остается в нас.

Не бывает прошлого, не бывает прошлого, не бывает прошлого. Прошлое — это ты.

Шоссе все то же. Но ведь я знаю его давно.

...Они шли и шли по шоссе — растрепанные, постаревшие. Поднимались от ветра давно немые волосы.

Поляки. К их скарбу прикреплены бело-красные польские флаги.

Утро. День. Вечер.

Идут, идут...

У дороги, в поле я помню пять свежих могил. Советские офицеры. Над каждым развевался недавно повешенный польский флаг. Имена на фанерных дощечках. Я их запомнила:

«Георгиевский Петр»,

«Финкельштейн Аркадий»,

«Абасов Фазиль»,

«Антонюк Александр»,

«Малый Матвей».

А впереди — поляки... В рваной обуви, в серой одежде. Над головами — небо, по бокам — трава.

Шли и шли, еще не набравшись сил для того, чтобы снова научиться соображать, что такое жизнь. Скрипели колеса их странного транспорта. А по обе стороны асфальтированного шоссе стояли те же деревья, что и сейчас. Распускались листья, как и сейчас, — осторожно,

робко, первые листья лета. Над шоссе — шорох, визг колес, звук шаркающих шагов.

В Польшу. Домой. Туда, где жил доктор Корчак, к улицам, по которым прошел доктор Корчак с ребятами, шагнул с ними в жерла печей...

Вспыхивало, развевалось знамя их школы.

Да, да... По этим дорогам, помнится, шли поляки.

В Польшу. Домой.

Мы идем. Мы идем. Мы идем.

И взлетали польские флаги. Их развевал ветер.

...Много лет назад, в сорок втором году, в той давней вечности, по дорогам Киева шли на расстрел матросы.

Они пели:

...Раскинулось море широко...

И вдруг им в ответ запели мостовая и верхние этажи.

Они шли. Они шли.

Перед расстрелом выкурили папиросу. Одну на всех. По затяжке на брата. И тот из них затянулся, кто никогда не курил.

Так было.

Катим вперед. А я... я иду по дорогам прошлого. Страшный мемориал Равенсбрюка — бывший женский концентрационный лагерь.

Равенсбрюк первый включил как естественные составные части памятника подлинными историческими сооружениями: коридор расстрелов, здание крематория с печью, каменный каток, в который впрягали узниц.

В едином ансамблевом решении — произведение не только искусства, это создание истории.

«Материнская группа». Из бронзы. Установлена за несколько сотен километров от территории концентрационного лагеря, у развилки ведущих к нему дорог.

Прекрасные молодые женщины, превратившиеся в окаменевших старух. Энергичный внешне рисунок — грозный жест матери, фигура со склонившейся головой, сжатые в кулаки руки. Носилки. На носилках ребенок. Ноги умершего ребенка, руки девочки, вцепившейся в юбку матери.

И еще один монумент: узница, вопреки строгому запрещению поднявшая на руки подругу, лишившуюся сознания.

Скульптуры как бы стремятся выразить в пластике характер женщин: страдание, стойкость.

Вперед, автобус. Вперед!

Я просовываю в окно голову, навстречу ветру и темноте.

Небо чистое. Скоро свет звезд будет заслонен светом окон. Мы подъезжаем к большому городу — Магдебургу.

Мы видели много. А может быть, мало.

Видели:

Франкфурт, Айзенхютенштадт, Магдебург, Харц, Лейпциг, Эрфурт, Мейсен, Дрезден (нечастный Дрезден!), Саксонскую Швейцарию, Потсдам (здесь был заключен мир), Веймар...

Но я не видела ничего.

В одном из городов я, правда, заметила крохотный колокольчик. Он продавался в магазине для золотых рыбок. Колокольчик так хорошо звенел. Я купила его для моего московского друга. Сохранит ли он колокольчик?

А еще я помню: один из соборов тонул во мгле. В сознании у меня осталась старинная дверь...

И еще.

Кусок ранней ночи. Набережная реки. Пустынно. В тиши отдаются шаги, подхваченные ночным городским эхо. Иногда тут и там мелькают мальчишки с длинными волосами, девочки в брюках и мини-юбках.

Когда-то и это было место боев. Когда-то, чтоб здесь побывать, мне не надо было менять свой паспорт. Моим паспортом был военный билет.

Когда-то здесь царствовал пламень!

Пора забыть.

Но я — типичнейший капитан Копейкин! Не забываю. «Э-эй! Шашку из ножен!» На-а-а-зад! В то дальнее, что уже прошло.

30

...БЕ-Е-ЕРЛИН!

31

«...Задачи кораблям: спешно следовать к столице врага для содействия войскам Первого Белорусского фронта, которые к этому времени очистили от противника районы, примыкавшие к каналу Одер — Шпрее».

«...Кораблям Третьей бригады войти в канал Одер — Шпрее. К Берлину».

32

«...Река Шпрее с ее одетыми в бетон берегами — водная преграда шириной до 200 метров. Она явилась серьезным препятствием на пути армии к столице, где находились правительственные учреждения».

«...К рейхстагу!.. Но на пути — Шпрее!»

...По возвращении из Берлина флот встречали торжественно. Моряки стояли во фронт по берегам и на катерах. Им кричали:

«Ура!..»

Кричали громко. И очень страстно.

33

Одну минуту...

Я должна на минуту остановиться.

Как случилось, собственно, что я осталась жива?.. Ведь я должна была стать... ничем — там, далеко, в тундре. Холмиком или тем же холмом — в Германии. Именно здесь меня свободно мог подстрелить молодой немец. Из-за угла. Я всегда забывала об этой опасности и ходила без провожатых.

Чудо. Я — заколдованная!

Деревянный грибок! (Я помню, разумеется, помню его!)

Я верила и продолжаю верить в колдовство, в чудеса. Ведь вот! Вернулась живая, сижу за столом и...

Чудеса-а-а! Не разбился грибок. Я возвратилась с войны. Сижу у письменного стола. Сомневаюсь в себе. (И не зря!) Не люблю себя... И все же изредка — радуюсь.

Минуту... Еще минуту. Мне надо понять.

Я... я... Кто же это — «я»?..

Был апрель. Мне стукнуло десять. В те очень близкие от сегодняшних времена я вытягивала из волос прядку и сооружала себе на лбу загогулилку. Для вящей красоты. А глаза и рот я готова была раззявить по каждому поводу.

Возвращаясь тогда из школы, я размахивала портфелем. И все думали: «Вот идет девочка. Хорошая девочка».

«Возьми-ка цветик, милая девочка» — так сказала цветочница. Слова умиления, слова любви из глубины старости. Нежность, обращенная к святости детства, к толстым ножкам в полосатых чулках.

Так это Я была?!

Словно две жизни, прожитые одним и тем же человеком.

Черноглазая девочка, и вдруг — вот те здарсьте! — какое-то колесо истории. Ни назад, ни вперед. Только на той планете, в том времени, где ты, девочка, родилась!

...А вы знаете, что это значит — совсем не бояться смерти на войне? А спать на противогазе? На противогазе вместо подушки?

А знаете, что это значит — голод и чтобы во сне тебе снился хлеб? А знаете, что это значит для городского человека — по два месяца не снимать с себя ватной одежды? А кровоточащие десны? И ты выплевываешь кровь. Плюешь, плюешь кровь.

Двери пламени, двери морозов, двери страданий и свинца, приоткройтесь, приотворитесь. Я гляжу в щелку. А в щель я увижу девочку. Руки — короткопалые. Зубы — белые и кривые. Живое — среди живых.

Седина остается на гребешке. Потому что быть такого не может, чтоб это была моя седина!

И было чувство. А вслед ему пришла мысль.

И вот чувство и мысль родили слово.

Он стоял в огне. «Он» — это был Берлин. Горящий город весь окружен сиренью. Я отломала ветку. И вдруг мне стало жалко куста, красоту которого я нарушила.

Множество рук в бушлатах — рук моих однополчан — потянулись к сирени вслед за моей рукой. Они ломали кусты, отдавая мне чуть вздрагивающие ветки.

Нас заметила армия. Солдаты сказали:

— Ребята! Да это ж флот!

И меня ни с того ни с сего подхватили на руки, окрестили «сестренкой» и понесли. Я сидела на плечах у солдат, поддерживая рукой свой спадающий флотский берет, я свесила ноги и как дура крепко-крепко держала ветки сирени.

Не меня несла на руках армия: она несла наш «москитный» флот.

БЕ-Е-ЕРЛИН...

Туристы устали.

Автобус бодрым ходом вкатывает в Берлин.

Послесловие

Лишь чувство, его слабые отблески — не факты, о них я говорить не умею (и не пытаюсь) — я силилась выстонать для тебя, читатель.

Там, где кончается коридор черноты, мне по-прежнему мнится свет. Пламя вздрагивает. Оно то красное, то желтоватое. Может, свеча?

Ради ваших жизней, молодость, мы были готовы отдать свои. Мы готовы были закрыть глаза окостеневшими, восковыми веками, чтобы больше не видеть дерева, фосфоресцирующего моря (мы знаем, что это всего лишь планктон. И что же?!). Мы готовы были забыть мерцание светлячков в волосах у девушек, отречься от ночного тихого стрекотания в тот час, когда звезды круглеют и делаются большими.

— А нас и на свете не было! Чего же вы от нас хотите? Мы и не думали вас ни о чем просить!

Может, так вы скажете нам?

Я отвечаю: да. Но мы от вас ничего не просим, не ждем, не требуем, кроме того, чтобы вы по мере сил своих были счастливы. Пусть максимум ваших страданий будет отсутствие взаимности. Вот и все.

...Впереди свет. Этот свет зовется любовью. Она исполнена сострадания, потому что я-то хорошо понимаю, что не так-то легко быть ни юным, ни молодым. Даже о вас специально не думая, я вас всегда люблю.

Молодость! Ты эстафета пламени, наше бессмертие!

Мы для тебя старались. По правде сказать, мы «лезли из кожи вон»!

Да чего уж там?! Сознаем, что, быть может, должны перед вами шапки снимать. Ведь каждое последующее поколение старше и умней предыдущего.

Виноваты? Однако же в чем? Притворяться нечего. Мы не знаем.

Поэтому примите просто нашу любовь.

Простите нас, если в силах и можете. Хоть за то, что у каждого одна жизнь и больше этого мы отдать не могли. Но если бы, к примеру, у меня было десять жизней, я отдала бы все десять жизней за вас. Все свои ошибки. Удаchi. Прوماхи. Бестактности. Бескорыстие...

Все! Даже взлеты.

Хоть за то простите, что с возрастом стали у меня часто набегать на глаза слезы... Жить было, не солгу, порядком тяжеловато. Расшатаны нервы. Обернулась слезами, которые катятся ни к селу ни к городу.

Но зато

мне подарен

пр о ж е к т о р .

Он высвечивает лучшее в человеке. Даже то, чего он о себе не знает.

Но я-то знаю. Я знаю!

Мой прожектор высвечивает величие, доброту, ум, стремление к знанию, к самостоятельности мышления, талант...

Гори! Сияй, желтоватый пламень в конце коридора. Гори-гори ясно.

Валяй!

Я — зрячая!



АНАТОЛИЙ АНАНЬЕВ

★

ГОДЫ БЕЗ ВОЙНЫ*

Роман

XXXI

Как только Митя, выйдя на лестничную площадку, увидел Аню, он сейчас же забыл о Сергее Ивановиче и забыл о разговоре с ним; внимание его было направлено теперь только на Аню, и он смотрел на нее, улыбаясь точно так же глупо, как улыбался вчера, и точно так же краснел от мысли, что снова будет близок с ней. Он никогда не видел ее в таком наряде; но ни цвет платья, ни траурный цвет шарфика ни о чем не говорили ему, он видел лишь, что все было ново и было красиво на ней, и вообще было что-то особенное в том, как она шла по ступенькам и затем, остановившись, ожидала его.

— Ты что? Ты не рада? — спрашивал он, держа ее руки.

Обеспокоенный ее молчанием (и все так же не замечая ничего вокруг себя), он увел ее в квартиру, и Сергей Иванович остался один на лестничной площадке. Еще когда он смотрел на Лукашова, он узнал в ней женщину, виденную вчера у Дорогомилиных на балконе; и узнав, точно так же, как и вчера, сейчас же плохо подумал о ней и плохо подумал о Мите. Для Сергея Ивановича все то, что произошло сейчас перед ним, было лишь продолжением неприличной вчерашней сцены, когда Лукашова обнималась и целовалась с Митею на балконе, и он не мог подумать о них иначе, чем это дурное, и с чувством безразличности и стыда за них вышел на улицу. «И я битый час распинался перед ним! Старый дурак, желающий всем добра...» Он чувствовал себя в том глупом положении, когда был не просто обманут, но обманут нехорошо; и чувство это еще в большей степени, чем на Митю, распространялось на Дорогомилину и на всю поездку Сергея Ивановича в Пензу. «Мечусь, а зачем, для чего, кому это нужно?» Мысль о том, что с выходом в отставку он не только потерял значимость свою среди людей, но потерял нечто большее, что изо дня в день наполняло жизнь, — мысль эта, давно и по-разному беспокоившая его, теперь снова и острее, чем когда-либо прежде, охватила его. Он вспомнил Мокшу, Степана и Павла и вспомнил свою московскую жизнь, как все было в доме до того, как Наташа привела Арсения, и, к удивлению, воспоминание это не вызвало в нем той теплоты, как бывало обычно, когда он начинал думать о доме; он словно притрагивался к чему-то отдаленному и бестелесному, а не к своему недавнему прошлому, в то время как это бестелесное как раз и было его жизнью. «Странно», — говорил он себе, переходя от воспоминаний о доме к Мите, к Дорогомиличу и затем опять возвращаясь по кругу к Москве и Мокше; он не находил между всем этим, что объединило бы события, и вместе с тем думал, что

* Окончание. Начало см. «Новый мир» №№ 4, 5 с. г.

каждый раз, как только он собирался приложить к чему-либо руки и приложить силы, которых было еще достаточно у него (из лучших, разумеется, побуждений), все оборачивалось, как сегодня с Митею, бессмысленным и ненужным разговором. «Битый час распинался перед ним», — не мог успокоиться Сергей Иванович. Он шел по тому же скверу, по которому проходил утром и где встретил Ольгу и Тимонина; но он заметил это, только когда уже вышел к вокзалу и когда поток пересекавших площадь людей вынес его к билетным кассам. Он посмотрел на часы; до отхода поезда оставалось еще достаточно много времени, и так как вечер был теплый и Сергей Иванович — от ходьбы ли, от переживаний ли? — чувствовал себя утомленным, он вошел сначала в привокзальный садик, надеясь отдохнуть в тишине на скамейке; но в садике показалось ему сыро и неудобно (главное, из-под кустов поднимались какие-то неприятные испарения), и он перешел на перрон, где тоже стояло несколько скамеек вдоль невысокого штaketника, окрашенного в зеленое и белое. Он сел так, что солнце, заходившее за старыми закоптелыми корпусами паровозного депо, последним красным лучом касалось его лица и плеч, и было что-то мягкое и ласковое в этом прикосновении; потом луч померк, скрылся за железную крышей, а в голубом и чистом вечернем небе долго еще светилось, остывая, желтое пятно, где висело солнце, и долго видны были силуэты мертвых паровозов, то ли брошенных совсем, то ли законсервированных и отведенных на эту тупиковую ветку. Паровозы погружались в ночь так же неохотно и медленно, как все вокруг, на что смотрел Сергей Иванович, и над ними так же, как над путями, стрелками и горкой, откуда доносились свистки и хриплые по селектору голоса и куда щуплый желто-зеленый маневровый тепловоз все подталкивал и подталкивал вагоны, платформы с контейнерами и наливные цистерны, зажигались на столбах электрические лампочки. Запахи масла, железа, просмоленных шпал и несмолкающий пристанционный гул, в котором и толчея, и шум людей, и движение поездов, и грохот сцепляемых вагонов, — все это не только не раздражало, но, напротив, казалось, убаюкивало Сергея Ивановича; он чувствовал, что в станционной жизни, которая ни днем, ни ночью не может остановиться ни на минуту, было что-то близкое ему, фронтовое, военное; он смотрел, как проходили мимо кондуктора товарных составов, пронося истертые деревянные ящички, фонари и прокопченные полушубки, которые держали под мышкой, и смотрел на пассажиров, суевившихся по перрону, и на зеленые линии подходивших и отходивших скорых поездов, следовавших через Пензу, но как ни убаюкивающим было это непрерывное движение железа, лиц, одежды, Сергей Иванович то и дело вновь и вновь будто проваливался в воспоминания, и прошлое по-прежнему представлялось ему чем-то бесформенным, бестелесным. Это же неприятное ощущение бестелесности прошлого продолжало беспокоить его и в вагоне, когда он уже сел в поезд и перронные огни и постройки, дрогнув, поплыли и замелькали за оконными стеклами.

Ехать ему было так близко, — первая остановка от Пензы, — что он не входил в купе и не садился; приткнувшись у окна в коридоре, напротив своего плацкартного места, он то смотрел на оконные отсветы, как они бежали по насыпи, потому что, кроме этих светлых пятен, ничего нельзя было разглядеть: ни хлебных полей, ни рощ, ни речек; лишь изредка вспыхивали в ночи фонари разъездов или вдруг начинали светиться за взгорьями огни дальних деревень; то смотрел на людей в вагоне, как они суевились, курили, разговаривали и с переброшенными через плечи казенными вафельными полотенцами

направлялись к умывальнику; но ни то, что было за окном, ни вагонная людская неугомонность, в сущности, не интересовали Сергея Ивановича; он видел перед собою Лукьяновский двор, избу и на крыльце избы — вышедшую встретить его Юлию; и видел за ее спиной шурина с женой и детвору, грудившуюся тут же, и, главное, видел их лица, изумленные и с разным оттенком отношения к тому, что он так быстро вернулся из Пензы. «Да, вот так, нагостился», — говорил он, как будто уже теперь отвечал всем им, ожидавшим, что он скажет. Ему неловко было возвращаться в Мокшу, и он действительно не знал, что сказать Юлии, Екатерине и Павлу; и хотя во всем виноват был Дорогомилин, но Сергей Иванович чувствовал, что какая-то тень от всей этой истории падала и на него. Когда он собирался в Пензу, он говорил восторженно о Дорогомилине, но теперь выходило, что Павел, скептически относившийся к этой поездке, оказывался прав, и Сергею Ивановичу неприятно было сознавать эту правоту шурина. «И все-то он знает, во всем-то он прав», — мысленно и с раздражением произносил он и поворачивался к окну (если стоял лицом к коридору, дверям и полкам) или, напротив, отворачивался от окна и на минуту вновь включался в общую вагонную жизнь и слышал стук колес, скрип и говор. Что поезд подъезжает к Каменке, он понял по тому движению, которое произошло в коридоре и в тамбуре, куда двое — пожилой мужчина и его же возраста женщина — выносили чемоданы и сумки.

— Каменка? — все же спросил Сергей Иванович у проводника, который с флажками и фонарем в руке готовился к выходу.

— Да. Минуту стоим, — нехотя и сонно ответил тот и, перешагивая через чемоданы и сумки, ушел в заветренный и еще гудевший движением тамбур.

Каменка со своими низкими и длинными вдоль насыпи бревенчатыми бараками не была похожа на деревню, но близость хлебных полей сейчас же почувствовал Сергей Иванович, едва ступил на перрон. После душных вечерних пензенских улиц и вагонной тесноты ощущение простора, свежести и чистоты ночи было особенно приятно ему; перед ним как будто раздвинулись стены, до этой минуты стеснявшие его, и он мог свободно двигаться, чувствуя лишь землю под ногами и небо над собой. Он направился к привокзальной площади, куда, он помнил, шел Павел, когда несколько недель назад ранним и дождливым июньским утром встретил его и Юлию, приехавших из Москвы; на площади тогда стоял «Запорожец» Павла и стояло еще несколько легковых и грузовых автомашин, и Сергей Иванович подумал, что именно здесь, на привокзальной площади, легче всего будет ему сейчас найти попутную машину до Мокши. «Что ночью, так оно лучше», — решил он. Он прошел через здание вокзала, небольшое, кирпичное, с крохотным и безлюдным теперь залом ожидания, и очутился на площади. Но машин не было видно на ней. Не было видно машин и на дороге, которая, как белая полоса, пересекала весь пристанционный поселок и уходила к полям. Вдоль нее стояли дома с кое-где еще светившимися окнами, и над белесыми крышами этих домов, над дорогой и над полями нависала огромная, круглая и яркая в летнем ночном небе луна; она взошла только что, и от строений, плетней и палисадников еще тянулись длинные тени; но пока Сергей Иванович в ожидании попутной машины топтался на площади и выходил на дорогу, тени укорачивались, в окнах угасали последние огни и все безлюднее, тише и безжизненнее становилось вокруг.

Так и не найдя попутной машины, только устав, и продрогнув, и решив наконец, что лучше дожидаться утра, он ушел в зал ожидания, где, впрочем, было так же тихо, безлюдно и неуютно, как

и на улице; но было теплее, потому что сырой с полей воздух не проникал сюда сквозь закрытые окна и двери, и Сергей Иванович, чувствуя, что начал согреваться, закрыл глаза. Он подумал, что если бы не поездка в Мокшу, и не поездка в Пензу, и не десяток других и ненужных ему дел, главное, если бы не ссора с дочерью, лежал бы он сейчас у себя дома, в Москве, на мягкой постели и ни о чем бы не заботился. «Человек сам себе усложняет жизнь, а для чего? Кто и куда его гонит?» Он усмехнулся, удовлетворенный этой, в сущности, простой и не раз прежде приходившей на ум фразой; ему казалось, что если бы люди относились ко всему проще (и прежде всего — он сам; и опять же, главное — тогда, к Наташе и Арсению) и если бы принимали жизнь такой, какая она есть, не было бы ни у кого ни тревог, ни волнений. «Да, вот в чем вся премудрость», — еще говорил он себе, в то время как голова его клонилась на грудь и дремотное тепло разливалось по телу; но картины, которые в полусне являлись ему, были противоположны этому, о чем он думал; воображение переносило его в сорок пятый год, под Берлин, он будто подошел к кирпичной стене, возле которой рядом лежали убитые солдаты, и мертвые лица этих солдат вдруг оказывались на Митиных эскизах; и вместе с тем — вокруг шел бой, все горело и грохотало, и в этом хаосе дыма и звуков, как только снаряд разрывался совсем близко, Сергей Иванович, вздрогнув, поднимал голову и открывал глаза и, осмотревшись и проговорив: «Тьфу, черт, приязалось», опять начинал дремать, пока новый разрыв снаряда не будил его.

XXXII

Недалеко от станции в эту ночь произошло событие, которое затем долго обсуждалось в районе. От замыкания электропроводки загорелся комбикормовый завод, и пока пожарники ехали тушить его, пламя перекинулось на склады и на откормочную базу, где содержались годовалые бычки; огонь подобрался и к стогам, почти примыкавшим к телятнику, и уже от них перекинулся на ячменное поле. В Каменке и в окрестных деревнях тревожно ударили в рельсу, и отовсюду к месту пожара начал стекаться народ. Сергей Иванович, как ему всегда казалось позднее, проснулся не оттого, что слышались ему во сне разрывы снарядов, а от какой-то будто наполнившей воздух общей людской тревоги. Он выбежал на улицу и затем вместе со всеми, не думая, для чего делает это, кинулся в степь к месту пожара. Когда он прибежал туда, горели уже стога и ячменное поле, которое торопливо опахивалось тракторами. Кто-то взялся за лопаты, кто-то подавал воду, но большинство пришедших не знали, за что им надо было приниматься, и оттого — ахающая и мешающая делу толпа то стекалась к стогам, где, казалось, было интереснее и жарче, то к телятнику, то к складам, и в этой мечущейся толпе как раз и оказался Сергей Иванович. Его как будто подхватывало и переносило от одного места к другому, и каждый раз он старался пробиться в первый ряд, откуда виднее было, как рушились обгорелые бревна и как пожарники направляли струи воды в огонь. По толпе прокатывались слухи, что где-то и кого-то будто бы придавило и что не всех бычков успели вывести из телятника, и люди волновались, напирали и теснили стоявших впереди к огню, словно там, возле пожарных, можно было узнать что-то; но слухи эти были неверны, телят вывели, и никто не был ни обожжен, ни придавлен; но в общей суматохе было забыто о бригадной лошади, которая стояла в примыкавшем к телятнику сарае, и когда пламя уже охватило этот сарай, вдруг кто-то вспомнил, что там лошадь, и крикнул, выбе-

жав перед толпой; и сейчас же несколько охотников побежали к сараю, чтобы открыть ворота, и вместе с ними, увлекаемый общим желанием кого-то спасти и что-то сделать, побежал и Сергей Иванович. «Топор, топор возьмите!» — раздался за его спиной. Но он не оглянулся; он теперь видел перед собой только ворота и засов, который надо было отодвинуть, и крышу над воротами, всю охваченную пламенем, и ничего другого более не существовало для него. Обхватив засов руками, он начал отодвигать его. Засов не поддавался. Тогда кто-то стоявший позади него, крикнув: «А ну отойди!», вскинул топор. Сергей Иванович сначала отпустил было засов и посмотрел на кричавшего; но не поняв, что требовали от него, он тут же снова потянулся к засову, и взмахнувший топором с такой силой рубанул его по руке, что в первое мгновение никто не успел сообразить, что произошло, как Сергей Иванович отдернул уже не руку, а обрубок и увидел кость, высунувшуюся из мяса, и кисть, висевшую на коже у локтя. От оцепенения ли, от неожиданности ли — но кровь как будто не шла; потом вдруг сразу хлынула густой черной массой, и Сергей Иванович только успел оглянуться на человека, все еще державшего топор, и посмотреть на свою обрубленную руку, как земля начала уходить из-под его ног. Его подхватили, отнесли в сторону от огня, и опять толпа сгрудилась, теперь уже возле него, лежавшего на траве, желая непременно узнать, кого, как и чем задавило; мужик, отрубивший руку, и все те, кто стоял ближе к Сергею Ивановичу, раздвигали толпу и просили носилки; и когда носилки наконец были поданы и санитары наложили жгут у локтя, Сергей Иванович, потерявший много крови, был в забытьи, и ему уже безразлично было, куда его понесут, повезут и что с ним будут делать.

Машина «скорой помощи», которая взяла его, была не из Каменки, а из Теплых Хуторков — центральной усадьбы совхоза, которому как раз и принадлежали комбикормовый завод и откормочная база, сгоревшие в эту ночь; ехать было недалеко, и машина, просвечивая фарами дорогу, с воем промчалась по деревенской улице и остановилась возле небольшой бревенчатой больницы, куда внесли Сергея Ивановича и сразу же положили на операционный стол. Промывал, отпиливал кость и зашивал рану главный врач больницы, молодой, узколицый и сухощавый хирург, еще недавний студент, для которого операция эта была, в сущности, первым большим и серьезным самостоятельным делом; и потому он волновался и лицо его все было в крапинках пота, особенно когда он пилил кость и зашивал кровеносные сосуды, и медицинская сестра, помогавшая ему, то и дело тампонами вытирала его лоб и щеки. А на крыльце больницы, пока шла операция, сидел тот самый мужик, который отрубил руку Сергею Ивановичу. Мужика звали Федосеем, был он местный, из Теплых Хуторков, спокойный, работающий, имел пятерых детей и считался в деревне краснодеревщиком; парты в школе, столы в конторе и почти вся клубная мебель были сделаны им, и злополучный топор, который оказался в эту ночь в его руках, был тот самый плотницкий топор, острый и легкий, с которым он почти никогда не расставался и, уходя с работы, не оставлял на верстаке, а уносил с собой, затыкая за пояс. Когда в эту ночь, разбуженный набатным рельсовым звоном, он вскочил с постели, — выбегая из дому, он по привычке прихватил топор; он примчался на пожар, когда бычки-годовики были уже выведены из телятника и многое из того, что можно было спасти от огня, было спасено, и только он, Федосей, еще ничего не успел сделать и потому сейчас же кинулся к сараю, как только услышал, что там лошадь... Он сидел теперь на крыльце больницы, обхватив голову руками, и все случившееся в сотый уже, наверное,

раз возникало перед глазами; ему казалось сейчас (и это было главным беспокойством его), что он видел, что бьет по руке, и он поворачивал плечо, чтобы отвести удар; но какая-то вне его лежавшая сила не давала ему сделать это, что он хотел, и он с изумлением прислушивался к той силе, поминутно произнося: «Как наваждение какое, как затмение: ведь видел же!» Удар по кости, хруст и то мгновение, когда Федосей дернул топор на себя, было так живо в его сознании, что он весь съеживался, чувствуя, будто из его руки теплая, густая и липкая кровь стекала под рубашкой к локтю. Он сделал человека инвалидом, и ему мучительно было сознавать это; будут ли его судить или нет, он не думал, но что придется выплатить что-то пострадавшему, оторвав от семьи, от детей, которые, подрастая, требовали все больше и больше расходов на себя, хорошо понимал, и жена и дети как укор стояли теперь перед ним, и старший, Анатолий, трогая отца за плечо, то и дело говорил: «Пап, пойдем отсюда». Но Федосей не двигался; лишь только когда хирург, закончив операцию, и выйдя на крыльцо, чтобы покурить, и узнав, почему хуторской краснодеревщик сидит на больничных ступеньках, сказал ему: «Ты-то при чем? По засову метил, а не по руке, так и ступай, забирай детвору и ступай»,— поднялся и понуро, как осужденный, зашагал к дому. А за его спиной, за детьми, шедшими позади него, и за спиной хирурга, с крыльца смотревшего им вслед, вставало над деревней утро; оно было сухим и ясным, как все июльские утра в эту летнюю пору, когда желтеют хлеба и когда в воздухе, еще не успевшем остыть от сенокосной страды, чувствуется приближение другой, главной, и все вокруг уже напоено запахом поспевающих овсов, ячменя и пшеницы. Солнце еще не появлялось, но оно готово было вот-вот вспыхнуть над морем колосков, притихших в ожидании дня, и готово было, проскользив лучом через межи и проселки, осветить место пожара, где все еще толпились люди: и те, кому предстояло отвечать за все случившееся, и те, кому не нужно было отвечать, но интересно было ходить вокруг обгорелых бревен и головешек и удивляться и ужасаться тому, как поработал огонь, и снова и снова обсуждать подробности ночи; белый пепел из-под их ног уносило к ячменному полю, которое тоже было черным, как все пепелище, и было хорошо видно с больничного крыльца стоявшему в белом халате хирургу. «Те-те-те»,— говорил он и покачивал головой. Докурив сигарету, он вернулся в ординаторскую; и сейчас же прошел в палату, где лежал оперированный им отставной полковник Коростылев (что установлено было по документам, найденным в пиджаке Сергея Ивановича); проверив пульс и с минуту постояв еще перед больным, он приоткрыл затем форточку, чтобы наполнить палату свежим и хлебным воздухом утра, и, сказав сестре, чтобы не отходила, пока больной не придет в себя, снова вернулся в свой кабинет и, не снимая халата, прилег на диване. Он тотчас же задремал и проснулся лишь около двенадцати дня, когда позвонили из парткома совхоза, чтобы узнать, кто, откуда и как себя чувствует пострадавший.

— Москвич он,— пересказав то немногое, что знал о Сергее Ивановиче, добавил хирург.

Несколько мгновений в трубке молчали; потом снова послышалось:

— Смотри, чтобы все было... а если что нужно, звони сейчас же, ясно?

— Разумеется,— ответил хирург.

Но Сергею Ивановичу в этот день ничего не было нужно; он приходил в сознание с трудом, точно так же, как было с ним в декабре сорок первого, когда его, раненного, потерявшего много крови, везли на санках по волжскому льду к лесу и палаткам; когда он в то утро от-

крывал глаза, он силился поднять голову, чтобы посмотреть, взята ли деревня, и видел перед собою белый снег, и воронки на нем, и серые на снегу тела убитых солдат; деревня горела, и черный дым, сбиваемый ветром к реке, клочковато прокатывался надо льдом, и был виден огонь и разрывы снарядов, взметавшие снег, лед и землю, и все это сейчас же исчезало, как только он снова впадал в забытие; санки то утопали в сугробах, то прыгали по мерзлым кочкам, вызывая боль и кровотечение, но Сергей Иванович уже не слышал и не понимал этого; но когда, оперированного и подготовленного к эвакуации, его положили на деревянные нары — все пережитое вернулось к нему. Точно так же — как только он теперь открывал глаза, он тоже старался приподнять голову; но то, что хотелось увидеть ему, не было связано ни с лошастью, ни с пожаром; он как будто помнил, что кинулся открывать засов у сарая, и как будто отчетливо слышал, как металась за тесовыми воротами лошадь и ржала, призывая людей на помощь, но вместе с тем время настолько сместилось для него, что ему казалось, будто он вернулся в те, прежние годы, когда был на войне: треск горевших бревен и рушившихся стен, вид дыма, огня и мечущихся вокруг людей, освещенных в темноте заревом пожара,— все напоминало фронт, десятки прежде виденных Сергеем Ивановичем картин (от сорок первого до сорок пятого года), когда он с батальоном проходил через горевшие деревни и города; он хотел увидеть теперь то, забытое, что сотни раз видел из своего командного окопа, как роты его разворачивались в наступлении, и ему казалось, что он как будто вновь брал то безымянную высоту под Новозыбковым, то деревню с церковным названием тогда, в сорок первом, в первый год войны, под Москвой, то будто прорывал укрепленную линию «Хейльсберг» под Прейс-Эйлау, то вдруг уже вырисовывался впереди в чаду и зарницах горевший Берлин. Он вскидывал перевязанную руку, и несколько раз сквозь бинты начинала сочиться кровь; и тогда сестра, дежурившая возле него, бегала за хирургом; лишь к ночи Сергей Иванович как будто успокоился, заснул, а когда под утро открыл глаза, ему уже не мерещились картины войны. Хотя голова его лежала низко на подушках, он сейчас же увидел свою ампутированную почти по самый локоть руку, которая была туго забинтована и покоилась поверх одеяла, и сейчас же с ясностью вспомнил, что произошло с ним; и с еще большей ясностью представил, что станет с Юлией, когда она узнает об этом. «Она не переживет», — подумал он; и он так ужаснулся мысли, что может потерять Юлию, что уже не боль в ампутированной руке, а иная, душевная, начала мучить его. Он отвернулся к стене, чтобы не видеть перебинтованный обрубок своей руки, и пролежал так до самого того часа, пока хирург, обходивший больных, не вошел в палату; но и когда он уже сидел возле кровати, Сергей Иванович продолжал думать о Юлии и обо всей своей семье. Он смотрел то на никелированную спинку кровати, то на слуховую трубку и еще что-то, тоже никелированное, что хирург держал в руках и что поблескивало в квадрате яркого утреннего света, и ему снова, как в поезде, когда он вместе с Юлией ехал из Москвы в Мокшу, казалось, что вокруг были разбросаны хрусталики от вазы, которые надо было собрать и склеить; и в то время как хирург говорил что-то и спрашивал, Сергей Иванович мысленно собирал и склеивал их; он так ничего и не ответил хирургу и только спустя час, когда дежурная сестра вошла к нему, попросил никому пока не сообщать, что он лежит здесь, в больнице.

— Почему?

— Я сам... Я прошу вас.— И он опять до вечера не произнес больше ни слова.

На другой день как будто с разрешения врача приходил Федосей — тот самый мужик, который отрубил руку Сергею Ивановичу; он сидел в палате долго, но из всего, что он говорил, Сергею Ивановичу запомнилось только:

— Ты уж извини, чего теперь, так получилось. Ты уж извини...

XXXIII

В тот день, когда Сергей Иванович уехал в Пензу, Лукьяновы получили письмо от Романа. Сын писал, что женился, и это было так неожиданно, что никто в доме не знал, что сказать и как отнестись к этому событию. Для Павла, который всегда придерживался мнения, что нельзя становиться никому поперек пути, женитьба эта означала лишь, что сын поторопился и что если у самого нет ума, чужого не добавишь. «Куда денешь, наш, примем», — однако сказал он и больше уже не хотел возвращаться к этому разговору. Он работал в поле, на тракторных тележках перевозил со своим напарником Степаном сено с лугов к ферме, и как всегда — как только утром садился за руль, все домашние и разные иные заботы, не связанные с тем, что он делал, сейчас же как бы отступали от него; как подсолнух, который поворачивает голову к солнцу, — всеми помыслами своими Павел был обращен к той работе, за которую он брался; он не думал, что ему надо сделать больше, и сделать хорошо, по-хозяйски, как если бы он делал у себя во дворе или в доме, но все это жило в нем и было той естественной потребностью, как воздух, вода и пища, без которой вообще нет и не может быть крестьянского труда, так что даже Степан, тоже мужик деловой и хозяйственный, не без восхищения и не без той тихой, как у большинства деревенских людей, знающих цену и себе и всякой травинке, выросшей у ног, — не без этой тихой внутренней радости смотрел, как Павел обходил нагруженные уже сеном тележки и счесывал вилами и прибирал клочки сена, которые можно было растерять по дороге. И он не останавливал Павла, а, напротив, помогал ему; потом оба они пристраивались где-нибудь с теневой стороны стога, ели хлеб, сало и запивали молоком из бутылок, все эти жаркие часы пролежавших в роднике, и по загорелым, потным и запыленным подбородкам их стекали белые молочные капли. В привычной колхозной работе день проходил для Павла точно так же, как он проходил всегда, месяц и год назад, с той только, может быть, разницей, что травы в это лето были выше и сочнее, и сена было больше, и гуще пахло оно солнцем, дождем и еще чем-то молочным и хлебным, что Павел не переставал замечать и чему не переставал удивляться; он никогда не уставал на работе душевно, только иногда к вечеру тяжелели руки и тяжелела спина; и, видимо, потому — никогда не спрашивал себя, для чего он живет на свете; этот философский вопрос вопросов не тревожил его; он просто знал, что жить ему было надо: и для детей, и для земли, которую он перепаживал то весной, то осенью, и для пшеницы, которую сеял и убирал и которая без его рук не росла бы и поля покрылись бы негодными сорными травами, и для лугов, которые он косил, и еще ради всякой полезной живности, которая без человеческого заботы оказалась бы беспомощной, захирела и пропала бы вовсе; он чувствовал себя центром этой окружавшей его жизни и потому нужным ей, и в то же время — чувствовал себя частицей большого, общего, что находилось как бы за вторым и третьим обозримым от его избы и деревни кругом и куда он, как всякий искренне верящий, что лучшая жизнь там, выше, «где нас нет», стремился определить подраставших своих детей.

Он относился ко всем своим детям с одинаковой теплотой и ласкою, и никто из дочерей и сыновей его не мог сказать, кто был более и кто менее любим отцом; но по крестьянской привычке присматриваться ко всему и, присматриваясь, судить, что полезно и крепко и что бесполезно и непрочно на земле,— он присматривался и к детям, особенно к сыновьям, по-своему определяя, кто из них и на что был способен, и прежде всего выделял Бориса, который казался ему и сообразительным во всяком домашнем деле, ловко держал топор и мог, как думал Павел, уже теперь, в свои годы, срубить дом, и был цепок к учению и к языкам, занимался английским и французским, и все в школе прочили ему большое будущее. Павла радовало это, и не без гордости, но молча, не выказывая своих чувств, наблюдал он за Борисом. Таким же ловким и цепким ко всему представлялся и меньший, Петр, о котором Павел отзывался так: «Всех обойдет, чертенок». Но Александр и в особенности Роман производили на него другое впечатление; они как будто были не его детьми. «В мать, да и не в мать, потому что у нее тоже вон — к чему ни прикоснется, все кипит в ее руках». Но Павла, в сущности, беспокоило не это, в кого пошел Роман; он видел, что ученье ему давалось трудно, и полагал, что было это, наверное, оттого, что его рано отняли от груди (у Екатерины отчего-то пропало тогда молоко) и что рос он болезненным и хилым; и, полагая так, чувствовал вину перед сыном и думал, что самое лучшее будет, если пристроить его счетоводом в правлении — и по уму и по здоровью! — и незаметно начал присматривать для него это место. Он съездил к главному бухгалтеру колхоза Архипу Демидовичу Худякову, который когда-то, до объединения, жил в Мокше и был хорошо знаком Павлу, и, поговорив с ним, ходил по селу, прикидывая, где можно было в Сосняках поставить избу для Романа. «Придется отделять,— думал он,— взад-вперед из Мокши в Сосняки не побегаешь». Но вопреки всем предположениям Роман поступил в институт, и Павел тогда подумал: «Видать, и в нем есть что-то от корня». Ему приятно было, что он ошибся в Романи; и он как будто совсем успокоился, когда после первого же семестра сын написал, что зачислен на повышенную стипендию. «Пошел, теперь пошел», — решил про него Павел. Но в глубине души все же нет-нет да поднималось опасение, что жизнь Романа еще даст где-то трещину. И потому — сообщение о женитьбе, сначала будто лишь слегка огорчившее Павла, затем начало волновать его. Как только он в этот день присаживался отдохнуть и как только перед глазами не было ни дороги, по которой надо было вести трактор, ни двора и стога, куда надо было подавать сено, и ничем не были заняты руки, а вместо всего этого открывалось взгляду полуденное летнее небо, на которое он смотрел, как из-под козырька, из-под нависавшего над бортом тракторной тележки сена,— он сейчас же начинал думать о Романи. «Вот она, трещина,— говорил он себе.— Не хватило все же ума доучиться, встать на ноги. Обабился, поспешил, а теперь что?» За этим «что?» стояли отцовские заботы, которых и без того было достаточно у Павла, и потому он хмурился и был недоволен сыном.

— Ты мово Ромку помнишь? — сказал он Степану, так как надо было хоть кому-то высказать, что угнетало его.

Они только что пообедали, и бутылки из-под молока и платки с едою — все это еще не было убрано и привлекало луговых мошек, которые кружились и звенели над недоеденными кусочками хлеба. Степан уже лежал на спине, разбросав, как он делал всегда, по траве руки и ноги и подложив под голову клок сена, и был в том блаженствующем состоянии, когда не хотелось ему ни о чем говорить и земные дела были как будто так же далеки от него, как небо над головой.

— Помню,— все же ответил он.

- Женился, сукин сын.
- Когда успел?
- Успел...
- Так погоди, он же у тебя в институте, в Пензе?
- Пенза ума не прибавит, если своего нет.
- Девка-то городская, поди?
- Каменская.
- Все ближе. Хоть так, и то ладно.

— Не-ет, если сызмальства ума не набрался,— опять заговорил Павел, что больше всего задевало его,— так на том и ставь точку.

— Что верно, то верно,— сейчас же отозвался Степан, и затем они замолчали. Павел тоже прилег на траву так, что грудь и голова его, как под крышей, оказались под днищем тракторной тележки. На пыльные доски неприятно было смотреть, и он закрыл глаза, и сейчас же — ему вспомнились подробности письма сына, который писал, что Кустанайская степь, где он со студенческим строительным отрядом помогал возводить совхозный поселок, настолько широка, что трудно представить еще нечто подобное, и вся от горизонта до горизонта засеяна хлебом. «Вот где размах, вот где содеянное человеком переходит все границы воображения...» Он писал еще, что ему с Асей выделили отдельную палатку и что в минувшее воскресенье была устроена студенческая свадьба, что было весело, что танцевали прямо в степи и бродили потом по степи, вдоль хлебов, которые по грудь, и что было лунно, и что под утро, продрогнув от сырости и тумана, потому что степь — это не то, что наши мокшинские хлебные взгорья, жгли костер из прошлогодней соломы, и грелись, и сушились возле него. Если бы Павел знал слово «романтика» точно так же, как те свои деревенские, которые употреблял в разговорах,— все описанное сыном он с легкостью назвал бы одним этим словом и затем добавил бы, что всякой глупости можно дать красивое обрамление. В молодости он не уезжал по комсомольским путевкам, жил в Осташкове; но армейская служба, а потом война так побросали его по свету, что он в шутку иногда говорил о себе, что не побывал разве только на Северном полюсе; он знал, что такое неустроенность жизни, палатки, окопы, блиндажи и госпитальные койки; и хотя отрядную студенческую жизнь нельзя было сравнивать с той походной, какую испытал Павел, но он и не сравнивал, а думал лишь о том чувстве, какое жило в нем самом (и какое он распространял на всех людей), что всякому человеку нужен берег, нужна основательность, а не палатки и разные прочие соломенные костры на заре. Он видел во всем, чем восхищался его сын, лишь баловство, минутную радость, после которой наступит прозрение, и вот тогда придется оглянуться, что вокруг. А вокруг будут только воспоминания о кострах, песнях и смехе, и будет жизнь, в которой — надо еще приложить усилия, чтобы утвердиться в ней. Он не думал, что то, что возводили студенты — жилые дома в поселке,— могло стать их берегом, их утверждением в жизни; ему казалось, что Роман непременно должен был вернуться домой, в Пензу или Мокшу, и что вот тогда-то и задаст ему жизнь свой вопрос. «Это тебе не поле перейти»,— про себя рассуждал он, как будто говорил с сыном. Но несмотря на все эти грустные мысли, которые теперь приходили Павлу, может быть, потому, что ему уютно было лежать в тени под тракторной тележкой, до краев наполненной сеном, он, в сущности, не испытывал ни раздражения, ни неприязни к сыну; он лишь прикидывал, что мог сделать еще для него, не нарушив при этом (и прежде всего в денежном отношении) общего течения своей семейной жизни. Ему предстояло в этом году отправить Бориса в Москву и повернуть еще немало разных домашних дел, которые как ком нарастали с самой весны и требовали

не только рук и времени; он собирался пристроить к избе комнату, и деньги нужны были ему еще на корову, так как прошлогоднее приобретение его — черная с белыми пятнами корова Машенька, и статью и выменем выделявшаяся в деревенском стаде,— было, и он теперь ясно видел это, неудачным; сколько он ни водил ее к ветеринару, глаза у Машеньки продолжали гноиться, и поправить дело было уже как будто нельзя.

— Не пора ли, а? — сказал Степан, поднимаясь и голосом своим и шумом, как он стряхивал сено с рубахи и брюк, прерывая размышления Павла.— Теперь солнце под уклон, все полегче.— Он не спеша собрал в узел остатки обеда и, взяв порожние бутылки из-под молока, и свою и Павла, пошел к роднику, чтобы сполоснуть их.

Павел тоже вылез из-под тракторной тележки и встал, разминая слегка руки и плечи. Ему не хотелось отрываться от своих теперешних дум, которые были как будто и тяжелыми и неприятными, но вместе с тем были важными, потому что составляли ту часть его жизни, где он был отцом и был главою и где от ума его, дел и сообразительности зависело, как от корня, общее семейное благополучие. Он понимал это всегда, но в то же время никогда не считал, что он руководит жизнью; он лишь, как ему казалось, подталкивал события в том направлении, где, он видел, скорее можно было достичь цели и где было естественнее и свободнее двигаться; именно потому — как он ни осуждал Романа только что, но главное было для него не в осуждении, а в том, как и чем он мог помочь теперь своему старшему сыну.

Стог, который Павел и Степан возили сегодня, стоял у края луга, на возвышении, и от него, от тракторной тележки, нагруженной сеном, было хорошо видно речку, противоположный ее берег, словно бородавками обросший кустами тальника, и видно было поле огородного звена, где работали теперь женщины (и где работала сегодня жена Павла, Екатерина), и видны были дальше, за капустными грядками, клинья ячменей, овса и пшеницы; клинья эти рознились по цвету, и по цвету же, потому что ячмени уже желтели, нетрудно было определить, что они поспевали и что со дня на день, если постоит еще погода, как сегодня, вчера и позавчера, можно будет пускать комбайны. К ячменям от огородного звена ехал на рессорке бригадир Илья. Он двигался медленно, и было видно, как он то и дело поддергивал вожжами; но серый мерин не прибавлял шага, а только поминутно вскидывал головой, отбиваясь, наверное, от наседавших слепней. У самой кромки ячменного поля бригадир остановился и долго, прежде чем слезть с рессорки, оглядывал его.

— Ишь, беспокойная душа,— сказал Степан, успевший уже сполоснуть бутылки в роднике, и теперь, вернувшись к стогу и тележке, стоял позади Павла и тоже, как и Павел, смотрел на желтое ячменное поле и бригадирскую рессорку возле него.— Что бы там ни говорили: хватает грамотенки, не хватает грамотенки, а куда ни кинь, мужик хозяйственный,— добавил он. Он имел в виду те разговоры, которые постоянно из года в год возникали в правлении колхоза (и велись этой весной), что не пора ли Илье передать бригадирство кому-нибудь из молодых специалистов, прибывавших в колхоз; в Мокше все были против такого решения, и прежде всего — против были Степан и Павел; главное же, дела в бригаде шли неплохо, и повода, чтобы освободить Илью, не было.— Ты что молчишь, а, Паш?

— Да что толковать тут,— сейчас же согласился Павел, который еще прежде, чем подошел к нему Степан, точно так же подумал о бригадире.— Ну, тронем? — затем проговорил он, повернувшись от реки и ячменного поля к Степану и тракторной тележке.

— Давай. Сам?..

— Сам... по первому,— подтвердил Павел, направляясь к «беларусю», который не только не казался чужеродным на лугу среди травы, сена и неба, но, напротив, как будто украшал и центрировал все вокруг себя своим красным и ярким на солнце цветом.

Пока выезжали с луга, пока затем переправлялись через овраг с черною между камнями крапивой по дну и выбирались на дорогу, которая, огибая овсяное поле, тянулась к деревне и ферме, Степан шагал рядом с тракторной тележкой и присматривал за ней; потом он забрался на трактор к Павлу и до самой фермы, пока не въехали во двор и не подрулили к тому месту, где сбрасывали сено и металы стог, молча смотрел на дорогу, овсяное поле и на деревню, только крышами возвышавшуюся над метелками овсов; но он ничего не говорил Павлу не потому, что не хотел мешать ему, а по привычке, потому что дорога и все лежавшее впереди, под солнцем, вызывали в нем то чувство, когда хотелось молчать и когда любое произнесенное слово могло сейчас же разрушить общую целостность мира, в котором и поле, и трактор, и Павел, державший руль, и сам Степан — все было одним целостным миром. Точно такое же чувство красоты, целостности и непостижимости мира испытывал и Павел; и хотя красный капот тракторного мотора ничем не напоминал ему круп лошади со шлеею и белыми пенными клочьями под ней, и движение колес ничего общего не имело с тем перестуком копыт, как если бы шагала впряженная в повозку лошадь, и не было слышно, как шуршит сено, встряхиваемое на кочках и выбоинах, а вместо всего этого гудел тракторный мотор, то натужно, то полегче, в зависимости от того, как шла дорога (и как нажимал на акселератор Павел), но от шума мотора, вида капота и передних колес-бегунков, постоянно будто прощупывавших колею, не исчезало то прежнее крестьянское восприятие дороги, когда Павел ездил на возу, на бричке; трактор, колеса и грохот мотора были уже настолько привычны ему и привычны Степану, что точно так же, как раньше мужик не мог представить свое хозяйство без лошади, телеги, волов и плуга,— и Степан и Павел не могли представить свою теперешнюю деревенскую жизнь без трактора и без этого движения, как они ехали теперь. Разгрузив и уложив привезенное сено в стог, они снова отправились на луг, к речке; им надо было сделать восемь ходов, как велел Илья; но когда они в последний раз подъехали к ферме, до заката солнца оставалось еще много времени, и им неловко было уходить домой; переглянувшись, не сделать ли еще ход, потому что возить сено все равно придется им, а не кому-либо, и чем скорее они сделают это, тем будет лучше,— они в девятый раз поехали к лугу и речке. Они закончили работу уже в сумерках и усталые, но довольные тем, что сделали все же не восемь, а девять ходов, вышли со двора фермы и уже не по дороге, а по тропинке, протоптанной доярками, направились в деревню. Павел шагал впереди, держа в руках рабочую тужурку, которая не нужна была ему теперь, но нужна была утром, когда он по росе и свежести выходил из дому; шея его, руки и плечи под рубашкою остывали от пота, и в предвкушении того, что он сейчас, придя к себе, обольется водой до пояса, он чувствовал, как едкая сенная пыль, которую он не замечал днем, вместе с потом пропитавшая рубашку, вызывала неприятный зуд. Не думая, прилично или неприлично было это, он почесывал грудь, спину, то запуская руку под рубашку, то поверх нее, и когда оглядывался на Степана, то видел, что Степан делал то же; и чем ближе они подходили к деревне, тем сильнее ощущались в воздухе запахи парного молока, еды, дыма, и тем желаннее было все то, что ожидало их дома и было смыслом и удовлетворением жизни.

В том месте, где надо было им расстаться, Павел приостановился и обернулся, чтобы сказать привычное: «До завтра».

— До завтра,— ответил Степан. Но прежде чем уйти, он сказал еще: — Так, значит, женился, говоришь? — Как будто все это время от обеда до вечера он думал об этом.

— Преподнес,— в темноте усмехнулся Павел.— Да что возьмешь с них...

XXXIV

Екатерину все в Мокше считали счастливой. Но счастливой она была теперь, за Павлом, а прежде, несмотря на многочисленную родню и по отцу и по матери, составлявшую почти половину деревни, росла сиротой, без отца. С отцом же ее, Евсеем, приключилась история, которая была до сих пор еще памятна всем. Подгуляв как следует на майские праздники, он вместе с братом Михаилом решил прокатиться на тракторе. Дело было к ночи; они завели энтэсовский трактор, стоявший возле правления, и выехали в поле, и случилось так, что Михаил свалился под колесо и Евсей задавил его; испугавшись и протрезвев, он убежал затем на речку, в тальники, и просидел там, прячась от людей, почти четверо суток, а когда нашли его, он был весь искусан комарами и не мог ни говорить, ни двигаться. Его положили в больницу, потом судили; суд выезжал в Мокшу и проходил в клубе, и это было самым тяжелым воспоминанием для Екатерины, потому что во время процесса жена Михаила несколько раз истерично набрасывалась на мать Екатерины и начинала таскать ее за волосы; их разнимали, потом она снова набрасывалась, их опять разнимали, а отец, сидевший на скамье возле конвойных, только ниже опускал голову. Его приговорили к шести годам, а когда началась война, зимой сорок первого вдруг пришло письмо от него с фронта, а спустя еще месяц — похоронная. Мать поплакала, и после этого в доме редко кто вспоминал о нем. Екатерина, не закончив школу, пошла работать, ее приставили к телятам, потом она доила колхозных коров, а потом взял ее учетчицей к себе (теперь уже покойный) Трофим Снегирек, вернувшийся к тому времени с войны без ноги и без руки и назначенный бригадиром; он все собирался жениться на ней, но так и не собрался — за делами и за самогоном, который варил сам же в баньке, стоявшей у него в конце огорода. Не женился, может быть, еще потому, что была Екатерина не лучшей невестой в деревне, жила с матерью, бедно, изба ее была оголена со всех сторон, так как пристройки и ограда истопили в войну, и чем она приглянулась Павлу, она не знала. Может, думала она, дело случая, а может, судьба, потому что — чему бывать, того не миновать, как говорили всегда в дому старые люди; но в сознании Екатерины постоянно теплилось другое чувство, что она понравилась Павлу. Избранный председателем колхоза, он снимал в ту осень комнату у Силантьевны, теперь тоже уже покойной тетки Екатерины, и Екатерина однажды под вечер — она не помнила для чего — зашла к ней; и в то время как она разговаривала с теткой у калитки, на крыльцо вышел Павел и посмотрел на нее; потом, когда она уходила по улице, он вышел за ворота и опять посмотрел ей вслед, она обернулась и запомнила этот его взгляд. Придя домой, она долго стояла перед зеркалом, разглядывая лицо и платье на себе, и, не находя ничего красивого, пожимала плечами и удивлялась — что это председатель так смотрел на нее. А на другой день тетка сказала ей: «Ох, девка, задурманила ты мово постояльца, гляди, выпрашивал про тебя», и Екатерина начала сторониться Павла; но это не всегда удавалось ей, и когда она все же встречалась с ним, видела, что Павел еще пристальнее смотрел на нее; и от взглядов этих его в душе Екатерины

происходило то радостное движение, какое происходит, наверное, в семенах, после холодного амбара попавших вдруг в теплую и влажную землю; в глазах ее появилась живость, и все в ней расправлялось, как в ростке, проклюнувшемся для плода и жизни; она хорошела день ото дня, стесняясь того, что происходило с ней, и радуясь, и боясь, что счастье, какое ясно теперь как будто виделось ей, может вдруг, как дрозд с ветки, вспорхнуть и улететь. Она хорошела, и уже не только Павел заглядывался на нее; но она по-прежнему замечала лишь его взгляды и лишь после встречи с ним слышала, как стучит в груди сердце. Но то, что она переживала и что казалось ей тайной, не было тайной ни для матери, ни для подружек и родственников Екатерины; все полагали, что еще до снегов будет сватовство и свадьба, и ждали этого с одобрением, потому что — осядет теперь председатель в деревне, не будет смотреть в сторону; но — выпали снега, а сватовства и свадьбы не было, и по избам, как шорох (как всякая деревенская новость), прокатилось мнение, будто расстроилось все, и сейчас же десятки разных нехороших предположений, как грибы, начали вырастать за спиною Екатерины; может быть, именно потому — вечер, когда после новогодних праздников Павел неожиданно пришел к ним в избу, был для Екатерины и самым счастливым и по-особому памятным ей. Весь день хлопьями валил снег, и двор, и улица, и крыши деревенских изб — все было одинаково запорошенным, белым; мать не расчищала дорожку, только смела с крыльца, а когда вошла в избу, увидела сквозь окно, как, разгребая пимами снег, шагал к дому Павел. «Гляди-ка, какого гостя наумывал нам кот», — сказала она дочери, и как только Екатерина увидела Павла, сразу поняла, для чего он шел к ним; она метнулась за печь и за занавеску и, присев на край кровати, с замиранием начала прислушиваться, как Павел входил в избу. Он долго обметал пимы, потом так же долго снимал полушубок и стоял у порога, оглядывая комнату; потом, когда мать зажгла керосиновую лампу, потому что уже смеркалось, прошел к столу, достал из кармана бутылку водки и, взглянув на потолок, где проходила matka, сел под нею и только после этого произнес первые слова:

— Катя дома?

— Дома, где ж ей быть, — тоже поняв, для чего пришел гость, и примеривающе и несуетно глядя на него, ответила мать.

— Позови.

— Катерина, — позвала мать.

Екатерина не откликнулась и не вышла из-за занавески.

— Не хочет? — Павел повернул голову и посмотрел на занавеску. — Ну ладно, ставь-ка на стол стаканы, — добавил он, обращаясь по-прежнему к матери Екатерины, которую звали Марией, он это знал, но ему неудобно было называть ее так, без отчества.

Наполнив стаканы, он поднял свой и, посмотрев на будущую свою тещу, которая тоже под села к столу и тоже взяла стакан, вдруг, не говоря ей ни слова, выпил все, что было налито, вытер тыльную стороную ладони губы и, осмелев и оглянувшись еще раз на занавеску, за которой сидела Екатерина, сказал:

— Ну вот что, помотал свою душу, хватит, или отдавай Катерину, женюсь, или... все!

— Да ты что так-то? Да ты хоть с ней-то говорил?

— Говорил, не говорил, зови, скажу.

— Батюшки, да кто же так сватается?

— Ты Катерину зови.

— Катя, Катя!

Она кинулась к дочери и велела сейчас же переодеться ей. «Ты уж погоди нас! — крикнула она Павлу из-за занавески. — Ну, под звез-

дой ты, ну, не упусти счастья», — прошептала она дочери. Екатерина помнила эти минуты, как переодевалась, и помнила, как затем вместе с матерью подошла к столу, за которым захмелевший, решительный и неестественно мрачный сидел Павел; но она только чуть взглянула на него и больше уже за весь вечер не поднимала глаз; она не знала, что ответила ему и как затем очутилась рядом с ним за столом — так близко, что, казалось, слышала его дыхание; она ни к чему не притрагивалась, а только смотрела перед собою то на стол, то на лампу, и по лицу ее, освещенному этой лампою, поминутно, как тень, пробежало то счастливое беспокойство, какое охватывало ее. Она слышала, как Павел разговаривал с матерью, но она не воспринимала, что они говорили; ей запомнилась лишь последняя фраза, которую он произнес, уже поднявшись из-за стола: «Тянуть не будем, в воскресенье и отыграем и — шабаш!», и она не шелохнулась, услышав это; она, казалось, не дышала в это мгновение, так радостно и страшно было все то, что предстояло ей. Ей надо было проводить Павла, и мать набросила ей на плечи тяжелый шерстяной платок; не столько от холода, сейчас же охватившего ее, как только она вышла вслед за Павлом в сенцы, сколько от какого-то иного чувства, заставлявшего ее кутаться, она прижимала платок к щекам; у самых дверей Павел, обернувшись и распахнув полы полушубка, обхватил и притянул ее к себе. Она испугалась, но не отстранилась, почувствовав тепло его гимнастерки и полушубка; и тепло это затем надолго запомнилось ей и согревало разную в разные годы ее жизнь с Павлом. Разную потому, что не всегда было согласно и ладно между ними так, как было согласно и ладно теперь. Пока Павел работал председателем, он каждый день то задерживался в правлении, то мотался по полям, то обивал пороги районных кабинетов, и Екатерина видела в доме только его гимнастерку и рубашки, которые она стирала, а не самого Павла; и хотя она ничего не говорила ему и как будто понимала, что все так нужно для дела, но в те ночи, когда Павел оставался в районе, она не спала и чувствовала себя забытой и одинокой. Ей иногда приходили мысли, что он изменяет ей; особенно когда началось объединение колхозов и он зачастил в Сосняки, оставаясь и ночуя там, и в Мокше недовольные родственники стали поговаривать, что видели Павла то будто у Нюрки Савковой, которая была вдовой и была бездетной и за которой ходила слава вольной и доступной женщины, — будто бы Павел утром выходил от нее; то передавали, что сосняковский ветеринар, когда клеймил колхозных телят, похвалялся, что разведет Павла и оженит на своей дочери, потому что рубленый дом, который даст за ней, перетянет все; доходили до Екатерины еще разные слухи, в которые невозможно было поверить, но как ни казалось нелепым то, что она слышала, — слухи делали свое дело, и она однажды, когда Павел двое суток не возвращался из Сосняков, на третьи, в ночь, решила сама пойти туда и узнать все. В ту осень она была беременна, ожидала первого своего ребенка (ожидала Романа); ничего не сказав матери, которая была еще жива тогда, Екатерина надела телогрейку, накинула платок на голову и пошла в Сосняки. Когда она вышла за околицу, еще светила луна, и тучи еще только черною кромкой, как лес, стелились над горизонтом, и с реки еще не поднимался и не наползал на дорогу туман, и скошенные и не перепаханные еще хлебные поля золотисто поблескивали стернею в осеннем лунном свете, и пахло еще обмолотом: зерном, мякиной, соломой, местами уже сметанной в стога, местами еще лежавшей в копнах; но для Екатерины ничего этого не существовало; как бывает всегда с людьми в таких случаях — воображенную картину, как она застанет Павла либо у Нюрки Савковой, либо у дочери ветеринара, либо еще

у кого, она лишь сильнее пробуждала в себе злую решимость; она не чувствовала, что идет, что ноги ее касаются земли; было только одно — будто она преодолела сопротивление, которое мешало ей сейчас же достичь цели и увидеть все, и она торопилась, почти бежала, расстегнув телогрейку и развязав платок, который душил ее. Она не заметила, как тучами затянулось небо и луна уже не освещала ни дорогу, ни поля, лежавшие вокруг; все было черно — и впереди и позади нее, и эта чернота в какое-то мгновение заставила ее остановиться и прислушаться; ей показалось, что кто-то будто шел за ней; но разглядев никого в темноте, она снова двинулась было вперед, не пройдя несколько шагов, опять остановилась, потому что теперь помешалось, будто кто-то стоял перед ней на дороге и смотрел на нее; и сейчас же тревога, сначала легкая, как трещинка на весеннем льду, охватила Екатерину. «Да нет, никого, все тихо», — подумала она, вглядываясь. Но она уже не могла идти; она вдруг увидела, что кругом ночь и что она стоит одна в ночи, на дороге, беззащитная и не нужная никому; она вдруг поняла, что, прежде чем доберется до Сосняков, с ней может произойти что-то непоправимое, и ужас за себя и ужас за ребенка, который именно теперь, в эту секунду шевельнулся в ней, — ужас заставил ее попятиться и забыть о том, зачем она шла; ей показалось, что впереди были волчьи глаза, которые, как жадные огненные точки, светились в густой темноте ночи. В те послевоенные годы волки еще водились в этих местах и бродили по лесам и оврагам; не было случая, чтобы они нападали на человека, но забирались в колхозные овчарни и переводили скот, и видели иногда следы их и вблизи деревенских изб. Екатерина слышала об этом; но это жило в ней всегда отдаленно и смутно, потому что, казалось, не могло коснуться ее; но она ясно теперь видела перед собою волчьи глаза и не знала, что ей было делать; и не могла кричать, только все пятилась, выставив перед собою руки, словно ладонями и растопыренными пальцами можно было защититься от того, что угрожало ей. Не выдержав наконец, она бросилась бежать — сначала по дороге, потом по убранным полю, чтобы прямее выйти к деревне, и оглядываясь, падала, снова вставала и оглядывалась и все время ясно видела то ближе, то дальше волчьи глаза. Иногда ей казалось, что стая уже настигает ее, и до нее доносился топот и дыхание, и она тогда бежала еще сильнее, опять падая и до крови обдирая руки, ноги, лицо о стерню. Как она добежала до своего двора, она не помнила; она упала на крыльце перед дверью, и мать внесла ее в комнату.

Около трех недель Екатерина пролежала в постели. Ни матери, ни Павлу, который на другой день примчался из Сосняков, она не сказала ничего; лишь глаза наливались слезами, когда Павел подходил и подсаживался возле кровати, и слезы эти светлыми белыми каплями стекали по щекам на подушку и кругами расплывались по ней. Никто в деревне так и не узнал, что было в ту ночь с Екатериной; но после этого случая Павел переменился; то ли в нем шевельнулась жалость, то ли он догадался, что же все-таки произошло с женой, а главное, из-за чего, но он уже не оставался ни в Сосняках, ни в районе на ночь; он как будто вновь увидел в Екатерине то красное, что видел в ней еще до сватовства, и, как в первые месяцы после свадьбы, был внимателен и ласков с ней, и Екатерина всегда потом считала, что поступком своим она вернула себе мужа; вернула не тем, что пошла из дому, а тем, что молчала, болью, о которой не сказала, но которая оттого сильнее передалась Павлу. Но молчала она в те дни еще и потому, что боялась, что будет у нее выкидыш; боялись этого и мать, и Павел, и родственники по деревне, приходившие навестить ее, и все облегченно вздохнули, когда обошлось и она родила своего первенца,

которого назвали в честь деда (по отцу) Романом. Мальчик был криклив, беспокоен, и все измучились с ним в доме. Особенно измучилась Екатерина. Она не спала ночи, у нее начало пропадать молоко, и ребенка пришлось отнять от груди. Он рос болезненным, и у Екатерины замирало сердце, когда она смотрела на него. Она знала, почему он был таким (был напуган, еще не родившись, и был несчастен этим) и отчего у нее пропало молоко; она еще более утвердилась в этой мысли, когда появились у нее Борис, Александр, Валентина, которых она кормила полной грудью и которые даже как будто никогда не простывали и не кашляли; и оттого, что знала, что было с Романом, — несмотря на все старание быть одинаковою со всеми своими детьми, для старшего в душе ее всегда оставалось особое место; он казался ей обделенным — и отцом и, главное, ею, и ей всегда хотелось загладить эту свою родительскую вину перед ним. Но шли годы. Роман выправлялся; выправлялась и жизнь Екатерины и Павла, и жизнь колхоза, и все входило в ту свою естественную колею, как должно было, сообразуясь, двигаться на земле, и Павел уже не только не был председателем, но не был и бригадиром, а работал то на тракторе, то на комбайне, и день ото дня — счастье словно само собою начало прибывать в разраставшуюся семью Лукьяновых. Екатерина после каждого нового ребенка не только не дурнела, но, напротив, еще более округлялась и хорошела, щеки ее светились здоровым румянцем, так что приятно было смотреть на нее; и волосы были у нее густые, мягкие, и в глазах появилось то царственное выражение, какое особенно нравилось Павлу и какое передавалось детям, сыновьям, особенно Борису. Екатерине завидовали в деревне не злой, а доброй завистью, и она знала это; пережитое забывалось, и она чувствовала себя вполне счастливой: и тем, что была за Павлом, и детьми, которых еще надо было выводить в люди.

Но как ни была она счастлива — она не хотела, чтобы жизнь ее повторилась в детях; ей всегда казалось, что существовало еще другое, большее счастье, которого не достигла она, но которого, она страстно желала, чтобы достигли дети; и счастье то виделось ей в учении. «Выучишься, везде тебе будет открыта дорога», — по-своему, как умела Екатерина выразить свое понимание жизни, говорила она сначала Роману, когда он заканчивал десятый класс, потом Борису; и это же готова была сказать Александру, Петру, Валентине и Тане, младшей дочери, которая нынешней осенью только еще собиралась пойти в школу. Екатерина старалась все делать по дому сама, лишь бы не отрывать детей от занятий, и то, что Роман всегда кропотливо и подробно готовил уроки, не тревожило ее, как Павла, и не казалось ей, что учение трудно дается старшему сыну; напротив, она видела в этом хороший признак, что он хочет знать как можно больше, и у нее словно отлегалось что-то холодное от сердца, когда она замечала, как Роман, склонившись над книгою, сидит где-нибудь в комнате, или во дворе, или под навесом, пристроившись на старых и ненужных в хозяйстве санях. И как ни приятно было ей сознать, что второй ее сын, Борис, готовился поступить в Институт международных отношений, и как ни гордилась она им — и перед деревенскою своею роднею и перед Юлией, теперь гостившей в ее доме, но к Роману оставалось у нее по-прежнему особое отношение; она как будто давно забыла о той осени, как она, беременная, бежала ночью по полю, но чувство вины перед сыном и беспокойство, что все то еще может сказаться на нем, постоянно жило в сознании Екатерины; она радовалась каждому успеху Романа и в то же время ждала, как и Павел (но тот лишь из своих наблюдений), что что-то еще должно случиться с сыном, и потому — она с большим волнением, чем муж, прочитала в это утро письмо Романа. Павел сейчас же осудил сына за скудость ума и, осу-

див, начал думать, как можно было помочь ему; Екатерина же не могла ни осудить сына, ни принять и одобрить его женитьбу, так как знала о невестке только, что та была из Каменки и училась на одном с Романом курсе, и оттого тяжелее, чем Павел, переживала случившееся, и, отправившись с женщинами в поле, ни на минуту не забывала о письме, оставленном ею в избе на комод.

— Чего это ты не в себе сегодня, лица нет,— сказала ей Даша, жена Степана, работавшая в этот день вместе с нею на поле, том самом, которое хорошо было видно Павлу с луга от стога и тракторной тележки, нагруженной сеном.

— Да какое уж тут лицо,— ответила Екатерина, разгибаясь и направляя платок на голове так, словно ей надо было закрыть лицо от солнца, нещадно и жарко припекавшего сегодня. Женщины работали тяпками — опалывали капустные грядки после тракторного культиватора, накануне ходившего здесь, так как культиватор брал нечисто и не мог подрезать сорную траву возле завязывавшихся уже кочанов. — Не знаю, как сказать, и ума не приложу, что делать,— добавила она. Она, как и Павел, не любила никому рассказывать о своих домашних заботах, но то, что сделал старший сын, было настолько неожиданным и взволновавшим ее событием, что она не могла теперь удержаться и не сказать об этом жене Степана.

— Что приключилось-то?

— Приключилось... Роман женился.

— О, господи, напугала! Да что ж тут плохого?

— Ему еще учиться да учиться.

— Доучится. А невестка кто?

— В том-то и беда, никто не знает. Оно, знали бы, все легче. Пишет: там, с ним в институте.

— Горевать тебе нечего,— рассудила жена Степана.— Что за невестка, посмотришь. А парень-то был каков, а! — затем воскликнула она. Она как будто не хотела сказать ничего плохого, но по взгляду, как посмотрела при этом, Екатерина сейчас же поняла — было что-то, что можно было истолковать так: «Вот и тебя коснулось, так что рано гордилась, голубушка». Взгляд этот неприятен был Екатерине, она взяла тяпку и снова принялась полоть молча, не разгибаясь и не поднимая головы, тяжелевшей на солнце.

Сразу же после обеда Екатерина ушла с поля, отпросившись у бригадира Ильи; и как только вошла в избу — взяла с комода письмо Романа и принялась перечитывать его. Ей надо было поплакать, чтобы примириться и успокоиться, и было то самое время, когда она могла позволить себе это, потому что, кроме нее, в доме никого не было. Борис хотя и закончил школу и получил аттестат зрелости, но по-прежнему каждое утро уезжал на велосипеде в Сосняки: день — к учителю по французскому, день — к учителю по английскому, нанятым еще с зимы Павлом; Юлия же с четырьмя другими детьми Екатерины — Александром, Петром, Валентиной и Таней — ушла в лес; попевала земляника, и она вызвалась наварить земляничного варенья. Они должны были вот-вот вернуться (они тоже вышли из дому рано), Екатерина знала это и оттого присела у окна, чтобы видеть дорогу. Но она не смотрела на дорогу, потому что слезы и письмо мешали ей; она плакала, и чем крупнее по щекам ее текли слезы, тем очевиднее было, если бы кто теперь взглянул на нее, что в душе ее происходило посветление; она приходила к той простой и ясной для себя мысли, к какой не могла не прийти как мать, что дело сделано, назад ничего не вернешь и что надо написать сыну, чтобы приезжал вместе с же-

ной, и поскорее, и что — чего уж теперь! — придется справить им свадьбу по-людски, как полагается, и что сегодня же вечером она поговорит с Павлом об этом. Но едва она начала думать, как увидит невестку, которую старалась и не могла представить себе, глаза опять заволакивались слезами, но теперь как будто счастливыми, потому что — какой бы ни была невестка, Екатерина знала, что примет и обласкает ее. «Может, и к лучшему», — наконец заключила она, по-своему, по-женски рассудив и оценив все. Десятки разных дел ожидали ее в доме, и когда она, немного успокоившись, поднялась и отошла от окна — с улицы и затем со двора донеслись до нее голоса детей (и голос Юлии), и по голосам этим она сейчас же поняла, что сходили они удачно и что день хорошо сложился для них.

XXXV

Впереди бежал Петя. Он был в коротких штанишках с подтяжками, которые — то одна, то другая — спадали с его плеч, был в сандалиях с оторванной пряжкой, и голые и загорелые мальчишеские колени его потому, что он ползал по земляничным полянкам, были в зелени и со следами раздавленных и подсохших ягод; следы ягод, так как он ел землянику с ладоней, смеясь, озорничая и пачкая соком подбородок и щеки, были и на лице его, веселом и довольном, глядя на которое, можно было подумать, что не было в мире ничего более прекрасного, чем то, что он, Петя, живет на свете, и он как будто спешил теперь поделиться этой своей радостью с матерью. Он кричал то бессмысленное, что обычно кричат в такие минуты дети, выражая восторг: «Ула-а! Ула-а!», и звонкий ребячий голос его, ударяясь в окна избы и в плетеную стену коровника, катился затем по огороду к речке и разбивался и затихал там. Следом за Петей, отставая от него и тоже выкрикивая «ула-а», вбегала во двор через приоткрытые жердевые ворота Таня. В светлом ситцевом платье, из которого она выростала и которое было так коротко на ней, что оголялись все стройные детские ножки ее и видны были белые трусики, — она была так трогательно хороша, что Юлия, весь день любовавшаяся ею, с еще большим, казалось, удовольствием снова сейчас смотрела на нее. Коленки у Тани тоже были выпачканы земляникою, и во всех ее движениях чувствовалось, что она подражала Пете, и тоже — как будто спешила теперь вслед за братом сообщить матери, как она рада жизни, солнцу и всему, что веселило ее в этот ясный, теплый и наполненный праздником летний день. Валентина, может быть потому, что была постарше и поспокойнее, шла рядом с Юлией; но на круглом, в лукьяновскую породу (вся в отца, в Павла) лице ее светилось то же выражение счастья, какое было в глазах, движениях и выкриках Пети и Тани; она смотрела то на своих младших брата и сестру, то переводила взгляд на Юлию и на корзинку, которую та несла, и которая до краев была наполнена спелой земляникой. Александр замыкал шествие. Он чертил палочкой что-то впереди себя по дорожке и делал вид, что все происходившее не интересует его; он был в том возрасте, когда еще хотелось шуметь и кричать, как Пете, и уже хотелось подражать Борису, который представлялся ему взрослым и был примером и авторитетом для него; и в Александре теперь пересиливало это, подражание Борису, и оттого он шагал позади всех, соблюдая выдержку и достоинство. Но и на его лице, когда он приподнимал голову, заметно было то общее выражение радости, какое было на лицах сестер, брата и Юлии.

— Тише, тише, — говорила Юлия уже взбегавшим на крыльцо Пете и Тане, улыбаясь и ласково глядя на них.

Она была в том счастливом настроении, когда все, о чем бы ни думала, — представлялось просветленным и чистым; лесные поляны, куда она ходила сегодня, и где со всей шумной лужьяновской детворою собирала землянику, и где было пестро от цветов, трав, шмелей и бабочек, крутившихся над цветами, звонко было от комаров, клубами вившихся над головою, и тропинки, где тоже было пестро от солнца, лившегося на них сквозь листву, когда переходили по лесу от поляны к поляне, — все-все это еще стояло перед глазами Юлии и по-особому радостно возбуждало ее. Она давно не испытывала такого приятного волнения, как в сегодняшнее утро, и давно уже не чувствовала себя такою поздоровевшей, как в эти минуты, когда входила в лужьяновский двор, и в ней возникало то суетное беспокойство, будто она должна была теперь чем-то отблагодарить Екатерину. Полное лицо Юлии, как ни закрывала она платком лоб и щеки, было загоревшим и розовым и с капельками пота, проступавшими над верхней губою и по кромке растрепавшихся волос под платком; полные и оголенные до плеч руки ее были вовсе обожжены солнцем, были красными, и уже больно было притронуться к ним; Юлия не захватила, чем она могла бы прикрыть или перевязать их, и крупные, сочные и подвялые уже листья лесной травы, торчавшие теперь из-под плечиков платья и нависавшие над оголенными руками, делали всю ее полную фигуру какой-то окрыленно-смешной, непривычной, как будто что-то забытое и детское вдруг странно и неестественно ожило в ней. Но детство, когда она с Павлом (зadolго до войны) бегала из Осташкова в лес и на озера, было так далеко, что лишь смутно и изредка вспоминалось ей в этот сегодняшний день; более она думала о Наташе, от которой получала теперь только письма из Москвы, и так как письма эти были наполнены одними счастливыми выражениями и Наташа ни на что не жаловалась в них, — письма эти не только радовали Юлию, но давно уже составляли главный смысл всей ее деревенской жизни. Правда, иногда она чувствовала, что в них недоставало чего-то, что хотелось прочесть вместо общих счастливых выражений; было непонятно, перебрались ли Наташа с Арсением в новую квартиру или по-прежнему жили в комнатке, в которой негде было, и Юлия хорошо знала об этом со слов дочери, повернуться от книг; не ясно было, как продвигались у Арсения дела с диссертацией, и собирались ли они справлять свадьбу и когда, и зарегистрировались ли, что особенно тревожило Юлию; и что покупает, готовит и как одевается Наташа, и хватает ли у нее денег на все, и еще и еще — не ясно было именно это повседневное, из чего складывается любая семейная жизнь и по чему Юлия могла бы сейчас же определить, как на самом деле она складывалась у дочери; иногда возникало у нее именно это желание — узнать подробности, но общие счастливые выражения снова и снова, как только она садилась перечитывать письма, приятно успокаивали ее. Теперь же, под впечатлением прогулки, сбора ягод, леса и солнца, — Юлия была более чем когда-либо спокойна за Наташу. «Нашла свое, и слава богу, и что еще лучшего можно желать», — говорила она себе, думая об Арсении. Ее уже не волновало, как прежде, что между отцом и дочерью все еще не было примирения; ей казалось, что примирение состоится сейчас же, как только они с Сергеем приедут в Москву и увидят Наташу и Арсения; будущее представилось ей таким же простым и ясным, как прост, ясен и весел был сегодняшний день, проведенный ею с племянниками и племянницами в лесу. С этим добрым и примирительным чувством и подходила она теперь к крыльцу лужьяновской избы и смотрела на вышедшую встретить ее и детей Екатерину.

— Ты уже дома? — сказала она, остановившись перед Екатериной,

которая была в дверях, и продолжая удивленно и счастливо смотреть на нее.

— Да вот, только что, перед вами,— ответила Екатерина, улыбаясь, глядя одною рукою Петю по головке, другою ласково прижимая Таню, которая озорно из-под челки косилась на брата.— Батюшки, где же это вы столько набрали? Да спелая вся,— весело продолжила она, отстраняя детей и наклоняясь над корзинкой с ягодами, которую Юлия поставила перед собою у ног.— О-о, да ты сожглась, ты же сторела вся! — затем воскликнула она, разглядывая широкие подвялые листья, которые от плеч свисали над оголенными, полными и красными руками Юлии и прикрывали их.— Что ж ты так, надо же было взять что-нибудь,— торопливо, заботливо и весело заключила она. Но несмотря на всю эту радостную суетливость Екатерины, Юлия заметила, что веки у нее были припухшие, как они бывают припухшими после слез, и на щеках и у губ лежали подсохшие полоски.

— Ты что, плакала? — спросила она.

— О, господи, да так, нечего бабе делать.

— О нем?

— О ком же еще?

— Милая моя, без нас они решат, без нас найдут друг друга,— сказала Юлия, когда все, и Екатерина и дети, вошли в избу.— Вон Наташа, сколько сидела? Думали, уж и не выйдет, а нашла. И какого. И сама...— Она говорила спокойно и с тем оттенком назидательности, за которым чувствовалось, что она имела право говорить так.

— Да у тебя что ж!

— А что Роман? Разве он способен на глупость? Он умница, я помню его. Хорошо помню,— добавила Юлия.— Ну, будем варить? — затем сказала она, ставя корзинку с ягодами на стол.

XXXVI

Несмотря на то, что вторую половину дня Юлия провела также на ногах — толкалась возле печи, на которой варилось земляничное варенье,— вечером выглядела такою же бодрой, какой была, когда вернулась из лесу, и так же охотно и обо всем разговаривала с Екатериной. Во дворе, хотя варенье уже внесено было в избу и остывало там, наполняя все уголки комнаты запахом земляники, сахара, леса и солнца,— во дворе тоже еще стоял этот запах, вызывая у Юлии то чувство, какое связывалось у нее с воспоминаниями о лесной деревушке, где она жила с Сергеем Ивановичем, когда он командовал полком, и где был у нее огород и был рядом лес, грибы и ягоды (как здесь, у Лукьяновых, в Мокше), и связывалось с воспоминаниями о Москве, где она лишена была всего этого, но где была своя красота жизни, отличавшаяся от деревенской и как будто уступавшая, но в то же время и не уступавшая ей. Как и Сергей Иванович в разговорах с Павлом, Юлия теперь хвалила все деревенское; но как только Екатерина предлагала: «Так перебирайтесь сюда, чего ж вы там», сейчас же отвечала ей: «Нет, что ты, мы настолько привыкли к нашей городской суете, что и думать нечего», но через минуту снова начинала утверждать, как хорошо было все в Мокше. Женщины сидели вдвоем во дворе. В летней печке, на которой готовился ужин к приходу Павла, живо охватывались огнем и потрескивали поленья. Дети, суетившиеся возле Юлии и Екатерины, пока варилось варенье, убежали на речку, и не было слышно их шумных голосов; вечер опускался на деревню тихий, теплый, один из тех сухих и ясных летних вечеров, какие бывают только в пору, когда созревают хлеба, или в пору страды, когда на токах вырастают бурты пшеницы; солнце са-

дится за буртами желтое и раскаленное, и в закатном небе долго затем держится его белый и постепенно тускнеющий свет; и так же постепенно остывает земля; от нее, как от каравая, вынутого из печи, поднимается испарина, в которой мельтешит мошкара, и испарина эта затем скатывается на деревню и повисает над ней; и от этого дыхания полей отогреваются и добреют люди. Потому-то — как ни привычно было все для Екатерины, с детства и почти безвыездно жившей в деревне, но в душе ее происходило то же волнение, как будто незаметное внешне, какое происходило в душе Юлии и было заметно: и по живости глаз, и по живости движений, как она, полная и неловкая, наклоняясь, подбрасывала поленья в огонь. Юлии было хорошо; но не зная точно, отчего ей было хорошо, она продолжала восторгаться простотой и естественностью жизни, какая теперь, в минутной радости, представлялась ей, как и Сергею Ивановичу в первые дни, удивительной и разумной.

Пока Екатерина чистила у кабанчика, которого Лукьяновы откармливали с весны, чтобы заколоть, когда Борис окончит школу (точно так же, как это сделано было для Романа), и пока затем доила корову Машеньку, с полным, почти до земли отвисавшим выменем пришедшую с луга, Юлия оставалась одна возле печки; когда же Екатерина, освободившись, подошла к ней, разговор между ними возобновился сейчас же и потек в том же русле: о жизни, нарядах, что теперь было модно и носили женщины в Москве, и что носили в деревне, и как обставляются квартиры, и что в магазинах, и еще и еще — о письме, о Романае, и опять о магазинах и Москве.

— Как мой там, в Пензе? — наконец сказала Юлия, в первый раз за весь этот день вспомнив о муже.

— А что он? — отозвалась Екатерина. — Так укатил, что твой министр. Уж, поди, пристроят и накормят, люди у нас гостеприимные.

— Накормить, что ж...

— Там сейчас такой стол, поди! Я вот скажу: у Павла в деревне однополчан нет, а все одно, как сойдутся мужики под девятое, тут и водка ни водка, заговорят, до утра не разведешь. Так что, Юля, это ли забота, как твой там, в Пензе? Я вот ума не приложу: пишет, каменская, а из какой семьи? — Для Екатерины важно было это, женитьба Романа, и она опять старалась перевести разговор на свое. — Я ведь собиралась повезти ему свитер и телогрейку, а не поехала. и простить себе не могу. Отговорить, может, не отговорила бы, но хоть посмотрела бы, кого выбрал, — заключила Екатерина.

— Разве по взгляду узнаешь?

— Узнала бы. Меня-то ведь уже не ослепишь красотой.

— Катя!

— Узнала бы, да и сказала: учиться тебе еще, сыночек, и учиться, а не жениться.

— Еще и выучиться успеет и взять свое. Рано ли, поздно ли, я по Наташе сужу, теперь у них все по-своему, и сами они лучше нас разберутся, чего им надо и чего не надо.

Хотя у Юлии была одна дочь, а у Екатерины шестеро детей, но эта одна — была уже определена в жизни, была счастлива (как полагали все, судя по ее письмам), и потому Юлия считала себя опытнее в понимании и воспитании детей; но то, что она говорила теперь, было совсем не похоже на то, как она на самом деле держалась с дочерью, а составляло лишь красивый доммысел, как могло бы все происходить в семье; ей хотелось возвысить Наташу и вместе с нею возвысить себя; но в словах и в голосе, несмотря на все старание говорить убедительно, чувствовалась фальшь, и Екатерина, которой ничего не надо было ни придумывать, ни преувеличивать, чтобы гордиться деть-

ми,—Екатерина то и дело удивленно и недоверчиво поглядывала на Юлию. Она не могла подумать, что Юлия говорила неправду; но и не могла поверить, что говорила она все искренне, потому что — как можно было, по ее деревенским понятиям, не направлять и не воспитывать детей? Она слушала Юлию, но в душе не соглашалась с ней; и, не соглашаясь, вместе с тем не спорила, потому что, во-первых, Юлия была для нее не просто родственницей, сестрой Павла, но была из Москвы, где центр всему и где не могут жить неумные и лживые люди, и во-вторых — что бы там ни было, а не признать, что Наташа счастлива, и в связи с этим не признать за Юлией права говорить поучающе — было нельзя.

— Сейчас вообще все по-другому, — снова начала Юлия, — и детям с малых лет велют прививать как можно больше самостоятельности. Так пишут ученые. И по радио и по телевидению выступают. И в школе говорят об этом. У нас вон соседка по этажу, Миронова, так сын у нее клоп клопом, только-только за парту сел, а уже сам через всю Москву на эту, на секцию, ездит. В Лужники, на стадион. Клюшка-то, господи, вдвое выше его. Я говорю ей, Мироновой: не боишься? А что, отвечает, бояться? Пусть растет самостоятельным парнем. Теперь, говорит, не то что в наше время, другие методы воспитания. — Юлия рассуждала так, будто дочь ее до сих пор еще училась в школе и все, что касалось воспитания, было не просто известно, но составляло, как и прежде, часть ее жизни; но на самом деле — лишь только потому, что Наташа давно вышла из школьного возраста, Юлия позволяла себе говорить это. Она не знала, что действительно нового предлагалось в воспитательной работе, но по тем обывательским разговорам, которые ведутся между людьми везде, всегда и на разные темы, как они издавна велись и ведутся в Москве, слышала, что в школах постоянно вводятся какие-то новшества; и новшества эти, казалось ей теперь, заключались именно в этом, в привитии самостоятельности детям. Если бы подобные новшества вводились в годы, когда училась Наташа, Юлия возмущалась бы, и протестовала, и нашла бы десятки доводов в защиту своего мнения; но теперь то, что вводилось, не затрагивало ее, и потому можно было одобрительно говорить об этом. Кроме того, ей хотелось выглядеть знающей перед Екатериной и выглядеть современной, что выгодно отличило бы ее от жены брата, и она была довольна сейчас собой и тем, что говорила. — Москва неудобна только тем, — продолжала Юлия, — что нет в ней простора, полей, как здесь, но зато все новое зарождается в ней.

— Это хорошо, что у вас в Москве и дети другие. А у меня вон: мам, поесть, мам, пошел, мам, дай то, дай другое, мам, мам, только и слышишь день ото дня, какая уж тут самостоятельность.

— Нет, Катя, тебе-то уж грешно жаловаться на своих сыновей. Они у тебя золотые.

— А хлопот?

— Да ты посмотри, что у других? Что у нас в Москве: сплошь да рядом, — проговорила Юлия, совсем забыв, как она только что хвалила новое и будто бы одобрявшееся всеми в Москве направление в воспитании, когда родители со своими устаревшими взглядами на жизнь не должны вмешиваться в дела детей.

XXXVII

Павел пришел с работы поздно, когда дети были уже накормлены и младшие, Петя и Таня, уложены спать. Александр с Валентиной отпросились за ворота, на улицу, и собирались пойти в клуб, где сегодня показывали фильм; Борис же, вернувшийся из Сосняков затем-

но, заучивал какой-то английский текст, который непременно надо было ему знать наизусть. Он ходил по комнате с раскрытою перед лицом книгой и громко и выразительно читал, что было непонятно и было странно слышать, особенно Юлии; с темного двора отчетливо виднелись его плечи и голова в освещенной комнате, и Юлия и Екатерина то и дело обращали внимание на него. Павел, увидев, что сын учит, не стал заходить в избу; только с минуту понаблюдал за ним и, удовлетворенный, снимая рубашку, отправился умываться, а затем сел за стол, к женщинам. Он не был сегодня так весел, как обычно, когда возвращался с поля; девятый ход, который они сделали со Степаном, был, очевидно, лишним, и Павел понимал это теперь, когда тяжело было ему наклоняться и тяжело было двигать руками; но вместе с тем он не жалел, что был сделан этот девятый ход, и думал, что надо будет и завтра и послезавтра тоже сделать по девять, и что — через три дня в таком случае все сено с нижних лугов будет свезено ими; Юлии же, когда та спросила, почему он пришел поздно, он сказал лишь: «Да мало ли, ты наливавай, наливай, а то подтянуло все», и молча затем принялся есть борщ и отварное мясо в нем и картошку, которая была посыпана мелко нарезанным зеленым луком. Но хотя он молчал, уже то, что он сидел за столом и аппетитно и громко двигал ложкой, вносило в общество женщин, Екатерины и Юлии, то оживление, какого не доставало им прежде, когда они поджидали его. В семье Лукьяновых всегда было многогласие и шумно; но когда Павел уходил на работу — несмотря на это многогласие и шум, казалось, будто убирала печь, от которой исходило тепло и всякие вкусные запахи еды и печеного хлеба; но как только Павел появлялся в доме — хотя дети уже не шумели и не голосили, как днем, и сам Павел говорил не много, словно надо было ему экономить слова, как экономил он на работе горячее и масла́ и экономил силы, чтобы хватило их до конца дня и до конца лета, когда все будет убрано и свезено с полей и будет поднята зябь и посеяны озимые, но он как будто сразу же заполнял собою и двор и избу, и вся семейная жизнь сейчас же сосредоточивалась вокруг него; и все было так естественно, что ни он, ни Екатерина, ни дети не замечали этого, а только тянулись к нему и радовались ласковому взгляду его и шершавой руке, которой он гладил девочек по головам.

— Что ячмени? Не говорил Илья, когда косить? — спросил он. Он весь еще жил работой, колхозными делами, и важно было ему, когда попевали ячмени, которые большим желтым клином лежали за речкою, и он видел их с луга, и важно было знать, что решил бригадир Илья; а все домашнее находилось еще за чертою, которую он собирался, но пока никак не мог перешагнуть.

— Не знаю, — ответила Екатерина.

— Он что, не говорил?

— Да он и не приезжал от ячменей. И я с обеда ушла.

— Чего так?

— Илья отпустил.

— У него что, бабских рук излишек?

— Ты на него зря, ты у себя дома разберись: что будем делать с Романом?

— А что с ним делать? Свадьбу. — И он посмотрел на жену, потом на сестру, на Юлию, и подмигнул ей: дескать, вот так-то решаются у нас семейные дела.

— Тебе все шутки, — возразила Екатерина, хотя она была довольна тем, что предложил Павел. — Свадьба-то свадьбой, а к словам еще...

— Найдем, — перебил ее Павел, который теперь, после борща,

мяса и чая, было заметно, оживился и повеселел.— Достанем,— повторил он, поднимаясь и выходя из-за стола.

Откуда он мог взять деньги на свадьбу и на то, чтобы отделать Романа, он пока не знал; но он видел, что разговор, затеянный теперь, не мог ничего подсказать ему и потому представлялся бессмысленным, ненужным и неинтересным; только зря будет потрачено время и потрачены силы, чего он по крестьянской привычке своей и по крестьянской жизни, в которой, как в природе, признавалось им и принималось лишь разумное и приносившее видимую пользу, не мог позволить себе; всю сложность дела, в конце концов, он свел к тому, колоть ли кабанчика теперь, на окончание Борисом школы, как было задумано с весны еще, или подождать и заколоть позднее, когда приедут Роман с женою и можно будет совместить оба эти торжества. Высказав это свое соображение Екатерине, он полез на сеновал спать; и так как проблема кабанчика это уже была не проблема сына и решалась проще — заснул сейчас же, как он засыпал всегда, крепким и здоровым сном. Но Екатерина и Юлия долго еще сидели за столом и обсуждали соображение Павла. Для Юлии, как и днем, все по-прежнему оставалось простым и ясным, и она не видела причины, чтобы расстраиваться. «Нет, нет, они сами решат все за себя, не вмешивайтесь и не трогайте их»,— твердила она, уверяя Екатерину и веря сама в эти минуты, что вмешиваться в дела детей нельзя, что это приводит только к ненужным ссорам и осложнениям, как у Наташи с отцом; она не рассказывала Екатерине о том до сих пор мучительном для нее воскресном утре, когда Сергей Иванович выгнал Арсения, и даже как будто не вспоминала о нем, но весь разговор ее сводился сейчас именно к этому, что Сергей Иванович был не прав, но что права была она, полагавшаяся на выбор дочери, и убеждала в своей правоте Екатерину. «Им жить»,— продолжала она, хотя для Екатерины вопрос этот стоял совсем не так, как он стоял перед Юлией и Сергеем Ивановичем. Екатерину беспокоило, что сын ее теперь оставит институт, и потому она возмущалась поступком сына; но так же, как и Павел, понимая, что ничего изменить уже нельзя, что дело сделано и надо принимать все как оно есть,— в душе же смирилась со всем, и только неловко было ей после всех утренних разговоров, слез и волнений так быстро изменить перед Юлией свое мнение о женитьбе сына. В сознании ее постепенно, как и в сознании Павла, все свелось тоже к кабанчику, которого надо было либо колоть теперь, для Бориса, либо дожидаться Романа с женой и заколоть только ко дню их приезда; и хотя это тоже было не просто решить Екатерине, но — было уже легче, потому что весь вопрос сводился лишь к общедомашним хозяйственным делам, какие не были новыми, а были привычными ей.

Женщины сидели до тех пор, пока Александр и Валентина не вернулись из клуба и пока Борис, выучивший наконец нужный ему английский текст, не ушел к отцу на сеновал. Екатерина отправилась в избу, а Юлия осталась во дворе и постелила себе в снях, под навесом; вечер и ночь представлялись ей такими прекрасными, как она говорила, что она не могла надышаться хлебным воздухом, какой приходил с полей; она долго лежа смотрела на огромную, круглую и низко висевшую над избами и дворами луну; возбужденная всем счастливо прошедшим для нее днем, разговором с Екатериной, лесом, земляничными полянками, которые ловко отыскивал Александр и по которым затем ползал, более давя коленками ягоды, чем собирая их, маленький Петя, возбужденная простором и солнцем, когда возвращались с корзинкою ягод в деревню, а главное, приятно возбужденная всеми теми хорошими мыслями о Наташе, для которой ничего лучшего, казалось, и желать уже больше нельзя,— Юлия не могла

заснуть и после полуночи, когда луна скрылась за горизонтом и во круг стало так темно, что невозможно было уже через двор различить избу; она не могла заснуть как будто оттого, что всякие счастливые мысли приходили ей в голову, в то время как на самом деле — не спалось ей потому, что какое-то непонятное предчувствие, как старый пенъ на лугу, среди цветов, портящий общее впечатление, тревожно волновало ее. Что-то должно было быть с Наташей или что-то с Сергеем, уехавшим в Пензу. Но по всему ходу дел она знала, что ничего не могло с ними случиться, и потому подавляла в себе это нехорошее предчувствие; она не заметила, как задремала и заснула; но почти в ту же минуту проснулась, как просыпаются от какого-нибудь страшного сна; ей показалось, что кто-то ходит по двору, и она приподнялась на локте, чтобы лучше разглядеть кто, и увидела за воротами и за избами, что стояли на противоположной стороне улицы, красное зарево по горизонту, как будто занималось утро. Но зарево это было не на востоке, а на севере, в направлении Каменки, где горели в этот ночной час стога сена, ячменное поле, откормочная база и комбикормовый завод со складами. «Светает», — подумала Юлия. Второй раз она проснулась точно так же внезапно и будто беспричинно и снова увидела, но теперь не зарево, а полосу восхода, разливавшуюся над деревней. Что полоса эта была совсем в другой части неба, чем зарево, она не обратила внимания. «Светает», — опять проговорила она. Одеядло и подушка были волглыми от выпавшей росы, и Юлия укрылась с головою, согреваясь и засыпая.

XXXVIII

С нижних лугов, как и подсчитал Павел, на третий день все сено было свезено к ферме; но с верхних возили дольше и завершили только к середине следующей недели; и в день завершения, под вечер приехал из Сосняков секретарь партийной организации колхоза Калентьев, чтобы собрать мужиков мокшинской бригады и подвести итоги сеноуборки. Лугов в Мокше не прибавлялось и не убавлялось с тех самых пор, как существует деревня, и ежегодно (и когда был колхоз, и теперь, когда угодыя числились за бригадой) все луга скашивались до последнего квадратного метра. Но вместе с тем в правлении колхоза каждую весну составлялся и спускался в бригаду план работ, по которому мужики принимали обязательство, что скосят все и к сроку и что при этом заготовят столько-то тонн сена, хотя травы всякий год бывали разными и лето на лето не приходилось. Предписания эти, планы и обязательства долгое время представлялись мокшинским мужикам тем чуждым в крестьянской жизни делом, от которого были только хлопоты, но не было пользы. «Для чего переводить бумагу, если и так все известно и всегда делалось и будет делаться», — говорили они и на собрания и на сходки, когда надо было принимать обязательства, отправлялись с неохотою, чтобы только отвести время, и не слушали, что предлагал председатель или бригадир, а толковали о своем, курили или дремали, пригrevшись возле правленческой печки, а когда доходило до голосования, поднимали руки, потому что все равно скошено будет все и сделано будет все, что требуется в хозяйстве. Несмотря на новую жизнь, которая входила в деревню и расшатывала и меняла все представления о прежнем крестьянском труде, мужики долго не могли привыкнуть, чтобы в их деле кто-то руководил ими; им казалось, что на земле, на которой они испокон века кормились, они лучше знали, что, когда и как надо было делать им; им сподручнее было всякий раз прикидывать, пора ли пахать, пора ли сеять или нет (как прикидывал раньше каждый для себя в своем малом хозяйстве), и неестественным и лишним

представлялось говорить и записывать, что и так разумелось само собой; их как будто заставляли надеть второй хомут на лошадь, тогда как одного было вполне достаточно, чтобы везти воз. Но как ни казалось им вначале неестественным и ненужным: это новое и как ни трудно было как будто привыкать к нему — постепенно, как трактора, комбайны, плуги и сеялки вошли в их жизнь, вошло и это, обязательства и планы; и вошло потому, что было не наносным, а имело прежде свой корень во всяком мужицком деле. Крестьянин всегда намечал себе, сколько он должен накопить сена, сколько вспахать, посеять и убрать хлеба, и всегда думал, что надо сделать все это как можно лучше, чтобы не отстать от соседа, а обогнать его; но то, что он держал в уме и что было для себя, — было теперь на бумаге и было для всех; из маленького огорода жизнь вышла на огромное поле, изменились масштабы, и в голове уже невозможно было удерживать, что намечалось сделать в хозяйстве. Павлу, до войны жившему в городе, все это было очевидным с первого же дня, как только он начал работать в деревне; но Степану, Илье и многим другим мокшинским мужикам очевидным стало это только в последние годы, когда они разглядели наконец, что планы и обязательства, принимаемые бригадой, приносили пользу колхозу. Им некогда было думать, что из того, что предлагалось для новой жизни, имело, а что не имело корней в их крестьянском деле; но то, что они принимали, входило в жизнь их так же прочно и основательно, как прочно и основательно отцы и деды их когда-то рубили избы на этой земле.

Мокшинцы собрались в клубе — точно так же, как они собирались здесь весной, когда принимали обязательства по заготовке кормов, и точно так же — на сцене перед зашторенным темною занавесью экраном был выставлен стол и за столом сидели бригадир Илья, секретарь партийной организации колхоза Калентьев и еще несколько членов правления, которые жили и работали в Мокше; и точно так же, как и весной (как и во все предыдущие годы), — поднялся над столом Илья, широкий, грузный, и, открыв собрание, прочитал сперва, что бригадою намечалось сделать по сеноуборке, потом что было сделано ею; потом, так как по мужицкой своей привычке он не умел говорить красиво, а был скуп и немногословен и говорил лишь, что относилось к делу, — назвал лучших механизаторов, в числе которых были Степан и Павел. Илья говорил, в сущности, то, что было известно всем; но в зале было тихо и все слушали со вниманием, потому что, о чем говорилось, было их повседневной жизнью. Цифры, называемые Ильей, были для мужиков — луга, которые они знали наперечет и знали, казалось, каждую травинку на них; и еще больше знали, сколько было каждым оставлено пота на том или другом лугу; они как бы со стороны смотрели сейчас на свой крестьянский труд, в котором нет будто ничего особенно важного и ничто будто не может измениться, если днем раньше или днем позже скосить луга; но им-то давно было известно, что травы могут быть недозревшими и перестоялыми и что надо выбрать именно тот момент, тот день, когда все в самой норме, и они теперь, слушая Илью и затем слушая выступившего Калентьева, который говорил, как обстояли дела в других бригадах колхоза, видели, что день ими определен был точно, и что оттого обязательства не только были выполнены ими, но что заготовлено сена намного больше, и что, как в шутку сказал кто-то в зале: «Можем поделиться с погорельцами изпод Каменки!» Но шутка эта, по существу, не была шуткой; то, о чем не говорили еще ни Калентьев, ни бригадир Илья и над чем еще не задумывались в районе — что придется поделиться сеном с совхозом, у которого сгорели стога и комбикормовый завод, — ясно было этим пришедшим сюда мужикам, которые знали о пожаре и готовы

были помочь соседу, и им весело было оттого, что они с легкостью и не в ущерб своему хозяйству могут сделать это. И точно так же, как все, думал Павел. Он пристроился в том же ряду, где и Степан, словно чувство плеча и локтя, какое испытывал всегда, работая с ним в поле, было необходимо испытывать ему теперь; время от времени он поглядывал на Степана, затем поворачивался к Илье и Калентьеву и смотрел на стол, покрытый зеленым сукном, за которым они сидели, и на его лице сейчас же опять возникало то же сосредоточенное выражение, будто он продолжал работу, начатую днем, в поле. Он вместе со Степаном обкашивал ячмени, которые лежали за речкою и на которые он смотрел с луга, от тракторной тележки, когда перевозил сено к ферме; ячмени пора было убирать, и Павел и Степан как раз готовили поле под комбайны, и тот сухой шелест спелых колосьев, какой весь день как бы ласкал слух Павла, то обилие солнца, простор полей и простор неба, что как будто было привычным, но вместе с тем каждый раз по-своему и разной красотой открывалось ему, и то чувство огромности и целесообразности всего земного, и чувство причастности к этому земному, и чувство целесообразности, полезности и общественной значимости того, что и Степан и он, Павел, делали вместе в этот день на ячменном поле,— мир всех этих забот, переживаний и мыслей был как бы принесен Павлом сюда, в зал, и продолжал жить вокруг и в нем, и занимать, и волновать его. Он не думал, что в числе передовиков будет названа его фамилия, и потому — и неожиданно и приятно было ему услышать это; после собрания, когда он выходил из клуба, он испытывал то же чувство удовлетворения, как в тот вечер, когда им и Степаном вместо восьми было сделано девять ходов и он, усталый и довольный, возвращался домой.

Мужики разошлись не сразу. Толпясь на траве перед клубом, они долго еще перебирали подробности, как и что говорилось на собрании, и Павел тоже не уходил домой и стоял вместе с ними. Завтра им предстояло начать уборку хлебов — вывести комбайны на то самое ячменное поле, которое обкашивали сегодня Степан и Павел, и потому, что они начинали жатву первыми не только в колхозе, что особо подчеркнул Калентьев, но первыми по всему району, важно было, чтобы они, мокшинцы, задали тон этому большому государственному делу. И тон этот должен был задать Павел, которому как раз и поручалось (еще накануне собрания Илья предупредил его) повести первым комбайн.

XXXIX

Спустя несколько дней после собрания, в самый разгар уборочных работ, когда ячмени были уже скошены и можно было приступить к овсам и на подходе были клинья озимой пшеницы, Павла неожиданно вызвали на центральную усадьбу колхоза для срочного телефонного разговора. Звонил Сергей Иванович, и Павлу сказали об этом. Недовольный зятем, что тот, почти две недели ничего не сообщавший о себе, позвонил именно теперь, когда не только Юлия, но все в доме уже начали беспокоиться о нем, и когда, главное, каждая минута у Павла была на счету,— он все же завел «Запорожец» и отправился в Сосняки. Он ехал быстро и всю дорогу мысленно осуждал Сергея Ивановича, который был ему теперь, как лишний навильник сена на возу, и надо было оглядываться на него. «Написал бы, и все дело»,— рассуждал Павел. Но как только он взял трубку и услышал голос Сергея Ивановича, и особенно как только узнал, что звонил тот не из Пензы, а из Теплых Хуторков, из совхозной больницы,— недовольство Павла сейчас же исчезло, и он, несколько

раз переспросив: «Как ты попал туда?», пообещал сегодня же приехать к нему.

— Да ты толком-то скажи, что с тобой? Что, говорю, с тобой?— кричал Павел в трубку, так как слышимость была плохая и трудно было разобрать слова.

— Ничего.

— Руки обжег, лицо?

— Ничего, говорю. Ты приезжай.

Из Сосняков в Теплые Хуторки надо было ехать через Мокшу, и Павел, попав в деревню, не мог не завернуть домой, где ожидала его возвращения Юлия; она стояла у ворот, полная, обеспокоенная, с тем нездоровым румянцем, пятнами проступившим на щеках, значение которого Павел не знал и потому — едва только, остановив машину, подошел к ней, сейчас же пересказал все, о чем говорил с Сергеем Ивановичем. Что Сергей Иванович очутился на пожаре, в сущности, не удивляло Павла, потому что сам он поступил бы точно так же, окажись неподалеку от загоревшихся складов и стогов сена; и естественным представлялось ему, что Сергей Иванович после пожара попал в больницу. «Если бы он только бегал вокруг огня, кричал и размахивал руками,— сказал Павел сестре, полагая, что это должно было успокоить ее,— с ним ничего бы не случилось. Но он тушил, и тут — кто же думает о себе!» Поступок Сергея Ивановича представлялся Павлу разумным и несчастье — оправданным (важностью того общественного дела, на которое пошел Сергей Иванович), и такое понимание всего случившегося и это свое отношение ко всему он как раз и старался сейчас внушить Юлии. Но она была так ошеломлена сообщением брата, что только смотрела на него и ничего не говорила, и красные пятна еще сильнее обозначились на ее полных щеках, лбу и шее.

— Садись,— сказал Павел, открывая дверцу машины для Юлии.— Может быть, что-нибудь взять ему? — не столько спросил, сколько сам себе проговорил он.

— Не знаю.

— А мы сообразим сейчас!

Оставив сестру в машине, он сходил в избу и принес водку и сало для закуски, которое было своим, домашним — в четыре пальца толщиной и с красноватыми мясными прожилками; сам он не собиравшись пить, но Сергею Ивановичу, он подумал, будет теперь кстати. «Повеселеет, подбодрится»,— решил он. Екатерины дома не было, она работала на току, вместе с другими мокшинскими женщинами перелопачивала и веяла зерно, привозившееся от комбайнов; Борис, как и все предыдущие дни, занимался с учителями; девочки поломя и окучивали на огороде, как, очевидно, велела им Екатерина, а Петр и Александр чинили под навесом велосипед. Крикнув им: «Мать придет, скажите, к вечеру будем!», Павел наконец сел в машину и, вырвав на дорогу, опять точно так же быстро, как ехал в Сосняки, помчался по накатанному, черному, разогретому колесами и солнцем шоссе на Каменку.

Перед машиной по обе стороны дороги открывались поля, на которых шла жатва; там, где ходили комбайны,— поднималась от них и стелилась над стернею и копнами оставляемой соломы пыль; и пыль поднималась за грузовиками, сновавшими от комбайнов к токам и обратно. Когда кончились земли мокшинской бригады, Павел увидел, что и на полях соседнего колхоза была точно такая же картина жатвы, что точно так же, уступами, один за другим, двигались по желтым ячменям и белесо-желтым овсам комбайны, и была та же пыль, относимая ветром на стерню, и было точно так же будто слыш-

но, как стрекотали ножи косилок, гудели моторы и без устали грохотали, отделяя зерно от мякины, решета и вентиляторы; и все это было радостно понимать, слышать и чувствовать Павлу. Хлеб, который теперь свозили к токам и оттуда затем везли дальше, к элеваторам,— был смыслом и целью его труда и жизни, и потому он не мог не радоваться, глядя на поля, комбайны и машины с зерном, встречавшиеся ему; и когда, отрываясь от дороги и от желтых хлебных полей, он на секунду оглядывался на Юлию.— он улыбался, и от этой улыбки его и от всего загорелого лица, от глаз, весело смотревших на сестру, веяло теплотой и спокойствием, и Юлия невольно и также будто весело улыбалась брату. Она тоже поглядывала по сторонам на поля и комбайны, и то, что для Павла было целью и смыслом труда и жизни, для нее было лишь давней и забытой картиной, и она не хотела видеть себя на месте тех женщин, которые копошились на току возле золотисто-желтых буртов обмолоченного ячменя и овса. Повязанные платками так, что оставались открытыми только глаза, нос и губы (и от солнца и от пыли, мякины и остевов, поднимаемых веялками), женщины разгружали и нагружали автомашины, разгребали и сгребали зерно, которое надо было подсушить, и труд их не то чтобы представлялся чуждым и непонятным Юлии, но она знала, что и дня бы не выдержала на этой напряженной работе; и в то время как Павел, снова и снова поворачиваясь к ней, начинал что-то говорить о хлебе и жатве и показывал взглядом то вправо, то влево от машины на поля и комбайны, Юлия видела лишь, что вокруг было все однообразно, желто и пыльно и что от грузовиков, съезжавших с полей на шоссе, отдавало жаром и сухостью, и ей трудно было дышать. Она еще одобрительно кивала Павлу, но чем дальше отъезжали от Мокши и чем ближе были Каменка и Теплые Хуторки, где в больнице лежал Сергей Иванович, тем тяжелее становилось на душе у Юлии, и она меньше смотрела по сторонам и больше думала о муже. Она накануне видела дурной сон о нем и утром не решилась пересказать его ни Екатерине, ни Павлу. Во сне за ней кто-то долго гнался, она убегала, и когда этот кто-то должен был вот-вот настигнуть ее, она повернулась и ножом, вдруг откуда-то появившимся у нее в руках, ткнула ему в живот. Чувство ножа, тела и теплой и липкой крови было так ясно, что ей показалось, будто все случилось с ней не во сне, а наяву, и она будто отчетливо видела перед собой скорчившегося человека; когда же человек тот, приподняв голову, посмотрел на нее, то оказалось, что это был Сергей, и она, вскрикнув и проснувшись, долго затем с ужасом смотрела в темноту перед собою. Перед рассветом, когда она опять задремала, сон повторился, и она, уже несколько дней беспокоившаяся о муже, сейчас же подумала, что с Сергеем что-то, и это нехорошее предчувствие не отпускало ее затем весь день. Потому и была она так взволнована, когда ожидала брата из Сосняков, и продолжала волноваться теперь, когда уже ехала в Теплые Хуторки, и все страшно е, как сказал Павел (и что повторил снова теперь в машине), было уже позади, и что: «Заберем твоего Сергея, только и делов». Павел не то чтобы был весел, но он чувствовал настроение сестры и хотел успокоить и поддержать ее.

Хлебные поля тянулись до самой Каменки и были за переездом, как только Павел свернул к совхозу; и здесь шла на полях та же жатва, и было так же сухо, пыльно и жарко, и нечем было, казалось Юлии, дышать; ветер, врывающийся в машину, не приносил прохлады, а, напротив, лишь усиливал эту духоту и жару.

— Смотри-ка,— сказал Павел, едва лишь увидел то наполовину сторевшее ячменное поле, которое примыкало к стогам и откормоч-

ной базе (тоже сгоревшим в ту ночь).— Смотри-ка,— повторил он, останавливая «Запорожец». Он не мог не выйти к обочине, и не посмотреть на сгоревшее поле, и не прикинуть мысленно, сколько должно было быть здесь огня, и сколько положено было усилий, чтобы остановить продвижение его по полю, и, главное, сколько добра было превращено в пепел; и он позвал было за собой Юлию, но та отказалась и только испуганным и остановившимся будто взглядом смотрела из окна машины на сгоревшее, но уже не черное, а обдутое ветром и серое от проступившей сухой земли ячменное поле.

Через все это поле до самого конца, насколько было видно с обочины, тянулась широкая вспаханная полоса; огонь, дошедший до нее, уже не мог продвинуться дальше, и потому по другую сторону вспаханной полосы стояли ячмени, взглянув на которые Павел сейчас же определил, что они были хорошими и что пора было начинать косить их. Прикинув, сколько они дадут намолота и сколько совхоз недоберет теперь зерна здесь (свой ли, чужой ли, но сгорел хлеб, и это было главным для Павла), он посмотрел туда, где за кромкою сгоревших ячменей, на пепелище, суетились бульдозеры и машины, растаскивавшие обугленные бревна и расчищавшие площадку для постройки новых складов, откормочной базы и комбикормового завода; оттуда, от бульдозеров, шел человек к дороге с саженью в руках и обмерял поле. И хотя с человеком этим как будто не о чем было говорить Павлу, но он все-таки подождал, пока тот, закончив свое дело, подойдет к обочине.

— Замеряем? — Павел почувствовал, что должен сказать что-то, и сказал это, что и без того было очевидным ему.

— Да,— неохотно ответил тот, записывая в тетрадь, сколько саженьей было насчитано им.

Затем он, не обращая внимания на Павла и «Запорожец», стоявший у обочины, зашагал к вспаханной полосе, чтобы от нее начать новый промер, и уже не вдоль, а поперек поля, потому что ему нужно было высчитать площадь, с какой совхоз мог получить государственную страховку за сгоревшие ячмени, а Павел, взглянув еще раз на пепелище, вернулся к машине и, усаживаясь за руль, сказал только: «Как на Зееловских высотах», и так как Юлия не поняла, к чему были произнесены эти слова, странно, удивленно и с настороженностью посмотрела на брата.

ХІ

В больнице, когда Павел и Юлия подъехали к ней, продолжался еще тот тихий послеобеденный час, когда и тяжелобольным и выздоравливавшим — всем положено было находиться в палатах, спать и набираться сил. Сергей Иванович, ждавший Павла и дольше всех прогуливавшийся по саду, был последним, кого сестра (и только после строгого разговора с ним) увела в палату, и он как прилег на кровати не раздеваясь, так и лежал, прислушиваясь к доносившимся с улицы звукам. Как всякому человеку, давно не видевшему родных, ему хотелось поскорее встретиться с шурином, и он думал, что по времени (от того часа, как позвонил ему) шурин должен был уже приехать сюда; но его не было, и Сергей Иванович снова и снова с беспокойством принимался высчитывать, сколько часов могла отнять у шурина дорога; и пока высчитывал, как ни был взволнован предстоящею встречей, незаметно для себя задремал и заснул и потому не слышал, как возле больничного крыльца остановился «Запорожец» Павла.

Разбудила Сергея Ивановича дежурная сестра.

— К вам приехали,— сказала она.

И как только она вышла, не успел Сергей Иванович поправить одеяло на кровати и одернуть и застегнуть пижаму, как дверь в палату отворилась и первым, как он шагал по коридору впереди Юлии, вошел Павел. Загорелый, почти черный на фоне всей больничной белизны: занавесок, стен, двери и белого халата, висевшего на его плечах, с огромными и еще более будто черными, чем лицо и шея, руками, которые он сразу же медведисто растопырил, чтобы обхватить ими зятя,— он шагнул было к Сергею Ивановичу с тем радостным чувством, что приехал к нему, что уже ничто, казалось, не могло ни остановить, ни изменить настроение Павла; но в ту же секунду, едва только отошел от порога, как сейчас же остановился, увидев, что у Сергея Ивановича не было руки и что вместо нее свисал от плеча обрубок, плотно и аккуратно перевязанный бинтами. Для Павла это было так неожиданно, что он не знал, что сказать, и в растерянности смотрел то на этот перебинтованный обрубок, то на истерявшееся лицо зятя, которого он (хотя и знал, что в больницу зря не положат) не предполагал встретить таким. И пока он стоял, Юлия, топтавшаяся за его спиной и не знавшая, отчего брат остановился,— обойдя его, бросилась вперед, быстро и беспокойно и тоже с радостью, что приехала к мужу, вглядываясь в его лицо и глаза и не замечая еще от слез, мешавших смотреть ей, того страшного, что должно было ужаснуть ее; но когда очутилась почти рядом с Сергеем Ивановичем и когда тот привычно протянул было к ней руки — она точно так же вдруг, как и Павел, увидела, что вместо левой руки у мужа был перебинтованный обрубок, и точно так же, как и Павел, остановилась, испуганно и вмиг просохшими глазами глядя на этот перебинтованный обрубок. Затем она покачнулась, и Сергей Иванович здоровой рукой сейчас же подхватил ее. «Ну вот, это все... теперь все...» — подумал он. Он так близко представил, что могло сейчас случиться с Юлией, что все прежние и мучительные мысли о себе и о жизни, какие приходили ему здесь, в больнице, и угнетали его, были забыты, словно их и не было вовсе; побелевший не столько от напряжения, что держит Юлию (и не столько от боли, отдававшейся в покалеченной руке, с которой еще не были сняты швы), сколько от предчувствия, что может потерять жену, он почти крикнул на Павла: «Да помоги же!», и повел Юлию к стулу. Она была вся как неживая, когда ее усадили возле стены, и продолжала все так же сухими и остановившимися будто глазами смотреть на мужа; на полном и бледном лице ее был еще ужас первого мгновения, когда она увидела перебинтованную руку, но вместе с тем было заметно по изменявшемуся оттенку кожи на лице и шее, что жизнь возвращалась к ней; и Сергей Иванович, пославший было Павла за дежурной сестрой, остановил шурина. Он не был еще уверен, что все обошлось и опасность миновала, но уже чувствовал, вглядываясь в лицо жены, что перевал, который предстояло преодолеть ему, был как будто уже позади и надо было теперь только внимательнее следить за дорогой, чтобы не поскользнуться и не упасть.

— Ну? Лучше? — сказал он. — Может, окно приоткрыть пошире?

Он подошел к окну и настежь распахнул его. Затем вернулся к Юлии и присел на стул, стоявший возле нее. Кроме этих слов: «Ну? Лучше?», и кроме того, что он еще раз спросил, не позвать ли все же дежурную сестру и не попросить ли у нее чего-нибудь успокоительного (на что Юлия отрицательно покачала головой, словно она боялась теперь отпустить от себя мужа), Сергей Иванович ничего больше не говорил пока; он понимал, что бессмысленно было утешать Юлию, что надо дать успокоиться ей и что тогда все обойдется само собой; его пугали сухие глаза ее, и когда наконец он увидел, что они как будто повлажнели,— чувство, что перевал остался поза-

ди, окончательно утвердилось в сознании Сергея Ивановича. Он предложил выйти всем в сад и посидеть на скамейке, так как там, по его мнению, было прохладнее, и когда проходили по коридору и когда спускались по ступенькам крыльца к песчаной дорожке и затем шли по ней — Сергей Иванович все время поддерживал здоровой рукою Юлию, как будто не он был больным, а она, и он осторожно вел ее до скамейки. Павел шагал позади них, чуть приотстав, и, может быть, потому, что он был здоровым и все мысли его были о жизни, — он не совсем понимал того, что происходило с сестрой; ему показалось, что с ней был тот обычный обморок, потому что жена должна ужасаться и плакать по мужу, какой случился бы со всякой порядочной женщиной, которая очутилась бы на ее месте; он видел, что Юлия вроде успокоилась, и уже не волновался за нее, а переживал только за Сергея Ивановича, который теперь, по мнению Павла, был не работником и не мог жить той полной жизнью (как жил сам Павел), в которой главной радостью и удовлетворением была сама возможность прикладывать к чему-то силу, руки и разум; разум и сила еще оставались у Сергея Ивановича, но руки у него не было, и он представлялся Павлу, как телега без передка, поставленная хозяином пылиться под навесом. Ему жалко было зятя именно за эту его теперешнюю неполноценность (разумеется, в крестьянском деле, так как Павел соотносил все только с тем, что знал и что было его жизнью), и он с болью смотрел на него.

— Ну, рассказывайте, как вы живете, — сейчас же сказал Сергей Иванович, как только все сели в тени на скамейку, окруженную высокими кустами отцветшего жасмина. — Как твои дела? — спросил он у Павла.

— Да какие у нас дела? Ячмени убрали, завтра начинаем овсы, а потом и озимые, — ответил Павел.

— Урожай как?

— Хороший.

— Как Наташа? — затем спросил он у Юлии, повернувшись к ней. — Пишет? Ну что ты, — тут же сказал он, увидев, что глаза Юлии опять сухо и беспокойно остановились на нем. Он не знал, что с того дня, как он уехал в Пензу, не было ни одного письма из Москвы от дочери и что Юлия еще неделю назад начала волноваться за нее. Сергей Иванович хотел сделать как лучше, потому что разговор о дочери, он полагал, должен был быть приятным для Юлии (да и ему самому хотелось узнать о Наташе, потому что — особенно здесь, в больнице, он простил ее), но получилось, сделал хуже, и, не совсем понимая, отчего Юлия опять забеспокоилась, снова проговорил: — Ну что ты? Ну так случилось... ну что теперь? Жизнь кончилась? Нет. Все обойдется и все будет хорошо. Ты понимаешь? — Он повернулся к Павлу. — До сих пор сам не могу сообразить, как так все получилось. Но ведь и усидеть, когда все горит кругом, разве усидишь.

— Что говорить.

— А теперь вот... — Он чуть приподнял перебинтованный обрубок руки и подбородком указал на него. — Сегодня собирались швы снимать, и я бы выписался. Я только поэтому и позвонил тебе.

— Сняли?

— Нет. Дня через три хотят, так что...

— Какой разговор, приеду.

— Срываю я тебя.

— Какой разговор! Ты давай поправляйся.

— Разве что новая вырастет... — Сергей Иванович усмехнулся. — Как дома-то? Катя как, детишки? — И в то время как он спрашивал это, он смотрел уже на Юлию и здоровой рукою обнимал ее за плечи и притягивал к себе.

Павел принялся было отвечать что-то на вопросы Сергею Ивановичу, но, несмотря на все желание поддержать разговор, чувствовал, что не о чем было говорить ему; он ничего не мог припомнить особенного ни о Екатерине, ни о детях, которые—жили и жили день за днем, как жили всегда; и ничего особенного не мог выделить из своих колхозных дел—что когда делалось, то и бывало важным, а как выполнил, берись за другое; лишь о Романе, когда вспомнил о нем, Павел говорил долго и с оживлением.

— Ума нет, несмышленный, нет-нет,—заклочил он, так как ничего другого к тому, что однажды было уже определено им, не хотел и не мог добавить теперь о сыне.

— А не строг ли ты к нему, Павел? — спросил Сергей Иванович.

— Какая строгость, я ведь только говорю, а как до дела — куда денешь? Своя кровь.

— Никуда не денешь, это верно.

— Последнюю рубашку снимешь, а все им.

— К сожалению, ты прав. Ты прав,—повторил Сергей Иванович и посмотрел на Юлию, так как слова эти, казалось ему, должны были быть еще понятнее ей, чем Павлу.

От разговора о детях сейчас же опять перешли к общему разговору о жизни, и Сергей Иванович, хотя не хотелось ему ничего рассказывать о Дорогомилине, все же не удержался и сказал, как был при ня т в Пензе, в доме своего бывшего однополчанина; потом рассказал о Мите (и еще больше — об его отце, старшине Гаврилове, о котором приятно было вспомнить ему) и рассказал о пожаре, как полыхало ячменное поле, схватывались огнем стога сена и какое зарево висело над станцией; и когда говорил, все время старался подшучивать над собой и наклонялся к Юлии, чтобы подбодрить ее. Но Юлия, как ни пыталась она тоже улыбкою отвечать мужу и как ни хотелось ей поддержать общее настроение, создаваемое мужем и заключававшееся в том, что будто ничего необычного не произошло с ним,—она не могла освободиться от первого своего впечатления, когда она вошла в палату и увидела перебинтованный обрубок руки; она чувствовала себя так, словно глотнула какого-то тяжелого воздуха и теперь не могла выдохнуть его, грудь давило, и трудно было дышать. Она точно так же, как и Павел, не знала, о чем говорить ей, потому что никаких особенных событий, кроме дурных снов, с первой же ночи, как только Сергей Иванович уехал в Пензу, начавших преследовать ее, не было; но о снах, которые были предсказанием (и предсказания эти, она видела, сбылись), она не в силах была говорить мужу и снова и снова — только смотрела на него все теми же сухими и будто остановившимися, но уже не пугавшими Сергея Ивановича, потому что он пригляделся к ним, глазами.

ХЛІ

Пока разговаривали, всем казалось, что говорили о важном, и всем как будто интересно было слушать и говорить; но когда встали со скамейки, чтобы проститься, так как Сергею Ивановичу надо было идти на ужин, а Павлу и Юлии ехать домой,—всем было отчего-то неловко, словно говорили не о том, что было главным и о чем надо было бы говорить им. Особенно чувствовал это Павел, и отворачивался, и с силою снова заставлял себя смотреть на зятя, когда тот тряс его руку, и чувствовал это Сергей Иванович, который тоже, прощаясь и с Юлией и с Павлом, смотрел мимо их лиц и плеч на дорожку, которая вела к воротам и крыльцу больницы. Было такое впечатление, словно Сергей Иванович торопился расстаться с ними и

будто они тоже торопились поскорее сесть в машину и уехать, и всем было еще более неловко от этого.

— Засуетился я чего-то в жизни,— однако сказал Сергей Иванович то самое, о чем он думал все эти дни, пока лежал в больнице, и что он не мог не высказать шурина.— Замельчил, замельтешил, и что ни шаг, то и в канаву, то и в канаву. От чего-то я отстал и чего-то догнать не могу. Не могу, потому что не знаю, что догонять.

— Мудришь ты.

— Не-ет.

— Мудришь, а надо жить.

— Да я и живу.

— Мудришь.

— Не-ет, Павел, не-ет! Ты присмотри за ней,— сказал он Павлу, когда Юлия уже сидела в машине.

— Какой разговор!

Павел тоже прошел было к машине, но сейчас же вернулся и протянул Сергею Ивановичу сверток, в котором было все то, что он взял из дому, чтобы передать зятю как гостинец.

— Что это? — спросил Сергей Иванович.

— «Столичная», бери, пригодится.

— Водка?

— Бери. Да не мудри, а звони, как выпишут.

В то время как Павел говорил ему эти последние слова, Сергей Иванович уже почти не слушал его; здоровой рукою прижимая сверток к себе, он смотрел на Юлию, лицо которой было хорошо видно в машине. Он снова заметил в глазах ее то, что испугало его в первую минуту встречи, когда он в палате подхватил падавшую Юлию; и снова — то же чувство, что он может потерять ее, пронзило его. Он говорил себе: «Нельзя отпустить, надо остановить машину и что-то предпринять, позвать сестру, врача, крикнуть», но он никого не звал, не кричал, а только глядел на машину и на жену, и, несмотря на все нехорошие мысли, приходившие ему (и в какие он все же не мог поверить), — он улыбался ей той бессознательной, бессмысленной и как будто веселой, но на самом деле болезненно-вымученной улыбкой, какой (как и во все время встречи) хотел теперь, на дорогу, подбодрить и успокоить ее.

— Ты не волнуйся! — все же крикнул он Юлии, как только «Запорожец» покотился в глубину улицы.

Постояв еще минуту, пока дорога опустела, Сергей Иванович вернулся в палату — все в том же тяжелом настроении, как проводил Юлию и Павла; но когда принесли ужин, и когда зашла дежурная сестра, с вечерним обходом проходившая по палатам, и когда особенно пришел больной из соседней палаты (больной этот был старик, положенный с тромбом на ноге) — весь прежний больничный мир со всеми своими печальями, радостями, раздумьями, и планами, и ожиданием дня, когда можно будет заменить наконец однотонную коричневую пижаму на брюки, пиджак и рубашку, постепенно окоружил и вошел в Сергея Ивановича; но перед сном он снова вспомнил Павла и Юлию и, подумав, как они доехали, долго затем ворочался на продавленной больничной кровати.

Весь обратный путь Павел ехал молча.

Когда проезжали Каменку, только еще вечерело; когда же подъезжали к Мокше, было уже темно, и Павел включил фары.

Как и днем, когда он с Юлией ехал по этой грейдерной дороге, — и справа и слева от нее видны были на полях все те же комбайны и грузовики, отвозившие к токам зерно; и пыль, поднимаемая ими и напоминавшая теперь, в вечерних сумерках, белый туман, все так же

относилась ветром к стерне и копнам соломы. Комбайны и машины работали с включенными фарами, и по всем убегающим к темному горизонту взгорьям светились огни, которые двигались, останавливались, угасали и снова вспыхивали и двигались; и оттуда, от огней, с дальних и ближних пшеничных клиньев, веяло все той же сушью, теплом, и Павел улавливал запах зерна, мякины, и оттого, что он был не в поле, где сегодня начали брать большой хлеб, как думал он, и где надо было быть ему, а ехал в машине, возвращаясь из ненужной для него поездки (Сергей Иванович опять представлялся ему тем лишним навильником сена на возу, на который надо было теперь постоянно оглядываться),— Павел был недоволен и чувствовал себя так, словно расточительно и бессмысленно было потрачено им не время, а деньги, которые теперь, когда он готовился отправить Бориса в Москву (и предстояло еще встретить старшего сына с женой и справиться им свадьбу), были особенно нужны ему в общей семейной жизни. «Мудрит... а чего мудрит?» — думал он о Сергее Ивановиче, вкладывая в эти слова все то, что знал о нем; и оттого, что так думал,— изредка и недовольно поглядывал на сестру, которая, приткнувшись головою к дверцам, казалось, дремала; глаза ее были закрыты, и все тело покачивалось от толчков и движения машины.

Уже почти перед въездом в деревню, решив, что сестре может надуть голову, Павел остановил машину, чтобы поднять стекло у дверцы с той стороны, где сидела Юлия.

— Ну-ка, посторонись чуть,— сказал он, протягивая руку.— Ты что, спишь? — повторил он, не услышав ответа.

Он наклонился, чтобы нащупать пальцами рычаг на дверце, которым поднималось стекло, и задел плечо и руку Юлии; и рука ее странно соскользнула с груди и как неживая повисла вдоль туловища.

— Юля, ты что, Юля,— проговорил Павел, сейчас же поняв, что с сестрой произошло что-то.— Юля! Юля!

Она была еще жива, когда он тормозил ее; но когда, въехав во двор и позвав на помощь Екатерину, открыл дверцу — из машины на руки ему вывалилось грузное и уже безжизненное тело сестры.

А спустя день, когда покойница, обмытая и убранная, лежала в гробу, а Павел снова мчался в Теплые Хуторки, чтобы привезти Сергея Ивановича на похороны, Екатериною была получена телеграмма (адресованная Юлии): «Мама зап приезжайте срочно — Наташа».

Конец первой книги



РИММА КОВАЛЕНКО

★

ОТЧИМ

Рассказ

Мать долго была молодая. Через десять лет после войны, когда ее сверстницы на моих глазах стали старухами, мать все еще была молодой. Закручивала на затылке тугую косу, надевала по воскресеньям голубое платье с белыми пуговицами, туфли-лодочки и выходила на улицу. Подходила к соседкам, присаживалась на лавочку, слушала льстивые слова:

— Ты, Ольга, женщина первый сорт. Тебе бы только девку свою с рук спихнуть. Сколько ж это ей еще учиться? Ты, Ольга, пара большому начальнику. Вспомнишь наши слова, придет час — вспомнишь.

Мать вечером говорила:

— Эти бабы — темный лес. Посидишь с ними и устанешь хуже чем от работы. Замуж все меня выдают. Говорить не о чем, вот и толкут слова, как воду в ступе.

— А ты бы пошла еще замуж?

Мать прищуривала глаза, вздыхала, обдумывала вопрос — взгляд тонул в воспоминаниях.

— Я уже была. Набывалась.

Была она родом из деревни, из крепкого деревенского двора, который сожгли при отступлении белополяки. Дед с бабкой и тремя дочерьми переселились к родне, жили в бревенчатой, стоявшей посреди огорода бане. Печь из камней топилась по-черному, спали на высоких лавках, с которых их сгоняли в субботние дни: приходила родня с ведрами и березовыми вениками — таскали воду, выплескивали ее на раскаленные печные камни, парились на лавках.

При таком жилье, без приданого старшая дочь Ольга невестой себя не считала. Да и женихов в деревне не было. Вдовец с четырьмя ртами и пастух Готька, без возраста и всякого понятия мальй, в счет не шли. Засватал мать проезжий человек. Выступал перед крестьянами на митинге, агитировал за новую жизнь. Синеглазый, в вельветовом пиджаке, на ремне кобура с наганом. Вроде бы мать к нему подошла после митинга и сказала:

— Ты тут отбрехал себе и дальше поехал, а где ж это общее будет, когда у одного дом под железом, а у другого на чужом огороде чужая баня?

А он вроде взял тремя пальцами ее за подбородок и ответил:

— Ишь ты какая.

Так это было или не так, но факт, что утром следующего дня увез приезжий человек мою мать в своей таратайке в город Рогачев.

Мать прожила с ним четыре года. И три первых года моей жизни был у меня родной отец.

Отец умер внезапно. Приехал из района, поел, разделся и лег спать. Мать обиделась. Вернувшись, он обычно рассказывал ей о том, где бывал, подходил к моей кровати, расспрашивал, как я тут без него жила.

Он уснул тихо и спал, как всегда, без сапа и храпа, спал, по выражению моей матери, «как ангел». Она же, словно почувствовав, что завтра в дом нагрянут неожиданные гости, вдруг принялась мыть полы, вытирать мокрой тряпкой листья фикусов. Потом постелила себе на сундуке и легла.

Отец умер не проснувшись. Мать завернула меня в одеяло и побежала на другой конец города, к нему на работу.

— Убили,— сказала она дежурному,— убили Мишу.

Несколько месяцев шло расследование. В медицинской справке, которая до сих пор хранится у матери, написано, что смерть наступила «в результате разрыва сердца».

Много лет спустя в одном из разговоров кто-то ей сказал: «Разрыв сердца? Такой и болезни нет. Может быть, инфаркт?»

Мать глянула на меня сокрушенно, потом дома достала из старой сумочки справку и сказала:

— Я тогда еще знала: убили его. Такой и болезни нет.

Я помню, как мы уезжали из города. Помню, хоть помнить бы не должна. Мне было без одного месяца три года. Шел дождь. Узлы на подводе покрыли клеенкой со стола. Меня сунули под эту клеенку. Я сидела на покатам узла, клеенка над головой коробилась. Мать шла рядом и вытирала мне мокрой ладонью лицо.

Я мало запомнила из той жизни. И совсем не запомнила отца. Он оставил мне свою фамилию и дал имя, которое я потом сменила в эвакуации, в сибирском городе Томске. Он назвал меня Рэмой. Рэма... — четыре начальные буквы неизвестного мне революционного лозунга. Мать расшифровывала так: революция, экономия, международное абъединение. Уже в первом классе я поняла — что-то здесь не так, и ежилась, и страдала, когда она кому-нибудь при мне объясняла мое необычное имя.

Воспоминания тех лет остались коротенькими и пристраиваются друг к другу плотно, будто без отчима жила я не семь лет, а один день.

Новый город. Маленький городок Слуцк. Для меня он большой и понятный. За площадью в центре — базар. Связки прошлогоднего лука, горки огурцов и ранних яблок на длинных деревянных столах. Белое, низкое, с железными решетками на окнах здание бани.

Каждое утро с полотенцем через плечо я хожу в детский сад. Полотенце вешаю во дворе на длинной вешалке. Крючки деревянные, и над каждым из них квадратик с рисунком. На моем квадратике — яблоко, румяное, с зеленым листком на черенке. И над кроватью тоже квадратик с яблоком, и стул с яблоком на спинке, где бы ни было яблоко — это мое.

Мать с работы приходит поздно. Со двора на второй этаж ведет с улицы длинная лестница. Второй этаж как нашлапка на доме, там всего две комнаты и темный коридорчик с плитой. В большой комнате живет семья зубного врача. В маленькой — мы с матерью. У зубного врача сын Ося. Он учит меня грамоте. Учит по всем правилам. Стоит передо мной, сложив руки на груди, и говорит:

— Ковалева, не отвлекайся, слушай внимательно.

Я зову его Зоей Васильевной. Так надо. Так зовут Осину учительницу. Бабушка Оси приходит и говорит с порога: «Руки мыть — обе-

дать». В тарелках молочный суп, в котором плавают оранжевые кружочки моркови. Я очень хочу есть, но этот суп есть почти невозможно. Осина бабушка говорит:

— Ты гордая девочка. Ты ешь так, как будто у тебя дома на столе пирог с печенкой.

Дома на столе у меня — холодная картошка в чугушке и хлеб, посыпанный солью. Это так же невкусно, как и морковный суп на молоке. Я ем суп и говорю:

— Очень вкусно. Спасибо.

Врать я стала много позднее. Это было не вранье, что-то вроде первого проблеска деликатности.

Закидываю на дверях крючок и ложусь спать. Мать требует, чтобы я закрывалась. Она стучит громко, я крепко сплю, и разбудить меня нелегко. Пол зимой ледяной. Я откидываю крючок, мать ругается:

— Опять босиком? Надевай валенки.

Я натягиваю чулки, вставляю ноги в валенки, со сна я не сразу соображаю, что же надевать дальше. Мать помогает мне натянуть платье, повязывает поверх пальто платок — крест-накрест на груди, потом концы под мышки и завязывает их узлом на спине: я готова.

Мы спускаемся в ночи по длинной заледенелой лестнице, идем к сараю. Мать каждый раз говорит одно и то же:

— Ты только за ручку держись, чтобы пила не кидалась из стороны в сторону. Не дергай, не жми, а только держись за ручку.

Я держусь. Пила трудно, со скрежетом продирается в мою сторону, выгибается дугой и плачет тоскливо и жалобно. Мать сердится:

— Не жми вперед. Я сама потяну. Ты только держись за ручку.

Однажды к нам, оставляя глубокие следы в снегу, подошел старик Мотя. Мотя торговал на углу нашей улицы хлебным квасом, принимал от детей пустые бутылки в обмен на карамельки-подушечки. Мотя стоял и смотрел, как мы с матерью пилим дрова, потом сказал:

— Жить не умеешь. Надо замуж выходить. В городе столько военных, а ты сама мучаешься и ребенка мучаешь.

— Военным не такие нужны, — ответила мать.

Она относилась к себе так, будто жила не свою, а чью-то чужую, более удачливую жизнь.

— Кто я? — говорила мне. — Деревенская, необразованная. А люди о том не догадываются. Уважают меня. В городе живем, комнатка есть, ты в детский сад ходишь.

Боялась, что у этой удачи есть предел. Пришла домой с фабрики перед праздником с премией — отрезом шевиота на костюм, — села на стул и расплакалась:

— Что-то боюсь я этого подарка. Никому не дали, а мне дали. Как бы плохого из-за этой премии не случилось.

Не любила вспоминать, что с Василием ее познакомил Мотя. По друзьям и родным рассказывала:

— Встретились, в глаза друг другу посмотрели — и все: один взгляд на всю жизнь.

Я запомнила их первую встречу. Пришла из детского сада, а за столом Мотя, мама и военный. Сидят и пьют вино из стаканов. Мотя сказал:

— Очень послушная девочка. Я детей не люблю, а этой всегда конфеты даю.

Никогда он мне не давал конфет. Подушечками изредка угощали мальчишки, которые вылавливали бутылки в заросшем пруду на краю города. Мотя взял кусок хлеба, подхватил ложкой из жестя-

ной банки рыбных консервов, опрокинул их на хлеб и протянул мне. Я откусила и замерла: это было почище молочного морковного супа.

— Что это она? — спросил Мотя у матери, заметив, что я стою с полным ртом и с выступившими на глазах слезами.

— Не ела никогда консервов, — объяснила мать и приказала мне: — Ешь, привыкай.

Казачий полк был километрах в десяти от города. Мы ехали туда на грузовике. Большая луна катилась за нами по верхушкам сосен, по обе стороны дороги стоял лес.

Мать поставила условие: переезжать ночью. Говорила:

— Это хорошая примета. Уезжать надо или в дождь, или ночью.

Про дождь и в самом деле есть примета, а ночь мать придумала. Ночь прикрыла от любопытных жен казачьих командиров нашу бедность.

Сразу же на новом месте я узнала, что наш казачий полк не чета кавалерийским, которые стояли по соседству. После войны я прочла в мемуарах командира дивизии, что наш полк был частицей чапаевской дивизии, единственный сохранивший в неприкосновенности ее боевой устав и воинскую форму. Казаки носили широкие красные лампасы на галифе, темно-синий казакин со складочками сзади ниже ремня, высокую папаху, красный верх которой был прошит крест-накрест черной тесьмой. Строевикам полагалась бурка, клинок, конь под высоким изогнутым седлом.

Отчим был командиром саперного эскадрона, приданного полку на каких-то вольных началах. Он любил к случаю сказать:

— Я подчиняюсь только штабу дивизии.

Был он высок, чубат, с крепкими белыми зубами. Улыбался редко, круглые, махорочного цвета глаза глядели на людей пристально, не мигая.

Мне он в глаза никогда не глядел. Первых года два вообще не замечал. Мать кормила меня отдельно. Когда он среди дня приходил на обед, я сидела как мышь за уроками в другой комнате, боясь скрипнуть стулом или кашлянуть. Мать говорила:

— У Ларионовых сын еле тянется, у Никитиных девка четыре «плохо» за неделю получила. А у нашей Рэмы одни «отлично».

Ларионов был начальником штаба полка, Никитин — командиром части. Отчим глядел на меня смущенно и, краснея, изрекал:

— Учись так и впредь.

Мать осмотрелась на новом месте и своим деревенским глазом обнаружила у красноармейской столовой высокие бочки с обеденными отходами. Вечером состоялся разговор:

— Заведем поросенка, Вася.

— Это еще зачем?

— Столько добра в столовке остается, можно с поваром поговориться.

— Чепуха. Это в полках не принято.

— А я не в полках. Я у нас в сарайчике. Он ни полка, ни тебя касаться не будет.

Она купила поросенка. Худой, в черных пятнах, он был быстроног и визглив. Мать звала его кабанок. Мне она вручила зеленый чайник литров на восемь, пообещав зачем-то десять рублей в тот день, как кабанку наступит конец. Десять рублей смуглили мое воображение, я стала мечтать, на что их потрачу, но дальше духов «Душистый горошек» и пяти стаканов тыквенных семечек мои мечты не поднимались. Чайник был здоровенный, с крышкой, привязанной бечевкой к ручке. Длинный, в сером фартуке красноармеец черпалкой наливал в него помой, говорил с усмешкой:

— Твою свинью надо скорей объезжать, а то она зажрется и в галоп не пойдет.

Когда я, прихрамывая под тяжестью чайника, попадала в поле зрения полковых мальчишек, они не щадили меня. Выкрикивали обидные слова, смеялись, пуляли комьями земли.

Мать успокаивала:

— Плюнь на них. Они брешут, а кабанок растет. Когда мы сала насолим, колбас нажарим, вот тогда мы над ними посмеемся.

Встретил меня как-то у красноармейской столовой отчим. Остановился, посмотрел на жирный, замурзанный чайник, скрипнул зубами:

— Тяжело?

— Мальчишки дразнят.

Он достал из кармана газету, обернул ручку чайника и поднял его. Пошел быстро, не оглядываясь. Я еле попевала за ним. Он шел пустырем, задами конюшен, завидев бойцов, ставил чайник на траву и смотрел в сторону. В сарае пнул носком сапога выросшего и разбужшего кабанка. Тот взвизгнул, раздвинул передние ноги и опустил голову, будто собрался боднуть обидчика. Отчим удивился:

— Ты посмотри, Рэма, какой злобный.

Сердце мое перестало биться, остановилось в счастливой благодарности и любви к отчиму: он редко называл меня по имени.

Вечером к нашему сараю подкатила бричка. Кабанку связали веревкой ноги и увезли в полковое подсобное хозяйство.

Мать два дня молчала. Ставила перед отчимом еду, а сама уходила на кухню. Укладывалась спать со мной на кушетке, ночью плакала и шептала:

— Уедем мы с тобой от него. Что я, кабанка для базара растила? Много он, думаешь, получает? А у людей ковры по стенкам, патефоны. Ты не плачь по нему. Кто мы ему? Никто. Как подобрал, так и бросит. Неродная ты ему, оттого у него сердце по нашей жизни не болит.

Отчим вышагивал за стенкой, табачный дым полз через щели дверей в нашу комнату, мать шептала:

— Спит — как воз пшеницы продал. Мы тут мучаемся, а он спит.

Я понимала ее неправоту и свое бесправие. Отчиму я действительно неродная. Если мать уедет, мне дорога с ней.

Он первым не умел мириться. Сопел, курил папиросу за папиросой, поглядывал на мать вопросительными глазами: долго ты будешь меня мучить? На третий день она не выдержала:

— Ты так всю жизнь промолчишь. Тяжелый у тебя характер, неотходчивый. Если б любил, не стерпел бы столько молчать.

Я услышала из другой комнаты:

— Потому и терплю, что люблю.

Мать на хозяйство была легкая, домовитая. Выходила на общую кухню как на экзамен. Ставила чайник на плиту, сжималась и замирала, когда соседки обращались к ней с вопросами. На углу длинного дощатого стола быстро раскатывала тесто. Лепешки жарила на сковороде, и они у нее поднимались без дрожжей, румянились и пахли медом. И борщ у нее был лучше, чем у других, и цветом и запахом. Говорила отчиму:

— Выйду на кухню — все глаза в мою кастрюлю. И потихоньку, чтоб я не видела, за мной, как я, варят.

Полы у нас были некрашенные, она их скоблила ножом, после мытья они становились желтыми и пахли лесом. Отчим в такой день снимал сапоги у порога, раскручивал портянки и босиком шел к столу. Она ставила перед ним тарелку с борщом, садилась напротив, подпи-

рала кулаками щеки и, моргая, глядела, как он ест. Он к этому долго не мог привыкнуть:

— Надей себе, ешь. А то глядишь как на картину.

Она смеялась негромким довольным смехом, видимо, его слова были недалеко от истины.

После обеда отчим подтягивал табуретку к дивану. Диван был ему короток. Потом ложился на спину и ставил книгу на грудь. Читать в такой позе было ему неудобно, и он просил: «Рэма, иди сюда. Читай вот с этого места» — и показывал пальцем строчку. Я читала громко, напрягаясь от старания, но мой звонкий голос все равно укачивал его. Иногда он просыпался от собственного храпа, глядел на меня испуганно, с трудом узнавая, и говорил:

— Фу ты черт, как устал! Давай договоримся: начну засыпать — тyani за нос.

Мать сидела за столом, глядела на нас, вслушивалась в мое чтение и сердилась, что ничего не понимает. Когда он уходил, спрашивала:

— Куда он пошел?

— На политзанятия.

— Ты ему все правильно прочитала?

— Все как написано.

— А про что?

— Про Второй съезд РСДРП.

— И что там было?

— Мартов выставил свою формулировку.

Память у меня была хорошая. Мать искоса глядела на книгу и, поборов самолюбие, задавала вопросы:

— Кто это Мартов?

— Человек. Против Ленина.

— Как царь?

Я не знала как кто. Спросила об этом на другой день у отчима, тот ответил:

— Как друг, который предал.

* * *

На ипподроме все лето кипела жизнь. Утром рубили лозу, брали барьеры — готовились к смотру. После шести вечера тренировалась женская группа и группа мальчиков, которая называлась «детский выезд». Мать под напором отчима — он очень хотел, чтобы она вовлеклась в общественную жизнь, — записалась в женскую группу. На первое занятие пошла со мной. По дороге говорила:

— Он хочет, чтоб я убилась. Ну и хорошо: как вылечу из седла, как все кости переломаяю, тогда он спохватится, пожалеет о своих словах.

Но ничего такого не случилось. Лошадь ей дали хорошую — породную и послушную. Мать вышла из раздевалки в тренировочном костюме, и я ее еле узнала — красный свитер, брюки-галифе, поставила ногу в стремя, вскинула другую, выпрямилась в седле, и лошадь легко понесла ее по кругу манежа.

— Чья такая? — спросил кто-то за моей спиной.

— Жена саперного комэски, — ответил другой голос.

— Молодчина. Как родилась в седле.

Вечером мать рассказывала отчиму:

— Я их там всех сразу подмяла. Ножки с полметра: тут пятки, а тут сразу уже и зад, а туда же — в наездницы. И этот, который руководит, без особого ума. Кобылу мне выделил, а говорит: «Вот вам мерин Пикфорд». Кобылу от мерина не отличит.

Отчим расхохотался. Откинулся на спинку стула, закрыл лицо руками и смеялся. Я не помню, чтобы он еще когда-нибудь так громко, так от души хохотал. Смех был заразительный: мы с матерью тоже в него включились — глядели друг на друга, пожимая плечами, а потом начали хохотать. Отчим, видя, что мы смеемся, зашелся еще пуще, вытирал ладонями слезы, стонал и выкрикивал:

— Вы-то с чего?

Когда отхохотались, он объяснил:

— Кобылу тебе и дали по кличке Мэри Пикфорд. Артистка такая в Америке есть — Мэри Пикфорд.

Мать не обиделась.

— Ну, артистка так артистка. Я и сама там как артистка, всем понравилась.

В ее жизни было мало таких счастливых событий, и она, не замечая, как мрачнеет лицом отчим, как он хмурится и отводит взгляд, рассказывала, придя с тренировки, о своих успехах.

Он стал ревновать ее к Мэри Пикфорд, к руководителю женской группы лейтенанту-татарину Николаю Фатуймасу, к ее успехам на манеже. Однажды ночью я проснулась от их голосов. Они ссорились. Отчим упрекал:

— Тебе уже ничего не надо. Тебе бы только вечера дожждаться. Я все знаю, что тебя туда тянет.

Мать возмущалась:

— Я что, туда просилась? Кто меня туда вытолкал? Я что, виновата, что у меня лучше, чем у всех, получается?

— Кто это сказал, что лучше? Фатуймас сказал?

— Все говорят.

— Знаю, чем ты им всем нравишься. Предупреждаю наперед: если что, первая пуля тебе, вторая мне.

Пистолет у него лежал в нижнем ящике письменного стола. Когда он его чистил, я сидела напротив и безмолвно глядела, как он раскладывал на столе, покрытом газетой, его части, смазывал, чистил маленьким шомполом дуло, вытряхивал из магазина тяжеленькие, мутно-золотого цвета патрончики. Пистолет был не страшный. Я не верила, что из него можно кого-нибудь убить. То, что отчим обещал первую пулю матери, вторую себе, были просто слова. Я уже знала, что, когда люди ссорятся, они говорят самые жуткие слова, но это совсем не значит, что надо верить им. Пройдет ссора — и будто не было этих слов.

Отчиму было в тот год двадцать восемь, матери — двадцать пять. Они были взрослыми не только в моих детских глазах. И сегодня, вспоминая, я вижу их серьезную почтительность ко всему, что составляло тогдашнюю жизнь. Отчим приносил получку, клал стопку пятирублевок на стол, садился на диван и раскрывал газету. Мать не спеша пересчитывала деньги, прятала их в комод под бельем. Никогда у них не было разговоров о деньгах, никогда не было такого, чтобы денег не хватало до полочки или мечталось их иметь побольше. И к деньгам, и к людям, и к сообщениям радио они были настроены по-взрослому, ответственно и серьезно. Я помню, как плакала мать, как, прикуривая папиросу от папиросы, вышагивал по комнате отчим. В тот день погибли два им лично незнакомых человека — Серов и Полина Осипенко.

Только однажды из отчима выглянул мальчик. Маленький Вася из многолетней рабочей семьи, городской воробушек, чьи понятия об игрушках и сладостях складывались возле ярких витрин магазинов.

— Будем делать елку, — сказала мать, — все устраивают, и нам надо. Детей позовем. Двух девочек и двух мальчиков.

Всякое дело, за которое она принималась, мать любила представлять в законченном виде. Так и тут: елка от пола до потолка, висят на ней конфеты, мандарины, игрушки, на столе пирог с вареньем, в гостях — две девочки и два мальчика.

Мы сидели за столом и клеили игрушки для елки. Отчим поставил перед собой раскрытую книгу, отгородился от нас и что-то рисовал, стриг, клеил. Мать вытягивала шею, стараясь подсмотреть, он сердился:

— Я же вам не мешаю!

Когда он закончил, мы ахнули: в синей юбочке, на одной ноге явилась на свет румяная балерина.

Потом он намастерил кучу зайцев и другого лесного зверья, мы с матерью бросили свою работу и только смотрели, как у него это все выходило.

Мать собрала игрушки в коробку, пересчитала конфеты и мандарины и спрятала в шкаф. За день до Нового года, когда посреди комнаты, упираясь в потолок, стояла красавица елка, она позвала меня в другую комнату:

— Признайся, и ничего тебе не будет. Все прощу, если скажешь правду.

Лицо у нее было скорбное, голос тихий. Я не знала, в чем надо признаваться, и сказала ей об этом.

— Гадость, — брезгливо фыркнула мать, — у нас такого и в роду не было. Признавайся, или я выкину эту елку и порублю на куски.

Дальше — больше, мать кричала, больно, с выкрутом, ущипнула меня за плечо и сама первая заплакала, так что мне уж и плакать было ни к чему. Произошло что-то страшное, но, прежде чем я поняла что, она вымотала и меня и себя. Из шкафа пропало пять конфет «Мишка косолапый», два «Мишки на Севере» и один «Василек», недосчиталась она и трех мандаринов.

Вечером, когда появился отчим, она продолжила пытку:

— Если не признаешься, у тебя к утру рог на лбу вырастет.

Совесть моя была чиста.

— Не вырастет. Я не брала.

— Поговори с ней, — приказала мать отчиму, — я на ней сегодня все свои жилы порвала. Может, ты ее проймешь.

Отчим с испугом взглянул на меня, я увидела, что шея у него покраснела.

— Да что ты, ей-богу, пристала к человеку...

— Не могли же они святым духом сгинуть, — не унималась мать, — я их, что ли, поела или ты? Если не она, так кто же? Если б чужой, так он бы все взял. Он бы и деньги, чужой, взял. На те деньги в пять раз больше конфет мог бы купить.

Я знала свою мать: если она что посчитала, то это для того, чтобы когда-нибудь пересчитать.

Отчим этого не знал...

* * *

Весна сорокового года выдалась ранняя. 20 марта мы уже бегали без пальто. Я заканчивала четвертый класс. Моя подруга Женя Никитина училась в пятом и переживала в ту пору первую любовь к Вовке Молчанову, лучшему коннику из «детского выезда». Вовка всем нравился. Его конь Вихрь на смотре танцевал вальс и яблочко, Вовка сидел на нем в желтом шелковом костюме с черными пуговицами, на голове круглая коричневая шапочка с таким же круглым козырьком. Когда номер заканчивался, Вовка прутиком постукивал Вихря по шее, и тот сразу подгибал передние ноги, опускал голову —

кланялся. Сам командир полка наградил Вовку именными карманными часами, которые тот носил в портфеле, и кому разрешалось слушать их тиканье, очень гордился и считал себя Вовкиным другом. На самом же деле Вовка со сверстниками не дружил, а водился с двумя воспитанниками полка Витькой Шияном и Павлом Шмелевым. Тем было лет по пятнадцать, они оба учились в пятом классе и оба и в полку и в школе были на особом положении: в полку малолетками, в классе переростками.

Женя Никитина говорила, что Витька и Павел плохо влияют на Вовку, что Вовкины родители не обращают никакого внимания на сына. Это были не ее слова, Женька повторяла их с чужого голоса. Любовь понуждала ее непрестанно говорить о Вовке, и она пересказывала все, что слыхала о нем. Из-за этих разговоров и я стала постоянно думать о Вовке, мечтать о несбыточном, например о том, что Вовка каким-то образом станет моим братом и я буду четвертой в его дружбе с Витькой и Павлом.

Я домечталась до того, что стала путать свои выдумки с явью. Однажды, когда тройца друзей проходила мимо меня, я выскочила навстречу и спросила, как спросила бы знакомых девчонок:

— Вы куда?

— На речку,— ответил, не задумываясь над тем, кому он отвечает, Вовка.

В тот же день я вдохновенно врала Женьке:

— Пришли мы на речку. Они как поплывут. Вовка нырнул, я доста досчитала. Они мне кричат, чтобы я тоже с ними плыла, а как я поплыву — там у берега с ручками.

Женька глядела на меня замороженными глазами, не завидовала, не ревновала, а изумлялась. Мне же надо было держать марку чуть ли не подруги Вовки Молчанова, и я в отчаянии подбегала к нему с вопросами. Женька глядела мне вслед, и со стороны ей могло показаться, что у нас с ним действительно какие-то значительные разговоры. Я потом сочиняла эти разговоры и пересказывала ей. Женька глотала эту отраву и была счастлива. Много лет спустя я поняла, что за стихия несла меня. Нет, это было не тщеславие, не желание оказаться в глазах подружки избранницей. Это было сопереживание, по-детски торопливое и щедрое. Женькин костер первой любви разгорался от разговоров, и я подбрасывала в него поленья.

За то, что я вторглась в запретную зону человеческих чувств, пыталась что-то там улучшить и раскрасить, я и поплатилась. Такое никогда не остается без наказания. Привыкнув, что я то и дело попадаюсь ему на дороге, Вовка однажды и сам встал на моем пути.

— Комэска дома? — спросил он у меня об отчине.

Я ответила, что нет.

— Это хорошо,— сказал Вовка.— А мать?

Матери тоже дома не было.

— Это отлично.— Вовка сузил глаза и шепотом спросил: — Пистолет можешь вынести?

— Какой пистолет?

— Комэскин. Мы постреляем за стадионом и отдадим. Положишь обратно, и никто не узнает.

Я помчалась домой. Желание выполнить Вовкину просьбу обогнало мой собственный бег. Я двинула ящик стола, взяла в руки холодный тяжелый пистолет и завернула его в газету. Из дома вышла не спеша, прижимая сверток к груди. На последней ступеньке крыльца внезапный страх парализовал меня — показалось, что пистолет вот-вот выстрелит. Наверное, я так стояла долго. Вовка подбежал ко мне и забрал сверток.

Они стреляли на старом заброшенном стрельбище по черным растресканным фанерным фигурам. Были там и покосившиеся щиты с круглыми мишенями. Стреляли с вытянутой руки, с колена и лежа. Командовал Витька Шиян. Я смотрела издали, потом подошла к ним близко. Витька крикнул:

— А ну марш отсюда! Жди на стадионе!

Он или забыл, или не знал, что пистолет мой и со мной так разговаривать не стоит.

— Мне домой надо. Отдавайте пистолет.

— Иди, иди,— оглянулся Павел,— иди, пока не всыпали тебе хо-рошенько.

Это уже было верхом неблагодарности. Я отбежала от них метров на двадцать и крикнула что было мочи:

— А я скажу! Комэске скажу, что пистолет у вас! Скажу! Скажу!

Павел поднялся, повернулся ко мне, и я увидела, что рука его вытянута и в руке этой — пистолет.

— А ну — обратно!

— Скажу! Скажу!

— Раз, два...

Я поняла, что при слове «три» он выстрелит. Смертельный страх подхватил меня и понес. Не чуя ног, земли и своего веса, полетела я вперед по гальке стадиона. Бежала и слышала за спиной их топот и крики. Когда Вовка поравнялся со мной и схватил за руку, у меня хватило сил сбить его с ног и понестись дальше.

Нагнали они меня возле Дома Красной Армии. Вовка швырнул передо мной пистолет на землю, и они все трое дружно отреклись от меня: не спеша пошагали прочь не оглядываясь, не думая о том, какая меня ждет расплата.

Я подняла пистолет, села на скамейку и поняла, что жизнь моя кончилась. Если отчим дома и хватился пропажи — мне смерть. Всего одиннадцать лет прожила я на свете, а уже все, конец. Павел Шмелев стрелял в меня, и отчим будет стрелять. Я закачалась на скамейке из стороны в сторону и заскулила, оплакивая свою кончину.

Пистолет лежал рядом на скамейке, я прикрыла его подолом платья.

— Что это ты так горюешь?

Я не заметила, откуда он взялся, лейтенант Пчелкин, муж нашей соседки тети Маруси.

— Меня убьют,— ответила я.

— Кто?

Я отодвинулась, пистолет обнажился, теперь Пчелкин сам увидел, что убить меня очень просто.

Он ничего не сказал, сунул пистолет в карман и быстрым шагом пошел в ту сторону, где были казармы саперного эскадрона. Я осталась на скамейке, потом побрела в пустынное в этот час здание Дома Красной Армии. Там на втором этаже по обе стороны широкого плюшевого дивана стояли две мраморные статуи античных юношей. От них веяло холодом и покоем. Раньше они глядели друг на друга раскрытыми незрячими глазами, но кто-то пририсовал светло-синие кружочки и они прозрели, стали голубоглазыми. Я все надеялась, что кто-нибудь догадается и приодеть их, но никто не догадывался и они зимой и летом были, как в бане, голыми.

Здесь, на плюшевом диване, я собралась жить. Вечером, когда в ДКА люди, я буду уходить, а ночью возвращаться. Днем можно будет ходить по всему зданию, листать в комнате отдыха подшивку «Крокодила» и слушать радио, а ночью спать на плюшевом диване.

Новый дом надо было обживать. Я спустилась по лестнице, сняла со стола в вестибюле зеленую суконную скатерть и отнесла на диван. На втором этаже окна были зашторены, в сумраке невнятно белели фигуры юношей, и ничего другого как спать не оставалось. Я повесила на мраморную руку свое платье, сняла сандалии, легла на диван и укрылась шершавой суконной скатертью. Проснулась я оттого, что кто-то рядом со мной плакал. Я открыла глаза.— отчим сидел в моих ногах. На потолке сияла электрическими огнями хрустальная люстра. Отчим сидел, опустив голову, плечи вздрагивали.

— Не плачь,— сказала я.

— Не буду,— быстро согласился он и вытер лицо ладонями.— Хорошо, что ты нашлась.

* * *

Весной сорок первого года все дети 21-го казачьего полка объединились в один отряд, сплоченный и дружный. Ни один приказ, ни один вожатый не смог бы сотворить такого, что сотворил кинофильм «Тимур и его команда». Худенький невзрачный мальчик Тимур пронзил наши сердца, и мы тут же захотели быть такими.

Тимуром стал у нас Воля Щукин, сын нового начальника штаба. Мы поставили палатки у реки, которая в ту весну разлилась широко, и после школы разводили костер и варили в котелках кашу.

Тимур и его команда помогали семьям красноармейцев. У нас таких семей не было. Наши красноармейцы были молодые, бессемейные, а у тех, кто был женат, семьи были далеко, на их родине. Мы взяли под свою опеку железнодорожный поселок. Был он километрах в трех от нашей части. Разведка донесла, что живет там много старых людей, которым нужна помощь.

Мы с Женькой Никитиной тоже ходили в разведку, обошли поселковые дома, переписали одиноких старух и стариков, многодетные семьи и подали Воле Щукину рапорт. Немало людей нуждалось в самом насущном: в еде и одежде. Женька Никитина впервые столкнулась с той жизнью, которая, по учебникам и ее собственному понятию, ушла в прошлое.

Дисциплина в нашем тимуровском отряде была суровая. Свертки с едой и одеждой должны были доставляться тайно, а это значит — ночью. Мне довелось идти опять с Женькой. Мы договорились, что встретимся у моего дома, когда уже все хорошенько уснут, в два часа ночи.

Ночь была сырая и холодная. Я спустилась по лестнице вниз, вышла во двор, представила, какая длинная и страшная дорога у нас впереди, и почувствовала себя несчастной. Хоть бы Женька проспала. Тогда бы можно было вернуться домой, залезть в еще теплую постель и уснуть с чистой совестью. Но Женька уже катилась ко мне в темноте черным клубочком.

Мы двинулись вперед; Женька оглянулась.

— Рэма,— сказала она,— а на балконе твой папа.

Я подняла голову: отчим стоял на балконе и курил. Он и зимой курил на балконе, но я не знала, что он ночью выходит курить.

Он нагнал нас на середине пути. Ничего не сказав, пошел рядом. Я несла свой груз, перекладывая его с плеча на плечо, Женька тоже устала, но он не помогал нам, только однажды сказал:

— Постоим, отдохните.

Назад мы возвращались с первой дымкой рассвета.

— Дядя Вася,— сказала Женька,— мы еще пойдем в поселок, мы всего-всего много соберем и опять понесем туда под двери.

Отчим молчал. Женьке ответила я:

— Знаешь, как они обрадуются: утром откроют дверь, а там столько всякого добра.

— Не обрадуются,— раздался сухой голос отчима.— Что за радость удостовериться, что ты нищий и тебе подаяние подбросили.

Он чего-то не понимал. Я стала объяснять:

— Мы тимуровцы, это такие ребята, которые всем помогают...

— Это не помощь,— оборвал он меня,— когда подрастешь, разберешься, что такое помощь, а что — благодеяние.

— У нас нет нищих,— сказала Женька,— просто это старые люди... Наверное, у них нет детей и некому помогать, а мы помогаем, это благородное дело.

— Благородное...— Отчим сердился.— Стыдное это дело, обидное для людей. И тем, кому вы свои тряпки подбросили, будет обидно и стыдно, и вам, когда вырастете и вспомните, будет стыдно.— Он повернул голову в мою сторону и подвел черту: — Больше в поселок не пойдешь.

Я подумала тогда, что ему хлопотно меня провожать туда, поэтому и запретил. Через несколько дней благотворительность, какую мы творили, кончилась. Кто-то из тех, кого мы опекали, принес в штаб полка сверток с двумя командирскими гимнастёрками и передал Волькиному отцу:

— Разберитесь, похоже, что краденые.

Нас ударила по рукам такая неблагодарность, и мы, пороптав, бросили это дело.

Распалось наше братство. Против благотворительных дел в поселке был не только мой отчим. Мы подчинились, но так и не поняли, почему наши добрые дела вызвали протест, и приписали это все засилию взрослых, которые никогда не дают детям развернуться, тут же все руют своим запретом. Воля Щукин предложил:

— Давайте будем просто играть в тимуровцев. Будем дежурить в палатках, следить, чтобы со стороны реки не проник в нашу часть шпион.

Со стороны реки никто не мог проникнуть: в полукилометре от наших палаток связывал берега мост, на котором было несколько постов охраны. Мы попробовали играть просто в тимуровцев, но игра без идеи не игра, так же как и жизнь не жизнь.

15 июня отчим повез меня в пионерский лагерь в Красный Бор на Смоленщину. Ехали на грузовике, в кузове которого стояли черные ящики, оклеенные крест-накрест белыми полосками. Груз надо было доставить в Смоленск, и отчим вызвался сопровождать его, чтобы заодно и меня забросить в лагерь. Мы ехали белорусскими дорогами, каменистыми и неровными, среди зеленых веселых лесов с тонкими березами и стройными елками, сворачивали к просекам, растилала на молодой летней траве мохнатую казачью бурку, ели крутые яйца, посыпая их крупной солью. Шофер, смуглый верткий узбек, скалил белые зубы, глядел на меня щелочками смеющихся глаз и говорил отчиму:

— Товарищ комэска, кончится служба, я твою дочку с собой увезу, жениться на ней буду.

Отчим неодобрительно качал головой, отвечал, что мне до этого еще далеко, а я с опаской поглядывала на шофера. Дома у нас каждый месяц появлялся новый номер журнала «Работница». И почти в каждом номере была статья о выдающейся женщине из Средней Азии. Судьбы у них складывались одинаково: в одиннадцать—двенадцать лет насильно выдали замуж за бая, потом революция, малолетняя жена сорвала с себя паранджу и убежала из дому, пошла учиться... Этот шофер, конечно, не бай, но кто его знает...

Мы с отчимом попеременно менялись местами в машине: то он в кузове, я в кабине, то наоборот. Но после слов шофера я ни в какую не пошла в кабину. На одной из остановок и отчим перебрался в кузов. Мы стояли с ним, положив ладони на теплый верх кабины, ветер трепал наши волосы, а мы стояли рядом и смотрели вперед. Будто кто-то, зная о близости нашей вечной разлуки, поставил нас рядом и дал наглядеться в последний раз на синее небо, зеленые леса, на мирную, довоенную дорогу.

Грузовик остался на дороге. Мы с отчимом шли среди сосен, мимо дачных фанерных домиков, по утоптаным иголкам прошлогодней хвои. Качались в гамаках дети, на таганках варили еду молодые женщины в ситцевых сарафанах, высокие желтоствольные сосны загораживали своими кронами небо, и весь этот мир был похож на просторный, обжитой людьми дом.

Возле ворот пионерского лагеря отчим опустил чемодан на землю, и его махорочного цвета глаза столкнулись с моими.

— Если я что-то сейчас скажу, Рэма, это умрет в тебе?

— Умрет.

Он достал из кармана гимнастерки бумажник, вытащил деньги и протянул мне пятьдесят рублей и сложенную квадратом записку.

— Спрячь надежно. Если начнется война, домой не возвращайся. Скажи, чтобы тебя отправили по этому адресу, к моим родным.

Я не испытала страха. Мы жили недалеко от границы, если война начнется, там же, на границе, ей дадут по зубам.

* * *

Мать разыскала меня осенью того года в детском доме под Тамбовом. Той же осенью мы поехали дальше, в Сибирь.

Четыре длинных военных года каждый день мы ждали весточки от отчима. Она пришла уже в самом конце войны: пропал без вести.

В сорок пятом мы вернулись на родину. Через месяц после приезда мать встретила отчима. Он шел по улице в генеральской шинели, немного располнел и стал меньше ростом. У матери потемнело в глазах. Когда она очнулась, его уже не было.

Во второй раз она увидела его через год, в трамвае. Он похудел, глаза ввалились, что-то тяжелое случилось с ним в жизни. Вскинул на мать испуганный взгляд и отвернулся.

— Почему же ты не заговорила с ним? — Мне хотелось так же, как и ей, верить, что это был отчим.

— А ему бы еще хуже стало, — ответила она, — зачем мне было еще добавлять.

Третья встреча обожгла меня своей жестокостью. Отчим шел с молодой нарядной женой, и вели они за руки двух близнецов.

— Большие близнецы? — спросила я, чувствуя и горечь и ревность в сердце.

— Большие. Лет по шесть.

Это было вскоре после войны, и я высчитала, что у него не могло быть таких больших детей.

— А может, это ее дети, — сказала мать, — взял же он меня с тобой.

Вот уже тридцать лет она то и дело где-нибудь видит его.

Я его никогда не встречала.



ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Стихотворения Павла Николаевича Шубина (1914—1951) стали появляться в печати в начале 30-х годов. Поэт сразу привлек к себе внимание богатством языка, умением живописать русскую природу, которую прекрасно знал и любил.

Широкую известность получили его книги «Ветер в лицо», «Парус», «Моя звезда», «Солдаты», «Дороги, годы, города». Особой силы и глубины поэзия П. Н. Шубина достигла в годы Великой Отечественной войны. С 1941 по 1945 год Шубин находился в рядах Действующей армии. Кавалер орденов Отечественной войны II степени, Красной Звезды, награжденный многими медалями, он участвовал в тяжелых боях на Волховском и Карельском фронтах, сражался против Квантунской армии.

Тема солдатского подвига, кровью проверенного патриотизма — главная в его фронтовой лирике.

П. Н. Шубин безвременно скончался в расцвете творческих сил. Но он успел многое сделать, и есть все основания считать, что его стихи выдержали испытание временем.

ПАВЕЛ ШУБИН



ВОИНАМ ВОЛХОВА

На прибрежном снегу расцветали пунцовые маки,
Подогретые спиртом, эсэсовцы рвались в атаки,
И у наших окопов, как серо-зеленая накипь,
Нарастали завалы свинцом перерезанных тел.

Но и нас не щадила кровавая эта ограда,
Разрывая позиции там, где смыкалась блокада,
Мы горячею жизнью платили за жизнь Ленинграда,
Положив своей силой губительной силе предел.

Мы сомкнули ряды от Карпат до Охотского моря,
Мы стране присягали на верность, на счастье, на горе,
Сердцем, яростным сердцем с фашистскими танками споря,
Мы их били гранатами, пулями — кто как умел...

И живучий и все-таки косный от века до века,
Закипающая разрывами и остывая с разбега,
Разрушался металл, пораженный рукой человека,
Для которого воля — живой и посмертный удел.

От спаленного Тихвина вглубь километров на триста,
Сквозь немецкое мясо штыком пробиваясь ребристым,
Шла отвага пехоты за выучкой артиллериста,
За летучей тропой, где казачий клинок просвистел.

Отгремели бураны, и Волхов разлился широкий,
Каждый шаг наш вперед приближает победные сроки,
К вольным плесам Невы фронтовые уходят дороги,
Сквозь погибельный дым мы пройдем их, как долг нам велел.

Черный сумрак фашизма грядущего нам не застит.
 Бой идет за века! И по праву потомок глазастый,
 Оглянувшись назад, каждый день засчитает нам за сто,
 Всем, кто, смерть победив, к Ленинграду пробиться сумел!

НАСЛЕДНИКИ

Семь столетий
 Не зная покоя,
 Закипая
 Кровавой волной,
 Снова озеро
 Бьется Чудское
 Под броней своей ледяной,

Словно ярость,
 Закрытая в скрыне,
 Что не может неволи сносить...
 Всемогущее время донныне
 Не могло этот гнев погасить!

И не властно оно над тобою,
 Ты паришь
 У надзвездных вершин,
 Слава смертного русского боя,
 Слава русских железных
 дружин!

Издалеку мы праотцев слышим:
 То не льдины звенят, а мечи,
 То на льду
 Окровавленном, рыжем
 Принимают удар псковичи.

Ради родины,
 Вольности ради,
 Вскинув знамя крылатое ввысь,
 С рыцарем
 Новгородские рати
 У Вороньего Камня сошлись.

Крестоносная сволочь —
 ливонцы,
 Вас стальные щиты не спасут,
 Псам не видеть
 Ни неба, ни солнца,
 Не творить над селянами суд!

Жидковаты
 Немецкие латы,
 Под забралом
 Расплющится лоб,
 Если в русских руках узловатых
 Развернулся дубовый ослоп!

Под ногами лежат полушубки,
 Чтобы по льду

Лаптям не скользить,
Если дело доходит до рубки,
То в рубахах —
Сподручней разить!

И свистят топоры боевые,
Латы немцев
Трещат, как кора,
Их пластают удары кривые,
Прорубая с плеча до бедра.

По телам крестоносцев и чуди,
Выдыхая короткое «хга!»,
Князя Невского конные люди
Достигают железом врага.

Тяжелы кистени новгородцев,
Точен стрел оперенных полет,
Под «свиньей» бронированной
Гнется,
И звенит,
И ломается лед.

Тонут рыцари вместе с конями
В прорву озера,
К черту, на дно!..
Даже русскому солнцу огнями
Просиять в этой тьме не дано!

На семь верст
Разметались по льду
Иноземных пришельцев тела.
Имена их забыли герольды,
И земля проклала их дела.

Только вы,
Что победы искали
В треске копий,
мечей
и подков,
Гордой славой своей
Просверкали,
Словно молния,
На семь веков.

И под Псковом и на Украине
В восемнадцатом славном году
Било мужество ваше,
Как ныне
Бьет немецкую волчью орду!

Пусть всему на земле
Свои сроки.
Но и в дни семисотой весны,
Как наследие предков далеких,
Нам дороги победы ясны.

В Севастополе
И в Ленинграде,
На тверских
И смоленских полях
Те же грозные русские рати
Поднялись в беспощадных боях.

Сколько черного сброда
Легло там —
Нам не время итог подводить,
Мы фашистскими псами болота
До сих пор не устали гатить!

На далекие дымы,
На запах
Горькой гари погубленных хат,
Как бессмертье —
На запад,
на запад
Наши алые стяги летят.

И мужая в победах всечасных,
Осененные славой живой,
Упадают убитые на снег
На закат,
на закат головой.

В гулком пламени смертного боя
Сочлененьями танков хрустя,
Шаг за шагом,
Верста за верстою
Мы идем по фашистским костям.

И могучая,
Древняя сила
Бьется с нами
Бок о бок в ряду
И разит этих псов,
Как разила
На чудском окровавленном льду!

ЗАМОК В СЕВЕРНОЙ НОРВЕГИИ

Стоять ему без износу,
Гранитному и седому,
Балкончики горбоносо
Ему — нежилому — к дому.

На стенах прямого роста,
В сеченье снегов раскосых
Они — как пингвины гнезда
На выслоенных утесах.

Вьюнок из горшков не брызнет
По выщербленным перилам,
Их профиль безукоризнен
И родствен борцам бескрылым.

И каменное терпенье
Пингвина — морского гнома —
Камням в ледовитой пене
С рожденья еще знакомо.

Ложились они в строенье
Нетесаными венцами
И стали веков струньем
И жизнью чужих ловцами.

История — их жилища —
Давно уже отлетела,
Но все их осада длится
Безмолвно и оголтело:

Из черных камней камина,
Из праха в стенном изгибе
Сапер вынимает мины —
Германской работы гибель.

Не норманнов ли Валгалла
В гнезде их пустом и голом
Сегодня подстерегала
Следящим секунды толлом?

Мы выдрали из фугасов
Часы с боевым заводом:
Кто жизнь нашу мерил часом,
Тот гнев наш измерит годом!

СКВОРЕЧНЯ

Был дом. А нынче нет и стен.
Одна скворечня на шесте.
Под ней копаются скворец
В снарядной борозде.

Он, работяга, встал чуть свет,
Расправил угольный жилет
И оглядел свой дом кругом —
Философ и поэт.

Был крепок дом еще вчера,
А нынче — вот: в стене дыра;
По крайней мере — чтоб закрыть —
Потребны два пера.

Но на пятнадцать верст вокруг
В большой цене перо и пух:
Вьют гнезда все — и клест, и дрозд,
И тетерев-петух.

Но не уныл скворчиный свист,
Скворец — природный юморист:
«Что ж, если перьев нет, так нет, —
Сойдет газетный лист».

И день прошел, пока скворец
Свой деревянный дом-дворец,
Прожженный каплею свинца,
Заштопал наконец.

А ночью грянуло ура,
И пухь цветная мошкара
Во тьме плясала до утра,
И вновь в стене — дыра.

Скворец проснулся, встал с зарей,
Ворчит скворчиха: «Дверь закрой!»
А это вовсе и не дверь —
Стена с большой дырой.

Все осмотрел скворец кругом.
Чем починить разбитый дом? —
Ни пуха, ни газеты нет,
Придется лопухом.

Быть может, было все не так,
Я в птичьем деле не мастак...
Но я видал скворечник тот,
Где пел скворец-чудак.

Я слышал звон его рулад,
Когда, весне и солнцу рад,
Чинил он домик свой —
Кривой
И пестрый от заплат.

Пусть пули вновь его пробьют,
Скворец опять начнет свой труд,
Свинец — лишь вороватый гость,
А он — хозяин тут!

Вот так и мы с тобой придем
Туда, где был наш отчий дом,
И пепелище воскресим,
И оживим трудом.

Да будет так! Мы победим.
Погибнет враг! Мы так хотим.
И вновь взойдет цветений дым
Над садом молодым.

И глянет в воду журавель,
И снова прозвенит в апрель,
Как дождь серебряный,
Скворца
Воздушная свирель.

Да здравствует огонь атак,
Пред коим отступает мрак!
Нам — солнце и скворец в лугу,
Конический свинец — врагу.
Да будет так!

* * *

Нет, я не верю в то, что ты была.
Ты — музыка, а я глухого глуше,
И даже память выжжена дотла
И тупостью перекосило душу.

И все-таки живу. Еще живу.
Меня зовет конец моей дороги,
Когда я тенью встану наяву
В последний раз на дорогом пороге.

О, как он был желанен и далек —
Заветный сон мой, угол полуниций,
На коврике стенном, где спит сынок,
Изба, лиса и серый волк-волчище.

И ты. И все. Мой дальний путь в ночи.
А я еще молюсь простому чуду —
Тебе чужой... А ты молчи, молчи,
Не говори!.. Я только на минуту.

Лаймола.
Сентябрь 1944.

* * *

Когда я узнал под шрапнелью,
Кого мой свинец отыскал —
Лица над зеленой шинелью
Кровавый небритый оскал,—

Я вспомнил не Ялту ночную —
Гнездо самоцветных огней,
Где море касалось, ревнуя,
Твоих полудетских ступней.

А как я держал незнакомо
Комочек, пищавший в пуху,
В подъезде родильного дома
На мартовском талом снегу.

Беде, что ему угрожала,
Косматое сердце прошить
Свинцом или жалом кинжала —
Для этого стоило жить!

17.X.1942.

* * *

Окно затянуто парчой
И смутным сном пурги.
Сама зима через плечо
Глядит в мои стихи.

Как я шепчу, глухонемой,
Наедине с тоской,
С такой тоской, с такою тьмой,
С бессонницей такой!

Как медленно горит табак,
И никнет голова,
И остывают на губах
Неслышные слова.

Они, как мертвая земля,
Как ночь, как вихри с крыш,
Взывают, всей тшетой моля,
Всей тишиной: услышь!

Услышь! Я жив еще пока!
Зачем мне быть травой,
Землею, тленьем... Что — века,
Когда сейчас я — твой!

Умру — тебя не уступлю,
Не в песне — наяву,
Я так — живу, пока люблю,
Люблю, пока живу!

20.XII.1944.

ПОСЫЛКА

Кому — вино,
Кому — табак,
А мне — перчатки пуховые!
Нагорий запахи живые
И вкус полыни на губах.

Вином пригнутая лоза,
На гребне скал — тропинка козья,
Струющаяся из предгрозя
В мои закрытые глаза.

И смуглая фигурка рядом,
В бляеные коз,
В венке из роз,
Ресницы, мокрые от слез,
И губы пахнут виноградом.

Зачем же трепет твой остыл,
Ведь это
Только молний пламя
И гром...
О черт! Опять над нами
Проклятый кружится «костыль»!..

Ворошилов-Уссурийский.
27.VII.1945.

ИЗБА У ДОРОГИ

По-прежнему грустно, по-прежнему просто
Стареют леса в серебре паутинок,
Октябрьские зори, октябрьские звезды,
Прощальные промельки крыльев утиных.

Летят листопада бесшумные ливни
По-прежнему просто, по-прежнему грустно,
И рек остывающих синие бивни
В осеннем пуху, в кочерыжках капустных.

Как сердцем печальные дали любимы,
Как хмель кучеряв на изломанном прясле,
Как будто над избами теплые дымы
Еще не исчезли, еще не погасли.

И печи бушгуют огнем, как бывало,
С мороза последние яблоки сладки,
Укропом и солодом пахнут подвалы,
Брусничкой и медом — дубовые кадки.

Как будто откроется праздник с утра нам.
Застольем торжественным, словно причастье.
И ляжет на стол караваем румяным
Большое, как мир, деревенское счастье.

Так что же? Шагнем в незакрытые сени,
Приветим хозяев поклоном нехитрым
И лавки, покрытые сырью осенней,
Травой обметем и столешницы вытрем.

Торчит на шесте сумасшедшая кошка,
Она здесь уселась, бездумно глаза,
С тех пор, как вошла в эти стены бомбежка,
Стеклянные дребезги по полу сея.

Так вот как погибла мурлыкина сказка,
С которой мы жили, товарищ, с тобою,
Седые пруды, бубенцы на салазках,
Веселый конек-горбунок над трубою.

Здесь словно застыла с той боли, с той ночи
Проклятая злоба врага-иноверца,
Оскалом проломов над нами гогочет,
Копытом тупым наступает на сердце...

Довольно! Играют за лесом «катушки»,
Нам больше не спать под родимую крышей,
В январские ночи не слушать, не слушать
Из инея сотканых белых затиший.

Дотлели покоя последние крохи,
А горя и гнева нам хватит надолго:
За нами Россия — изба у дороги
Как клятва на верность солдатскому долгу.



АЛЕКСЕЙ ПРАСОЛОВ



СТИХОТВОРЕНИЯ

В августовской книжке «Нового мира» за 1964 год было напечатано десять стихотворений Алексея Прасолова (1930—1972). Такой большой подборки в журнале удаивались немногие, как правило, известные мастера слова. «Секрет» этого был один: поэзия Прасолова отвечала строгой, «твардовской» мере — он угадал ее суть, как угадывают человека. Твардовский и после своего открытия не выпускает поэта из поля зрения. Помогает издать книгу «Лирика», шлет в Воронеж время от времени короткие телеграммы: «Присылайте новые стихи», советует писать прозу, а в одном из последних писем предостерегает от «академического спокойствия» в лирике, кончая письмо такой характерной для него припиской: «Да вы сами с усами, а ученого учить — только портить».

Публикуемые строки — выполнение главного желания Твардовского видеть на страницах «Нового мира» стихотворения поэта, им открытого и ценного.

Инна Ростовцева.



Вот так — с горячей автострады
Непредугаданный мой шаг
Не в праздном поиске пролады,
И тем, и загородных благ,
А в день обыденно-дорожный
Вдруг оборвался на краю,
И стало просто невозможно
Дышать и речь вести свою.
И я умолк перед оградой,
Как будто ей и впрямь дано
Отсечь от жизни, шедшей рядом,
Их с обелиском заодно.
Как будто можно чьей-то волей
В судьбе — хотя б самой моей —
Отсечь начало — чтоб без боли,
Без памяти — от зрелых дней.

Я о себе не из расчета
В живых восьмым примкнуть к семи
И — вот тщеславная забота! —
Среди безгласной их семьи
Побыть хоть в мыслях... Нет, чего там!
Ты, сердце, радость не таи,

Что живо, что немецкий ствол
И смертный взгляд поверх канала
Прицелом пристальным прошел
Не по тебе,— уж слишком мало
Им было времени в тот миг:
Чтоб ты расплаты избежало,
Он их расплатою застиг!

Так бейся, сердце, над могилой,
Исполни памятный наказ
И обо всем, что захватило
В непоправимо страшный час,
Ты расскажи, а между делом
Пусть беспощадно ясный ум
Под солнцем беспощадно белым,
Под мраком, насмерть онемелым,
Толпу разгоряченных дум
Сюда впускает не по воле —
По их неписаным правам,
И место первое — не боли,
А правде с болью пополам.

* * *

И вдруг за дождевым
навесом
Все распахнулось под горой,
Свежо и горько пахнет лесом —
Листвой и старою корой.

Все стало чистым и наивным,
Кипит, сверкая и слепя,
Еще взъерошенное ливнем
И не пришедшее в себя.

И лесу точно нет и дела,
Что крайний ствол наперекос
В изломе розовато-белом —
Как будто выпертая кость.

Еще, поверженный, не стонет,
Еще, иссохнув, не скрипит,
Обняв других, вершину клонит,
Но не мертвеет и не спит.

Восторг шумливо лист колышет,
Тяжел и груб покой ствола,
И обнаженно рана дышит,
И птичка, пискнув, замерла.

* * *

Дорога все к небу да к небу,
Но нет даже ветра со мной,
И поле не пахнет ни хлебом,
Ни поднятой поздней землей.

Тревожно-багров этот вечер:
Опять насылает мороз,
Чтоб каменно увековечить
Отвалы бесснежных борозд.

А солнце таращится дико
На поле, на лес, на село,
И лик его словно бы криком
Кривым на закате светло.

Из рупора голос недалний
Как будто по жести скребет,
Но, ровно струясь и не тая,
Восходят дымки в небосвод.

С вершины им видится лучше,
Какие там близятся дни,
А все эти страхи — летучи
И сгинут, как в небе они.

* * *

— Я прокляла тебя. Тройным проклятьем.
За что — пусть знаем только мы вдвоем.
— Благодарю. Порой мы больше платим,
Когда прощают, чтоб проклясть потом.

Из письма.

Какая тьма! Лишь выйди на крыльцо,
В уме сотрется даже цифра часа,
Обложит полночь густотертой массой,
И в ней мое оттиснется лицо.

И ощупью ступая, как по краю,
Теперь-то мне и хочется сказать,
Когда я ничего уже не знаю,
Когда я проклят иль прощен опять,
Когда добру не в силах доверять
И злу чужому в чистую тетрадь
Не дал пути. А в душу? Печка, грей
Не одного меня, а всех, кто в Доме:
Чего порой не сыщешь у людей,
Найдешь в дровах, иль угле, иль соломе!

И прояснится ум в тебе тогда,
И счет пойдет, но не такой, как прежде:
Что величалось именем Беда,
Ты сбросишь, словно стылые одежды,
И вот в одной рубашке, не кланя,
Благодаря — без слова — за проклятье,
Как от успеха, руки у огня
Ты потираешь — ты готов к расплате!

И станешь думать: странен человек —
Всю жизнь себя передает другому
Через предметы: вот он, мой ночлег,
Где три хозяйки вверенному Дому

Придали вновь гостеприимный вид,
И в книге, что подсунута на случай,
Мое перо не жалобно скрипит,
А свищет благодарно и певуче.

Хозяйки русской добрые черты
Распознаешь в бесхитростных предметах:
Там знак ее хлопот и чистоты —
Две простыни, как два квадратных света,
А печка, довершая весь уют,
Теплом и гулом каменного чрева
Пробудит что-то древнее в тебе —
Быть может, тягу к Очагу и Дому,
Что столько лет в кочующей судьбе
Как к своему ведет меня к любому!

И час такой настроил бы меня
На этот лад надолго — хоть до утра:
Здесь лица барельефны от огня
И мысль приходит первобытно-мудрой.
И все, что называем суетой,
Которая дана взамен событий,
Уже пережитая на отстой
В тебе пойдет, чтоб завтра стать забытой.

Пока ж она, немирная еще,
В душе перелиняет, словно пена.
Подсвеченное ночью горячо,
Лицо твое выходит постепенно...
Зачем пришла?
Скажи, зачем со мной пришла сюда?
Мужские сны подсматривать? Подслушать,
Как их словами бредит темнота?
Как в ней неусыпленно реют души?

Как этот навзничь брошенный пилот
Из сельской авиации, как плена,
Боящийся ненастья, солнца ждет,
Оборотясь лицом ко всей вселенной?
Ты слышишь, как он вскрикнул и затих,
Как будто понял — звуки слишком грубы.
И где-то имя, трудное как стих,
Выплываают судорожно губы.

И та, кому принадлежит оно,
Не знает, что коротенькое имя
Примеренно и накрепко дано
Всей жизни, на двоих уж неделимой.
И мне какое дело в этот час
До наших бед — они добры, приметы,
Когда взаимно мы в самих же нас —
Переданные не через предметы.

* * *

Померк закат, угасла нежность,
И в холодеющем покое,
Чужим участием утешась,
Ты отошла — нас стало двое.

О как ты верила участью!
Тебе вины любая малость
Неразделимой на две части
И не твоей совсем казалась.

Я оглянулся и увидел
Как бы внесенные с мороза
Твоей несправедливой обиды
Такие праведные слезы...

Но отрезвляющая воля
Взметнула душу — круче, выше,
Где нет сочувствия для боли,
Где только тяжело правда дышит.



О ЧЕЛОВЕК И НАШИХ ДНЕЙ

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ

АЛЕКСЕЙ КОЖИН

★

ПЕРЕКЛИЧКА

Теперь уже отчетливо видно, как будет выглядеть действующий КамАЗ. Светлая керамическая облицовка придает законченность размашистым стройным очертаниям исполинских корпусов. Рядом с ними заметнее стали рытвины глинистой земли, которые скоро разровняют, следы гусениц, автомобильных скатов. Техника, люди переместились в корпуса, где в нынешнем году надо будет подготовить 900 тысяч квадратных метров производственных площадей для массового, или, как тут говорят, большого, монтажа заводского оборудования.

Сотни тысяч, миллионы — известно, такие цифры в ходу на КамАЗе. Ими измеряется то, что будет и уже есть. Все вместе — новая мера нашего роста, невиданная по размаху, по темпам работ, по новизне и сложности технических задач.

Вспомнилась мне на КамАЗе другая стройка. Давняя. Котлованы на высоком волжском берегу, шаткие настилы над ними. Скрип подвод, груженных «под завязку» кирпичом, тесом, грунтом. С барж мы перетаскивали грузы на себе, не задерживали подвод. Кирками, лопатами, тачками перемещали горы земли. Ладони пузырились кровавыми мозолями у «грабарей», как нас тогда называли. Всей стране был слышен клич: «Даешь трактор!»

Газеты писали о строителях Сталинградского тракторного — «железные люди». Парни и девушки равнялись на старших. Не только потому, что те в годах, с опытом, но и потому, что за плечами у старших гражданская война. Иные еще буденовки носили.

А вот Григорий Гурко сохранил с военной поры черный бушлат. Так и запомнился мне — в бушлате. Было человеку лет сорок. Возраст подходящий, чтобы называть папашей. Услышит — улыбнется. Бригада, в которой он работал, гордилась: с нами бывший военный моряк, с белогвардейцами сражался.

Богатырского роста, ходил не сгибая коленей — ноги изранены в боях. Очень не хотелось Гурко, чтобы напоминали ему о ранах, выказывали сочувствие, делали поблажки. Держался крепко. Тачку с бетоном катит словно пустую, где грунт потяжелее, там его кирка на полном замахе.

Предлагали Гурко: нужен табельщик, давай — будешь сидеть в тепле, или попробуй плакаты рисовать про трудовой накал, про отстающих, с рогожным знаменем. Плакаты — пожалуйста, в свободное время, но из котлована — никуда.

Как в бою, он хотел быть на передовой. Без этого жизни не мыслил. Вот таким и подражала юность. С ветеранами любила беседовать неугомонная Лидия Пластикова, чье имя многим помнится и поныне. Комсомольский, а затем партийный вожак. Да не только она. Держали совет, обдумывали, как сделать, чтобы личный пример, слово, судьбы старших становились духовной силой их наследников.

«Легкая кавалерия» пошла по котлованам, баракам, складам. С ней и Гурко, его сверстники. Нароботаешься — ночью снов не видишь. А в полночь подъем. Прибыл эшелон с оборудованием. Срочная разгрузка. Гурко первый у выхода.

Разобранные станки пахнут свежей краской, сверкают полированными деталями. Кому на них работать? Да нам же! Вместе с молодежью ветераны осиливают мудрую науку. А в главной науке они учителя, каких не заменят ни книги, ни фильмы. Допоздна не гаснут в бараках коптилки. Вслушиваешься в знакомый голос — рядом героические были, рождение новой эпохи, положившей начало всему, что народ строит, создает для своего блага.

Без четырех лет полвека прошло с тех пор, как Волга услышала шумный голос давней стройки. И вот КамАЗ, под сводами которого можно разместить не один такой завод, как Волгоградский тракторный. Просторное приземистое здание парткома Автозаводстроя — главного подразделения, сооружающего промышленные корпуса. Если глянуть в окно, один из них наполовину заслонил небо.

У окна склонилась над столом Галина Михайловна Колобкова, заместитель секретаря парткома, дочь погибшего на войне летчика. За перегородкой во всю длину стен — книги на ялках. Тут и парткабинет. Колобкова ведает пропагандистской, воспитательной работой. Коллектив этот, как все в Набережных Челнах, молодежный, что видно сразу, куда ни заглянешь. Из тысяч строителей только около 50 — люди старшего возраста, участники Великой Отечественной войны. И очень нужна их помощь, чтобы молодежь больше знала о подвигах отцов, достойно наследовала их славу!

Галина Михайловна каждого ветерана знает в лицо, помнит, у кого какие награды, где кто воевал, какие освобождал земли.

Только наведаясь в партком Алексей Владимирович Шуваев, заместитель начальника СМУ. Хлопотливая должность, тем более что отвечает за снабжение.

Вчера Шуваев опять побывал в общезитии у своих парней. Снова рассказам не было конца. Ему есть что рассказать. С начала и до конца войны командовал ротой. Освобождал Будапешт, Вену, Прагу. Трижды ранен. Удостоен многих наград. В партком Шуваев зашел условиться о новых встречах с молодежью, а заодно доложить, как протекает очередное дежурство комсомольской дружины по охране общественного порядка в закрепленном районе Набережных Челнов. Алексей Владимирович — комиссар дружины: избранный. Сам он словно молодеет, когда при орденах и медалях четким шагом идет в патруле по знакомым улицам.

Шуваев уходит. Галина Михайловна склоняется над бумагами. На ее столе список ветеранов, даты их встреч с молодежью. О своем ратном пути строителям КамАЗа расскажут слесарь энергоучастка Алексей Ефимович Резков, директор школы Серафим Гаврилович Афонин, диспетчер Михаил Иванович Иванов, плотник-бетонщик Петр Тимофеевич Бабин.

Герои войны сегодня в рабочем строю, их подвиги живут во всем, что совершаем, в каждом мирном дне. Как и подвиги тех, кто был наставником *моей* юности.

* * *

От Колобковой я узнаю, что во всем коллективе Автозаводстроя широко развернулось движение за то, чтобы по-ударному трудиться в год знаменательного юбилея Победы над фашизмом. Пошел я туда, где движение зародилось, в бригаду плотников-бетонщиков Николая Борисовича Шмоткина.

Под крышей этого корпуса со временем разместится десять цехов. Пока же куда ни глянешь — лес массивных металлических опор. Повсюду, в глубине и вблизи, голубоватые вспышки электросварки, гудят воздушодувки, автокраны, раздаются очереди пневматических молотков, надсаживаются моторы самосвалов.

Надо напрягать слух и голос, вплотную подойти к человеку, чтобы разговаривать с ним. Спрашиваю всех встречных, где найти бригаду Шмоткина. Она бетонирует полы. Но фронт бетонирования широкий. Куда идти, указывают примерно. Кто-то советует:

— Шагайте вдоль трассы большого конвейера к штабу стройки. Скоро пере-
сменка. Шмоткин будет там.

Начало трассы — котлованы. На другом конце — сборка конвейера, уже отчетливы его очертания. Знакомый запах машинного масла. Лица молодеж мон-

тажников значительны и серьезны. Лозунг вверх: «Даешь большой конвейер в августе!»

Вспоминаю, какой радостью для народа было рождение первого волжского трактора! Как сейчас вижу родной завод. Когда строительство закончилось, я стал работать в шлифовальном отделении сборочного цеха. Потом сотрудником газеты «Даешь трактор!». В редакцию же перешел и Григорий Гурко, неловко и важно возвышавшийся за маленьким столом. Я ведал отделом культуры и быта. Он — массовой работы. Сидели в большой общей комнате. Помню, как почти-тельно замирали, когда мимо нас шествовали в редакторский кабинет Александр Безыменский, Яков Ильин, Борис Галин — выездная редакция «Правды» на стройке, потом на СТЗ. Надо ли говорить, кем они были для нас, начинающих, еще робующих перед печатной строкой.

На СТЗ я крепко подружился с Яшей Канторовичем, человеком талантливым, душевно богатым, прекрасным товарищем. Некоторые считали его немножко чудачковатым, а я благоволел перед ним. Сын московского профессора, выросший в уюте, достатке, студент Академии художеств, он бросил все, приехал на Волгу, поселился в бараке, строил тракторный и остался работать на нем токарем.

Как-то в обеденный перерыв он заглянул на минутку в редакцию в замасленной спецовке, остановился около моего стола. Завязался разговор накоротке. Мимо быстро прошел Яков Ильин, кивнул приветливо. Задержался у редакторской двери, повернул назад, подошел к нам, дотронувшись до моего плеча, сказал: «Молодой человек, перед вами стоит рабочий. Встаньте или пригласите его сесть». И исчез за редакторской дверью.

Однажды перед началом утренней смены я увидел Ильина около проходных ворот, где теперь высится танк — напоминание о Сталинградской битве. Писатель пристально глядел в лица рабочих, любовался мощью человеческого потока, его твердой поступью. Потом я не раз встречал Ильина здесь в эту пору.

Представляю, как будут выглядеть площади перед предприятиями на КамАЗе, когда заработает во всю мощь этот гигант...

Фашисты не смогли убить город моей юности, потому что тут стояла сама неистребимость дела, ставшего нашей плотью и кровью, неистребимость всей нашей жизни, которая продолжается в тех, кто приходит нам на смену, в их делах.

Снова гляжу на лозунг «Даешь большой конвейер в августе!».

Штаб стройки. Это небольшой участок, огороженный временными стенами без покрытия, поделенный на несколько отсеков. На штабной временке написано броско: «Поздравляем бригаду Николая Шмоткина с замечательной победой!» Сообщается, что за минувший день бригада, встав на вахту в честь тридцатилетия победы над фашизмом, уложила по пять квадратных метров бетона на человека вместо трех по норме. Рядом поздравление бригаде Фариды Исянова. У нее выработка еще выше. К обоим относилось: «Молодцы! Так держат!»

Потом я узнал, что вожаки этих бригад закадычные друзья, радуются успехам друг друга, но Шмоткин очень переживает, если его обойдут. У него даже слезы на глаза навернулись, когда по итогам соревнования недавно сопернику выпала честь уложить миллионный с начала стройки корпуса кубометр бетона.

У штаба оживление. Входят, выходят, переговариваются люди в брезентовых робах. Слышу обрывки фраз о бетоне, опалубке, мостах через конвейер. И в пересменку об этом. Кого бы спросить о Шмоткине? Несколько в сторонке стоит невысокий коренастый человек лет сорока, в красном свитере, сосредоточенно смотрит в тетрадь. Смуглое симпатичное лицо. На мой вопрос ответил быстро, чуть сипловатым голосом:

— Шмоткин — это я.

В парткоме мне многое порассказали о нем, о его бригаде. Где особенно трудно, туда посылают Шмоткина. В бригаде совсем молодые парни. Набирали с расчетом после окончания стройки учить их на станочников. Поначалу иные и не старались хорошенько овладеть строительными профессиями. Шмоткин помог стать настоящими мастерами.

Мы зашли в пустой отсек времянки. Шмоткин положил перед собой тетрадь, бережно разглядел ее.

— Прикидываю, сколько еще можно добавить сверхплановой выработки. Исянов обошел нас, значит, и мы можем дальше продвинуться. Вернее, мы как-то разом, бригады наша, Фарида Исянова, другие и все на стройке, потянулись к тому, чтобы сделать на своих участках как можно больше к празднику Победы в юбилейном году. Хотелось как бы сказать тем, кто воевал, спас Родину: вечная вам благодарность. И еще решили: внесем в рабочий табель бригады поименно всех своих павших родных. Были они и парнями, и отцами семейств, и детьми, погибли как герои. Пусть наш труд, вся наша жизнь будет данью памяти их, всех, кто не вернулся с войны. У Алексея Рысямова был брат Михаил, московский литейщик; у Владимира Кузьменко — отец Иван Дмитриевич, житомирский хлебороб; у Леонида Ехлаева — дедушка Леонид Васильевич, с Волги. Вот Борис Тимофеевич Шмоткин, отец наш — мой и брата Ивана, мы вместе в бригаде. То же хлебороб, с Орловщины. И так, должно быть, кого ни спроси, по всему КамАЗу, по всей стране...

Шмоткин склонил голову, словно старался запомнить новые для него имена, названные вместе с именем отца. Отныне они будут значиться в списке бригады и произноситься под сводами корпуса, как на боевой перекличке.

Бригадир торопился, но ему хотелось рассказать об отце. В сорок первом под Ельней он был тяжело ранен, очнулся от лая собак, пополз, оставляя кровавый след, а потом выходил, опираясь на винтовку как на костыль, лечился долго, домой был опущен, маялся, что находился в тылу. В сорок третьем окончательно поправился и снова ушел в армию. В сорок третьем же погиб. Мать работала почтальоном. Боялась проглядеть почту, что крала в сумку. На улице все же взглянула, увидела конверт, адресованный ей, распечатала и без памяти упала в сугроб. Метель была. Хорошо, люди заметили, а то снегом бы замело.

— Занесли мы навечно в рабочий табель и семью Андрея, фамилию которого я не знаю. Может быть, никого родственников и не осталось у этой семьи, некому помянуть ее. Да и то — не солдаты, пали не в бою. Расстреляли всю семью на моих глазах в деревне Усково Знаменского района. Наша семья из Верхней Радомки — всю деревню фашисты сожгли — перебрались в Усково. Семью Андрея сюда привезли тоже из другой деревни. Поэтому я и не знал его фамилии. Запомнил только имя. Пригнали на казнь в Усково — там людей побольше. Расстреливали двое полицаяев. Один из Верхней Радомки, по фамилии Головин. Стреляли из пистолетов, не спеша. Немцы рядом зубы скалили. На казнь жителей заставили прийти под дулами автоматов. Объявили: казнят за помощь партизанам. Расстреливали в заросшем саду. Первым отца Андрея. У того борода до пояса. Высокий, силы большой был человек. После первого выстрела упал, потом поднялся на колени. Снова упал после нескольких выстрелов. Затем убивали дочерей. Одной из них было лет шесть, второй лет восемь. Как сейчас вижу, над травой головенки белеют. Просят дети: «Дяденьки, не надо». Один выстрелил, промахнулся, а они опять: «Дяденьки, не надо». Тогда Головин этот самый говорит напарнику: «Эх ты, целиться не умеешь». И убил детей. Потом Андрея с женой привязали к пролетке и погнали лошадей вскачь по булыжной мостовой. Но Андрей и после этого остался жив. Полицаи стали забивать в уши гвозди. Так добились.

Шмоткин зябко повел плечами, порывисто встал, словно ему стало душно. Шли на участок бригады, спотыкаясь о груды земли. Шмоткин впереди. Я сзади. Молчали. Одно он сказал:

— Было мне тогда семь лет.

Приблизились к опалубке. Чмокают резиновые сапоги парней, разравнивающих бетонную массу. Парни один к одному — ладные, загорелые, чубатые, есть и с космами до плеч, в беретах, кепках.

— Ребята, — позвал Шмоткин, — прошу подойти поближе.

Рабочие вышли за кромку опалубки, сгрудились около бригадира, слушают. Лица стали серьезными. А потом Валентин Казанов, Роберт Ламм, Василий Дер-

жавин, Гаммар Садриев, Иван Абракованов, их товарищи, все, кто был тут, стали называть родных, павших за Родину. Шмоткин записывает новые имена вслед за семьей Андрея. Кажется, в огромном корпусе далекое эхо вторит молодым голосам. Они звучат как клятва верности памяти героев, их подвигам, заветам.

...Шмоткин пошел проводить меня. Когда прощались, сказал с просительной ноткой, так не идущей к суровости его лица:

— Можно ли купить в Москве таблицу Менделеева? Здесь, понимаете ли, не достать. Заказывали в Казани — тоже нет.

Объяснил: таблица нужна школьному классу, над которым шефствует бригада. Строители многое сделали для ребят — горку, качели, турник. В выходные дни вместе ездят на Каму, в лес, на базу отдыха. А вот таблицу Менделеева нигде достать не могут.

Первое, что я сделал, вернувшись в Москву, — послал в Набережные Челны таблицу Менделеева. Вот письмо, которое только что получил в ответ: «Извините, что отвечаю не сразу. Большое спасибо за таблицу Менделеева от меня, от всей бригады и подшефного класса. Отвечаю на ваши вопросы. Моя родная деревня — Верхняя Радомка, Хуторского сельсовета, Волховского района, Орловской области. Семья Андрея была расстреляна на моих глазах летом сорок второго года в деревне Усково Знаменского района. В сорок третьем году нашу и многие другие семьи погнали в Германию. На Брянщине советские бойцы настигли фашистов и вызволили нас из неволи.

Вам посылает привет моя мама. Сказала: вот если бы меня расспросили, а ты, мол, разве все помнишь. Я ответил: что помню — рассказал. Примите привет от ребят моей бригады, от учеников подшефного класса. И от меня лично. Сейчас у нас как на фронте. Завтра — воскресник. Идет борьба за каждый кубометр и каждый квадратный метр уложенного бетона. В апреле бригада выполнит задание не ниже чем на 160 процентов. Николай Шмоткин».

* * *

Во многих подразделениях КамАЗа были у меня встречи с ветеранами войны, добрыми наставниками молодежи. Каждый раз вспоминались слова Галины Михайловны Колобковой: «Какое это богатство для духовного возмужания юношей и девушек — дружба с ветеранами. Ведь каждая фронтовая судьба — частица Победы, которую мы славим, живая реальность пережитого родиной в суровую пору».

Встретился я на КамАЗе и с полным кавалером ордена Славы Зиятдином Минибаевичем Аруслановым, газоэлектросварщиком второго автохозяйства.

Орденом Славы в годы Великой Отечественной войны награждались рядовые, сержанты, а в авиации и младшие лейтенанты. Такой награды удостоивался тот, кто первым врвался в расположение противника и содействовал успеху общего дела. Или первым врвался в дзот (дот, окоп, блиндаж), решительными действиями уничтожил фашистов. Или же в результате разведки устанавливал слабые места обороны противника и выводил наши части ему в тыл. Или же ночью снимал сторожевой пост. А также за другие равные этим подвиги, требующие храбрости, мужества, бесстрашия.

Ну, а те, кто награжден орденом Славы всех степеней — это уже из героев герои, храбрый из храбрых. Общее почтение такому бойцу. Ему и место поудобней у костра, и первая щепотка махорки из кисета. Даже не в ротном или батальонном, в большем масштабе бойцы слышаны были: служит у нас полный кавалер ордена Славы, гордились этим.

Дивизионные, армейские, фронтовые газеты не жалели места для описания подвигов героев. Только не всем газетчикам довелось о них написать. Полными кавалерами ордена Славы во всех наших Вооруженных Силах стали около двух с половиной тысяч человек. Не выпало и мне в войну написать о полном кавалере ордена Славы. Теперь появилась возможность осуществить давнее желание.

Я ехал в автохозяйство, где работает газоэлектросварщиком Зиятдин Минибаевич Арусланов, и пытался представить, что бы написал о нем, если бы встре-

тились мы тридцать лет назад — в боевом охранении, у стрелковой ячейки, на переправе, у походного костра, в блиндаже, где от близких снарядных разрывов мечется тусклый огонек коптилки, а сверху сыплется земля.

Наверняка то же, что писал о многих, о том, что присуще было всем бойцам, терпеливо, упорно и стойко день за днем одолевавшим неимоверные тяготы войны. Но в подвигах, за которые удостоивали орденом Славы, да еще трех степеней, наиболее ярко раскрывались присущие всем солдатам сила духа, воля к победе.

Вот и Арусланов. Знакомлюсь. Невысокий, коренастый, лицо моложавое, густые волосы с редкой проседью, спокойный прищур глаз. Во всем облике steepенность, достоинство рабочего человека, много сделавшего в жизни и еще полного сил.

В правой руке теплая горелка. Пальцы левой — на только что поднятых защитных очках. Сейчас их опустит и снова склонится к ослепительному огню. Так в траншее солдат говорил с журналистом, не выпуская из рук автомата, не отрывая взгляда от окуляров стереотрубы или бинокля.

Арусланов лезет под грузовик. В руках вспыхивает огонь, падают на землю искры. Работа не ждет. Наговоримся потом. Ко мне подходит директор автохозяйства Леонид Сергеевич Зайцев в темной, перепачканной автотом куртке. Говорит об Арусланове:

— Великолепный мастер своего дела. Самая трудная сварка поручается ему, скажем сварка деталей из чугуна, цветных металлов, да еще без предварительного подогрева. Второй раз варить не надо. Такая работа — коллективу большое подспорье, особенно теперь, когда мы перевозим по двадцать две тысячи тонн грузов в сутки при плане семнадцать. Обязательство взяли в честь юбилея Победы.

Арусланов и в буквальном смысле слова у всех на виду. Его рабочее место под открытым небом, у ворот автохозяйства, рядом с которыми пролегла магистраль, связывающая город Набережные Челны с рождающимися корпусами автогиганта. Так что видят аруслановский огонек все, кто держит путь к главному месту битвы за КамаАЗ.

Под открытым небом сварка идет потому, что автохозяйство еще полностью не отстроилось. Нет крытого гаража, мастерской со сварочным отделением. Все внимание главной стройке. Оттого дожди, ветры, морозы — а они тут бывают лютыми — все сполна выпадает на долю Арусланова, навели «косметику» на его лицо, какая была на фронте у солдат. Для иной тонкой сварки рукавицы приходится снимать. Пальцы прилипают к металлу. А работа срочная.

Конечно, мог бы Зиятдин Минибаевич перевестись в другое место на КамаАЗе же, скажем на заводской монтаж, где много электросварки и люди работают в тепле. Никто за это Арусланова не осудил бы, а руководство при случае отметило бы заботу о ветеране. Но Зиятдин Минибаевич считает так: где поручено тебе, там и работай. Стой, как на боевом посту. Не нужны и ему скидки на годы, раны, контузии, на все, что довелось пережить.

Арусланов заступает на свой пост раньше, чем водители, каждую малость предусмотрит для того, чтобы все было готово к выходу машин в рейс. Как-то молодой шофер Равиль Набиулин видит, как заваривает у его машины Зиятдин Минибаевич трещинку в креплении зеркальца. Парень рассудил вслух:

— Что зеркальцу делается? И так не отвалится.

Арусланов закончил работу, поглядел с разных сторон на тонкий шовчик, сказал как бы между прочим:

— Был у нас взводный Василий Кречетов. Перед боем каждый диск, затвор проверит, пуговицу оторванную заметит, скажет: пришей...

Всегда в исправности у Арусланова горелки, резак, весь сварочный аппарат. К строгому порядку, аккуратности ветеран приучает других. Бывало, тот же Равиль поставит машину после работы на стоянку, а как следует ее не почистит. Арусланов досадовал: маленькая трещинка появится, не заметишь — она станет большой.

Отец Равиля Разилян Сагидулович — водитель того же автохозяйства. И второй его сын, Рафис, работает здесь. Заметит старший Набиулин у кого-либо

из сыновей промашку — тоже подскажет. И тоже сошлется на свой фронтовой опыт. Прошел немало военных дорог. Водители Рахимзян Мубараквич Мубаракин, Николай Ерофеевич Ефименко — тоже фронтовики. Вместе — словно боевой расчет. Главенство в нем, понятное дело, полному кавалеру ордена Славы. Сойдутся подымить — угощайся Зиятдин Минибаевич. Он говорит — не перебивают. С проволокой в автохозяйстве стало туго, а без нее нет сварки, — достали, привезли Арусланову. Посоветоваться надо — идут к нему.

Недавно выдвинули Ефименко в бригады. Шоферам поручено менять в одном из литейных корпусов грунт под фундаменты. Вывозить, завозить. Объем работ велик. Срок мал. Приходится работать в тесноте — петлять между опорами, глубокими выемками, одолевая узкие, крутые подъемы и спуски.

Стали думать, как облегчить дело. Решили собрать в один коллектив водителей и тех, кто обслуживает землеройную технику. Пусть у них будет единый наряд, учитывать работу не в кубах, а по готовым под фундаменты площадям. Разновидность злобинского метода.

Широкоплечий Ефименко протискивается в маленькую бытовку Арусланова, когда у того выдалась свободная минута. Покурили на низкой скамейке. Бывшие танкист и пехотинец. Сколько раз бойцы этих родов войск выполняли на войне единую задачу, действовали вместе. Вот и теперь Арусланов обещает свою помощь и поддержку в работе по новому методу. Продолжается боевая дружба.

Еще раньше загорается теперь голубоватый огонек. У Арусланова новая забота — пошли в ход кузова списанных машин, изготавливаются из них прице́пы. По четыре тонны грузов дополнительно перевозит в день каждый шофер.

Кончилась смена. Во двор вкатываются бетоновозы, самосвалы, бортовые машины. Они как бы напоминают о том, какую огромную массу кирпича, бетона, металлических конструкций, технологического оборудования поглотила сегодня стройка благодаря тому, что хорошо потрудились и вот эти люди. Привычными движениями хлопают шоферы дверцами кабин, вытирают ветошью руки. Почти каждый замедляет шаги перед ярким огнем электросварки. Иные останавливаются, ждут, когда закончится очередной шов и можно будет перекинуться словом с Аруслановым, сказать ему, как поработали за день.

Поставив на место свой самосвал, подходит Николай Ерофеевич Ефименко. Огонь высвечивает его рослую фигуру, усталое лицо, узловатые руки. Арусланов выключает горелку. Ефименко спешит поделиться новостями. Сегодня приехали в литейный, а там готовы подъезды для автомашин. Постарались скреперисты, экскаваторщики, другие механизаторы. Раньше бы сказали: не наша забота. Теперь наряд — единый, забота — общая.

Поговорили два ветерана о том, что работы в литейном еще очень много, как и по всему КамАЗу. Надо все успеть подвезти, чтобы не было никаких задержек у бетонщиков, монтажников. Словом, твердо идти с превышением плана, как сегодня.

Арусланов прилаживается сварить какую-то деталь резервного «ЗИЛа», который надо подготовить на завтра. Надвигает на глаза защитные очки, зажигает горелку. Прилаживается, как боец к автомату...

Вечером, когда я пришел в квартиру Арусланова, что в девятиэтажном доме, выходящем фасадом на проспект Мусы Джалиля, настало время долгого разговора о том, что могло послужить материалом для давнего очерка о полном кавалере ордена Славы, если бы довелось нам повстречаться на дорогах войны.

— Наша семья жила на Урале, — рассказывает Арусланов, — в городе Карпинске. Место тихое, лесное. Отец и работал в лесу. Брат Абин — на хлебозаводе, второй брат, Хади, — на лесопилке. Я заготавливал в лесу серу. Потом стал учеником слесаря в депо. Получил третий разряд. Учил Владимир Иванович Башнев. Ему было лет шестьдесят. Но держался бодро, взгляд острый, микронные точности различал на глаз. Однажды не пришел к началу смены. Сказали, что заболел. Вдруг появляется в дверях сгорбленный: «Ребята, война!» Абина и Хади сразу призвали. В сентябре пришли две похоронки. С перерывом в неделю. За мать боялся. Думал, не выдержит. У нас в депо работа каждый день до ночи.

Потом всеобуч. Слышно, на путях составы постукивают, идут на фронт. А мне только семнадцать лет. Что бы на годок побольше! Дело прошлое — год приписал. Опасался — распознают, не поверят. Мал ростом. И вообще вида настоящего не было. Говорили, голос, как у воробья. А повестка — вот она! Мать у вагона цепляется за меня, голосит. Мне неловко. Я ведь теперь боец. Отбыли что положено в запасном полку. В апреле сорок второго разгружается эшелон недалеко от Тихвина. Тут нас война и вписала в свой круг. Лес повален, воронки кругом, где-то неподалеку орудия бьют. Одеты бойцы во все новенькое, а как вышли из теплушек — по пояс в болотном месиве. Прошли в сторону от железной дороги, подается команда делать шалаши. Поделали. А в них ни сесть, ни лечь. Веток накидали — все равно сыро. Разожгли костры, примостились кое-как возле них. В палатке устроили баню, выдали нам чистое белье. Получили автоматы, диски, каски, ну и все, что положено солдату. К переднему краю продвигались в темноте перебежками, ползком. Ракеты светят. Пулеметы бьют. Прижимает к земле. В траншею нырнули — дух перевели. Ну, а те, кого мы меняли, настоялись тут, вроде и внимания никакого на грохот не обращают. Далеко ли, спрашиваем, фашист? Вон, за косым бугром, где дымок, — хлебово себе варят. А нашей кухне подойти не дают. Метров триста до траншей. Мы тоже настоялись потом тут без горячей пищи, на сухарях. Сухарей двести граммов в сутки. Все равно половину пайка постановили отдавать ленинградцам. В каком положении Ленинград — об этом была полная картина. Политработники рядом. Они стараются дух у бойцов поднять. И надо было. Большинство необстрелянных, как я. Главное же — фашист наседал. То с воздуха бомбит, то артналет, то «психическая атака». Налакаются шнапса и на нас в полный рост. Страшно было. А потом ничего. Слышно, как тела их падают почти рядом с окопом, когда мы косим из автоматов, пулеметов, а тут еще «сорокапятка» в наших боевых порядках. Скорострельная. Бьет прямой наводкой. Раз отбили атаку, два отбили, ну, думаю, удержим. Так и держались десять месяцев. Рядом со мной в траншее Петр Жданов, орловский колхозник из деревни Верхний Ломовец. Он года на три постарше меня, видный собой, спокойный, шутить любил. Я с ним подружился. Всю войну прошли вместе. В составе Триста четырнадцатого полка Сорок шестой стрелковой дивизии, в которую мы и прибыли под Тихвин.

В январе сорок третьего снимают нас с этого участка и форсированным маршем перебрасывают к Синявинским высотам. Вышли к лесу на исходный рубеж. С рассветом — начало прорыва ленинградской блокады. Всю ночь не спали, готовили оружие, боеприпасы, писали письма домой. Да и так не заснешь. Клятву дали: любой ценой блокаду прорвать. Началась наша артподготовка, какой не видывал еще. Земля гудела. Впереди все черно от дыма и воронок. Там рабочие поселки, превращенные в сплошные линии дотов, дзотов. Каждый подвал — огневая точка. Наблюдатели, корректировщики, снайперы. Несколько рядов колючей проволоки. Траншеи полного профиля, минные поля. Мы идем за огненным валом, а перед нами ожившие пулеметные точки, контратакуют танки и пехота. Бьемся ручными гранатами, бутылками с зажигательной смесью, сходимся в рукопашной. И так шесть дней и ночей подряд. Несколько раз Синявинские высоты переходили из рук в руки. Я видел, как командир соседнего взвода лейтенант Яков Богдан бросился на амбразуру дзота, закрыл собой. Девять пуль пробиты комсомольский билет лейтенанта. Командира заменил в бою сержант Минибаев. Колючая проволока впереди. Он лег на проволоку, чтобы бойцы ее одолели. Каждая минута боя — несчетное число героических подвигов наших воинов. Многие из них сложили там головы. От иных полков за полчаса почти никого не оставалось. На смену шли другие полки. Восемнадцатого января части Волховского и Ленинградского фронтов встретились на Синявинских высотах. Я этого часа никогда не забуду.

А потом путь был на Мгу. За освобождение этого города дивизии присвоили звание Мгинской. Наш батальон продвигался первым. А первым в батальоне шел наш взвод под командой Виктора Швайченко. На пути взвода оказался хорошо замаскированный дзот. Место открытое. Спрятались бойцы от

пулеметного огня в воронках, вжался в снег. Вижу, что я ближе других к неглубокому овражку, ведущему в сторону от дзота. Взводный со мной в одной воронке. Говорю: «Разрешите». Не сразу он кивнул. Взял я две связки гранат, вывалился кубарем — и к овражку. Не успели фашисты повернуть пулемет. Я пополз тем овражком, стал заходить в тыл. Голову не поднимаю, по стуку пулемета ориентируюсь. Застучит — продвигаюсь. Замолк — замру, прислушиваюсь. Дополз до тропинки к дзоту. Стук пулемета рядом. Дверь открыта. Чувствую: тяжело подняться. А надо. Каждая секунда дорога. Поднялся в полный рост, метнул обе связки гранат. Самого оглушило. В Мге разрывом снаряда добавило. Взводный отправляет в санбат. Так я же на ногах, руки действуют! Упросил оставить. Только ничего не слышал две недели. Глядел на Петю Жданова, по нему угадывал команды. Про тот дзот под Мгой у меня память — медаль «За отвагу», сам командир полка Мельников прикрепил к гимнастерке.

Вскоре дивизия стала продвигаться на север. Шли походным порядком к месту боев. Наш батальон опять в авангарде, наш взвод впереди. Раннее утро, ясно, снег искрится. Прошли низкорослый сосняк. Впереди развилка дорог. По обе стороны каменные увалы, справа подалее невысокие скалы. Пошла вперед разведка. Наш взвод приближается к развилке. Вытягивается вся рота, за ней другая. И вдруг шквальный огонь тяжелых минометов точно по перекрестку. Подхватываем раненых, отходим к лесу, укрываемся в нем. Я лежу на опушке. Рядом Жданов. Смотрим по сторонам. Замечаю — там, где скалы, в расщелине какое-то сверкание. Раз, другой. Эге, думаю, неспроста. И Жданов заметил. Говорю ему: «Иди доложи командиру взвода, что я направился на ликвидацию фашистского сигнальщика. Это стекла его бинокля сверкают». Тут со Ждановым спор получился, заявляет — вдвоем будем действовать. Я же думаю: в упор немца не возьмешь, надо с тыла заходить. Так и один управлюсь. Зачем двоим рисковать? Двоих немец заметит скорее, особенно при комплекции друга. Уговорил. Ползу между камнями. Мины позади рвутся. Значит, по команде еще не успели передать, наши опять пытаются продвигаться. Потом все стихает. Вдруг автоматная очередь впереди. Неужели сигнальщик меня заметил? Отскакиваю в сторону, пошире скалу огibaю. Зашел с другой стороны расщелины. Фаніст вот он. Верзила в масках, стоит спиной ко мне. Локти подняты. Значит, бинокль с перекрестка не сводит. У ног рация. «Хендехоха» ихнего я еще не знал. Командую: «Руки вверх!» Он как крутанется да очередь по мне из автомата, висевшего на груди. Реакция! Только я на такой случай наполовину за каменный уступ зашел, а тут разом присел. На долю секунды упредил. И сам нажал на курок, поверх головы автоматной очередью прошелся: мол, не балуй. Бросил он автомат, руки поднял. Я знак подаю: рацию бери, мне, что ли, ее тащить? Так и привел. За это была награда — орден Славы третьей степени. Ну, а потом полное освобождение Ленинградской области, бои на Псковщине, в Прибалтике.

Зиятдин Минибаевич называет знакомые мне по тем временам места. В июле 1944 года 46-я дивизия продвигалась по берегу Чудского озера. Слева от нее наступала 376-я стрелковая дивизия, бравшая Псков. Я был прикомандирован к ней редакцией газеты III Прибалтийского фронта «За Родину!». Заместитель главного редактора Мануил Семенов приказал журналистам, находившимся в частях, обязательно входить с первыми батальонами в города, которые дивизии освобождали.

Мы все, конечно, стремились выполнить приказ. Вроде бы забывалось, что большой город занимает не одна дивизия, не один батальон входит в него первым. И вот я слышу как позывные давнего времени: Выру, Тарту, Цесис, Мадопа, Рига. Эти рубежи запечатлевались в памяти суровым и страшным ликом войны, все новыми подробностями, эпизодами затяжных и скоротечных, но всегда ожесточенных, кровопролитных боев, первыми незабываемыми мгновениями, минутами, часами свободы, которую возвращали истрадавшей земле наши воины.

С той поры храню пожелтевшие листки газетной бумаги. Блокнотов не было. Писали на том, что под руку попадет. Вот запись разговора с кавалером орде-

на Славы III степени Михаилом Плаксиным, который первым ворвался в немецкую траншею, увлек за собою других; с группой разведчиков Анатолия Никитина, только что вернувшихся из вражеского тыла; с солдатами взвода Александра Мешкова, захватившего важную для нас высоту.

Помню — ночной атакой наши воины спасли от окончательного разрушения здание Тартуского университета, а в Риге без артиллерийского огня штурмовали фашистские укрепления на берегу Даугавы. Из орудий не стреляли, чтобы не повредить бесценные исторические памятники древнего города, которые фашисты готовились разрушить и не успели. Помню, как были спасены тысячи человеческих жизней здесь же, в Риге, в огромном гетто, опутанном колючей проволокой, в фашистских застенках, в лагерях смерти Цесиса, Мадоны, Валмиеры.

Таков путь солдата Арусланова, его боевых товарищей, сынов всех народов нашей страны по родной земле и по земле освобожденных государств Европы.

— Очень тяжелые бои, — продолжает Зиятдин Минибаевич, — вела наша дивизия на территории Польши. Насмотрелись мы и тут, каковы же эти зверюги, фашисты. Куда ни ступишь — пепелища, руины, рвы, заполненные трупами, виселицы. Одним жили: скорее вперед, избавиться от страданий, от смерти тех, кто еще жив. Даже тогда, когда численное превосходство оказывалось на стороне противника, законом для солдат оставалось: назад ни шагу! Однажды бой разгорелся на западном берегу Вислы. Наш взвод, которым теперь командовал Василий Кречетов, поздно ночью переправился на плотках, скрытно подошел к береговой траншее врага, в рукопашной схватке выбил его оттуда и закрепился на плацдарме. Утром, разобравшись, какими силами мы располагаем, немецкое командование бросило против нас более батальона пехоты и четыре «тигра». Метрах в десяти от меня изготовился к бою приданный взводу расчет противотанкового ружья. Первый же выстрел «тигра» — и расчета не стало. Бросаюсь туда. Ружье цело. Оттаскиваю убитых, открываю огонь по ближайшей ко мне машине. Холодный пот выступает на лбу. Вражеская лобовая броня неуязвима. Справа открывает огонь наш станковый пулемет, отсекает пехоту. «Тигр» разворачивается в ту сторону, подставляет мне бок. Доворачиваю ружье, стараюсь не промахнуться. Выстрел отдает в плечо. Перед глазами вырастает черный дым. Жданов кричит: «Подбит!» Второй «тигр» уже метрах в двадцати от траншеи. Жданов поднимается во весь рост, бросает связку гранат. Загорается и этот. Остальные начинают пятиться назад. Не выдержала, стала отходить пехота. Еще четыре атаки отбили мы в этот день. За этот бой меня и Жданова наградили орденами Славы второй степени.

Потом снова за один и тот же бой была нам награда — ордена Славы первой степени. Тогда для нашей дивизии сложилась трудная обстановка. Мы находились на подступах к Данцигу. Враг, оседлав железную дорогу Быдгощ — Тчев — Гдыня, оказывал упорное сопротивление. Нам преградили путь минные поля, несколько рядов колючей проволоки, надолбы, рвы, наполненные водой. На противоположном склоне железнодорожной насыпи — траншеи полного профиля. И опять наш взвод в передовой цепи. Правда, осталось от него теперь всего только восемь бойцов. Измотаны до предела. Думали — отведут на отдых. Да, видно, возможности не было. Залегли мы в кустарнике, в воронках, ждем. Командиру поступает приказ — переправить на ту сторону железной дороги разведгруппу с рацией. Надо выяснить расположение огневых средств противника, доложить, а потом поддержать наступление наших ударом по врагу с тыла. Идти в тыл приказано мне и Жданову. Попоянили боезапас, сдали взводному документы. Продвинулись еще сколько можно было к насыпи, ведем наблюдение. По минному полю саперы в темноте проложат путь, колючую проволоку перережем. Все ясно. Но вот как насыпь пересечь? И тут я замечаю, что у насыпи талая вода не стоит на месте, а вроде движется. Задумался. Откуда здесь может взяться течение? Приглядываюсь внимательнее и замечаю — насыпь пробуравлена водосточной трубой. А что, если по ней пробраться на вражескую сторону? Это же не верхом бежать — куда безопасней. Говорю Жданову: давай попробуем, только я ростом поменьше — пойду первым, а ты уж потом. Ночью достигли этого места. Труба длиной метров десять. В ней стывшая вода по пояс. Продвигались медленно, чтобы ни одного

всплеска. На той стороне немцы ракетами палят. Только высунуться — ракета, я сразу назад. Наконец перестали ракеты взлетать. Я вылез из трубы. За мной Жданов. Рядом — никого. Подальше у самой насыпи слышны голоса, тягачи шумят. Прямо перед нами ход сообщения, от самой насыпи идет, должно быть к запасной траншее. Решили идти этим ходом. На нас маскхалаты. Наткнемся на немцев — может, за своих примут, если шагать смелее. Опасно, конечно, но поверху топтать опаснее. Так и стали продвигаться, вышли в траншею. Никого. Пошли дальше. Тут опять ракетой посветили. Я глянул вперед и застыл — совсем рядом сидит немец. Но не кричит, пароля не требует. В чем дело? Пригляделся — да он спит! А рядом вход в блиндаж. Вынимаю нож. Жданов тоже. С этим тихо расправились, потом еще с двумя фашистами, спавшими в блиндаже. Посветили вокруг фонариком — груды ручных пулеметов, ящики с гранатами, патронами. Пункт боепитания. Надели немецкие каски, каждый — пулемет в руки, вышли из блиндажа, остановились у входа, оглядываемся. Рассветает. Блиндаж на возвышенности, немцы видны как на ладони — их доты, дзоты, огневые позиции, траншеи. Включаем рацию. А вскоре артиллерия повела прицельный огонь. Потом поднялась пехота. Вот тут мы и ударили немцев с тыла из их же пулеметов. Заметались, не поймут, в чем дело, а когда спохватились, было уже поздно. Наши прорвали оборонительную линию и устремились вперед. Потом еще были тяжелые бои — в Мальборке, в Гдыне, в Данциге. И всюду — лагеря смерти, где тысячи измученных мужчин, женщин, детей...

Я рассказываю Зиятдину Минибаевичу, что недавно проехал по тем самым местам, где довелось ему воевать. Там давно уже нет никаких следов разрушений, и только на крепостных стенах Мальборка нам показывали следы пуль. Молодая женщина-экскурсовод говорила, что местные жители никогда не забудут, с каким мужеством советские воины выбивали из этой крепости фашистов. Их приход спас исторический памятник от разрушения. Тогда же, 17 марта 1945 года, поляки написали на стене крепости: «Освободителям Мальборка, солдатам непобедимой Красной Армии, которые возвратили Польше ее старые земли, честь и слава!» Надпись эта сохраняется и будет сохраняться всегда. Рядом братские могилы с белыми надгробьями.

Видел я слезы на глазах Голика Игнатского, Томаша Сабанского, других бывших узников лагерей смерти, когда те рассказывали, как воины с красными звездами раскрывали перед мучениками ворота, оказывали первую помощь, кормили. Повсюду в Польше памятники и обелиски с именами павших героев. Как и у нас, пионеры идут по пути их боевой славы, открывают все новые подробности подвигов. Места, где они совершались, называются местами народной памяти! Чувство благодарности, любви и уважения к нашим воинам, ко всему советскому народу негасимо в сердцах людей братской земли.

Арусланов внимательно слушает, и добрая улыбка не сходит с его лица.

Спрашиваю Зиятдина Минибаевича, что привело его на КамАЗ.

— После войны я вернулся на Урал, работал газозлектросварщиком на строительстве промышленных предприятий. Когда надо было осваивать выпуск труб большого диаметра — нам тогда отказались их продавать некоторые дельцы Запада, — пошел на трубный завод. Лет становилось все больше. Поселился в небольшом городке Нязепетровске, сменил специальность, стал на бойне шкуры обдeldывать. Работа нетрудная, спокойная. А тут газеты, радио, телевизор заговорили о КамАЗе. Потянулась туда молодежь, комсомольские отряды. Поехал и я. Строил в Набережных Челнах жилые дома, варил арматуру мощного фундамента двухсотпятидесятиметровой трубы ТЭЦ. Теперь в автохозяйстве. Коли молодежь рядом — часто рассказываю про войну, про боевых товарищей. Ну вот, пожалуй, и все.



ПУБЛИЦИСТИКА

А. ПУМПЯНСКИЙ

★

«КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК — КОРОЛЬ»?

По следам одного героя. Эскурс из романа в политику

1. НАЧНЕМ С АДАМА

УУУ ел 1864 год, конец американской Гражданской войны был уже не за горами. В госпитале Атланты, штат Джорджия, лежал молодой человек с длинным худым лицом и темными, широко расставленными, горящими глазами. Молодой человек умирал. Он ждал смерти и хотел ее. Пуля попала ему в ногу, началось заражение, рана смердила и болела. Но муки душевные, как говорили в старину, были страшнее физических ран. «Я умру,— пишет он в дневнике,— и меня минует развязка войны и горечь поражения. Я прожил жизнь, не сделав никому добра, и видел, как другие страдают за мою вину...»

Его вина была велика. Он обманул друга, и тот покончил с собой. С тех пор Касс Мастерн — юноша с горящими глазами — не находил себе места в этой жизни. Со свойственной или скорее приписываемой тому веку экзальтацией он ощущал себя «величайшим из грешников и проказой на теле человечества». Он знал, что «все это — и смерть моего друга, и предательство по отношению к Фебе, страдания, ярость и душевная перемена в женщине, которую я любил,— все это было следствием моего греха и вероломства и произошло, как ветви из единого ствола или листья из единой ветви. Или же, если представить себе это по-другому, мой подлый поступок отозвался дрожью во всем мироздании, отзвук его рос и рос и расходился все дальше, и никто не знает, когда он замрет...»

«...мой подлый поступок отозвался дрожью во всем мироздании...»

В вонючем госпитале Атланты в 1864 году — на исходе долгой, кровопролитной войны — молодой человек умирал от душевных мук. В наши дни от этого не умирают. Не умирают? Но почему тогда Касс Мастерн оказался в центре современного повествования? Чтобы была еще одна история? Их и так много в романе Роберта Пенна Уоррена — кстати, куда более увлекательных, во всяком случае менее назидательных. Но автору нужна была именно назидательность. Если бы у Америки была история хотя бы такая же долгая, как у Европы, он бы, наверное, поселил своего Касса Мастерна в классических веках — рядом с Ромео и Джульеттой, Отелло, Макбетом, королем Лиром, ибо ему нужен был не просто человек, а человек — манифест, декларация, программа, человек-символ, свободный от подробности реализма. Быть может, он даже не придумывал бы его, а просто нашел у «какого-нибудь» американского Шекспира. Но у Америки нет такой истории и нет такой литературы, и автору пришлось самому написать своего Мастерна в качестве классического героя. Его судьба служит нравственным камертоном романа.

Век спустя другой, уже современный, герой Роберта Пенна Уоррена — студент-историк и дальний родственник Касса Мастерна Джек Бёрден найдет его дневники и постарается разобраться в его жизни. И странное дело: выводы, которые он будет делать по мере своего исторического исследования, окажутся важны и ему самому. Постигая Касса Мастерна, он постигает и самого себя. И другие герои романа (причем самые разные: Вилли Старк, и Адам Стентон, и судья Ирвин) тоже окажутся родственниками Кассу Мастерну, не по крови, конечно,— по духу, ибо стержнем их существо-

вания служит все тот же проклятый «старомодный» вопрос, который когда-то мучил Касса Мастерна: что есть добродетель? Или, выражаясь менее архаическим языком: что есть добро и зло? как соотносятся идеалы и дело? как цели, которые ставят перед собой люди, связаны с средствами их достижения? Все они погибнут — судья Ирвин, и Адам Стентон, и Вилли Старк. Потому что в наше время «от душевных мук» погибают тоже...

Адам Стентон и Вилли Старк. Моральный конфликт этих двух героев составляет в романе главную линию напряжения. Они явные противоположности. Как лед и пламень. Как гений и злодейство. И конечно, гений — это Адам, а злодей из злодеев — Вилли Старк по кличке Хозяин.

Врач по профессии, Адам Стентон отдает всего себя избранному делу. Блестящий специалист, он мог бы разбогатеть, но деньги его не интересуют, с пациентов он не берет ни гроша. И самое главное — он честен, абсолютно честен. Он ни разу не запачкал рук своей сделкой или компромиссом — с людьми или собственной совестью. Он чист, как его библейский предок и тезка. Впрочем, даже чище — тому Адаму ведь было куда легче, он был один, и неизвестно еще, как бы ужился он с людским родом. Да и прародителем человечества тот Адам, как известно, стал не без греха...

Стентон же абсолютно безгрешен. Он смотрит на мир «ясными... льдисто-голубыми» глазами: «...такие глаза и такой взгляд, — как заметит однажды друг его детства Джек Бёрден, — бывают у вашей совести в четыре часа утра».

Но вдруг в какой-то момент вы замечаете, что взгляд этих льдисто-голубых глаз чересчур холоден, ему не хватает обыкновенного человеческого тепла. И вот уже странная мысль лезет в голову: а не слишком ли безупречен Адам Стентон?

Ради работы, дела он отказал себе во всем: в семье, отдыхе, личной жизни. Казалось бы, нет оснований для самообвинений. Но вот вам задачка в духе греческих софистов: профессия врача — самая гуманная из профессий, значит, врач — самый большой гуманист? Эту задачу и пытается решить для себя Адам Стентон. Только он формулирует ее иначе. Как врач он лечит боль — самоотверженно, не щадя себя. Но исцеляет ли он зло? Увы, утвердительного ответа Адам дать не может. Вилли Старк предлагает ему стать во главе новой больницы. Больница хороша, слов нет, возможности Адама Стентона лечить если не зло, то хотя бы боль и уже этим делать добро, увеличиваются многократно. Но разве можно иметь дело с Хозяином? И Адам отказывается. (Только пережитый кризис заставит его переменить решение, да и то против воли.)

Конфликт обнажается. Адам стремится делать добро и быть чистым, честным человеком. Он знает, что только так, собственно, и можно делать добро. А если выбор жестче: делать добро и л и сохранить чистоту. — что тогда? Адам предпочитает остаться безгрешным. В любой момент в этом скопище грязи, каким является окружающий мир, он хочет иметь моральное право бросить хотя бы самому себе: «А я чист!» Прекрасная возможность. Но вот беда: отделившись от «добра», «чистота» превращается в некую самодовлеющую величину, самосущность. Ракурс смещается, гармония идеала нарушается. И уже не только ироничный Джек Бёрден, но и Анна Стентон, сестра Адама и самый близкий ему человек, упрекает его в гордыне, «в эгоизме и гордости — что он свою гордость ставит выше всего. Выше общей пользы, выше своего долга».

В критические моменты Адаму уже трудно понять, что хорошо и что плохо, его прежде волнует: чисто — нечисто. И это опасно. В романе это приводит к трагедии. Анна Стентон полюбит Вилли Старка, полюбит, так сказать, за дело, ибо он единственный в ее жизни и вообще в романе человек, который истово делает настоящее дело, но Адам — гуманный, человечный Адам — этого не поймет. Для него Вилли Старк — воплощение всего нечистого, и потому любовь сестры — грехопадение, грязь. А грязь смывают только кровью. И он убивает Вилли Старка и умирает сам.

И все же он прекрасен, этот бескомпромиссный Адам Стентон. Он ошибался, быть может, но ради чистоты идеала он пошел даже на смерть.

...Нетрудно догадаться, что если Адам — герой не без упрека, то и Вилли Старк не просто злодей, хотя видимыми, да и не только видимыми чертами такового обладает в полной мере. Он политик (автор вкладывает самый худший смысл в это слово), то есть человек, который не остановится ни перед чем, чтобы достичь своих целей. Подкупишь, шангаж, расправа — вот его излюбленные методы. Угрызений совести он не испы-

тывает, только материальные соображения волнуют его. Что, например, лучше: купить противника или раздавить его? Конечно, раздавить. «Хватит с меня, накупил сволочей. Раздави его — и никаких забот, а купи — и не знаешь, сколько раз еще его придется покупать...»

Любопытно, что в Вилли Старке американский читатель сразу узнал черты Хью Лонга — губернатора штата Луизиана в 30-е годы. Блестящий демагог, диктатор, сто-процентный американский босс, Хью Лонг оставил довольно заметный след в политической жизни США. Еще больше повезло ему в американской литературе. Можно считать с полдюжины романы, в которых прототипом героев служит Хью Лонг.

Для социолога или историка прототип — неоценимая находка: он помогает установить ту первичную простейшую связь, которая существует между реальностью и литературой. С критиком, которого в первую очередь интересует постановка в художественном произведении нравственных проблем, дело сложней. Беллетрист относительно свободен по отношению к истории, он творит по собственному промыслу. В знакомых одеждах нам может явиться совсем иной герой. Внешнее сходство между тем завораживает. Оно невольно подводит к мысли, что и внутренне прототип и герой неразличимы. И в этом смысле прототип может даже загуманить, затемнить восприятие характера героя...

Вилли Старк написан на жизненном материале Хью Лонга. Но он не совсем Хью Лонг, а порою совсем не Хью Лонг. В борьбе Вилли Старк безжалостен и неразборчив в средствах. Но вот интересная особенность. Ни разу его тяжелая рука не поднялась на «хорошего человека». Дубина, которой Хозяин машет направо и налево, расчищая себе путь, непонятным образом довольно аккуратно попадает на головы лишь таких людей, как Крошка Дафи, Гумми Ларсон, Макмерфи, а это бессовестные дельцы, беспринципные политики, живущие кушлей-продажей всего и вся, в том числе розничной торговляшкой собственными телами и бессмертными душами, — одним словом, подонки, мразь. И когда их давят, нельзя сказать, чтобы наше нравственное чувство бунтовало. Нам даже кажется, что это, в общем, справедливо.

В этих обстоятельствах нас интересует только одно: а для чего он это делает? Для чего все эти баталии, в которых текут реки грязи и реки крови — все вперемешку. Это, конечно, борьба за власть. Но есть ли это борьба за власть ради самой власти и, следовательно, схватка с себе подобными — «пауки в банке», — или же действует какая-то иная схема?

Давайте вернемся к истокам Вилли Старка — к бывшему дяде Вилли из деревни. Вот он воюет с «отцами» родного городка, чтобы не допустить жульеничества при постройке школы. Эта война ему стоит крошечного поста, какой он в то время занимал, заставляет вернуться на ферму... Довольно странное поведение для начинающего карьериста. Вот он проводит свою первую кампанию в масштабах штата, но на встречах с избирателями по простоте душевной всерьез произносит длинные нравоучительные речи, переполненные выкладками, цифрами и пунктами того, что, с его точки зрения, нужно населению. И, конечно, проваливается...

А вот он после ряда драматических событий, уяснив наконец, что есть что в мире политики, становится все же губернатором штата. Что же он практически делает? (Я имею в виду не интриги, не спекулятивную призрачную активность, цель которой власть, а более осязаемую конструктивную деятельность.) Строит дороги, облагает корпорации налогами... Вам кажется, что перечень его дел недостаточно радикален? У вас есть лучшая программа, как осчастливить жителей американского штата Луизиана? Учтите, во всяком случае, что по роману ни один губернатор до Вилли Старка, даже благородный Стентон, отец Адама и Анны, не осуществил ничего подобного.

Уоррен не утопист. Он вполне традиционный писатель. И написал он не политэкономический труд, а роман. Его оружие — образ. Вилли Старк строит больницу. Это единственное его дело, которое не просто названо, а описано, и по тому, как выписано отношение Старка к нему, мы видим, что это дело его жизни, а не просто прихоть тщеславного политика, желающего увековечить себя после смерти. Больница становится символом цели Вилли Старка. Символом дела!

И ради дела Вилли Старк готов на все. На унижение, презрение, потерю достоинства. Собственно, понятие достоинства как такового для него в отличие от Адама Стен-

тона не существует, только интересы дела... Ну хорошо, рассуждает он, сталкиваясь с вопросами морали, он уступит и будет поступать так, как хотят того радетели чистоты, но ведь тогда он проиграет сразу и выйдет из игры. Совесть его будет чиста, но «мир-то от этого не изменится, черт подери, ни капли». Нет, пусть он лучше будет «таскать помой» и слыть «мерзавцем», но он «расшевелит клячу», будет делать свое дело.

И власть ему нужна не просто сама по себе. Нет ведь ни единого признака, что он ею пользовался для «личной выгоды». Другое дело, что он создан для сферы власти, как актер для сцены. Только в коридорах власти могла раскрыться эта щедро одаренная парадоксальная натура.

Единственную возможность делать дело дает власть. Но как еще можно прорваться к власти и удержать ее в своих руках, если не шантажировать, не подкупать, не расправляться с неугодными?! Это Вилли Старк понял раз и навсегда. И... пошел дальше. Свой опыт он возвел в ранг философии жизни. Он придумал теорию «вселенской грязи», которая заранее оправдывала любые его сделки. «Смешная это штука — грязь, — сказал Хозяин. — Ведь если подумать, весь наш зеленый шарик состоит из грязи... А что такое бриллиант, как не кусок грязи, которому однажды стало жарко? А что сделал господь бог? Взял пригоршню грязи, подул на нее и сделал вас и меня, Джорджа Вашингтона и весь человеческий род, благословенный мудростью и прочими добродетелями. Так или нет?»

Итак, все есть грязь, а потому к черту радетелей чистоты. Человек творит добро и зло и сам определяет, что есть добро и что зло. Нетрудно представить себе, к чему привели бы подобные взгляды, получи они полное логическое развитие. Раз все относительно и Вилли Старк сам себе судия, то почему бы при необходимости не объявить добро злом, а зло добром и не попытаться навязать силой эту комфортабельную точку зрения. Людей Вилли Старк презирает, они для него быдло. Но «благодетель», считающий народ быдлом, неминуемо превращается в узурпатора. Он начинает с дорог, а кончить может концлагерями. Вот когда Вилли Старк стал бы диктатором любого, самого крайнего толка. Однако события в романе, нравственное развитие самого Вилли Старка неожиданно делают крутой поворот. Впрочем, мы забегаем вперед.

А пока мы остановились на том, что, несмотря на свои грязные методы, а может быть и благодаря им, Вилли Старк по кличке Хозяин оказался «делателем», человеком дела, каким так и не смог стать Адам.

Весь роман есть в некотором роде развернутый спор между Адамом и Вилли Старком, но вот их очная ставка и буквальный спор. Поскольку это кульминация важнейшей линии романа, мне хочется привести цитату пошире.

«— Да, еще одно. Постой, док, — ты знаешь Хью Милера?»

— Да, — сказал Адам, — знаю.

— Ну так вот, он работал со мной... генеральным прокурором — и ушел в отставку. А знаешь почему? — И продолжал, не дожидаясь ответа: — Он ушел в отставку потому, что не хотел пачкать ручки. Хотел дом строить, да не знал, что кирпичи из грязи лепят. Он был вроде того человека, который любит бифштексы, но не любит думать о бойне, потому что там нехорошие, грубые люди, на которых надо жаловаться в Общество защиты животных. Вот он и ушел... И хотел он... последней дустяковины... Знаешь какой? — Он пылливо смотрел на Адама.

— Какой? — сказал Адам после долгой паузы.

— Добра. Да, самого простого, обыкновенного добра... Ты должен сделать его, док, если хочешь его. И должен сделать его из зла. Зла. Знаешь почему, док? — Он тяжело приподнялся в старом кресле, подался вперед, уперев руки в колени и задрав плечи, и из-под волос, упавших на глаза, уставился в лицо Адаму. — Из зла, — повторил он. — Знаешь почему? Потому что его больше не из чего сделать. — И, снова развалившись в кресле, ласково повторил: — Это ты знаешь, док?

Адам молчал.

Адам молчал, потому что моральная победа Хозяина была, как говорят в классической борьбе, чистой. Циничный, неразборчивый в средствах Вилли Старк оказался выше стерильно-чистого, пунктуально честного Адама.

Но почему тогда Вилли Старк все же пришел к Адаму, почему именно ему предложил руководство своей больницей? Да потому что он чувствовал, что дело его жиз-

ни — больница — требует чистых рук, а чистые руки были только у Адама. Так, значит, нужны все-таки чистые руки в этом грязнейшем из миров! Реванш Адама состоялся. Он, собственно, состоялся гораздо раньше, просто мы этого не замечали, огуленные и, я бы сказал, огуленные демонстративным цинизмом Вилли Старка — политика.

Да, Старк — делец, политик худшей пробы. И в этом смысле он и Крошка Дафи — близнецы, хотя Хозяин всячески помыкает Крошкой, кличет его не иначе как вонючкой, Иудой Искариотом, заставляет ползать на животе и умываться плевками. Наблюдательный Джек Бёрден так и отметит для себя: «Странный вывих природы сделал Крошку Дафи вторым «я» Вилли Старка». Но кто в этом случае первое «я» Вилли Старка? Ответ может показаться удивительным: Адам. Тот самый Адам, который до сих пор казался его полной, полярной противоположностью и от руки которого ему суждено погибнуть. Но Вилли Старк потому и погиб от руки Адама, что не был его полной противоположностью. У них были разные, действительно противоположные взгляды на средства достижения идеала, но оба они были людьми с идеалами. Адам Стентон не понимал этого, Вилли Старк это чувствовал.

«Ты большой человек, док,— сказал он,— и не верь, если тебя станут в этом разубеждать...» Это Вилли Старк «как бы подводит итог» тому философскому разговору с Адамом Стентоном.

А вот уже в конце романа, получив от Адама пулю в живот, он лежит на больничной койке — на смертном одре, и мучается, и не может до конца понять, почему же Адам стрелял в него.

«— Я ничего ему не сделал,— сказал он...

Он снова умолк, глаза его помутнели. Потом он сказал:

— Он был ничего. Док...

Я ждал, но казалось, что он больше не заговорит... Но глаза снова просветлели. Он сказал:

— Все могло пойти по-другому, Джек...

Он напрягся...

— Ты должен в это верить,— сказал он тихо...— Ты должен,— настаивал он.— Ты должен в это верить... Даже теперь все могло бы пойти по-другому,— прошептал он.— Если бы не это, все могло бы пойти по-другому... даже теперь».

Вилли Старк не был антиподом Адама Стентона, он был его антитезой. Антиподом был Крошка Дафи.

Странный вывих природы сделал Вилли Старка «двуличностью», не двуличным — друликим в изначальном смысле этого слова, единым в двух лицах. В нем до поры уживались Крошка Дафи и Адам Стентон — кошмарный союз. И что еще более чудовищно, Крошка Дафи обслуживал Адама Стентона. Адам Стентон в Вилли Старке выбирал цель — построить больницу, например, лучшую в стране, и «последний бедняк в штате сможет прийти туда и получить любое лечение задаром...». Крошка Дафи пробивал эту цель.

Но странный вывих природы не мог существовать долго. Крошка Дафи не мог не пытаться нажиться на любом, пусть самом чистом деле, а Адам Стентон не мог этого принять, потому что он понимал, что чистое дело, на котором наживаются, теряет всю свою чистоту. Такова уж природа вещей, как сказал, правда по другому поводу, Вилли Старк. Какая-то из двух сущностей в нем должна была погибнуть, чтобы другая могла безраздельно торжествовать. И вот уже Крошка Дафи в Вилли Старке начинает душиТЬ в нем Адама Стентона. Ему это нетрудно сделать, потому что политика, которой живет Вилли Старк, это его, Крошкина, сфера и среда.

Логика борьбы за власть не оставляет ничего святого. Чтобы перекупить одного из своих противников — Гумми Ларсона, ибо он не может всех их раздавить, Вилли Старк вынужден отдать ему подряд на строительство больницы. Дело жизни превращается в разменную монету политики, в вульгарное средство подкупа. Вилли Старк предает Адама.

Круг предательства в романе не замыкается. На наших глазах Вилли Старк делает лишь первый шаг. И тут случается непредвиденное: Вилли Старк теряет сына. Трагедия невольно проясняет зрение, отрешает от низких забот. В тяжкий час обретения истины Вилли Старк пытается освободиться от цепкой власти своего внутреннего Крошки Дафи

и тем самым от противоестественной «двуличности». Он рвет контракт с Гумми Ларсоном. Развязка наступает мгновенно. В страхе остаться не у дел, Крошка Дафи (уже реальный, а не символический), сыграв на болезненном чувстве чести Адама Стентона (тоже реального, а не символического), вкладывает ему в руку пистолет (почти игрушечный, но уж абсолютно реальный) и заставляет выстрелить в Вилли Старка. В тот самый момент, когда Вилли Старк делает выбор в пользу Адама Стентона, Крошка Дафи одним выстрелом убирает со своего пути обоих. Для заурядного дельца, каким он был, операция почти гениальная...

Адам Стентон погиб в романе из-за невозможности достичь идеала чистыми средствами. Вилли Старк — потому что нарушил нравственный закон, по которому средства достижения цели не могут противоречить самой цели. Грязные средства, к которым прибегал Вилли Старк, должны были убить цель, которую он перед собой ставил. Расплатившись высочайшей ценой — потерей сына, — он попытался вернуть чистоту этой цели. И тогда они убили его самого.

И все же кто виноват? Автор дает классический для поэта ответ, великолепный и недостаточный одновременно, — «страшная негармоничность их века». Двудеиная сущность идеала и дела оказалась трагически расторгнута. Идеал может воплотиться только в деле. Вне дела он в лучшем случае слово, надежда, звук. Но дело, сам процесс воплощения убивает идеал. Такие времена.

Это очень грустный роман — «Вся королевская рать». В нем почти все герои, близкие автору, погибают. Лишь женщин щадит писатель — он южанин и джентльмен и придерживается той, в общем-то, здравой точки зрения, что дела на этой земле должны делать мужчины, а женская доля и долг — помогать им, любить, служить тылом. Умирать — это тоже работа мужчин.

И вот они все погибают. Зато здравствуют Крошка Дафи, Гумми Ларсон...

Автор заранее предсказал этот финал. В истории-притче о Кассе Мастерне погибает Касс, а его брат и антипод Гилберт остается жить. Он живет до «94 или 95 лет» — целый век, переживает три исторические эпохи и в каждой из них процветает. Он делец, а дельцы в Америке вечны. Позиция дельца нравственно безупречна: он просто лишен нравственности. Если делец обанкротится, это говорит о том, что он плохой делец, а не о том, что быть дельцом плохо. Плохо быть человеком с совестью, честью, идеалами.

Правда, для Джека Бёрдена — «я» романа, от имени которого ведется повествование, — все кончается идилическим хеппи-эндом. Он женится на Анне, которую любил всю жизнь, и уезжает. Но это странная и страшная идилия: хеппи-энд посреди груфов. Выжившим остается уйти. Куда? Неизвестно. Выхода нет. Этот бездушный мир принадлежит дельцам, в нем нет места для человека.

Это очень грустный и все-таки удивительно светлый роман. Симпатии автора безусловны. Для дельцов типа Крошки Дафи, Гумми Ларсона у него есть только одно чувство — брезгливость и одна краска — убийственная сатира. Но, увы, в жизни убивает не сатира и не литературный гнев... Человеку в этом бездушном мире Роберт Пенн Уоррен предложить не может ничего, кроме страданий, мучений, может быть, смерти. И все же он призывает каждого: будь человеком! Поверьте, это единственно достойный выход.

Гуманизм ничего бы не стоил, если бы за него не приходилось платить порой самой высокой ценой.

2. В ПОИСКАХ ТАЙНЫ ИМЕНИ

Но почему «Вся королевская рать»? Что означает само название романа? Совершенно очевидно, что в нем какой-то смысл, символ, намек. Только какой?

Лучше всех на этот вопрос мог бы ответить автор. Но он далеко, а задавать элементарные вопросы в письменном виде неприлично вдвойне. Во время своей американской командировки я попытался встретиться с Робертом Пенном Уорреном. Последние годы он читает лекции в Йельском университете, что неподалеку от Нью-Йорка. Увы, меня ждало разочарование. Встретил меня лишь профессионально любезный и обстоятельный «public relations man» — один из тех, кто отвечает за внешние связи этого старейшего колледжа, входящего в «плющевую лигу» Америки (на языке местных цен-

ников это означает признание крайнего аристократизма). Мне было сообщено, что мистер Уоррен получил академический отпуск и находится сейчас в Европе. Увы...

После автора следующим «по рангу» авторитетом, наверное, является переводчик. К слову сказать, блистательный, точный и в букве и по духу перевод Виктора Гольшера — одна из причин, почему роман этот сразу же после выхода на русском языке стал столь заметным явлением в нашей духовной жизни. Одному москвичу дозвониться до другого не составляет труда.

— Да нет, конечно же, это не просто так, — был ответ. — Уоррен — писатель образованный. Сложные литературные, библейские и прочие ассоциации в его духе и вообще в духе южной ветви американской литературы, а Уоррен к тому же еще и изысканный поэт. Вряд ли можно дать однозначный ответ, скорее всего их больше чем один. Но есть след очевидный. Он ведет к «Алисе» Льюиса Кэрролла...

Итак, «Сквозь зеркало»...

Помните считалочку про Хампти-Дампти, или Шалтая-Болтая, как его окрестил по-русски Самуил Маршак? Вот эти строки:

Шалтай-Болтай сидел на стене.
Шалтай-Болтай свалился во сне.
Вся королевская конница, вся королевская рать
Не может Шалтая,
Не может Болтая,
Шалтая-Болтая,
Болтая-Шалтая,
Шалтая-Болтая собрать!

Тяжелый случай. Впрочем, не только для бедолаги Шалтая-Болтая, выбравшего столь неудачное место для сна... Строки были явно те, на этот счет сомнений не осталось, но искомый смысл ускользал. Детская считалочка оказалась не так проста.

Правда, заглянув в послесловие к отдельному изданию романа, я увидел, что в нем все замечательно объяснено: «Образ спящего и «разбивающегося» на куски Шалтая-Болтая проходит через весь роман. Это и Вилли Старк, который утратил природную цельность, став губернатором, и Джек Бёрден, другой герой романа, тоже раздираемый противоречиями, да и все современное антагонистическое общество...» Шалтай-Болтай — это все современное антагонистическое общество. Исчерпывающий ответ, ничего не скажешь. И все же...

Английский текст тоже не принес ясности. Перевод был корректен. Пожалуй, только имена оставляли какую-то надежду. Прежде всего строка, давшая название роману: «All the King's Men» — буквально это «Все люди короля»... Шалтай-Болтай (Humpy-Dumpty) звучит прекрасно, но все-таки что означает Хампти-Дампти? Не будем задавать наивных вопросов, подобно маленькой Алисе: «Разве имя должно что-то значить?» Ибо каждый помнит, что ответил ей Шалтай: «Конечно... Возьмем, к примеру, мое имя: оно выражает мою суть! Замечательную и чудесную суть!» (При этом Шалтай фыркнул, отмечает то ли Алиса, то ли автор).

Насчет замечательной и чудесной действительно можно поспорить, но Хампти-Дампти означает просто коротышка, горбун. Это если прибегнуть не к поэзии, а к словарю. Впрочем, можно прибегнуть и к поэзии:

Меня природа лживая согнула
И обделила красотой и ростом.
Уродлив, исковеркан и до срока
Я послан в мир живой; я недоделан,—
Такой убогий и хромой, что псы,
Когда пред ними ковыляю, лают.

(Перевела Анна Радлова)

По шекспировской драме таков автопортрет Ричарда, герцога Глостера, а позже короля Ричарда III. Но описание это, между прочим, можно считать и портретом Хампти-Дампти, ибо историческая молва связывает песенку про Хампти-Дампти с Ричардом III. (Не в этом ли признается сам Шалтай Льюиса Кэрролла, когда говорит Алисе, что про него «могли написать» в одной книжке, а именно в «Истории Англии»?..)

Ричард III — фигура примечательная не только из-за горба, особенно в трактовке Шекспира, а для романтика Уоррена, наверное, шекспировский образ более реален, чем само историческое лицо. Урод был еще и чудовищем.

Чем в этот мирный и щедедушный век
Мне наслаждаться? Разве что глядеть
На тень мою, что солнце удлиняет,
Да толковать мне о своем уродстве?
Раз не дано любовными речами
Мне занимать болтливый пышный век,
Решился стать я подлецом...

Прервем на этом классическую цитату и перескажем дальнейшее своими словами.

Решимость стать подлецом, конечно, не самоцель, это средство. У цели было другое имя — корона, власть. И Ричард стремится к ней любой ценой — предательства, подлости, братоубийства. Добывается своего и... оказывается сокрушенным.

...тиран кровавый и убийца,
В крови поднявшийся, в крови живущий,
Не разбиравший средств, ведущих к цели...

Чего больше в последней строке — прозаизма или прозрения? «Не разбиравший средств, ведущих к цели...» Символический фон проясняется. История вознесения и падения Хампти-Дампти — коротышки и горбуна Ричарда III, — пожалуй, ближе подводит нас к ответу.

И все же это еще часть ответа. Другая его часть таилась не в литературе, а в жизни. И нашлась она тогда, когда я не ждал и даже, казалось, не искал ответа.

Это было в Новом Орлеане. Я делал то, что делает каждый журналист, оказываясь в новом месте, особенно если командировка его проходит под знаком «вольной охоты». Я шел по следу.

Новый Орлеан — это порт, второй в стране. Отсюда отправляется многое из того, что родит изобильная земля по обе стороны от царственной Миссисипи или что сработано на предприятиях срединной Америки, а это, худо-бедно, полстраны. И он же главные врата, через которые на американский рынок поступает сырье и товары из Латинской Америки и других районов земного шара. Но сейчас меня не очень увлекали экспортно-импортные грузопотоки — вся эта прорва железа и стали, химикалий и текстиля, хлопка и зерна, нефтепродуктов и молока и то, что поспешает им навстречу: нефть и бананы, животное и растительное масло, сахар и краски... След, который я взял, был скорее эфемерен — из области преданий и настроений.

В стране, обделенной историей, Новый Орлеан едва ли не единственный может претендовать на своеобразную уникальность. Конечно, в большей своей части город мало чем отличается от рядовых своих собратьев — то же не без унылости торжество бетона, железа, стекла. Но есть здесь уголок нетрадиционный, на этой земле ни на что не похожий. Архитектурно Vieux Carré — Французский квартал — скорее сколок с матушки Европы, малый и тем более милый. Дома здесь, кажется, перенеслись прямо из испанской или французской провинции — дворики, портики, анфилады, кружевные чугунные решетки, не очень функциональные, но весьма симпатичные. Улицы же носят не номера, но имена: Тулузская, Бургундская, Дофинская, Бурбонская... Правда, аромат французской истории забывают сочные запахи французской, креольской, латиноамериканской кухни и виски «бурбон», да и цвета Бурбон-стрит определяют не белые королевские лилии — красные фонари. Профессия Французского квартала — «клубничка», по этой части он прекрасно оборудован. Днем Бурбон-стрит — улица как улица. С наступлением темноты она превращается в сплошную ярмарку голого тела, «нон-стоп шоу», непрерывную демонстрацию секса, по сравнению с которой даже европейский стриптиз представляется чем-то почти целомудренным, вроде бала без маскарада.

История освоения Луизианы изобиловала разного масштаба драмами и драками. Прозванная в честь Людовика XIV, она сначала принадлежала французам, позже перешла к испанцам, потом снова вернулась к французам, чтобы в конечном счете за 15 мил-

лионов долларов быть проданной Соединенным Штатам. Есть что вспомнить. Но почему-то ныне из луизианской летописи чаще всего извлекают один весьма фривольный факт.

Вскоре после основания Нового Орлеана в 1718 году «отец Луизианы» французский аристократ и колонизатор Бьенвиль получил с матери родины партию в несколько сот колонистов, львиную долю которых составляли ссыльные каторжане-уголовники. А еще через несколько лет сюда был выписан пароход девиц легкого поведения — надо же было беднякам переселенцам, обзаводиться потомством и строить надежный фундамент будущей добропорядочной жизни... Уж не проклятие ли первоуродного греха висит над этим городом?

Двести лет назад решением отцов города в Новом Орлеане количество таверн, где подавали «путешественникам, больным, мореплавателям и коренным жителям», было ограничено цифрой шесть. В девять вечера под страхом страшной кары вплоть до конфискации имущества все кабатчики должны были закрывать свои питейные заведения. Сейчас в официальном путеводителе по городу значится несколько менее скромная цифра — 1300 баров. Большая их часть сосредоточена во Французском квартале.

Так для чего же нужна история? Практичные американцы лишены предрассудков, порождаемых возрастом. Своеобразная архитектура, исторические реминисценции Французского квартала — чем не задник для всеамериканского секс-шоу?

Я шел по следу новоорлеанских традиций, и он неминуемо должен был вывести меня к джазу. Здесь он родился. Отсюда вышел. Но и остался тоже. Джаз развивался, его противоречивые и всегда полные удивительной жизненной силы побегі захватывали в свой полон все новые территории и поколения... В колыбели же он оставался по преимуществу таким, каким был когда-то.

Жить прошлым или будущим? Сохранять традиции или развивать их? Дилемма эта для «колыбелей» обычная. Трагедия в том, что само положение вроде бы обязывает принять сторону консервативную, ибо где, в конце концов, если не у истоков «беречь в нетленной чистоте для потомков» новорожденное... Дав имя первому направлению в джазе, Новый Орлеан его канонизировал. Из лаборатории джаза он превращается в музей. Впрочем, что плохого в музее?

Путь мой лежал в Презервейшн-холл (Зал сохранности, если по-русски).

Свято место это любопытно уже начиная со входа. Естественный интерес публики, в особенности туристов, к началам джаза облекается здесь в форму обязательной и недорогой благотворительности. Билетов в Зал нет, но бросить в шапку сидящего у входа контролера доллар должен каждый входящий. Вроде и невелика разница, но простейшая операция приобретения билета сразу же обращается жертвованиём на алтарь искусства.

Пожертвовав доллар на процветание диксиленда, я вошел внутрь и огляделся. Зал сохранности очень мало напоминал зал, да и дела с сохранностью обстояли не так уж хорошо. Это была просто большая и довольно обшарпанная комната. Пучок света от сильной лампы падал на сцену сбоку. Несколько грубо сколоченных скамей да портреты на стенах — вот и вся утварь. Портреты известных джазовых музыкантов прошлого были выполнены в сугубо реалистической манере, на них были изображены в основном худые, изможденные люди.

Оркестр на сцене вполне традиционный. Труба — старый, с седьмь ежиком волос негр в красном галстуке и белых носках. Банджо — левша. Тромбон — некогда красивый мулат или метис с чертами лица латинского типа. Пожилой ударник. И в довершение всего лихая, почти пародийная старушка («Она старше самого Луи», — шепнул мне сосед по скамье) за фортепьяно. Единственная белая, к слову сказать. Про себя я ее сразу окрестил Красной Шапочкой, видимо потому, что меньше всего она напоминала сказочную скромницу. Отчаянно красным платьем в горошек и пурпурной шляпкой, а главное порывистыми, какими-то дробными движениями она скорее вызывала в памяти мультипликационную старуху Шапокляк.

Оркестр играл всё известные вещи — «Чаттанугу», «Когда маршируют святые», «На берегу реки»... Играл хорошо, пожалуй, лишь чуть суховато. Впрочем, чего было ждать от пятерки людей далеко не первой молодости.

Я даже не заметил, как наступил перелом. В поведении музыкантов что-то неуло-

вимо переменялось, в музыке зазвучал смех. Кажется, джазмены заиграли для себя. Нет, не заиграли, а как бы завели друг с другом вольный разговор с подначками и подковырками. Вот банджо бросило несколько шуточных фраз трубе. Будучи джентльменом, труба спела что-то архигалантное в адрес фортепьяно и в тот же миг была осмеяна тромбонистом. Тромбонист выкинул что-то совсем неприличное, потому что весь оркестр поперхнулся от смеха, а ударник удовлетворенно покачал головой: мол, ох и дали же вы, ребята... После чего труба достала из-под себя каскетку, больше похожую на миску, и, водрузив на голову, начала вроде бы собирать свои причиндалы. Впрочем, тут же выяснилось, что уходить она никуда не собиралась. Напротив, для трубы наступил звездный миг — сольная партия, и труба справилась с ней с блеском и темпераментом, которого трудно было ожидать от бирюкового старика, каким он был до и снова стал после своего мгновения.

Вот когда началась игра. Пришедшее вдохновение требовало самовыражения, и инструменты заспорили, каждый претендуя на соло. И каждый получил свой шанс. И из вдохновенного этого спора, из индивидуальных импровизаций родилась классическая джазовая гармония.

Но последнее слово осталось за Красной Шапочкой. Когда наступил ее черед, она вдруг обернулась к публике и запела. Красная Шапочка пела, но звука ее голоса не было слышно, хотя все остальные инструменты сразу же утишились, — голоса у нее давно уже не было. Ее не было слышно, но она пела — это было видно! Видно по отчаянным движениям ярко, не по возрасту накрашенных губ, по тому, как она лихо притопывает ножкой и вся приплясывает на своем крутящемся стуле в такт. Видно! Зрелище это, наверное, могло вызвать смех, но почему-то вызывало слезы. И когда зал увидел, что она кончила петь, то разразился такими аплодисментами, какими не удостоивал никого из ее партнеров. Возраст есть возраст, с ним ничего не поделаешь, но она была звездой джаза и осталась ею — пусть в этом джазе стариков и теней, и зал аплодировал ей за дерзкую верность призванию и себе.

...Историю джаза, его святыни и довольно богатую фонотеку, записи из которой можно тут же на месте прослушать, хранит Музей джаза, организованный в 1961 году Джазовым клубом Нового Орлеана.

Джаз не был ни чистопородным, ни даже законнорожденным ребенком. Он был порождением новоорлеанской улицы, где счастливо повстречались африканские ритмы и медь европейского духового оркестра. На генеалогическом древе, что изображено в музее, корни джаза извилисты: фанфарная музыка, баллады, религиозные песнопения, рэгтайм, песни креолов, трудовые песни, блюзы, африканская музыка... Если не считать струи блюзовой и спиричуалз, не был джаз и сколько-нибудь уважаемой или хотя бы приличной музкой. Совсем наоборот. Его породила вольная стихия многонационального, многорасового, разнокультурного Нового Орлеана, апофеозом которой служит знаменитый «Mardi Gras» («жирный вторник») — карнавал-хэппенинг, маскарадное выступление. Другого такого «жирного вторника» нет в Штатах нигде.

Но это еще цветочки. Долгое время полигоном джаза, во всяком случае прибежищем для джазменов, обеспечивающим приют и пропитание, был Сторивиль, а это район специфический. Здесь была столица «веселого бизнеса» и поселение новоорлеанских дев. Нет, проституция не узаконивалась, упаси господь, но она легализовывалась весьма своеобразным и характерным для нравов Нового Орлеана документом. Короткая выдержка поможет представить его стиль и смысл: «Да будет постановлено Городским советом Нового Орлеана, что раздел первый Уложения 13032-С, во всем прочем сохраняемого в полной силе и неизменности, данным актом поправляется следующим образом: впредь начиная с 1 октября 1897 года объявляется незаконным для любой проститутки или женщины, известной отъявленным распутством, занимать, обретаться или ночевать в любом доме, комнате или чулане, размещаемом вне следующих пределов...» Далее назывались границы Сторивиля (названного так в честь хитроумного автора поправки — городского старшины Сиднея Стори). В основном они включали в себя лучшую часть Французского квартала. Так же строго указывалась зона, за пределами которой объявлялись вне закона «кабаре и танцы типа канкана». Как видите, «веселый бизнес» в Сторивиле не разрешался, просто он запрещался в остальной черте города. Трудно

не восхититься мудростью и целомудренностью городских голов. Полиция и политики (или, как их называют на местном жаргоне, политические «мальчишки») считали своим долгом стоять на страже священной привилегии Сторивила.

Нет, не был джаз приличной музыкой, что не мешало ему стать единственным исконно американским искусством. Со своими гениями и божествами, вернее королями. Королевской клички Кинга за все время царствования джаза на американской земле удостоились немногие. Бадди Болден, Фредди Кеппард, Джо Кинг Оливер... — самые первые короли, избранные из избранных. Останки их былой славы — музыкальные скипетры и державы выставлены в Музее джаза... Ну и, конечно, король королей, кумир Нового Орлеана, несравненный Сатчмо — Луи Армстронг, официально объявленный «бессмертным в джазе».

Экспозиция, посвященная Сатчмо, самая большая в музее, и начинается она с тех давних времен на заре века, когда не был он ни бессмертным, ни великим, а был просто сыном одной из тех женщин, которым, по известному уложению, не разрешалось обретаться вне пределов Сторивила, — маленьким черным мальчишкой, предоставленным самому себе и улице. И он воспринял уроки улицы сполна, но, к счастью, для паренька, обладавшего задорным голосом (тенорком, между прочим), среди этих уроков были и уроки музыки. На стенде музея первая труба, на которой Луи учился играть. А вот первая труба, принадлежавшая лично Луи, — подарок капитана Джозефа Джоунса, начальника исправительной колонии для цветных подростков, где будущий бессмертный исправлял некоторые огрехи уличного воспитания. Тут же бесчисленные трофеи, завоеванные Луи Армстронгом за годы его триумфальной карьеры, — мировое признание того, что капитан Джозеф Джоунс, к счастью, оказался человеком с верным чутьем и хорошим слухом. Спасибо и на этом.

Мир в музее, разместившемся в подвальном помещении отеля «Роял Сонеста», что на углу Бурбон- и Конти-стрит, был тих и покоен. Ни один посторонний звук не проникал сюда. От стенда к стенду одна лишь музыка и никакой политики — что может быть лучше... И в этой благостной тишине я вдруг почувствовал, как гончая, которая есть в каждом журналисте, даже если ему не очень приятно признаваться в этом, встрепенулась. И в ту же секунду за витриной я увидел лист бумаги, испещренный нотными знаками, со следующими словами, которые прозвучали для меня слаще любой музыки: «„Каждый человек — король“» («Every man a King»), популярная песенка. Слова и музыка Хью П. Лонга и Кастро Карразо». И тогда я понял, что мои бесцельные блуждания по Новому Орлеану не были так уж бесцельны. Что, сам не отдавая себе в этом отчета, я все время искал. Лихорадочно искал жизненные следы, которые привели бы к тайне названия романа Уоррена: ведь Луизиана и была той почвой, на которой развивались события романа. Что невольное мое пребывание в Новом Орлеане, все встречи и наблюдения оказались окрашены в тона «Всей королевской рати». Что атмосфера города и романа переплелись, перемешались во мне, наполнив друг друга дополнительным смыслом.

Внутренне уже поверив в успех, но из суеверия все еще не желая окончательно в этом признаться, я подошел к единственной смотрительнице музея и спросил, что это за «популярная песенка» и почему у ее автора те же имя и фамилия, что и у бывшего губернатора Луизианы Хью Лонга.

— Да это он и есть, — любезно ответила женщина, — самый известный наш политический деятель. Он сочинил слова песни, а его друг музыкант Карразо положил их на музыку. Эту песню всегда исполняли на мигингах, которые устраивал Хью Лонг. Здесь, в Луизиане, ее знают все. Кстати, она у него не единственная.

(Позже я обнаружил воспоминания Кастро Карразо о том, как у них с его именитым соавтором протекал творческий процесс. В один прекрасный день в самый разгар предвыборной кампании, вспоминает Карразо, Хью Лонг позвонил из Батон-Ружа, столицы штата. «Приезжай немедленно, — сказал он, — дело неотложное, у меня есть слова, позарез нужна мелодия». Через день Карразо был уже в Батон-Руже, а через два «Каждый человек — король», песня, ставшая гимном Хью Лонга, начала свое победное шествие по всему штату.)

Вот подстрочный перевод этой песенки, впрочем, и в оригинале вирши не отличаются особой изысканностью рифмы или размера. Так сказать, безразмерные вирши.

Не спи, Америка, не унывай,
Земля правдивых и смелых.
Крова и хлеба хватит на всех.
Ведь всему хозяева — вы.

В солнечном июне или в декабре,
Осенью или весной
Будет вечный мир на земле,
Сосед соседу друг,
И каждый человек — король.

П р и п е в:

Каждый человек — король,
Каждый человек — король,
И будь ты даже миллионер,
Другие не должны остаться без доли.
Богатства хватит на всех.

Итак, «All the King's Men» — «Все люди короля» против «Every man a King» — «Каждый человек — король». Алисина строчка, сама по себе таинственно-многозначная, была еще и формулой-оборотнем, перевертышем по отношению к девизу политика, послужившего прототипом для главного героя романа. Вот вам еще одно доказательство того, что Вилли Старк не совсем Хью Лонг, а в чем-то самом существенном для романиста совсем не Хью Лонг.

А общего у них действительно много — у Вилли Старка и Хью Лонга, обманчиво много. Факты, даты, вся внешняя жизненная канва — от начала и до конца, вплоть до пули молодого врача, которая поставила точку беспредельным амбициям Лонга. Чтобы убедиться в этом, давайте перелистаем вместе автобиографию Хью Лонга. Кстати, она так и называется: «Каждый человек — король».

3. ВИЛЛИ СТАРК ПРОТИВ ХЬЮ ЛОНГА

Подобно «дяде Вилли», Хью Лонг был тоже из деревни. Но «голодранцем», «вахлаком» или «мякинной головой» он не был, хотя не упускал случая козырнуть своим «простонародным» происхождением: в то время, да и не только в то, это было выгодно для политической карьеры. Впрочем, богатой его семья не была, скорее зажиточной. Чтобы получить юридическое образование, Лонг был вынужден на некоторое время податься в коммивояжеры: ходил по домам, собирал заказы на разные товары, а заодно продавал поваренные книги и рекламы ради устраивал соревнования среди домохозяек — кто лучше испечет пирог. Учился он тоже сам — не в университете, а дома, корпя над учебниками по шестнадцать и больше часов в день. Зато когда ему стукнул двадцать один год, штат Луизиана получил испеченного по всей форме юриста.

Первое самостоятельное дело Хью Лонга, строго говоря, не имеет прямого отношения к развитию его политической карьеры или к логике нашего повествования, но было оно настолько колоритно, что, кажется, сошло прямо со страниц южного романа.

В родном городишке Хью Лонга Уинфилде, где он приступил к своим новым обязанностям, проживал некто Коул Джонсон, бездельник и игрок. Впрочем, таким он был при жизни, смерть же все исправляет, ибо «о мертвых — хорошо либо ничего». Только угораздило Коула Джонсона почить в бозе не дома, а в благотворительной больнице, откуда деревенские родичи усопшего и попросили доставить им тело для устройства приличных похорон. Но поскольку жили они милях в шестнадцать, а дороги в город были плохие, то сделали это не прямо, а позвонили Оскару К. Аллену, в чьей лавке покойный имел обыкновение покупать все необходимое, и попросили его передать их просьбу администрации больницы. Что тот и сделал.

Наутро хорошо запакованный труп был доставлен в лавку, а оттуда, как всякий заказной товар, доставлен к месту назначения. Родичи исправно оплакивали тело до четырех утра, пока какой-то светлой голове не пришла идея заглянуть под покрывало. С ужас, взглядам плакальщиц открылась фигура джентльмена, очень мало похожего на несчастного Коула Джонсона и к тому же абсолютно чернокожего.

Когда первый шок прошел, плакальщики гурьбой отправились к адвокату.

— Адвокат,— сказали они,— что нам делать, чтобы защитить свои права?

— Что вы хотите?

— Получить тело и возмещение убытков.

— Тело вы получите, но вот убытки... С кого вы их хотите взыскать?

— Не важно с кого... Хоть с больницы.

Выяснилось, однако, что судиться с благотворительными заведениями бессмысленно, ибо закон оберегает пожертвования от иска.

— Как так!— возмутились бывшие плакальщики.— Шестнадцать миль туда да шестнадцать обратно перли этого цветного под видом нашего незабвенного дядюшки Коула, до четырех утра мы сидели с ним, а вы говорите, что нам ни копейки за это не причитается?

— Только не с больницы.

— Пусть тогда платит Оскар Аллен. Кто-то же должен заплатить за то, что мы всю ночь просидели над цветным...

Первый юридический совет, который дал Хью Лонг, был, однако, не оскорбленным в лучших чувствах плакальщикам, а Оскару Аллену: пока суд да дело, скрыться от греха подальше «на рыбалку». Весьма предусмотрительно со стороны молодого законника. Оскар Аллен был его приятелем и, как выяснится, останется таким до гробовой доски — на этот раз до гробовой доски Хью Лонга. В будущей камарилье Лонга ему будет суждена заметная роль — ближайшего помощника и первого заместителя губернатора, он займет и губернаторское кресло, когда самодержец Лонг сочтет, что «штат уже можно передать в достойные руки», ибо пора переселиться в Вашингтон, в сенат, чтобы начать более крупную игру. Что-то среднее между Джеком Берденом и Крошкой Дафи — вот чем станет Оскар Аллен по своим обязанностям.

Впрочем, в то время до трона было еще далеко. Пока Лонг пробует силы на юридическом поприще. Он выигрывает несколько процессов против корпораций. Это было непросто и требовало всей изворотливости и напора, всей силы его характера, но прибыль, которую он получил, измерялась не одними деньгами. Он обрел образ защитника маленького человека от произвола больших компаний — бесценный капитал для политического карьериста. Ставя на колени сильного противника, он показывал свою силу. И может быть, самое главное он понял: большие компании зажирили и могут быть ленивы и нерасторопны, ибо разращены абсолютной властью, их можно доить, если подойти к делу с умом.

На общеамериканском фоне Луизиана в то время была довольно отсталым штатом, и нефтяные, газовые, пароходные монополии привыкли вести себя здесь подобно феодальным сюзеренам. Наступила пора ограничить их произвол, ввести его в обычные капиталистические рамки вроде тех, что существовали в других штатах. Рано или поздно это должно было случиться.

Впрочем, сейчас, с высоты времени, обладая полным знанием того, что было и как было, легко и необременительно давать умные, правильные пояснения. Тогда же нужно было действовать, и никто не собирался списывать личные убытки на счет исторического императива... Можно ли, однако, считать, что Хью Лонг действовал, ибо сразу осознал объективную потребность штата? Вряд ли. На этом этапе он скорее учуял золотую жилу, которую будет потом разрабатывать всю жизнь. Очень скоро он занял пост главы железнодорожной комиссии — во всем арсенале политических средств штата, пожалуй, не было лучшего инструмента давления на корпорации. Пост этот стал трамплином, стартовой площадкой.

Ну а как насчет первых разочарований в политике и от политики, холодного, отрезвляющего душа откровений, приводящих к мучительной переоценке ценностей? Помните ведь историю Вилли Старка?

Были они и у Хью Лонга. Он вспоминает: «Однажды (еще в адвокатскую бытность), когда я внес поправку к законопроекту на обсуждение одной из комиссий, председательствующий спросил меня:

— Кого ты представляешь?

— Несколько тысяч простых тружеников,— ответил я.

— Они тебе что-нибудь платят?

— Нет,— ответил я.

— Кажется, они соображают, что делают.

Присутствующие довольно заржали...»

Тем все и кончилось. На этот раз. Да, разочарования были. Но это были разочарования от собственной слабости, неумелости, неповоротливости в «коридорах власти», как мы бы сказали сегодня. И порождали они не столько презрение и ненависть к «старому новоорлеанскому аппарату», в руках которого сосредоточивалось все и вся, сколько честолюбивое до зуда желание прорваться, стать своим, занять «достойное», то есть верховодящее место в нем.

Что ж, стремление по-своему титаническое. И вот что удивительно: Лонг добился своего. Он выдвинул свою кандидатуру в губернаторы и со второй попытки оседлал местный Капитолий.

В чем состоит искусство политика? Возможно, в том, чтобы уметь предугадывать замыслы противника и каждый раз обгонять его, по крайней мере, на один ход.

Хью Лонг научился проделывать это великолепно. Вся пресса против него — он открывает собственную газету «Луизианский прогресс» (когда он переберется в Вашингтон, она станет уже «Американским прогрессом»). Противник окопался в Новом Орлеане, оттуда он ведет по губернатору ожесточенный огонь, а Лонг из своей резиденции в Батон-Руже может лишь огрызаться? Не тут-то было. Лонг грузит губернаторские пожитки на машину и эдаким «правительством на колесах» мчит в Новый Орлеан, чтобы дать бой врагу в его логове. В 1930 году Хью Лонг добивается избрания в сенат США, но как оставить штат, когда законный наследник исполнительной власти вице-губернатор Сир вышел из повиновения, начал строить собственные планы? И Лонг, напротив, остается в Батон-Руже. Отныне он именует себя «губернатором — сенатором США». Но Сир тоже не лыком шит. Раз штат избрал Лонга сенатором США, то губернатором он быть перестает, не без основания утверждает Сир. Но коль скоро пост губернатора оказался вакантным, по конституции его должен занять вице-губернатор, то есть он, Сир. И, воспользовавшись непродолжительной отлучкой Лонга, официально принимает клятву в качестве нового губернатора штата. И тут же получает удар в солнечное сплетение. Лонг отдает приказ арестовать «узурпатора» и «клятвоступника», как только тот посмеет объявиться в стенах официальной резиденции. Одновременно объявляет свой декрет: поскольку Сир освободил пост вице-губернатора, на этот пост назначается временный председатель сената штата — сторонник Лонга, естественно. Остальное уже было делом техники.

Вот так-то.

Впрочем, это было позже. Главное испытание поджидало Лонга в самом начале его срока.

Губернаторское положение было хуже некуда, поскольку абсолютное большинство в законодательном собрании штата принадлежало его противникам. Уверенные в своих силах, они попытались провести операцию «импичмент» (сейчас, после уотергейтского дела, вряд ли нужно объяснять, что это своеобразный способ отлучения должностного лица посредством вотума недоверия). В ответ припертый к стене Хью Лонг применил прием, известный не только в луизианской истории под названием «ground robin», что на деле означает «круговая порука»: в былые времена, направляя правителю петицию или требование, недовольные ставили свои подписи кругом, чтобы нельзя было определить, кто из них зачинщик. Чтобы «импичмент» стал реальностью, противникам Хью Лонга нужно было собрать две трети из тридцати девяти сенаторских голосов. Чтобы заблокировать «импичмент», Хью Лонгу требовалось минимум четырнадцать голосов. И он добыл свой минимум в виде подписей под заранее заготовленным документом, смысл которого сводился к тому, что данные законодатели обязуются при любых условиях голосовать против «импичмента» и призывают уважаемое собрание разойтись немедленно во избежание пустой траты времени и денег. Как удалось Хью Лонгу склестить этот круг? В какой дозировке шли увещевания, посулы, выкручивание рук? Автор автобиографии сдержан на этот счет, хотя и упоминает о рейдах к «нужным людям», о тайных встречах и долгих, за полночь, урезониваниях. Но тут уж мы можем смело обратиться к соответствующим страницам романа, не опасаясь стусить краски.

«..бывало и так: Хозяин сидит в машине с потушенными огнями, в переулке, возле дома, поздно за полночь. Или за городом, у ворот. Хозяин наклоняется к Рафинаду

шли к одному из приятелей Рафинада, Большому Гарису или Элу Перкинсу, и говорит, тихо и быстро: «Вели ему выйти. Я знаю, что он дома. Скажи, пусть лучше выйдет и поговорит со мной. А не захочет — скажи, что ты друг Эллы Лу. Тогда он зашевелится». Или: «Спроси его, слышал ли он о Проньре Уилсоне». Или что-нибудь в этом роде. И вскоре выходил человек в пижамной куртке, заправленной в брюки, дрожащий, с лицом, белеющим в темноте, как мел.

И еще: Хозяин сидит в прокуренной комнате, на полу возле него — кофейник или бутылка; он говорит: «Впусти гада. Впусти».

И когда гада выпускают, Хозяин не торопясь оглядывает его с головы до ног и произносит: «Это твой последний шанс». Он произносит это спокойно и веско. Потом он внезапно наклоняется вперед и добавляет, уже не сдерживаясь: «Сволочь ты такая, знаешь, что я могу с тобой сделать?»

И он правда мог. У него были средства.

У Хью Лонга тоже были средства. И все же, если бы он ограничился только шантажом и подкупом, его действия были бы вполне традиционны, они остались бы в рамках парламентской возни. Но он резко раздвинул сами рамки. Правила игры были не в его пользу, и тогда он навязал игре свои правила. Хью Лонг вывел на улицу толпу. Он, раз уж пошла в ход терминология сегодняшнего дня, открыл «огонь по штабам», развязал в штате «культурную революцию». Впрочем, в романе это прекрасно описано. «Импичмент» не прошел.

Хью Лонг не просто умел считать варианты быстрее, чем его противники. Он был гениальным игроком. В чем-то он предвосхитил современные методы ведения политической борьбы в Америке. Опыт продажи поваренных книг и организации соревнований среди домохозяек он возвел в ранг политического искусства.

На заре агитационной деятельности Лонг заметил, что объявления, развешанные на уровне человеческого роста, быстро исчезают. Тогда он начал подруливать на машине по возможности вплотную к деревьям и, забравшись на крышу автомобиля, молотком с длинной рукояткой приколачивал свои плакаты на недосягаемой для рук высоте. Не торопится улыбаться наивности сего открытия, все-таки это были 20-е годы. Первым в Луизиане Хью Лонг начал проводить свои кампании в автомобиле. Первым в Америке он установил на своей машине громкоговоритель.

Даже грудные дети на митингах, проводимых Хью Лонгом, не пищали, во всяком случае пищали меньше, чем на других собраниях, — за этим следили люди Лонга, вооруженные сосками. Техника любой кампании продумывалась до мелочей. Вплоть до пустышек.

Не очень, в сущности, образованный человек, Хью Лонг сразу оценил значение письменного слова и наводнил штат своими листовками. Тексты чаще всего писал он сам. Подсчитано, что за период с 1928 по 1935 год в Луизиане было распространено 26 миллионов лонговских агиток (в среднем по 1500 слов каждая), хлестких и одновременно наполненных разного рода статистикой и разъяснениями.

Вот и песенка, с которой началось наше знакомство с Лонгом, не была пустой блажью. Сначала он придумал девиз: «Каждый человек король, но никто не носит короны»; потом укоротил его до «Каждый человек — король», ибо девиз должен быть коротким и хлестким. Потом появилась песенка-гимн, с гимном ведь сподручней продавать идеологический товар развесившей уши публике. Теперь это все азы, но Лонг изобрел их сам.

А песенка эта, коль скоро зашла о ней речь, тоже не так проста, как может показаться на первый взгляд. Простота, даже примитивность ее рассчитанные — ведь адресовалась она миллионам: фермерам, рабочим, торговцам. Простому люду, одним словом. И в этом смысле она любопытный документ своей эпохи. Видно, на что делал ставку один из самых ловких политиков американской сцены, на каких струнах человеческой души он играл.

Каждый человек — король,
Каждый человек — король,
И будь ты даже миллионер,
Другие не должны остаться без доли.
Богатства хватает на всех.

Индивидуализм, стремление выбиться «в люди», обрести свою «долю», надежда на то, что земля Америки для этого почва благодатная, — словом, комплекс мелкобуржуазного оптимизма или, лучше сказать, мелкобуржуазных иллюзий, столь типичных для Америки начала этого века, — вот что слышится в песенке-простушке. Популистский посул был безотказным орудием Лонга. Недаром свою карьеру в сенате США он начал с выдвижения блистательно-демагогической программы «раздела богатства».

Помогло ли ему врожденное чутье или опыт, но Лонг ясней других понимал, на каких двух китах зиждется американская демократия. На умении манипулировать избирательской массой — чтобы «толпа ревела» каждый раз, когда лидеру это нужно... И на железной организации. Именно такую он и создал — жесткую, безотказно эффективную. До него организация демократической партии в штате была примитивно, провинциально авторитарна. Партийными боссами на местах автоматически становились шерифы, что превращало их в полуфеодалных баронов. «Банда» шерифов по уговору со «старыми новоорлеанскими аппаратчиками» определяла, кому быть губернатором штата. Лонг поломал эту систему. В округах он ввел «плюралистскую» модель организации. Уже не один шериф, а несколько «лидеров» делили между собой местную партийную власть. Это было тем более удобно, что каждый зорко следил за другими и, чуть что, доносил Лонгу, причем ни один не чувствовал за собой достаточно сил, чтобы бросить вызов «верховному».

Зато каждому деянию на пользу партии Лонга соответствовало то или иное вознаграждение в виде хлебного места у кормушки, выгодного подряда или престижного назначения — на любые посты назначались только свои и только по слову Лонга. Система платы за лояльность была доведена до четкости преискуранта.

Принцип «плюрализма» в сочетании с раздачей пирогов и пышек работал четко. Однако на случай измены или фронды карманных «комитетчиков» у Хью Лонга была еще одна — и веская — гарантия. Он мог тут же смести их, обратившись к «рядовым избирателям», к низам, к толпе. Низы он контролировал верхами. Верх — низами.

Хью Лонг рано понял грустную истину XX века: демократия необязательно антипод диктатуре, в умелых руках она ее средство, респектабельная форма. В совершенстве овладев обоими рычагами американской демократии, Хью Лонг стал совершенным демократом, абсолютным демократом, то есть диктатором.

И когда в дополнение ко всем прочим титулам ему предложили занять и пост председателя комитета демократической партии штата, он поморщился:

— Только, пожалуйста, не надо оппозиции.

Оппозиция исчезла — будто ее и не было.

Правда, вначале у Лонга еще хватает трезвости. В автобиографии он пишет: «Когда твои приближенные начинают отмечать, сколь ты «велик», они не знают удержу». Но это так, отрыжка природной наблюдательности. Ибо очень скоро магия собственного величия завораживает его, перерастает в манию, а порция каждодневной аллилуйи — в органическую потребность. Постепенно «не знающие удержу приближенные» становятся главными фигурами его системы. Недаром лонговская организация, казавшаяся монолитом, распалась сразу же после его гибели, а через пять лет и вовсе потеряла влияние в штате. В этом смысле Хью Лонг оказался действительно Шалтаем-Болтаем.

Крайняя неразборчивость в средствах отличала Хью Лонга; впрочем, этой же чертой сверх меры наделен и Вилли Старк. Помните, как Старк расправился с конгрессменом Петитом, позволившим себе нелестно о нем отзываться. «Хозяин не опровергал рассказов Петита, он занялся личностью самого рассказчика. Он знал, что *argumentum ad hominem* ложен. «Может, он и ложный, — говорил Хозяин, — зато полезный. Если ты подобрал подходящий *argumentum*, всегда можно пугнуть *hominem*'а так, чтобы он лишний раз сбежал в прачечную». Буквально так действовал Хью Лонг.

Когда оппозиционная газета «Таймс-Пикайун» допекла губернатора, он не стал опровергать ее. Его «исследовательский отдел» выяснил, что у зятя Э. Фелпса, одного из хозяев ненавистного органа, рыльце в пушку: он получает две зарплаты. Строго говоря, какое отношение имеет рыльце зятя к линии газеты? Но разве в этом дело? И в лонговском издании появляется громкая шапка:

«Родич диктатора «Таймс-Пикайун» Э. Фелпса кормится из двух кормушек — как выяснилось, он числится в двух ведомостях. Губернатор Лонг, зная привычки «Таймс-Пикайун», изучает платежные ведомости и обнаруживает, что родственник новоорлеанского Муссолини из «Таймс-Пикайун» загребаёт тайком денежки штата».

Изысканный стиль, не правда ли?

Еще ближе ораторские приемы Вилли Старка и Хью Лонга. Для иллюстрации два образчика выступлений последнего.

Драматический:

«Вот здесь, под этим дубом, Евангелина ждала своего возлюбленного Габриэля и не дождалась его. Это историческое место, его обессмертил своей поэмой Лонгфелло, но не одна Евангелина ждала здесь понапрасну.

Где школы, которых ждали вы и ваши дети? Их нет и поныне. Где дороги, на которые вы давали деньги? Они не приблизились к вам ни на пядь. Где больницы и приюты для калек и немощных? Евангелина горько плакала от разочарования, но проплакала только свой век. А вы, живущие в этом краю, льете слезы из поколения в поколение. Так дайте же мне осушить глаза тех, кто плачет здесь и нынче!»

И сардонический:

«Так вот, дамы и господа. Китаец, папуас и наш разлюбезный Томас поспорили, кто дольше просидит взаперти с хорьком.

Заперли с хорьком китайца, и он терпел десять минут. Потом попросился на волю. Не выдержал.

Потом зашел папуас, пробыл с хорьком пятнадцать минут и вышел еле живой.

Потом зашел Томас. Пробыл пять минут, и выскочил... знаете кто? Хорек».

Нужно ли разъяснять, что Томас — имя противника Хью Лонга. Как тут не вспомнить «муниципальную вонючку» и другие сильно пахнущие выражения из лексикона Хозяина!

Мы подошли к самому, пожалуй, деликатному моменту. Ну хорошо, методы у Хью Лонга и Вилли Старка одинаковы, а дела? Как ни странно, дела тоже.

Вот некоторые статистические данные о Луизиане.

20-е годы. В штате 300 миль цементных дорог, 35 миль дорог с иным покрытием, три моста-развязки на шоссе, система образования на положении бедной родственницы, здравоохранение тоже...

1935 год. В штате 2446 миль цементных дорог, 1308 миль асфальтовых дорог, около 40 мостов-развязок. Определенные ассигнования выделены на систему образования и здравоохранения, в частности, за счет большего налогообложения компаний. В школах учебники распределяются бесплатно...

Методы администрации Лонга в чем-то предвосхитили рузвельтовский новый курс. Они помогли штату сделать рывок в развитии товарно-денежного производства. Фермерам Луизианы уже не приходилось ломать голову, как вывезти тело безвременного усопшего дядюшки из города и, что существенней, как доставить плоды земли своей и рук на городской рынок. С позиций ускорения капиталистического прогресса курс Лонга был эффективен.

Недаром профессор Т. Гарри Уильямс, автор предисловия к одному из изданий автобиографии Лонга, называет его «необычным демагогом». Стоит только оговориться, что «демагогами» по южной традиции называли политиков определенного сорта, которые в острый момент борьбы за власть бросали вызов существующему истеблишменту, апеллировали к массам, «требовали для них более справедливой доли доходов и власти». «Демагоги, — пишет профессор Уильямс, — производили много шума и даже порой выигрывали выборы, но никогда не меняли сколько-нибудь существенным образом природу и структуру власти. Несмотря на их яростные обличения правящих классов, они мало что делали, чтобы поднять массы. Некоторые из них в действительности не были заинтересованы в реформе, и их легко было выключить из игры, либо принудить к сотрудничеству с существующей иерархией. Те же, у кого была программа, не могли ее осуществить по одной весьма существенной причине. — у них не хватало способности, вернее воли, разрушить организацию олигархии, и в конечном счете она их сметала... Лонг тоже был одним из этих демагогов. Он тоже мог, пошумев насчет реформы, кончить обличением негров или янки или приторными воспоминаниями о конфеде-

ратской славе в годы Гражданской войны и о южных страданиях во время Реконструкции. Не тут-то было. Лонг оказался единственным южным лидером, обратившимся к поддержке масс, который, пообещав что-то, свое обещание сдержал».

Характерная цитата.

Так в чем же разница между Хью Лонгом и Вилли Старком? Оба делали дело, и оба делали его негодными, но вроде бы единственно возможными средствами. Да полноте, есть ли она, эта разница?

Обратимся снова к роману, к весьма поучительным размышлениям, которым предается Джек Бёрден под занавес:

«Теория исторических издержек — можете назвать это так. И выписать издержки против прибылей. Не исключено, что перемены в нашем штате могли прийти только таким путем, каким пришли, — а перемены были большие. Теория моральной нейтральности истории — можете назвать ее и так. Процесс как таковой не бывает ни нравственным, ни безнравственным. Мы можем оценивать результаты, но не процесс. Безнравственный фактор может привести к нравственному результату. Нравственный фактор может привести к безнравственному результату. Может быть, только в обмен на душу человек получает власть творить добро.

Теория исторических издержек. Теория моральной нейтральности истории. Все это — высокий исторический взгляд на мир с вершины холодного утеса. Может быть, только гений способен его так увидеть. Действительно увидеть. Может быть, нужно, чтобы тебя приковали к утесу и орлы клевали твою печень и легкие, — тогда ты его так увидишь... Может быть, только герой способен поступать соответственно.

Но я...»

Вот, оказывается, в чем дело. В этом скромном, но твердом «но я...». В позиции, другими словами. Писатель — на то он и писатель — оценивает свершенное и свершившееся не с позиций абстрактного прогресса, бестелесной морали и безлюдной истории. Ибо для него, представителя литературы, то есть посланца гуманизма, безлюдная история — это бесчеловечная история. А он призывает смотреть на мир с точки зрения человека — как он чувствует себя посреди этого абстрактного прогресса, человек, не забьют ли ему?

Вилли Старка и Хью Лонга, героя романа и его жизненного прототипа, разнила концепция цели.

У них было равное дело и равные средства. Но цели у них были разные. Высшей, духовной Цели у Лонга в отличие от Старка не было.

Лонг был Хампти-Дампти, шекспировским Ричардом, которому драматург вложил в уста такие слова: «Ведь совесть — слово, созданное трусом, чтоб сильных напугать и остеречь. Кулак нам — совесть, и закон нам — меч». Хотя и шекспировского Ричарда убивает все же «совесть робкая», призраки им убиенных, а не только противник во плоти...

Старк был раздвоен. «Дом, разделившийся в самом себе, не устоит». Недаром он мучится и гонит от себя это библейское пророчество. Он и погиб, потому что был раздвоен.

Лонг погиб, потому что его убили. Он не страдал раздвоением.

Читаешь его автобиографию — и ни малейшего следа сомнений, рефлексии. Автобиография — жанр специфический. По части самоидеализации автобиография действующего политика мало с чем может сравниться, разве что с мемуарами политика бездействующего. Немало кокетства и в автобиографии Хью Лонга. Но и тени «комплекса Старка» в книге, вышедшей из-под пера Лонга, не увидишь. Нет, он тоже страдал, Хью Лонг, и временами ему тоже бывало плохо — когда его загоняли в угол... Его целью была власть. И хоть он сделал немало дел, он скорее Крошка Дафи, а не Вилли Старк. Крошка Дафи с историческим нюхом. Проницательный Крошка.

Но Пенну Уоррену он послужил материалом для Вилли Старка. Писатель взял Хью Лонга — готового героя политического детектива под названием «Луизианская история» или даже «Американская история» — со всеми его потрохами, потребностями и непотребностями и произвел крошечную операцию сродни демиурговой. Он разрезал фальшивую грудь политика и вложил внутрь бессмертную зыскующую душу.

И тогда из Хью Лонга родился Вилли Старк.

* * *

Забавно это или логично? В момент появления романа публика поразились сходству Старка и Лонга, причем, понятное дело, производной величиной казался Старк. Эта похожесть даже шокировала, в ней кое-кто узрел едва ли не ущербность литературной фантазии, ее неспособность конкурировать с сюжетами, которые порождает сама жизнь. Но вот прошло время — и картина переменялась. Вряд ли найдется хоть один более поздний исследователь Лонга, который в той или иной мере не переносил бы созданный Пенном Уорреном образ Старка на бывшего политического деятеля, коему посчастливилось стать его прототипом. Подобное украшательство чела Хью Лонга литературным лавром происходит не всегда осознанно, но это-то и симптоматично. Время расставило все на свои места. В памяти людской магия образа, созданного литературной волей, оказалась сильнее реальных черт.

Кесарю кесарево.

Богу богово.

4. НОВООРЛЕАНСКИЙ МУЖ

Разговор на крыше Международного торгового центра. От всех прочих он отличался подчеркнутого философического складом ума собеседника и исключительной высотой позиции — выше здания в городе нет. Далеко внизу начинались портовые сооружения и, казалось, не кончались, уходя за горизонт.

«Ты выглядишь сегодня на миллион долларов...» Говорят, что американцы так говорят. С двадцать девятого этажа здания, находящегося при «впадении» Канал-стрит в реку Миссисипи, открывался вид на 300 миллионов долларов. Это не метафора, это статистика.

И вид этот был застывшим, как натюрморт. Не для удобства зрителей. Портовики атлантического побережья США бастовали уже третий месяц, и грандиозный порт стоял. Ни единого судна на рейде. Пустота. Вот что поражало не меньше, чем грандиозность панорамы.

В виду остановившейся жизни по крыше двадцатидевятиэтажного небоскреба бродил философ. Он искал человека. Он искал человека, который купил бы у него билет на право пользования смотровой площадкой.

Философ был послан мне самой судьбой, это я понял сразу. За полтинник я приобрел не только право на вид, стоивший 300 миллионов, но и в придачу ответ на кое-какие мировоззренческие вопросы.

— Жадность людская. Это все она, — пробормотал юный торговец перспективой, когда меркантильные вопросы с билетами были улажены. — Жадность движет людьми.

На вершине холодного утеса — крыше высочайшего в Новом Орлеане небоскреба мы были одни.

— Я получаю доллар семьдесят пять центов в час, и ведь ничего, не рываюсь. Они же — по уничижительному взгляду, который мой собеседник бросил с верхотуры вниз, я понял, что речь идет о портовиках, — они же и так зарабатывают в час по шесть-семь долларов, и им все мало. Обычно здесь не протолкаться: весь берег уставлен судами. Пароходы, бывает, сутками толпятся в очереди. А сейчас поглядите — все чисто до горизонта. Нет, жадность погубит эту страну. Вы знаете, коммунисты проповедуют равенство. У нас частная инициатива. Но эта частная инициатива из стимула превращается в алчность.

— Так ты за частную инициативу или против? А может, ты коммунист? — неловко пошутил я.

— Полукровка. — Впервые на губах моего философа мелькнуло подобие улыбки. — У частной инициативы должны быть границы.

Тут, видно, парень вспомнил о своих прямых обязанностях — приправлять панораму комментарием. Поправив фирменную фуражку — панорама ведь не была его собственной, он состоял при ней, но принадлежала она владельцам торгового центра, — он сказал:

— Видите мост? Это Большой мост.

— Большой, чем что?

— Ничего. Это он так называется — Большой мост. А еще дальше самый длинный мост через Миссисипи — мост Хью Лонга.

Круг снова замкнулся. Тень Хью Лонга, видно, решила преследовать меня в своей вотчине. Но раз уж от нее никуда не деться, не продолжить ли свой маленький персональный плебисцит? В блокноте моем скопилось десятка полтора различных, даже противоположных суждений о Хью Лонге. Каждое из них претендовало на правоту, но одно отличалось еще и чеканностью. «Нью-Йорк таймс» в своем «Энциклопедическом альманахе» потратила всего восемнадцать слов на то, чтобы нарисовать профиль противоречивого политика, при этом она ухитрилась дать совершенный автопортрет: «Лонг, Хью П, 1893—1935, убитый американский политический демагог, который фактически приостановил (1928—1935) демократические процедуры в Луизиане».

Но то первая газета Америки, светоч и столп утонченного либерализма; а что думает о бывшем диктаторе Луизианы этот не по возрасту желчный паренек, ежедневно совершающий свой путь вверх за один доллар семьдесят пять центов в час?

— Это был великий деятель. Он приезжал к фермерам и говорил им: «Хотите, я покрою бетоном эту дорогу — тогда выбирайте меня. Не будете за меня, кукиш получите, а не дорогу». И он строил дорогу, когда его выбирали... Говорят, его убила мафия. А я говорю, его убила не мафия, а конгресс США. Потому что он говорил им в лицо: Луизиана может построить стену вдоль своей границы. Нам не нужны остальные штаты... Знаете, кого они убили потом? Джона Кеннеди. Потому что он тоже говорил им прямо: это моя игра и вы будете играть по моим правилам. И тогда они убили его...

Философия юного торговца видами была не на мелком месте. Внизу текла желто-серая Миссисипи. Но любопытно, что такую же точку зрения, едва ли не в тех же выражениях, я слышал еще от одного человека в этом городе. От Джима Гаррисона, окружного прокурора Нового Орлеана.

Мне говорили, что встретиться с ним невозможно, прессу он не принимает. Его обвинили во взяточничестве, доверительно пояснили мне. Будничный тон, каким давались пояснения, должен был убедить, что тут это дело обычное. А может, так оно и было на самом деле.

К слову пришлось. В те самые дни в штате разразился другой скандал, тоже связанный с прокурором, только рангом повыше, — Джеком Гремильоном, генеральным прокурором Луизианы. Федеральный суд признал его причастным к крупной финансовой афере, а также виновным в преднамеренном обмане суда и нескольких более мелких грехах. Ну и что? Да ничего. «Это еще не основание для ухода в отставку, — отмахнулся Гремилъон. — Даром, что ли, я занимаю свой пост четыре срока? Суд мне не указ».

Пикантность момента усугублялась еще и тем обстоятельством, что шла предвыборная пора и Гремилъон в пятый раз выставил свою кандидатуру на пост генерального прокурора штата. Противники неистовствовали. Сенатор штата и кандидат в губернаторы Джон Швемманн потребовал применить к Гремилъону «импичмент», ибо «под угрозой оказались сами достоинство и репутация Луизианы». «Жалкий цыплек и фальшивомонетчик, — в неподражаемом стиле ответил на выпад Гремилъон. — Да он скармливает своим курам толченый свинец, чтобы они больше тянули на весах. Я пошлю ему учебник права для шестиклассников — пусть малость разберется в том, как отправляют закон в Луизиане. Я бы прислал ему книгу для девятого класса, но, боюсь, не поймет он в ней ни бельмеса».

Соперники Гремилъона в приступе праведного, хотя и небескорыстного гнева требовали его немедленной отставки. Не на того напали. «Мне уходить... Зачем? — искренне удивился Гремилъон. — А если моя апелляция увенчается успехом? Лично я чувствую себя невинным, как пташка...» Впрочем, к Гаррисону история с Гремилъоном не имела отношения. Я позвонил ему, назвал себя, свою страну и орган печати, который представляю, и тут же получил согласие на интервью.

...Здание суда выглядело вполне классически — массивное, серое, с колоннами. Его основательность еще более подчеркивала желто-красная стекляшка по соседству: «Джим Дэнди. Жареные цыплята. Порция --- 49 центов». Не от Швемманна ли цыплята?

«Абсолютное отправление правосудия есть фундамент свободы». От надписи на фронтоне здания суда веяло вековечным. Несколько шагов внутрь — и вот уже примета нашего энергичного времени: «Вниманию публики». С 1 ноября 1970 года, оказывается, установлен следующий порядок:

свертки, портфели, сумки проносить в здание суда строго воспрещается...

все улики следует заранее отдать клерку...

входить в здание в пальто, шубе, плаще строго воспрещается. Если пришел в пальто, будь любезен, сними его и носи через руку. Осмотр по требованию шерифа; все, кто состоит под судом, но выпущен под залог, подлежат обыску...

Нелишние, видно, предосторожности.

Улик я не нес. Разве что книгу самого Гаррисона «The Heritage of Stone» — «Камень в наследство», в которой он излагает свою точку зрения на убийство Кеннеди. В авторском вступлении к ней рука автоматически подчеркнула такие строчки: «Я выражаю глубокую признательность Расселу Б. Лонгу, сенатору США от Луизианы, за мужество, выразившееся в том, что он задавал вопросы тогда, когда мало кто из Вашингтона решался их задавать, а также за его постоянную поддержку наших усилий». Рассел Б. Лонг, между прочим, сын Хью Лонга.

Тоскливая атмосфера казенного дома, царившая во всем здании, в приемной окружного прокурора Нового Орлеана, однако, странным образом сочеталась с претензией на изыск. Увеличенная до размеров стены карта Америки 1690 года. На дренной этой карте выделялась огромная Луизиана, граничащая с маленькой Флоридой, скромным конгломератом Новой Англии, другими штатами, а на севере с Канадой... Старинные часы, на сорок пять минут отставшие от бега времени за свой век. Впрочем, рядом висели вполне современные часы, функция которых уже была показывать, а не символизировать время.

— Наша беседа будет короткой, извините. У меня сейчас слишком много дел. Мне нужно защищать себя от своего правительства, которое боится, что я разоблачу происшедший в этой стране военный переворот, — залпом выпалил Джим Гаррисон вместо приветствия, когда я, как и было уговорено, ровно в 15.30 по современным часам вошел к нему в кабинет. — Американцы одновременно легковерны и легкомысленны. Они верят, что разговоры царят где угодно, только не у них... Но послушайте. Пентагон заинтересован во Вьетнаме. Генералам нужно было запустить в Индокитай руки по локоть. На пути притязаний Пентагона стал президент Кеннеди. И тогда они убрали его. Это же ясно как божий день... Сейчас они шантажируют меня, но этот номер у них не пройдет. Я собираюсь получить оправдание.

— Прокурор, в чем вас обвиняют?

— Во взяточничестве. Какой вздор! Более подробно я не могу говорить об этом до суда. Да и не о чем особенно говорить. Но они еще пожалеют о своей затее. Ох как пожалеют!

— Но ведь один суд уже был — процесс по обвинению новоорлеанского бизнесмена Клея Шоу в соучастии в заговоре, приведшем к гибели президента. Этот процесс устроили вы сами. Суд, однако, признал вину Шоу недоказанной.

— Если этот процесс и доказал что-то, то только одно: наш уголовный суд просто не готов к рассмотрению дела, связанного с военно-политическим заговором. За последние десятилетия общество наше переродилось, оно находится под пятой военно-промышленного комплекса. Присяжные же уголовного суда не доросли до понимания этой основополагающей истины, они все еще в плену старых представлений.

— За время, что прошло после того процесса, закончившегося не в вашу пользу, у вас, конечно, накопились новые факты, свидетельства, подтверждающие правоту вашей точки зрения?

— Ни в каких новых свидетельствах я не нуждаюсь. Я и так матовал правительство. Я отменил все остальные возможности, так что каждому непредубежденному человеку ясно, что прав именно я. Послушайте, — голос его понизился до доверительного полупшепота, — есть два пути доказательства истины. Один — собрать свидетельства, которые можно предъявить в суде. Но есть и другой путь — логическим путем доказать свою правоту. Изучение истории роста военно-промышленного комплекса в нашей

стране — только оно дает единственно верный ответ на вопрос, кто убил президента Кеннеди. Задайте сначала вопрос «почему?» — и тогда вам сразу станет ясно «кто?».

Дальнейшие объяснения Гаррисона приняли форму несколько скачущего, но страстного монолога на тему о том, как военная машина совратила страну.

Вторая мировая война была переломным моментом. Раз созданная огромная военная машина, даже когда реальная нужда в ней отпала, вовсе не собиралась самораспускаться. По окончании горячей войны «медным каскам» и «толоконным лбам», войне не то есть, позарез нужна была война холодная, ибо что может быть лучшим «оправданием» контрреволюционных войн против малых народов. Пентагон, а не госдепартамент стал подлинным министерством иностранных дел США. Но когда военные становятся решающей силой во внешней политике, они захватывают контроль и внутри страны. Империализм чреват опасностью тайной диктатуры. Люди не понимают, зачем нужно выбрасывать 80 миллиардов долларов в год на военные нужды. Объяснить им это невозможно, им можно только заткнуть глотки и прочистить мозги. Супердержава на внешнем рынке и сверхвласть на внутреннем — две стороны одной, военной, медали. Общество разлагается. Милитаристы убирают всех со своего пути. Как только стало абсолютно очевидно, что Роберт Кеннеди будет президентом, в ту же минуту его убрали... За заговором милитаристов следует заговор молчания наверху. Освальд, Рей, Сирхан — «одинокие убийцы». Это все нонсенс. Почерк действительно один и метод заметания следов тоже. Что такое комиссия Уоррена, как не ширма для публики? После убийства Линкольна было то же самое. Недаром президент Эндрю Джонсон амнистировал преступников. Правда, конгресс выдвинул «импичмент» против Джонсона, не хватило всего одного голоса, чтобы «импичмент» прошел. Да, тогда хоть заботились о репутации, сейчас же и этого нет. Наверху всем все известно, но все связаны круговой порукой и играют в молчанку...

Это, так сказать, большое логическое кольцо Гаррисона. Внутри было еще одно кольцо, поменьше, и оно так же неотвратно вело к далласской трагедии. Кольцо это называлось Вьетнам. Гаррисон набросал мне в нескольких штрихах историю развития индокитайского конфликта, обрисовав роль основных фигур, замешанных в нем, начиная с Джона Фостера Даллеса и Нго Динь Дьема. Не без удивления отметил я про себя, что картина, по Гаррисону, мало чем отличается от той, к которой мы привыкли.

«Ирония судьбы, дядя Хо был нашим союзником в борьбе против японцев, но с подачи Пентагона мы решили наказать северных вьетнамцев за то, что они «вторгнутся» в собственную страну. Нет, вы, русские, правы, не во всем, но во многом, обвиняя нас в империализме...» — эту фразу я привожу дословно, остальное передаю для краткости более бегло — лишь смысл: Джон Кеннеди думал положить конец вьетнамской аванюре Пентагона, и тогда его убрали. И не только его. Все жертвы великих убийств 60-х годов были видными противниками вьетнамской войны.

Гаррисон повторялся, вернее он вернулся на круги своя. Вскоре я понял, что такого его излюбленная манера — кружить вокруг обсуждаемого предмета, постоянно возвращаясь к внушаемому выводу.

— Прокурор, многие считают, что вы не любите прессу.

— Не то чтобы я не любил прессу. Я стараюсь не встречаться с американскими журналистами — это другое дело. Они просто не могут понять того, что я им говорю. Они слишком испорчены мифологией, у них нет реального контакта с сегодняшней действительностью этой страны. Они не понимают, что мы начали «холодную войну», что мы вторглись во Вьетнам, что всеми делами у нас управляет Пентагон. Известно, что в Пентагоне подслушивали даже телефон Макнамары. Так кто же кем командует, спрашивается?.. В Европе могут шире смотреть на вещи.

Так я понял, что чести этого интервью обязан своему европейскому происхождению.

— Что вы собираетесь делать дальше?

— Я буду бороться за то, чтобы рассказывать правду об Америке. Не только об убийстве Кеннеди — обо всем нашем прогнившем и переродившемся обществе. Геометрическая прогрессия лжи — вот с чем мы сталкиваемся на каждом шагу, власть имущие лишь затыкают дыры, в которые может просочиться истина. Но должен же кто-то

разоблачать их? Ведь п р а в д а, — это слово Гаррисон неожиданно произнес по-русски, — самое важное в наших профессиях, не так ли? Все грамотные люди знают, что главное в работе — производительность труда. Так вот часть моей производительности — правда.

Гаррисон встал — все это время он сидел, временами закинув ноги на стол, — и только сейчас я разглядел, что он высок, метра два ростом, не меньше, и сутул. Глаза его чуть косили вонне. Может быть, поэтому поймать его взгляд было трудно. Вопреки ожиданию он не производил впечатления очень уверенного в себе человека.

Вместо обещанных «минут двадцати пяти» интервью продолжалось два с лишним часа, но сейчас оно подошло к концу. Я понял это потому, что Гаррисон вдруг выключил тихую, успокаивающую музыку, которая играла все это время. На столе лежала книжка политических комиксов. На стене среди других картинок — «ню». Впрочем, один необязательный вопрос я счел себя вправе задать:

— Как вы относитесь к Джеку Гремилльону?

— Я его не знаю.

— Но ведь он генеральный прокурор штата, можно сказать, ваш шеф!

— Я его толком не знаю. Он скорее координатор, а не командир. У него совсем другая работа...

И только когда Гаррисон подошел к вешалке, на которой почему-то висели три шляпы, и выбрал себе одну из них, я вспомнил, что забыл задать еще один вопрос. Насчет «Камня в наследство».

— Прокурор, что вы хотели сказать, дав своей книге такое название?

— Я хочу сказать, что мы развили технику до небес, но по уровню духовной цивилизации остановились где-то внизу эволюционной лестницы. Мы не отличаемся от людей каменного века, которых мало заботило, кто там живет в соседней пещере. Но нас это должно заботить. Потому что люди в соседней пещере — это мы сами.

...Оказывается, добыть факт не самое трудное. Самое трудное начинается после того, как ты его добыл. Как его истолковать?

Кто он, таинственный и сенсационный окружной прокурор Нового Орлеана Джим Гаррисон? Бесстрашный правдоискатель с дурными манерами, которые мешают разглядеть в нем рыцаря без страха и упрека? Эдакий провинциальный донкихот, ополчившийся против государственной и военной машины? Или ловкий мистификатор, делающий себе рекламу на национальной трагедии? Такая точка зрения, кстати, распространена шире, чем первая. Действительно, ведь паблисити у него — человека, еще недавно известного лишь в своей округе, — сейчас мировое...

Трудный вопрос. И, признаюсь заранее, я не дам вам определенного ответа. Для этого как минимум нужно знать всю правду об убийстве Кеннеди и при этом точно знать, что знаешь действительно правду. Боюсь, что для журналиста это сейчас теоретически невозможно. Практически тем более. Как сказал мне лучший наш собкор-американец, изучение того, что произошло на далласской Дили-плаза 22 ноября 1963 года, уже стало целой отраслью, профессией. Заниматься ею можно всю жизнь...

Другой путь — я отдаю себе в этом отчет — зыбок и неокончателен, но если не категорические выводы, то пищу для размышлений он может предоставить: насколько убедительна не версия Гаррисона, а вся его концепция? Такой анализ более реален.

Так что я не буду разбирать, сколько, по мнению Гаррисона, было выстрелов, откуда и сколько человек стреляло и что делали известные и неизвестные нам люди в тот трагический миг. Не буду цитировать и длинный список реальных противоречий и кажущихся несоответствий в докладе комиссии Уоррена. По Гаррисону, они являются свидетельством того, что доклад заведомо лжив, сфабрикован с начала и до конца с целью навязать публике точку зрения, выгодную преступной стороне. Ибо в противном случае я должен тут же ставить штамп: это так, или не совсем так, или совсем не так. Но передержки у новоорлеанского мужа чувствуются. Легкость, с которой однозначные и безапелляционные выводы делаются отнюдь не из однозначных ситуаций, нас поражает.

Вот в самом начале своего расследования Гаррисон вызывает в суд бывшего шефа ЦРУ Аллена Даллеса. Но поскольку юрисдикция Гаррисона распространяется лишь на округ Нового Орлеана, он требует, чтобы его вызов передал прокурор вашингтонский.

Тот отказывается, а Аллен Даллес, что, в общем, можно предположить заранее, по собственной инициативе на суд не является. Вывод из этого у Гаррисона один: ЦРУ боится расследования, ибо оно замешано в преступлении. Я вовсе не исключаю возможности того, что ЦРУ замешано в преступлении, но данного факта для этого вывода недостаточно. Из него с такой же легкостью и даже с большей степенью логики можно сделать с десяток других заключений... Хочешь не хочешь, а от акции с вызовом «агента 001» веет рекламным духом.

Или вот небольшая цитата о некоем авантюристе Ферри, который, по Гаррисону, имел отношение к преступлению в Далласе:

«...22 февраля 1967 года Ферри был найден мертвым среди пустых и полупустых склянок и ампул. Общий анализ не выявил какого-либо из известных ядов. Причина смерти была определена как естественная — кровоизлияние в мозг. На рояле и письменном столе Ферри были найдены отпечатанные на машинке два письма, в которых он извещал о намерении покончить жизнь самоубийством, причем его подпись под каждым из них была также отпечатана. В городском морге фотографии сделали последние снимки Ферри, который лишился всего — своего мохерового парика, должности пилота регулярных линий, хобби следователя-любителя и, наконец, самой жизни. Поперек его живота виднелся шрам в двенадцать дюймов длиной, полученный во время последнего тайного полета на Кубу.

Дэвид Ферри был чиновником в полном смысле этого слова. И в то же время он был больше чем чиновником. И именно поэтому он вряд ли смог бы выжить при чрезвычайном положении, созданию которого сам немало содействовал. Из всех частных лиц, подозреваемых новоорлеанским следствием, пожалуй, только Ферри испытывал какие-то угрызения совести по поводу убийства [Кеннеди]. В самом конце его терзали воспоминания о детстве, жизни в семье и годах подготовки к духовному сану. Можно сказать, именно то, что он не утратил до конца человеческий облик, и погубило его...»

Бог его знает, этого Ферри. Человек это был странный до гротеска, с признаками психопатии, о чем пишет сам Гаррисон. Трудно сказать, отчего он ушел из этой жизни и что он делал в ней до того, как ушел. Но объяснение Гаррисона скорей всего несостоятельно. Оно слишком красиво. Ферри ведь не шекспировский Глостер, чтобы его убили призраки.

Литературность, вернее беллетристическая заданность, — вот в чем, пожалуй, дело. Вся концепция Гаррисона грешит этим. «Чтоб умертвить Дункана, Макбету не было никакой нужды выходить за ворота замка. Он оставался в Инвернесе, пока гонец не принес ему известие о внезапной смерти врага, а затем и об убийстве самого убийцы-одиночки. Ни к чему было и Бруту отправляться со своими единомышленниками в сенат, чтобы убить Цезаря. Он так же был дома, когда получил весть о гибели Цезаря и расправе римских солдат с убийцей.

Как правило, в переворотах участвуют достаточно сильные люди, не испытывающие ни малейшего страха перед расплатой. Если они не имеют никаких шансов установить свой контроль над государственным аппаратом, то им нет необходимости и подыскивать убийцу народного вождя. Люди потом могут обожествить Цезаря, как это и случилось в Риме, но обезвредить его убийц они не могут. В то же время те, кто добывался его ухода с политической арены, приобретают возможность воздействовать на политику правительства в соответствии со своими целями, оставляя за народом право поклоняться останкам убитого...» — так пишет Гаррисон. Дункан — Кеннеди, это ясно. Но кто Макбет — Линдон Джонсон? техасская мафия? весь военно-промышленный комплекс? Социальный адрес изобличения вроде бы расширяется, однако, несмотря на растущую крепость выражений, острота, как ни странно, спадает.

Явственно начинает ощущаться привкус демагогии (конечно же, в южном, благородном смысле этого слова).

«Быть может, придет день, когда наши опустевшие улицы зарастут сорняками, когда единственным звуком будет писк крысиных толп, стремящихся сказать свое слово в эволюции. И кто-то издалека, разгребая обломки нашей цивилизации, наткнется на человеческий череп. Быть может, он поднимет его, заглянет в глазницы и увидит вместо кучки серого вещества, способного постигать вселенную, — пустоту.

«Бедный усопший собрат, — скажет пришелец, — ты был, должно быть, незауряд-

ным парнем, с блестящим чувством юмора. Где твои виселицы и орудия? Твоя тайная ненависть и явная жестокость? Что случилось с твоими миллионами, до которых тебе нет теперь никакого дела? С твоими симпатиями и антипатиями и личными планами? Где нынче твоя великолепная невозмутимость?

Теперь ты навеки умолк...»

Бедный Джон Фицджеральд!

И бедный Вильям!

И все же дело не в стиле, хотя стиль у Гаррисона роскошный. Ссылки на классиков перемежаются с цитатами из политиков, администраторов и супершпионов. Извлечения из Шекспира, поэта XVI века Фаррингтона, видного американского политика прошлого Мэдисона, сатирика Орвелла, судьи Эрла Уоррена и даже некоего Вернера Беста — сподручного Гимmlера — образуют причудливую смесь. Впрочем, собственные сентенции Гаррисона ничуть не уступают заимствованным. Скажем: «Самые опасные из всех живущих — серые мыши, это их молчание убивает». Или: «То, как человек превратился из бедного, но честного животного в нынешнего благородного члена Ядерного клуба, являет собой великую историю успеха. Быть может, эта история успеха окажется настолько грандиозной, что поставит точку вообще на всех историях успеха» («Камень в наследство»).

В устах публициста это признание, возможно, покажется странным, но книга Гаррисона грешит избытком «публицистичности». Судебное дело должно быть строже. Оно должно не столько убеждать, сколько доказывать, убеждать доказательствами, а не эмоциями.

Оговорюсь: некоторые оценки новоорлеанского прокурора мне кажутся резонными, во всяком случае блестящими. «Холодная война коррумпировала Америку», — пишет Гаррисон, и это великолепная формула, емкая и точная одновременно. Или: «теологический антикоммунизм» американской военщины — словосочетание хоть сейчас вставляй в учебник истории... Но боже мой, как все утрировано! То, что являет собой процесс, тенденцию, по Гаррисону, превращается просто в заговор, в тайную деятельность группы могущественных злоумышленников. Из социально-политической драмы, в которой противоборствуют классы, слои, фракции, группировки, в которой закономерность пробивает себе путь через случайность, через миллионы разрозненных волей, исторический процесс превращается в «мыльную оперу», в мелодраму, в политический детектив, а то и в роман ужасов. «В нашем фольклоре, — пишет Гаррисон, — зло таскало с собой винтовку, нападало в открытую, но бесстрашное сердце и быстрая реакция всегда торжествовали над ним». Правда, далее он оговаривается: «Если когда-нибудь это и было так просто, то не сейчас...» — но по существу гаррисоновская модель общества мало отличается от вышеописанной сцены борьбы добра и зла, уточненной только в сторону роста коварства и могущества зла. Братья Кеннеди, эти рыцари света, сражаются против многочисленных сил ночи и гибнут в неравной схватке. Не считите за бестактность, но это миф.

Имя Кеннеди всегда было окружено мифами. Гибель братьев на глазах у всей американской публики окружила их ореолом. По законам памяти последний миг стал единственным. Трагедия, возможно трагическая случайность, превратилась в людском сознании в закономерность. Линия жизни и Джона и Роберта невольно спрямилась. Ретроспективно путь наверх уже выглядел едва ли не осознанным восхождением на Голгофу...

Может показаться, что вспоминать сейчас черты подлинного прошлого Кеннеди — все равно что попрекать мертвого грехами юности. Доля бестактности в этом, наверное, была бы, если речь шла бы не о профессиональных политиках. Политик — фигура публичная, он сам выбирает жизнь в свете юпитеров, и пеняя на их безжалостный свет ему не приходится.

Вот Роберт Кеннеди. В 50-е годы он восхищался... Маккарти — печально знаменитым деятелем, что стал самым позорным и реакционным «измом» в новейшей американской истории. В 60-е он уже один из лидеров американского либерализма. Нет, не всегда можно было обнаружить последовательность в его поведении и действиях. В канун трагедии журнал «Тайм» писал: «Он мог быть... широким и мелочным, безжалостным и великодушным — и все в крайней степени... На каждый шаг в духе Макиавелли

у него находился жест благородства, на каждую полуправду или гиперболу — разоружающая откровенность: «Видите, на какие жертвы я иду, чтобы стать президентом. Я даже остриг свои длинные волосы...»

Не обделена зигзагами дорога и Джона Кеннеди.

Глупо не принимать в расчет идейную трансформацию братьев Кеннеди, развитие их взглядов во времени, обретение зрелости, трезвости. Но есть здесь и другое обстоятельство, более общего характера.

Исконно американской философией является прагматизм, а это, наверное, самая «политичная» философия, недаром основополагающим критерием она ставит, грубо говоря, не истину, но выгоду. Границы между истиной и выгодой, выгодой и моралью стираются. Разница между беспринципностью и реализмом исчезает. Тем самым любая перемена позиции освящается зависимостью от ветров конъюнктуры, угрызения же совести вообще отменяются. Что может быть более удобным для практикующего честолюбца!

Не уяснив прагматистской природы политики и политиков, не понять и парадоксальные выражи в поведении и карьере весьма многих из них. Сколько было таких необъяснимых метаморфоз на протяжении только последнего десятилетия. Например, «голубь» Джонсон, расправившись на выборах с «бешеным Барри» (Голдуотером), расправляет крылья и оборачивается «ястребом»... Можно было бы привести и примеры обратной «эволюции». Причины и мотивы столь чудесных превращений можно искать в разных сферах. Скажем, в военно-стратегической: «Новый баланс сил на международной арене принуждает к определенной переоценке ценностей...» Или во внутривнутриполитической: «Пост главы исполнительной власти в стране, подобной США, в максимальной степени служит орудием и инструментом правящего класса. Воля президента, сенатора, конгрессмена — чаще всего вектор из политических устремлений различных фракций... Тем более что самый характер принятия решений в таком громоздком монополистически-бюрократическом аппарате, каким является современное американское государство с его миллионами связей, трансмиссий и обратных связей, делает практически невозможной решающую роль одного человека, даже занимающего самое высокое официальное положение».

Но сфера морали останется ни при чем. Речь идет не об аморальности. Отнюдь нет. Превращения прагматика могут привести к отрицательным последствиям, могут иметь и позитивный итог — все зависит от того, что в данный момент выше котировается. Котироваться же высоко может и позитивный курс, иногда он даже единственно возможен и, следовательно, необходим все для той же карьеры... Речь идет о другом. О том, что для морали в прагматистской структуре в принципе не остается места. Умный политик этого сорта может заслужить немало комплиментов, но материала для нимба в его деятельности не найдется. Прагматики и святые — из разных семейств.

Клан Кеннеди породил действительно необычных политиков. В мире политических фигур Джон и Роберт блистали, ибо были молоды, обаятельны, образованны, остроумны. Приехав впервые в Европу, в Париж, Джон Кеннеди, только что избранный президент Соединенных Штатов Америки, мог заявить на пресс-конференции: «Вы все меня, конечно, знаете... как мужа Жаклин Кеннеди». Роберт Кеннеди с подкупающей искренностью признавался на митинге: «Мой отец всегда говорил: «Сын мой, я не возражаю, чтобы ты тратил деньги, но, ради бога, не покупай больше голов, чем тебе нужно...» Самое смешное, что это была правда: только при подготовке к своим последним первичным выборам в Калифорнии Роберт Кеннеди потратил два миллиона долларов, но кто еще осмеливался в этом признаться, к тому же с такой дерзостью и вызовом? В братьях Кеннеди было то, что американцы называют «drive» или даже «sharizma» и что на русский язык можно перевести лишь описательно — «энергия», «напор», «притягательная сила», «божий дар». К тому же они были богаты и удачливы, что тоже немаловажно. И все же экзальтация неоправданна. При всей своей «нетрадиционности», братья Кеннеди были классическими политиками. Американскими политиками. То есть прагматиками тоже.

Можно было бы поспорить и с оценкой Гаррисоном той роли, которую сыграл Джон Кеннеди в развитии вьетнамской драмы. Трудно сейчас с уверенностью говорить о том, каковы были намерения Кеннеди в этом вопросе. Намерения — материя неося-

заемая. Какими бы они ни были, им не дано было осуществиться. Но начало эскалации было положено при Кеннеди. Это уже факт. И таким он, увы, останется в истории.

Однако мы отвлеклись в сторону от нашего героя.

Елей и яд, проклятие и аллилуйя сошлись у Гаррисона. Правда, они распределились по полюсам: светлые герои оказались вознесенными до небес, мрачные низвержены в преисподнюю.

Каждому вроде бы свое. Но как могли столь разные средства столь мирно ужиться в рамках одной концепции? Парадокс. Впрочем, скорее закономерность.

Что предпочтительней — лакировка или обличение сверхмеры? Странный вопрос на первый взгляд, ибо что может быть более бесплодным, чем позиция лакировщика, в то время как обличение — эта сестра (или брат? в общем, родственное лицо) критики — может помочь в уяснении каких-то черт действительности. И все же, строго говоря, и то и другое равно удалено от правды, на каком языке ни произноси это слово, ни то, ни другое не может претендовать на право называться анализом — единственным необходимым и достаточным средством в поисках истины.

Правоту свою можно доказывать разными способами, убеждает Гаррисон. Можно собирать факты. А можно мобилизовать логику... Но что за логика без фактов, вопреки фактам? Это будет фикция, в лучшем случае обладающая литературными достоинствами, что, впрочем, для судебного дела абсолютно не важно.

Литература, особенно это умели делать классики XIX века, блистательно создает совершенные модели общества, обходясь двумя-тремя десятками героев. Каждый не просто характер, но воплощенная социальная идея, тенденция, намерение. Из бесчисленного сонма причинно-следственных связей прозорливо выбираются самые существенные и властью писательского гения освобождаются от бремени и проклятия случайности... Но то роман, а не заключение следователя по конкретному делу. Концепция Гаррисона логична и убедительна сверх меры безотказной логикой социально-криминального романа. Вот ведь что, боюсь, можно сказать в заключение. Впрочем, может быть, у нас просто не хватает воображения, чтобы поверить в исключительность исключительных фактов? Или, может быть, цели и средства, движущие и движимые Гаррисоном, запутали нас или даже, спутавшись, запутали его самого?

...«Каждый человек король, но никто не носит короны»...

Новый Орлеан — Москва.



РАССКАЗЫВАЮТ ВЕТЕРАНЫ

Г. И. ЩЕДРИН



СИЛЬНЕЕ СМЕРТИ

Февраль 1944 года. После четырех боевых походов на счету подводной лодки «С-56», командиром которой я в то время был, числилось 9 потопленных и поврежденных вражеских кораблей и судов, хорошо выполненное специальное задание командования по высадке, а затем и снятию группы разведчиков в глубоком тылу противника и необычайный для того времени, почти кругосветный переход из Владивостока в Заполярье.

Казалось, всякое пережили, перевидали, но...

Боевой приказ был краток: уничтожить транспортные средства противника.

И вот мы опять в очередном боевом походе. Уже с самого выхода из базы дает себя знать погода. Баренцево море — словно кипящий котел. Февраль здесь самый штормовой месяц. Вот и на этот раз он убедительно подтверждает свою репутацию. Тяжелые свинцовые волны то и дело накрывают лодку. Проходим минное поле. Сигнальщикам приходится смотреть во все глаза. Того и гляди подвернется сорванная с якоря шальная мина. Заметить ее в темноте довольно трудно.

Ежеминутно рискуя столкнуться с черными шарами, начиненными смертью, приступаем к выполнению боевого задания. На горизонте пусто. Только волны да ветер. По всей вероятности, фашистские суда отсиживаются, пережидая штормовую погоду, в портах и фиордах. Но эта «отсидка» продолжается недолго.

Через день-другой начинается движение по прибрежным фарватерам противника. К сожалению, это не транспорты, которых мы с нетерпением ожидаем, а поисково-ударные группы противолодочных кораблей, вышедшие на охоту за нами. Вероятно, с улучшением погоды гитлеровцы собрались начать проводку конвоев. Пока же они выслали карательные экспедиции для расчистки путей от советских подводных лодок. Одна из таких групп обнаружила нас возле входа в Тана-фиорд.

Намереваясь уничтожить нашу подводную лодку во что бы то ни стало, фашисты принялись за нас всерьез.

Первый бомбовый удар мы принимаем от миноносца и двух сторожевиков. После них нас бомбит четверка других сторожевиков, лидируемая эсминцем. Вскоре возвращается вновь заправленная бомбами первая тройка. Сменяя друг друга, гитлеровцы не жалеют глубинок.

Двенадцатый час команда стоит по готовности номер один. Спички в кармане трюмного матроса Молодцова давно уже переложены в левый карман. У каждого из нас свой метод подсчета взрывов. Одни делают отметки мелом на переборке, другие просто загибают пальцы. К «среднему результату», который всякий раз определяет старпом для записи в вахтенный журнал, обычно ближе всех оказывался Молодцов. Долго хранил он втайне свой метод подсчета. Но все же тайна раскрылась. Во время бомбежки Молодцов клал в правый карман сто спичек и после каждого взрыва он перекладывал по одной спичке в левый кар-

мая. И вот сейчас правый карман Молодцова пуст. Количество адресованных нам глубинных бомб давно перевалило за 100.

Предпринимаемые нами попытки контратаковать противника безуспешны. В перископ из-за темноты ничего не видно, а стрелять с помощью гидроакустики при путаном маневрировании сторожевиков совершенно бесполезно. Приходится откладывать и все дальнейшие атаки. Для них нужен повышенный расход электроэнергии, а аккумуляторные батареи почти полностью израсходованы. Делаем все, чтобы избавиться от наших преследователей. Изменяем глубины, резко сворачиваем с курса или описываем пологую циркуляцию с малой перекладкой рулей, уменьшаем или даже стопорим ход, пока нас выслушивают противолодочники, и прибавляем обороты, как только они разгоняются для сбрасывания бомб. Пока эти приемы позволяют избежать прямых попаданий в лодку. Серьезных повреждений она не получила, дело пока ограничилось битыми электролампочками, лопнувшими стеклами измерительных приборов. Однако усталость берет свое. Ведь «стоять по боевой тревоге» — это значит не только следить за показаниями различных приборов и аппаратов, но и обслуживать их. Например, торпедистам пришлось трижды готовить к выстрелу все торпедные аппараты. А это значит трижды открыть и закрыть их тяжелые передние крышки. Рулевые вручную переключают рули. После взрыва глубинной бомбы в отсеках положено осмотреть трюмы и заглянуть в каждую выгородку. Все это нелегкий труд, если учесть, что концентрация углекислоты в воздухе лодки все возрастала.

Берем курс на север, в открытое море. Однако этот план сразу же разгадывает противник. Опытный попался враг. Что же нас демаскирует? Просочившееся топливо из поврежденных цистерн или протечка воздуха высокого давления? Нет, не должно быть! При всплытии я сам осматривал в перископ водную поверхность. Ни соляровых пятен, ни воздушных пузырьков на воде видно не было. Остается одно — противолодочники слышали шумы наших механизмов.

Каких? — этот вопрос не дает мне покоя. Обдумываю создавшееся положение, перебираю все за и против. Приводы рулей давно переведены на ручное, почти бесшумное управление, помпы и компрессоры не работают. Остаются лишь гребные винты и вентиляторы системы регенерации воздуха. Но винты едва вращаются, тише уже не сделаешь. Совсем остановить их нельзя; лодка без хода либо погрузится на слишком большую глубину и будет раздавлена колоссальным давлением воды, либо всплывет на поверхность, где ее поджидают сторожевики. Перехватываю взгляд инженера-механика Шаповалова, и без слов все становится ясно, не зря много лет вместе проплавали на подводных лодках.

— Разрешите, товарищ командир?

Нелегко отдать этот приказ, но иного выхода нет.

— Ну что же, добро, — приглушенно говорю я.

И вот звучит команда, на которую решаются лишь в исключительных случаях:

— Выключить систему регенерации!

Это значит, что с каждым нашим вдохом будет уменьшаться содержание кислорода в воздухе и расти концентрация углекислоты примерно на один процент в час. При концентрации углекислоты в 6 процентов человек теряет способность мыслить и сознательно управлять своими движениями, а затем гибнет.

Эта истина известна каждому подводнику. Принимая решение, мы надеялись оторваться от противника. Тогда можно не только запустить систему регенерации, но и всплыть на поверхность для вентилирования лодки. Однако события развертываются не совсем так, как мы предполагали. На этот раз наши расчеты не оправдались.

И все-таки враг нас на время теряет. Это чувствуется по тому, как забеспокоились и занервничали сторожевики. Они мечутся из стороны в сторону, сбрасывая без конца бомбы. Но не так-то просто провести опытного врага. Он понимает: лодка разрядила батареи, поэтому она не могла далеко уйти. Пускаемся на хитрость, бесшумно ползем черепашим шагом. Иначе нельзя. Иначе конец.

Мы знаем, что нам не выдержать длительного преследования ни по запасу электроэнергии, ни по составу воздуха.

Противник неистовствует, понимая, что советская подводная лодка уходит из-под носа. Он забрасывает обширный район бомбами. Некоторые рвутся совсем рядом. Это случайные бомбы. Ясно одно — что вражеские гидроакустики нас не слышат. Медленно, но верно прорываем кольцо смерти. Только бы нас не обнаружили, только бы шумом механизмов не выдать себя. Хватит ли у нас сил и выдержки?

Все острее ощущается нехватка воздуха. Начинает мучить одышка, свинцом наливается голова. Каждое движение дается с трудом. Наступает апатия. Бросаются в глаза неестественно красные лица людей экипажа. Вот он, коварный и неумолимый враг, — углекислота.

Вместе с парторгом старшим лейтенантом медицинской службы Ковалевым обхожу отсеки. Как много теперь нужно сил, чтобы отдрать переборочные двери... Видим, команда добросовестно исполняет свой долг.

Все на своих боевых постах. Но воздуха не хватает. Некоторые пытаются дышать через патроны регенерации, но для этого тоже нужны силы, а их нет. Я замечаю, что даже самые жизнерадостные поникли, не улыбаются. Что и говорить, страшный враг — углекислота!

Невыносимо больно смотреть на боевых товарищей. Сжимается сердце при виде юнги — электрика Юры Гладышева. Ему недавно вручили комсомольский билет. В душе ругаю себя за то, что поддался уговорам, взял его с собой в боевой поход. У парнишки только начинается жизнь.

Но вот происходит то, что рано или поздно должно было случиться. При осмотре подшипников на гребном валу свалился в обморок электрик Наум Назаров. Вслед за ним потеряли сознание торпедист Михаил Новиков, моторист Александр Бочанов. Они работали в трюме. Концентрация углекислоты у днища лодки наибольшая. Отдаю приказ всем троицам надеть маски легководолазных приборов, чтобы они могли отдышаться кислородом. Такое же приказание получают и остальные члены экипажа, работающие в трюме и на самых ответственных постах. Но долго в аппаратах не продержаться, да и работать в них неудобно.

После обхода лодки заходим с Ковалевым в мою каюту. Взрывается очередная серия глубинных бомб. Безразличными кажутся голоса членов команды. Будто бы все происходящее их не касается и докладывают они лишь по обязанности, в силу привычки к дисциплине. И мне кажется, что я тоже нахожусь в таком же положении, как говорят, отсутствие присутствия.

— Как, Кузьмич, оцениваешь наше положение с точки зрения медицины? Сколько сможем продержаться? — обращаюсь я к Ковалеву.

— К нашему случаю медицинская точка зрения не подходит, товарищ командир. Содержание углекислоты в отсеках превысило четыре процента. Команда держится исключительно на высокой сознательности, чувстве долга. Но если это продлится час-полтора, то нас не хватит. Примем аварийные меры.

Про себя намечаю, что можно сделать. Прежде всего развернуть патроны «РВ», высыпать из них на настилы отсеков патронную извесь. Она обычно поглощает углекислоту с помощью вентиляторов, а при такой концентрации сделает это и без них. Хватило бы только сил на такую работу.

— Хватит сил, Григорий Иванович, — прерывает мои размышления Ковалев. — Коммунисты все держатся и не сдаются.

Что коммунисты показывают пример, я вижу и сам. Дорофеев, Иванов, Боженко, Скопин, Шаловалов, Рыбаков, Корзинкин — они стойко и мужественно держатся, эти коммунисты подводной лодки «С-56». Им не легче, чем другим, но они правифланговые и на них равняются в трудную минуту остальные.

Коммунисты уже давно составляют большинство экипажа. Я всегда ощущал их помощь и поддержку. Так трудно, как сейчас, нам никогда не было, и помощь нужна не обычная, а такая, где ставку — жизнь. Вызволить из беды нас сейчас никто не сможет. Некому! Рассчитывать нужно только на свои силы, и прежде всего на силы коммунистов.

Подхожу к переговорным трубам и как могу громко вызываю:

— В носу!.. В корме!..

От напряжения стучит кровь в висках. Чужим, далеким кажется собственный голос. Он звучит будто в пустой цистерне.

— Есть!.. — слышу в ответ.

Голоса подводников звучат вяло и безразлично.

— Говорит командир корабля! Противник нас потерял, мы успешно прорываемся. Знаю, что вы выбились из сил. И все же надо держаться. Наш боевой корабль и все мы нужны Родине для борьбы с врагом. Беспартийным разрешаю отдохнуть. Коммунистов прошу остаться на боевых постах и стоять за себя и товарищей. Повторяю, коммунистов прошу держаться!..

Какое-то мгновение тихо. Первым ответил седьмой отсек:

— Беспартийных нет. Торпеды приготовлены. Вахту стоим.

Голос мичмана Павлова показался мне бодрее, чем минуту назад при докладе о взрывах бомб. За ним послышался глуховатый басок Боженко:

— В шестом стоят по готовности один. Назаров подал заявление в партию. Беспартийные просят не сменяться.

— Центральный! Считайте в пятом всех коммунистами. Пока дышим, с вахты не уйдем.

— В первом люди на постах, а торпеды на товсь. Силы есть. Стоять будем сколько потребуется. Полагайтесь на нас, первый не подведет!

Правом на отдых никто не воспользовался. С боевого поста не ушел и юнга Гладышев. О том, что делается в отсеках, сужу по происходящему на центральном посту на моих глазах.

Старшина второй статьи Александр Игнатъев подошел к ручному приводу носовых горизонтальных рулей, у которого нес вахту матрос Николаевский, и сказал:

— Сдавайте вахту, идите отдыхать.

— Но я же член комсомольского бюро!

— Комсомол — смена партии, вот и смените меня, когда отдохнете.

Матрос обиженно посмотрел на старшину, доложил ему назначенную глубину погружения и отошел к штурманскому столу. Взяв листок чистой бумаги, начал быстро писать. Минуту спустя передал написанное мне.

«В партийную организацию подводной лодки «С-56»
от комсомольца Бориса Николаевича Николаевского
З а я в л е н и е

Прошу принять меня кандидатом в члены ВКП(б). Готовлюсь к вступлению давно. Буду примерным воином. Вахту хочу нести наравне с коммунистами.
28.02.1944 г. Б. Николаевский».

В тот день Ковалев получил шесть заявлений. Все просили об одном: принять их в партию и доверить нести вахту наравне с коммунистами.

Патронная известь, рассыпанная по настилам, нагретшись от активной реакции, поглотила некоторое количество углекислоты. Дышать стало немного легче. По-прежнему слышны взрывы бомб, но уже в стороне от нас.

Мы вышли победителями в схватке с врагом. Он ожидал, что мы пойдем, как раньше, на норд, а лодка давно повернула на восток. Сейчас у нас идет открытое партийное собрание с разбором заявлений о приеме подводников в партию. Проводится оно в условиях готовности номер один, когда люди не имеют права отойти от боевых постов и отвлечься от выполнения своих обязанностей.

Ковалев обходит носовые отсеки, заместитель парторга старшина первой статьи Василий Корзинкин — кормовые. Они зачитывают заявления, рекомендации, боевые характеристики, проводят голосование, информируют о том, как голосовали в других отсеках.

Кандидатами в члены партии единогласно приняты рулевые Борис Николаевский, Василий Легченков, электрики Наум Назаров и Леонид Федотов, моторист Дмитрий Бубнов, членом партии стал штурманский электрик Сергей

Мамонтов. Под вражеским огнем, под взрывами глубинных бомб вступили они в партию коммунистов.

Шумы вражеских кораблей не прослушиваются. Подняв перископ, я увидел немецкие сторожевики далеко на горизонте.

Через некоторое время мы всплыли на поверхность. Батареи полностью разряжены. Даже на запуск дизеля электроэнергии уже не хватило, пришлось запустить сжатый воздухом.

Несу командирскую вахту на мостике. Вентилируем лодку... Курить не хочется, настолько устали легкие. Мысленно подвожу итоги. Преследовало нас 7 противолодочных кораблей — 2 эсминца, 5 сторожевиков и тральщиков. Бомбежка длилась без перерыва двадцать шесть с половиной часов, на лодку сброшено 362 глубинные бомбы, по готовности номер один экипаж простоял 28 часов, а одна из боевых смен на 4 часа больше. Наша подводная лодка серьезных повреждений за время преследования не получила, боевую задачу выполнять может. А главное — дух личного состава не только не сломлен, но закалился еще больше. Люди поверили в свои силы и знают: воля коммунистов может быть сильнее смерти.

Через пять дней мы отыскали фашистский конвой и один из его транспортов потопили у мыса Омганг. Этой победой ознаменовали мы тогда вступление в ряды партии оставшихся беспартийных нашего экипажа и недавно прошедшую двадцать шестую годовщину Красной Армии и Флота.

В период пребывания на Северном флоте подводная лодка «С-56» выполняла специальные задания командования по высадке разведчиков в глубоком тылу противника. Действуя на вражеских коммуникациях, потопила 10 и повредила 4 гитлеровских корабля. За боевые успехи в 1944 году подводная лодка была награждена орденом Красного Знамени, а через год удостоена гвардейского звания.

Три десятилетия прошло с тех пор. Кончилась война. По просьбе трудящихся Приморья и воинов-тихоокеанцев подводная лодка «С-56», которой мне довелось командовать в годы войны, стала мемориальным кораблем-музеем.

Григорий Иванович Щедрин. Родился в 1912 году.
Член КПСС с 1939 года. Герой Советского Союза.
Вице-адмирал.

Г. Р. СТАРОВОЙТОВА



В ТЫЛУ ВРАГА

Все дальше и дальше уходят в прошлое годы моей суровой военной юности. Кажется, что и забыто уже многое. Но иногда достаточно бывает внешнего повода: знакомой песни, передачи по радио, теплого поздравления товарищей по работе — и прошлое вспыхивает так ярко, так явственно, как будто это было только вчера.

Начало февраля 1944 года. Западный фронт. Мне двадцать лет. Я уже считаюсь опытной радисткой-разведчицей. За плечами почти год работы в тылу врага на смоленской земле. И вот снова в насквозь промерзшем брюхе транспортного самолета «ЛИ-2» я лечу «в гости» к немцам, в далекую и пока незнакомую мне Белоруссию. Рядом Раиса Владимировна Минаева, мой старший товарищ, командир, моя «мама». По легенде мы мать и дочь. За время подготовки мы так сблизились и привыкли друг к другу, что люди, не знавшие нас раньше, нисколько в этом не сомневались и даже находили у нас внешнее сходство.

Монотонно жужжат моторы. Полет проходит относительно спокойно, если не считать короткого обстрела при перелете линии фронта. Летим уже больше часа. Но вот режим работы двигателей изменился, самолет резко накренился набок и, сделав разворот, выпрямился. Раздался сигнал зуммера, и тотчас же у двери зажглась лампочка. Значит, под нами пункт назначения, деревня Дубовый Лог, что в двадцати километрах восточнее Минска. В раскрытую дверь врывается холодный порыв ветра. Пора. С трудом отрываюсь от металлической скамейки и направляюсь к двери.

Высоты я боялась с самого раннего детства. Готовясь к прыжку, успокаивала себя тем, что прыгать будем ночью, темнота скроет реальные очертания предметов и высота не будет так ощутима. Но подойдя к двери, я по-настоящему испугалась. Внизу отчетливо видны и три костра, и фигурки людей, снующие около них, и снежное поле с редкими кустами, и лес. Все как на ладони. «Не прыгну, — пронеслось в голове. — Что подумают обо мне командиры, готовившие нас к заданию?» Чтобы хоть немного уменьшить высоту, я совсем по-детски решила присесть на корточки. В этот момент мешок с радиостанцией, висевший у меня на груди, потянул вниз, и я вывалилась из двери вслед за своим тяжелым грузом. Сильный толчок... и вот уже надо мной распустилось белое облачко парашюта. А еще через несколько минут я, поджав ноги, довольно сильно брякнулась на землю, и меня поволокло по снежному полю, пока не погас купол парашюта. Чьи-то сильные руки подхватили меня, поставили на землю.

Здравствуй, Белоруссия. Здравствуйте, хлопцы. Нас встретили представители разведгруппы штаба фронта, действующей на базе партизанского отряда «За советскую Белоруссию», Володя Панасюк, Виктор Черных, Митя Жигалов, Саша Яцневич. Молодые, сильные ребята, веселые лица. Рады, что все получилось так, как задумано. И мы радуемся, обнимаемся, целуемся, как будто давно знаем друг друга. Но наше прибытие в лесную группу Ловкого — это только первый этап задуманной и разработанной в разведотделе штаба фронта операции, и еще не самый сложный. Самое трудное впереди — выход к немцам, легализация и налаживание радиосвязи. Именно поэтому о нас должны знать как можно меньше людей.

Через Сашу Сосновского в поселке Колодищи найдена семья, согласившаяся принять нас с радиостанцией в свой дом. Это семья Борщевских. Что знали мы о ней? Глава ее — Надежда Феликсовна, вдова рабочего-железнодорожника. С ней живут ее дочери Люба, девушка постарше меня на два года, и Ира с четырехлетним сыном Аликом. Отдельной семьей жил старший сын Николай, староста поселка, исполнявший эту должность по поручению партизан. В шести километрах от станции Колодищи, у самой автостреды Минск — Москва, в военном городке Уручье жила еще одна дочь Надежды Феликсовны — Маруся. А в партизанском отряде находился средний сын Михаил. Мы знали также, что Люба связана с колодищанским подпольем и поддерживала самую активную связь со многими партизанскими отрядами, являясь их связной, и именно это обстоятельство больше всего тревожило наших руководителей в Центре. Очень уж «уязвима» была в этом отношении семья Борщевских. Но с другой стороны — Николай. Староста поселка. Местная власть. О его связях с партизанами знало строго ограниченное число лиц, на него возлагались большие надежды: получить разрешение на прописку в самих Колодищах — дело очень нелегкое и помочь в этом мог только Николай. По легенде мы дальние родственники отца Борщевских, преданные немецкому режиму люди, вместе с немцами отступающие из Смоленска. Мог ли немецкий комендант отказать в прописке самому старосте поселка, если к нему приезжают такие родственники?

На этом строили расчет наши руководители. Все эти сведения мы знали, еще находясь на подготовке. Но какие люди на самом деле стоят за сухими официальными данными? Что за человек Николай, можно ли ему верить до конца? И наконец, сойдемся ли мы просто по-человечески друг с другом? Мы не могли чувствовать себя спокойно, пока не познакомимся с этими людьми.

Но вот все подготовлено для выхода из леса. Решена сложнейшая задача с пропиской наших документов в Смолевичах, которые находились на пути к Колодищам. Необходимо было «обкатать» аусвайсы, изготовленные специально для нас в Смоленске, поставить на них первый настоящий немецкий штамп. Наконец назначен и день встречи с Любой. Главная задача для всех нас: как можно меньше посторонних глаз. Поэтому Саша Сосновский ведет нас лесными, только ему известными тропами к заброшенной избушке лесника, где должна состояться встреча.

— Передам вас из полы в полу, под расписку,— шутит Саша.

Я не помню точно, как появилась Люба, что мы говорили в первые минуты встречи. Кажется, она спросила с присущим ей юмором:

— Ну, где тут мои новые родственники?

Но зато отчетливо врезалось в память впечатление от самой Любы. Высокая, сильная, с большими серыми, очень живыми глазами. Но не красота ее поражала при первом знакомстве. Была в ее лице, улыбке, манере держаться некая «открытость», дающая сразу почувствовать в ней доброго, чуткого человека и в то же время сильный характер. Первое впечатление не обмануло. Люба оказалась верным другом, настоящим товарищем, человеком большой души и сердца. И я счастлива, что мне довелось испытать большое и сильное чувство чистой, самоотверженной и верной человеческой дружбы.

Позже, когда ее арестовали, а я осталась на свободе, серо и пусто стало вокруг, а сама я как будто постарела на много лет. И если что-то еще давало мне силу жить в тот момент, так это возможность работать. Радиостанция — мое оружие, которым я могла мстить за Любу.

Но все это случилось потом. А пока мы бодро шагаем по дороге и смеемся, слушая, как Люба рассказывает о своих родственниках и соседях.

— Все будет хорошо,— вдруг серьезно говорит Люба.— У нас в Колодищах спокойно, немцы особенно не задираются. Мы славно поработаем вместе.

И мы с Раисой Владимировной поверили, что все так и будет. Не может быть плохой семья, где росла и воспитывалась такая девушка, как Люба.

Колодищи — небольшой поселок с тремя рядами улиц, вытянувшихся параллельно железнодорожному полотну. Снова тревожно забило сердце. Во дворах домов, выходящих на главную улицу, по которой мы идем, маячат серо-голубые фигуры, слышится смех, гортанная речь.

Вот один из немцев подошел к забору, весело поздоровался с Любой, с любопытством окинул меня взглядом. Отвечаю ему вымученной улыбкой. Скорей бы уж кончалась эта дорога. Люба понимает наше состояние.

— Ну, последнее для вас испытание на сегодня,— шепчет она, показывая на группу людей, стоящих прямо на середине улицы.— Вон наш дом, мама и соседи уж тут как тут. Без них не обойдешься: знают, что к Борщевским родственники приезжают.

Встреча была разыграна с таким блеском, что даже нам с Раисой Владимировной показалось в какой-то момент, нет ли уж на самом деле между нами и Борщевскими родственными связей. Режиссером и исполнителем главной роли оказалась Надежда Феликсовна. Нам оставалось только подыгрывать ей. Она так естественно, всплескивая руками, охая, сокрушалась о том, что мы пережили, как похудели, изменились, вспоминала каких-то общих знакомых, спрашивала о ком-то, а сама все подталкивала и подталкивала нас к дому, подальше от любопытных глаз. И только войдя в дом, мы наконец вздохнули свободно. Теперь мы среди своих, самых родных, самых близких людей. Чувство душевной близости, взаимной симпатии пришло сразу, и на душе стало тепло и хорошо.

Много повстречала я на своем пути хороших людей. Но, пожалуй, именно здесь, в Колодищах, я, городская девчонка, по-настоящему увидела и поняла, что такое народ, поднявшийся на борьбу, народ, о котором так много говорили нам в школе, о котором я сама много читала, что такое причастность каждого человека к судьбе отчизны. Именно здесь, в Белоруссии, выполняя это задание, я увидела, как без громких слов, без расчета на славу, а просто потому, что иначе

нельзя, невозможно жить — иначе это будет против чести и совести, люди шли на подвиг, соглашаясь на дело, за которое можно попасть на виселицу, поплатиться головой, и часто не только своей, но и жизнью всех членов семьи от мала до велика. Вот таким человеком оказалась и Надежда Феликсовна. Она прожила нелегкую жизнь, вырастила шестерых детей, беззаветно любила маленького внука, и при этом она не только не пыталась отговорить Любу и Иру от опасного дела, но и сама активно включилась в подпольную работу.

Немало было острых и драматических моментов в Колодищах. Один из них произошел на первой же неделе. Уже схлынуло любопытство и интерес соседей к нашим персонам, у всех сложилось определенное мнение (не без помощи Надежды Феликсовны), что с нами лучше держать язык за зубами. Пора начинать работу: накопилось много сведений о противнике, которые нужно скорее передать в Центр. Радиостанция, оружие, шифр и основная часть денег, пока мы обжились, спрятаны были у Николая в сарае, где первоначально мы и предполагали работать. Но слишком много разных людей толкалось у него, и мы изменили решение. В это утро на санках в мешке с сеном перевезла Люба радиостанцию от Николая к нам. Домик у Надежды Феликсовны небольшой, с низкими окошками, неказистый с виду, но для нас это и хорошо: немцы на постой не станут. Дверь из холодного коридора ведет прямо в маленькую кухню, из нее два входа в комнаты, отделенные друг от друга фанерной перегородкой: одна поменьше — спальня, другая чуть побольше — «парадная», зал. Как в большинстве местных домов, центральное место занимает печь с большим подпечьем, выходящим в спальню. Зимой там часто держали кур, чтобы неслись в тепле. Это подпечье я облюбовала себе для работы. Решили врыть там сундук, в котором хранить рацию и питание. Готовя ее к работе, я буду отгребать верхний слой земли, открывать сундук и, подключив антенны, начинать связь. Таков был наш замысел, его мы и осуществили позже. Вырыть яму взялась Ира — она все делала ловко и быстро, все спорилось у нее в руках.

Мы внесли радиостанцию и питание в дом и, пока суд да дело, спрятали их в проеме подпечья, а шифр, деньги и оружие положили под диван. Ира вышла в сарай за сундуком, а я с двумя антеннами в руках соображала, как лучше раскинуть их в нашем маленьком домике. Раиса Владимировна и Люба были моими подручными. И вот в самый разгар этой «творческой» работы в дом вбежал маленький Алик:

— Вы тут сидите, а немцы по хатам ходят, чего-то ищут. У Завадских весь дом перерыли. Сейчас к нам придут.

Возбужденный Алик выскочил снова на улицу, а мы, взглянув в окно, с ужасом увидели, как из калитки соседнего дома выходит офицер с двумя автоматчиками и направляется к нам.

Раиса Владимировна медленно осела на диван, почти потеряв сознание.

Все дальнейшее произошло в считанные секунды. Первое мое движение — прячу антенны под матрац кровати. Люба:

— Нет, нет, надо под печку.

Выхватывает антенны и лезет под печь.

— Люба, что ты делаешь, ведь там рация, не успеешь, сразу обратят внимание!

Немцы уже на крыльце, входят в сени. Захлопываю дверь на крючок. Задержаться, во что бы то ни стало задержать.

— Скорей, Люба, скорей!

А в дверь уже загрохотали. Нельзя держать долго дверь закрытой — это возбудит подозрение. Откидываю крючок, распахиваю дверь. Краем глаза вижу — Люба вылезает из-под печки. В проеме двери — офицер, за ним два солдата. Офицер без шинели, уже немолодой, на груди множество орденов разных цветов.

— Битте, битте, — говорю я. — О, какие гости к нам пожаловали, какой заслуженный боевой офицер, сколько наград!

Огорошенный в первую минуту, а затем явно польщенный вниманием, он замирает на пороге, расплывается в любезной улыбке и пытается объяснить, за что награжден. Один из солдат, потоптавшись возле нас, все-таки вошел в комнату. Вижу, как раскрасневшаяся Люба, поправляя одной рукой волосы (в другой у нее зажата яичная скорлупа), задвигает ногой фанерку, прикрывающую обычно отверстие подпечья.

— Ну вот, — сокрушается она, поднося к самому носу солдата раздавленное яйцо, — хотела яичницей угостить вас, да разбила, пока вылезала.

— О, нишего, нишего. У нас и времени нет. Мы должны у вас посмотреть. О, совсем немного, — добавляет он.

Солдат окидывает взглядом комнату, подходит к кровати, поднимает матрац. «Господи, — проносится в мозгу. — Если бы не убрали антенны!»

Силы оставили нас сразу, как только за немцами захлопнулась дверь. Опустошенные, мы все трое еле добрались до кровати. Страшное нервное напряжение несколько спало, но на душе тревожно. Почему обыск? Ведь такого никогда не было в Колодищах. Может, что-то прослышали о нас?

Причину выяснили в тот же день: немцы искали похищенный автомат (сталили мальчишки для партизан). Даже страшно подумать, что могли найти они вместо своего автомата.

Место размещения нашей группы было определено руководством не случайно. Через поселок проходила важная железнодорожная магистраль Минск — Орша, ведущая к линии фронта, в трех километрах пролегла автострада Минск — Москва, имевшая большое стратегическое значение. Наше командование интересовало размещение войск, строительство оборонительных сооружений, поведение и настроение самих немцев, отношение их к местному населению.

Раиса Владимировна быстро «оседлала» все важные объекты своими людьми, и нужная нам информация потекла непрерывным потоком. Начальник станции Колодищи обер-лейтенант Отто, у которого работала Ира, часто говорил с ней о служебных делах, да и вся документация шла через ее руки. Так мы узнали о переброске войск по железной дороге с территории Франции, знали о прохождении к фронту всех наиболее важных эшелонов. Маруся, старшая дочь Надежды Феликсовны, работавшая на пункте приема молока, ежедневно давала информацию о ходе строительства рубежа обороны восточнее Минска, о расквартировании войск в окрестностях Уречья. Мы с Любой, устроившись работать в штаб полка охранной дивизии, слышали и видели много нужного для нас. Довольно часто заводились разговоры о положении дел на фронте, немцы рассказывали о себе, о своих семьях. В ходе беседы появлялись фотографии, извлекались удостоверения личности, солдатские книжки. Мы хорошо знали, на какой странице этих документов указан номер части. Особенно это удавалось Любе.

Раиса Владимировна обобщала, обрабатывала полученные сведения, готовила их к передаче. Командование не раз благодарило нас за работу. Условия радиосвязи были очень тяжелые. Центр плохо слышал слабый голос моего «Северка». Согнувшись в три погибели в своем тесном «кабинете», я просиживала по четыре-пять часов подряд, чтобы передать одну радиogramму. Попутно с основной работой я выполняла и задания Колодищанской подпольной организации: ежедневно через свою рацию принимала сводки Совинформбюро, которые затем через Любу и верных людей распространялись среди местного населения. Так шла наша жизнь в Колодищах.

Наступил апрель сорок четвертого, немцы поговаривали о возможном летнем наступлении наших войск, но тут же добавляли, что у Советской Армии не хватает сил прорвать оборонительные линии на Днестре и Березине.

В Колодищах было относительно спокойно. И вдруг бурей пронеслась страшная весть: схвачена и арестована связная одного из партизанских отрядов. Она хорошо знала Любу и всю молодежь поселка, поддерживавшую связь с партизанами. Положение становилось опасным прежде всего для Любы. Мы уговаривали, настаивали, требовали, чтобы она немедленно ушла в лес.

Мой смелый, мой благородный друг! Разве она могла хоть на минуту допустить мысль, что кому-то пытки и допросы могут развязать язык, что кто-то может проявить слабость и выдать своих товарищей по работе. Она судила о людях по самой себе.

Перед самой пасхой арестовали нескольких человек из соседней деревни. Тогда мы все в один голос потребовали от Любы ее немедленного ухода, я стала даже собирать узелок с необходимыми вещами.

— Хорошо, я уйду после праздников, — согласилась наконец Люба. — Не будут же они арестовывать на пасху, они ведь ее справляют.

Любу арестовали в первый день пасхи. Во время обеда, когда все мы собрались за столом, за окном вдруг резко затормозила машина и почти сразу же без стука вошли немцы. Медленно окинув нас тяжелым взглядом, фельдандарм остановил его на Любе.

— Ты есть Люба Борщевская? Собирайся, ты есть партизан, ты арестован!

Выдержка, спокойствие никогда не изменяли Любе, не изменили они ей и сейчас. В своей обычной манере общения с немцами — легкой насмешки, иронии, спрятанной под игривой улыбкой, — она спокойно, только чуть побледнев, сказала:

— Партизаны в лесу, вы ошиблись адресом.

Два солдата подошли к Любе, пытаясь взять ее под руки.

— Отойдите, я сама. Не бойтесь, не убегу, — отстранила она их и добавила: — Это недоразумение, вы еще ответите за него.

В тот же день взяли еще нескольких человек из Колодищ. На другой арестовали Иру. А дальше стало твориться вообще что-то необъяснимое. Немцы явно нервничали, аресты приняли хаотический характер, забирали, как метлой мели, виновных и невиновных. Поселок оцепили, дороги перекрыли. Над Колодищами стоял плач.

Центр приказал нам уйти в лесную группу, оставив на месте радиостанцию. В той напряженной, подозрительной атмосфере, в которой все эти дни жили в Колодищах, когда даже выйти из поселка опасно, уходить в лес с радиостанцией было более чем рискованно. Но, с другой стороны, что мы без радиостанции? А время наступало самое горячее: началась усиленная перегруппировка немецких войск, явно назревали серьезные события на фронте, через Колодищи непрерывно шла техника, воинские подразделения, усталые, измученные солдаты.

Да, нужна, конечно, нужна радиостанция. Решили так. Раиса Владимировна пойдет первая без компрометирующих ее вещей и документов. Я же попытаюсь выйти из поселка на другой день с радиостанцией. Встретимся в деревне Водопой (в пяти километрах от Колодищ), пограничной с партизанскими краями. Там верный человек сообщит группе о нашем выходе.

И вот наступило памятное утро. Пасмурные, серые, рваные облака неслись по небу, временами сеял мелкий дождь. Надежда Феликсовна собирала меня в путь молча, сосредоточенно, старалась не смотреть в мою сторону. Она упаковала рацию в большую мягкую, сплетенную из соломы сумку, затем накрыла сверху пестрой тряпкой, сбоку сунула бутылку молока для маскировки. Наконец наши взгляды встретились. Мы бросились друг к другу.

— Галечка, останься живой, останься живой, — шептала она. Слезы мешали ей говорить, платок сполз с седой головы. — Останься живой, хоть ты останься, — повторяла она.

Медленно иду по улице, прижимаясь к домам, к заборам, навстречу громят танки, машины, идут солдаты. Сворачиваю на боковую улицу — впереди здание школы. Им кончается улица, кончается поселок — дальше пост. Невольно замедляю шаг, внутренне собираюсь, нащупываю в кармане аусвайс. Только бы не проверили сумку. И вдруг на крыльцо школы выходит знакомый немец из местного гарнизона. Он явно навеселе. Увидев меня, заулыбался, спешит навстречу.

— О, Галина, как приятно увидеть вас сегодня! — кричит он.

«Черт бы тебя побрал», — думаю я, опуская свою тяжелую ношу на землю.

— Это почему же сегодня особенно приятно? — обращаюсь к нему.

— О, как можно не знать, сегодня день рождения фюрера. Вечером в гарнизоне танцы, я приглашаю вас. Можно надеяться?

— У нас заболела родственница, нужно отнести ей кое-что. — Смотрю на сумку. — Возможно, я успею вернуться к вечеру.

— Я буду немного провожать вас. — Он поднимает сумку. — О, тяжеленько, — смеется он.

Солдаты на посту берут под козырек, приветствуя офицера, а я небрежно киваю. Дойдя до первых кустиков, мы прощаемся. Сердце радостно колотится в груди. Неужели пронесло? Теперь осталось пройти одну деревню, а дальше лесом до Водопоя. В деревне Водопой, стоящей на берегу мелкой речушки, меня уже ждали хлопцы из группы вместе с Раисой Владимировной. Сбегаю с горки прямо в широкие их объятия. Сильные руки подбрасывают меня вверх.

— Ну вот, — смеются ребята, — мы снова встречаем тебя с неба.

И в это время раздается автоматная стрельба. Немцы!

Деревня Водопой тем и славилась, что в ней поочередно бывали то немцы, то партизаны. Принимать бой малочисленной группой было безрассудно, и хлопцы решили отступить за речку, в большой лес. Речка была границей, которую не отваживались переступить немцы. Саша Яцкевич (не пропадать же добру) схватил горячую сковородку с шипящей яичницей и понесся с ней к речке.

— Хозяйка, сковородку и чепелу вернем к вечеру! — кричат ребята.

С того времени прошло тридцать лет. Надежда Феликсовна живет сейчас в Минске, в семье своего внука Алика. Именем Любы и Иры Борщевских названа одна из улиц поселка Колодищи. В колодищанской средней школе организован музей партизанского подполья. Раз в год здесь обязательно собираются старые боевые друзья-партизаны. И тогда за широким столом можно увидеть и Владимира Лаврентьевича Панасюка, главного организатора и инициатора этих встреч, и профессора Минского медицинского института Александра Тимофеевича Сосновского, и многих, многих других.

Но на самом почетном месте вы увидите невысокую старушку с добрыми и еще совсем нестарыми глазами в мелких морщинах. Это Надежда Феликсовна Борщевская. Поклонимся же ее подвигу.

Галина Романовна Старовойтова. Родилась в 1923 году. Во время войны (1942—1945) разведчица-радистка в тылу врага. Ныне методист Московского городского института усовершенствования учителей.

П. М. ПАРХОМОВСКИЙ



В ДНИ ШТУРМА БЕРЛИНА

Из всех долгих и коротких боев военных лет особенно помнится мне штурм Берлина — по ожесточенности и необычности боевых действий обеих сторон не было ему, пожалуй, равных в годы Великой Отечественной войны.

В апреле 1945 года я командовал 8-м гаубичным артиллерийским полком 1-й Польской армии. Полк входил в состав 3-й гаубичной артиллерийской бригады, поддерживавшей польские стрелковые соединения, которые вместе с частями Советской Армии выполняли задачу по окружению Берлина.

В 5 утра 27 апреля командный состав бригады прибыл в штаб 2-й танковой армии. Командующий артиллерией армии генерал-лейтенант Г. Д. Пласков разъяснил задачу, указал районы сосредоточения полков, места огневых позиций, передал таблицу огня. Нашей бригаде предстояло поддерживать части 12-го гвардейского танкового корпуса.

Полковник И. И. Таранов, командовавший артиллерией корпуса, поставил задачи нашему полку: подавить огневые точки вдоль Шпрее и Ландвер-канала, уничтожить вражескую артиллерию, сосредоточившуюся в Тиргартене, а затем сопроводить наступление танков по Рихард-Вагнерштрассе, Бисмарк- и Флотовштрассе до рейхстага и Альт-Моабитштрассе.

Было 7 часов утра, когда танковый корпус сосредоточился в районе Сименштадта, а полки нашей бригады заняли огневые позиции в Народном парке.

Танки пошли в бой с ходу. Наступила и наша очередь. На первых порах было сравнительно нетрудно, но часа через два, когда танки обогнули рукав Шпрее, между нами оказались многоэтажные дома. Стрелять из тяжелых гаубиц навесным огнем стало невозможно.

Осмотр прилегающих домов убедил меня в необходимости стрелять только прямой наводкой — иначе мы можем ударить по своим войскам.

Батареи поручиков Ефименко и Корягина выкатили свои орудия на улицы и с расстояния в двести метров стали уничтожать танки, обстреливать здания, из которых вели огонь фашисты. Наши танки продвинулись немного вперед, но не успели они свернуть на следующую улицу, как оборвалась связь между батареями. Наши гаубицы снова замолчали, танки попали под прямой огонь немецких огневых точек, а мы ничем не могли помочь.

Надо сказать, что значит связь для артиллеристов. Ясно, что любому подразделению крайне трудно вести боевые действия без связи с командованием, НП, соседями. Но для артиллерийских частей лишиться связи значит лишиться глаз, не знать целей, не ведать, куда следует направить огонь. Батареи были связаны между собой и со штабом, дивизионы — между собой и со штабом и т. д. Многочисленные провода, кабели вели в разных направлениях, и каждое повреждение телефонной линии ставило перед нами труднейшую задачу. Осложнялась она еще и тем, что в том вселенском хаосе, что царил в те дни в Берлине, каждое подразделение всех родов войск тянуло свой провод, и найти нужный кабель в темноте, под ураганным обстрелом бывало далеко не просто.

Восстанавливать связь отправились поручик Мжельский и бомбардир Вильконский. Прижимаясь к стенам, короткими перебежками, используя для укрытия каждый камень, выступ, подъезд, пробирались смельчаки по телефонным проводам в поиске разрыва.

Одновременно с Мжельским и Вильконским отправились восстанавливать связь в других направлениях старшие сержанты Адам Готвальд, Антони Бласяк и сержант Здислав Узар. И скоро мы снова стали «видеть» — ожили, заговорили наши батареи, расчищая путь танкистам и стрелковым частям.

В течение всего дня 27 апреля наше наступление измерялось десятками метров. С большим трудом продвинувшись на квартал, мы словно оказывались в окружении: во многих подвалах домов, на первых этажах, хорошо укрепленных, заранее подготовленных к упорной обороне, оставались вооруженные немцы, зачастую старики и почти дети. Но так сильна была отравка геббельсовской пропаганды, так велик был страх перед Советской Армией, что даже в самом безвыходном положении немцы сопротивлялись с ожесточением, близким к фанатизму. А у нас не хватало людей, не хватало физических сил прочесывать подвалы и квартиры в освобожденных домах, обезвреживать себе тыл. И мы получали «гостинцы» со всех сторон — нам стреляли в спину из автоматов, в орудия и машины летели фаустпатроны, а иной раз в только что освобожденном квартале оживал пулемет.

И все-таки мы продвигались вперед. 28 апреля наши танкисты были уже на Берлинерштрассе — мы подходили к самому сердцу врага, и это придавало сил, заставляло забывать о том, что прошла еще одна бессонная ночь, что кухня снова не добралась. Но больше всего нас мучила жажда — воды не было нигде...

Сейчас даже трудно представить, как хватало у нас сил в те дни: ведь не спали по несколько ночей, недоедали, но уверенно и дерзко делали главное — уничтожали врага. Осталось только ощущение, будто было все это не наяву, а во сне...

Когда и меня не миновал вражеский огонь и два осколка угодили в правое колено, я категорически отказался отправиться в тыл. Капитан Кунцевич, наш полковой врач, заправил ногу в деревянные лубки. Это было седьмое ранение за войну, но уйти из Берлина, когда мы уже добивали врага, я не мог.

Около полудня мы повернули на Гверигештрассе. Впереди послышалась ожесточенная пулеметная стрельба, взрывы фаустпатронов, но из-за едкого черного дыма, заполнившего улицу, ничего нельзя было рассмотреть. Я хотел было выйти из полуразрушенного помещения в первом этаже углового дома, когда услышал, как кто-то, запыхавшись, окликает.

— Что случилось? — спросил я, выйдя навстречу полковнику с золотой Звездой Героя на гимнастерке.

— Артиллерия! Давай скорее огня!

— Что случилось?

— Танки горят!

— Как горят?

— Танки остановились у забора, а фаустники их поджигают! Надо немедленно разворотить стену, не то пропадет вся бригада!

К сожалению, я не запомнил фамилию командира бригады, но отчетливо помню отчаянную храбрость танкистов. Оказалось, что на перекрестке двух улиц немцы соорудили баррикаду из рельсов, шпал, булыжника. Когда первый танк с разбегу ударил в нее, баррикада даже не шелохнулась. Танк попытался и снова разогнался, но пробить заграждение так и не удалось. А когда танк остановился, в него из-за стены полетели фаустпатроны.

Горели уже три танка.

Нужно разрушить стену, но если стрелять прямой наводкой, мы сами пострадаем от своих же осколков — слишком мало было расстояние от позиции, на которую выкатили гаубицу, до стены. Но прошло совсем немного времени, и наша гаубица оказалась в большой гостиной на третьем этаже девятиэтажного дома, а ствол ее через балконные двери наведен прямо на баррикаду. Больше 20 снарядов пришлось выпустить, чтобы развалить проклятую стену.

29 апреля продолжались такие же тяжелые бои. Мы потеряли счет часам, не замечали смены дня и ночи и только время от времени, продвинувшись вперед, поглядывали на окна домов, где все чаще вывешивались белые флаги — простыни, наволочки, скатерти — знаки капитуляции.

Но сопротивление гитлеровских войск не ослабевало. И польских и советских солдат зачастую выручали не только беззаветная храбрость и боевой опыт, но и смекалка, находчивость, товарищеская взаимовыручка.

Хочется сделать небольшое отступление, чтобы быть правильно понятым читателем. Рассказывая об участии в штурме Берлина, я называю лишь несколько фамилий — размер очерка не позволяет большего. Но надо иметь в виду, что наш полк представлял собой крупную боевую единицу, и только надежно отлаженный механизм боевого взаимодействия всех подразделений позволял выполнять стоявшие перед нами задачи. Отвага, мужество, боевая сноровка каждого польского артиллериста были неотъемлемой чертой боевых действий всего полка. Командующий артиллерией корпуса ежедневно при докладах командиру корпуса неизменно отмечал слаженность орудийных расчетов и отвагу польских воинов.

Именно эти качества позволяли нам продвигаться вперед, расчищать дорогу танкистам.

К исходу дня 29 апреля ко мне на наблюдательный пункт пришли генерал-лейтенант Г. Д. Пласков и полковник И. И. Таранов. Несмотря на все усиливавшуюся боль в ноге, я постарался по всей форме доложить обстановку.

— Карту! — потребовал генерал.

Командующий склонился над испещренным листом и минуту спустя распрямылся.

— Вот здесь, — спичка в пальцах генерала замерла на развилке двух улиц, — здесь наступление приостановилось. Сюда, на передний край, надо выслать разведку и засечь огневые точки противника. Пошлите на разведку офицеров.

— Слушаюсь, товарищ командующий.

Группу разведки возглавил помощник начальника штаба полка капитан Цукерман. Кроме него, на передний край отправились поручик Дмитрий Ефименко, старшие сержанты Ричард Иванцов, Зенон Штейн и еще несколько самых отважных наших командиров.

Какое-то время мы могли видеть, как разведчики, будто вжимаясь в развалины, в стены домов, укрываясь в подъездах, разбитых машинах, пробирались вперед. Но вскоре они скрылись, и я стал прислушиваться к переговорам генерала по телефону. Командующий артиллерией армии связывался с соседями, уточнял обстановку и сразу же наносил на карту условные знаки. Картина боя постепенно прояснялась, но не хватало данных по самому переднему краю.

Медленно тянулось время. Огонь не утихал ни на минуту. Ожесточенный, настойчивый обстрел, казалось, смял все живое. Тревога за разведчиков все более охватывала меня, когда наконец они прямо-таки ввалились в подвал — целые, невредимые, но совершенно запорошенные донимавшей всех нас пылью от штукатурки и копотью.

— Разрешите доложить, товарищ генерал! — обратился Цукерман к генералу Пласкову, и по торжественному голосу, по лихорадочному блеску воспаленных глаз (ведь капитан, как и все мы, не спал третьи сутки!) я понял, что разведка была успешной.

Менее получаса понадобилось нашим батареям, чтобы уничтожить огневые точки, которые засекла разведка Цукермана. Танки пошли вперед по Берлинерштрассе.

1 мая мы находились уже в районе Тиргартена — в предполье рейхстага, где особенно много оказалось дотов и дзотов, множество подземных гарнизонов и большие запасы боеприпасов.

Мы приближались по Берлинерштрассе к зданию политехнического института, уже занятого нашими передовыми частями. Но из правого крыла дома упорно продолжал бить вражеский пулемет, держа под прицелом проезжую часть улицы, по которой двигались советские войска.

Наши батареи еще не успели занять боевые позиции, когда на близлежащий к политехническому институту район немцы обрушили шквал огня. Все, кто находился посреди улицы, бросились в укрытия. Остановились полторки с ящиками боеприпасов шедших вслед за нами стрелковых частей, укрылись за грудками щебня автоматчики.

Рядом со мной на передовом НП оказались два политработника — хорунжий Чеслав Волянин и подпоручик Максимилиан Бартман. Я уже несколько раз поглядывал на стоявшую недалеко от нас гаубицу. Мы видели, как командир этого орудия сержант Рыдлицкий, огромный, с великолепными пушистыми усами, вынужден был оставить орудие на опустевшей улице, так как остался без прикрытия. Но сейчас заставить замолчать фашистский пулемет могла только эта гаубица — она стояла метрах в двухстах от здания института и стрелять из нее можно было бы прямо по огневой точке немцев. Для раздумья времени не оставалось.

— Хорунжий Волянин, подпоручик Бартман! Подавите огневую точку той гаубицей, что стоит на Берлинерштрассе!

— Слушаюсь, пан полковник!

Хотя я и испытывал некоторое внутреннее колебание, отправляя офицеров политотдела на боевое задание, я надеялся на успех. Не только отвага и трезвый расчет должны были помочь им — хорунжий имел большой опыт боев, он воевал в польской армии с момента ее создания, командовал взводом противотанковых ружей в 1-й пехотной дивизии — словом, был не новичок в боевых делах. Бартман тоже прошел немалый боевой путь, но по-прежнему имел вид сугубо гражданский и никак не мог выработать в себе воинскую выправку. Адвокат

по профессии, человек флегматичный, несколько рассеянный, он, признаться, мало подходил к роли заряжающего...

Бартман шел по пустынной улице подчеркнуто спокойно, даже не пригнувшись. Воротник шинели поднят, руки в карманах — прогуливается человек, что-то обдумывая. Наверное, не у одного меня перехватило дыхание, пока он шел по особо опасной части улицы. Но Бартман будто не замечал взвизгивавших и цокавших пуль, не слышал взрывов снарядов и свиста осколков. Подпоручик спокойно приблизился к орудию и склонился над замком гаубицы.

Тем временем к нему присоединился Волянин. Он тоже выбрал прямой путь, но преодолел его как положено — перебежками, рискуя разумно, по-солдатски.

Я вздохнул облегченно, когда увидел, что оба офицера по-деловому хозяйничают около гаубицы, готовясь к выстрелу прямой наводкой. И в этот момент сквозь пулеметный треск и оружейный грохот ясно послышался крик:

— Панове офицеры! Почекайте!

Это кричал Рыдлицкий. Спустя две-три минуты он подбежал к артиллеристам с другой стороны и, отстранив Волянина от приборов, стал наводить гаубицу на цель через ствол — на близком расстоянии при стрельбе прямой наводкой это вернее.

Немцы еще более усилили обстрел. Было слышно, как отскакивали от металлического щита гаубицы осколки, как рикошетили, отлетая от асфальта, пули. Сержант наконец приготовил гаубицу и выстрелил.

Ко второму выстрелу артиллеристы приготовились почти мгновенно, и снова раздался грохот. И первый и второй снаряды накрыли цель безошибочно — это было видно и невооруженным глазом. вся стена нижнего этажа здания в правом крыле института превратилась в зияющую пробоину. Путь был свободен.

Первыми на улицу выбежали советские автоматчики и кинулись к стоявшим поодаль полуторкам с боеприпасами. На одной из машин что-то дымил, это заметил и Волянин — машина стояла недалеко от орудия. Хорунжий в несколько прыжков оказался в кузове, и из него полетел дымивший ящик. Подоспевшие бойцы быстро погасили пожар. Спустя несколько минут, когда Волянин и Бартман вернулись и доложили о выполнении задания, по Берлинерштрассе уже полным ходом шли советские части.

...Потом, когда уже наступил полный, настоящий мир, я пытался последовательно восстановить все события тех последних дней войны. И не смог. Не то чтобы я не помнил, что делал и видел, — я все прекрасно помню, но вот восстановить полностью события, связанные со штурмом Берлина, не смог.

Но день 1 мая помню хорошо. Солнце наконец прорвало и облака и тучи дыма и гари. Казалось, что оно выглянуло, чтобы приободить нас, прибавить сил, чтобы помочь нам закончить эти бесконечные уличные бои.

К концу дня 1 мая я наконец ушел с передового наблюдательного пункта и спустился в подвал, где расположились штабы танкового корпуса и бригад. Сильно болела нога, надо было сменить повязку и хоть немного передохнуть. Я устроился на довольно удобном стуле недалеко от командира корпуса. Только я сел, как зазвонил телефон, и связист передал генералу трубку.

— Пятый слушает.

По ответам генерала стало ясно, что он говорит с вышестоящим командиром, но смысл разговора непонятен.

— Слушаюсь, будет выполнено!

Генерал положил трубку и, как мне показалось, пытался сосредоточиться на том, что только что услышал. Наконец он сказал, обращаясь к начальнику штаба корпуса:

— Командующий приказал выслать представителей к Ландвер-каналу, чтобы встретить парламентариев от танковой группировки немцев и отправить их в штаб армии. Подготовьте офицеров и сопровождающих. Отдан приказ не стрелять до переднему краю.

— Слушаюсь, товарищ генерал! На какое время назначена встреча?

— На двадцать два по немецкому времени.

Начальник штаба склонился над столом рядом с командиром корпуса, согласовывая состав наших парламентариев.

Генерал повернулся в мою сторону:

— Пойдешь с парламентарями? Такое дело — надо бы, чтобы от польских артиллеристов кто-то был. Да и язык ты хорошо знаешь...

Признаться, это предложение застало меня врасплох. По-прежнему не угнала боль в колене, усталость придавила меня к стулу. Хотелось только одного: хоть на несколько минут закрыть глаза и дать телу и нервам покой. К тому же каждый из нас по горькому опыту войны знал, на что способны гитлеровцы: в памяти у каждого были случаи, когда фашисты предательски расстреливали безоружных парламентариев. За несколько секунд словно пронеслись перед глазами долгие дни боев, сквозь которые удалось пройти хоть и не невредимым, но живым. Я мог отказаться и не рисковать в последние, может быть, часы войны. Но...

— Я пойду, товарищ генерал. Разрешите взять с собой поручика Мжельского.

— Хорошо, полковник.

Мы стали обсуждать маршрут. Было уже темно, времени у нас оставалось мало. Если идти по карте, можно не успеть к назначенному времени, да и риск большой: в развалинах домов сидело еще немало недобитых фашистов.

— Товарищ полковник, а если пойти по кабелю? — предложил вдруг один из назначенных в сопровождение автоматчиков.

Идти по кабелю — значит, пробираться вдоль протянутой телефонной линии. Конечно, это кратчайший путь, но можно себе представить, где он проходил, этот кабель, в разрушенном городе. И все же мы решились идти по телефонной линии. Один из автоматчиков взял в руки наш кабель, и мы цепочкой, друг за другом двинулись в путь. До моста через канал мы пробирались чуть ли не на четвереньках: провод вел сквозь пробитые стены, окна, через кучи битого кирпича. И только у широкого моста с высокими бетонными парапетами удалось выпрямиться во весь рост. Настораживала тишина — мы успели забыть, какова она. Не прошли мы и пятидесяти метров, как словно в подтверждение нашей тревоги раздалась автоматные очереди. Все бросились на мост, не понимая, кто это стреляет, — мы были еще на нашей территории. И вдруг послышались голоса наших автоматчиков, поминания родителей по материнской линии, а также бога и всех святых... И, как ни странно, стрельба прекратилась.

Конечно, ни один историк подобные факты приводить в своих исследованиях не станет. Но, как говорится, из песни слова не выкинешь. По звучной реакции автоматчиков стрелявшие в нас поняли, что по мосту идут свои, и прекратили огонь. К нам подбежал старший лейтенант — как оказалось, командир роты, охранявшей мост. Нетрудно представить, что мы ему говорили... К счастью, никто не пострадал — нас защитил высокий парапет.

— Не было нам приказа не стрелять, братцы. Вы уж не держите на нас зла, — пытался успокоить нас командир роты. — Мы тут голову совсем потеряли, не знаем, куда стрелять — со всех сторон третьи сутки пальба ни на минуту не стихала, а тут почтай уж два часа немцы молчат. Мы так и решили, что провокация готовится. А когда увидели головы на мосту, тут уж совсем перестали сомневаться...

Мы оставили разговорившегося старшего лейтенанта и поспешили вперед: время было на исходе, а идти предстояло еще не меньше четверти часа — это здоровыми ногами...

На противоположном конце моста мы натолкнулись на такую же стену, какая была на Гверигештрассе три дня назад. Но здесь, видимо, сами немцы проделали лаз, и мы пробрались через него. Перед нами оказалась широкая улица, погруженная в темноту. Сподохи отдаленной канонады позволяли рассмотреть, что улица совершенно пустынна. В спешке никто не захватил ни мегафона, ни свистка. В непривычной тишине мы остановились, решая, что предпринять.

— У товарища подполковника голос басовитый, может, покричать фрицам? — предложил кто-то из сопровождавших.

— В самом деле, подполковник, делать нечего, надо как-то дать о себе знать, — обратился и я к парламентарю-подполковнику.

Басистый подполковник сложил ладони рупором и прокричал:

— Говорят представители советского командования! Выходите на переговоры!

Через несколько минут один из автоматчиков, стоявший на коленях и вглядывавшийся вдаль, предупредил:

— Идут!

К нам приближались два человека. Когда они подошли, я осветил их фонариком — это были два унтер-офицера.

— Где ваши парламентары?

— Господа офицеры были здесь в двадцать два часа. Когда у вас началась стрельба, господа офицеры приказали повернуть назад.

— Но стреляли ведь на нашем участке! Ступайте за парламентарями и приведите их сюда.

Прошло минут пятнадцать. Послышалось характерное чирканье кованых сапог об асфальт. К нам приблизилась группа — три офицера и два унтер-офицера. Внешний вид парламентаров свидетельствовал о тщательной подготовке к происходящей процедуре. Перчатки, безукоризненная форма, начищенные сапоги, гладко выбритые подбородки. Я даже явственно почувствовал аромат одеколона... И невольно представил себя со стороны: испачканный китель, усыпанный известковой пылью и щебенкой, измятые брюки... Немногим лучше выглядели и мои товарищи. Ну что ж, нам было пока недосуг приводить себя в порядок — мы выбивали фашиста из его последнего логова. А последние усилия этих прусских последышей были, как видно, направлены на соблюдение внешнего приличия. Ничего не скажешь — хорошая мина при плохой игре!..

Унтер-офицеров мы отравили обратно, а офицеров повели с собой. И снова через лаз, по кабелю, по развалинам. Подполковник из штаба армии повел парламентаров дальше, а я спустился в подвал. От долгой ходьбы я сильно растер ногу лубком, врач перевязал меня, и я тотчас уснул.

Проспал я часа три и проснулся от настойчивого потряхивания за плечо. Открываю глаза — Мжельский.

— Вставайте, товарищ полковник. Идите смотреть, что делается!

Я вышел на улицу. Мы находились совсем недалеко от рейхстага, в начале одной из главных улиц Берлина — Унтер-ден-Линден. И я увидел незабываемую картину: капитулировали части берлинского гарнизона. Вдоль всей улицы походной колонной шли немцы без оружия, с опущенными головами — затылки, затылки, затылки... Это было самое радостное зрелище, которое мне пришлось когда-либо наблюдать. Я увидел позор чванливых гитлеровских офицеров, мечтавших пройти триумфальным маршем по Красной площади Москвы!..

Путь наш лежал мимо Бранденбургских ворот, через площадь, где не раз устраивали фашисты свои сборища. Но в тот день, 2 мая 1945 года, на площади совершалось нечто доселе здесь невиданное: советские солдаты, кто под аккордеон, кто под мандолину, гитару, плясали русскую барыню на том самом плацу, где еще совсем недавно печатали шаг гитлеровские вояки. И как радостно было видеть веселье нашего воина, пришедшего после четырехлетней изнурительной войны в логово фашиста и искренне, во всю русскую ширь праздновавшего свою победу!..

От философски-блаженного раздумья меня отвлек голос поручика Звержанского, начальника штаба дивизиона:

— Смотрите, друзья, наш флаг!..

Он сказал это с таким ликованием в голосе, такой неподдельной и неожиданной радостью, что все мы одновременно закричали:

— Нех жие Польска!

В воздух полетели конфедератки.

Да, радость каждого поляка была безмерной: польский флаг на Бранденбургских воротах означал окончательное освобождение Польши от фашистского ига.

Так закончилось наше участие в последнем штурме этой величайшей из войн.

После завершения битвы наш полк наградили орденом Александра Невского, а бригада получила наименование Поморская. Многих наград, советских и польских, удостоены воины полка, мне выпала честь получить от польского командования самый почетный орден — крест «Виртути Милитари».

Велико значение того факта, что рядом с прославленными советскими войсками шли в суровых боях части польских воинов. Этот боевой союз навеки укрепил дружбу между Советской Армией и Войском Польским, между народами Советского Союза и Польской Народной Республики.

Сейчас, тридцать лет спустя, вспоминая совместные боевые действия советских и польских войск, я испытываю большое чувство благодарности ко всему составу полка, с которым прошел нелегкий боевой путь от Буга до Шпрее. Я склоняю голову перед погибшими боевыми товарищами — честь и слава их памяти! Честь и слава всем, кто в едином боевом строю отстаивал свободу родной земли во имя счастья и равенства народов.

**Петр Михайлович Пархомовский. Родился в 1902 году.
Член КПСС с 1927 года. Командир гаубичного артиллерийского полка Войска Польского в годы Великой
Отечественной войны. Полковник в отставке.**



ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

П. КОЗЛОВ

★

«ИЛЫ» ЛЕТЯТ НА ФРОНТ*

VI

В апреле 1942 года количество сданных заводом в Красную Армию самолетов достигло уровня выпуска машин на старой площадке.

Слово, данное правительству, завод выполнил!

Это обстоятельство дало коллективу право выступить инициатором Всесоюзного социалистического соревнования работников авиационной промышленности.

В майские дни 1942 года коллективы самолетостроительного ордена Ленина завода № 18 и моторостроительного ордена Ленина завода № 26 выступили с предложением организовать Всесоюзное социалистическое соревнование работников авиационной промышленности. «Взвесив свои силы, мы пришли к общему мнению, что можем не только выполнять, но и ежемесячно перевыполнять государственный план выпуска самолетов и авиамоторов...» — говорилось в обращении этих заводов, опубликованном в «Правде» 7 мая 1942 года.

Политбюро ЦК ВКП(б) одобрило предложение передовых заводов, которое немедленно подхватило коллективы не только авиационной промышленности, но и всех других отраслей народного хозяйства.

13 мая 1942 года Государственный Комитет Обороны (ГКО) учредил переходящие Красные знамена победителям Всесоюзного социалистического соревнования предприятий авиационной промышленности. Политбюро ЦК ВКП(б) вынесло специальное решение о выделении средств для премирования победителей этого соревнования. Почин наших заводов вылился во всесоюзное движение огромной экономической и политической важности.

В мае сорок второго почти каждый номер «Правды» содержал сообщение о новых и новых отраслях промышленности и предприятиях, вступающих во всесоюзное социальное соревнование, начатое нашими заводами.

И вот в этой обстановке патриотического трудового подъема заводского коллектива, когда, казалось, все было налажено, взвешено и учтено, одно за другим происходят два чрезвычайных происшествия, связанных с перебоями в снабжении завода металлом.

Первое происшествие началось с того, что завод не получил дюралевые трубы, из которых изготавливались лонжероны рулей высоты.

Кем-то из производственников был предложен и санкционирован СКО вариант клепаной трубы, свернутой из листа дюралялюмина. Опытные образцы таких труб успешно прошли необходимые испытания. Но в производстве где-то недоглядели — пропустили листовой материал меньшей толщины. Произошла поломка лонжерона руля высоты, вызвавшая аварию самолета. Комиссия нашла неполадки в оформлении технической документации на этот случай. Начальника СКО завода Назаренко сняли с занимаемой должности. При-

* О к о н ч а н и е. Начало см. «Новый мир» №№ 4, 5 с. г.

казом наркома Шахурина начальником СКО назначили В. Н. Бугайского, оставив его в то же время представителем ОКБ Ильюшина на заводе.

Второе ЧП, имевшее более тяжкие последствия, связано по роковому совпадению тоже с материалами для лонжеронов, но уже не рулей, а крыла. Полки этих лонжеронов — основных силовых элементов крыла — изготавливались из стальных профилей «т»-образного таврового сечения. После механической обработки эти «таврики» подвергались закалке, что при большой их длине представляло значительные трудности. Шахтные печи для упомянутой закалки на новом месте к тому времени еще не удалось полностью отладить, они не обеспечивали возросшую программу. Наркомат распорядился произвести термообработку партии «тавриков» на одном из уральских заводов.

Нагрузили этими «тавриками» транспортный самолет, и Шенкман решил полететь к уральцам сам, чтобы наверняка и побыстрее организовать эту операцию.

Но встреча нашего директора со своим уральским коллегой не состоялась...

Самолет специального рейса, вылетев с промежуточного аэродрома, своевременно до места назначения не долетел — пропал. После нескольких дней тщательных поисков с воздуха и наземными экспедициями обнаружили место катастрофы. Вероятно, попав в туман, самолет врезался в сопку, разбился и сгорел. Все находившиеся на борту самолета погибли.

23 мая 1942 года газета «Правда» вышла с траурным сообщением «От Совета Народных Комиссаров Союза ССР и Центрального Комитета ВКП(б)»: умер М. Б. Шенкман...

Рабочие и руководители завода, выступавшие на траурном митинге, дали клятву не снижать взятых темпов производства грозных «ИЛов». Тут же состоялась закладка памятника Шенкману.

В эти дни коллектив ордена Ленина завода № 18 еще раз доказал свою высокую организованность, целеустремленность и умение работать. Выпуск штурмовиков в мае сорок второго превысил максимальное достижение завода до его эвакуации!

30 мая 1942 года снова в «Правде» корреспонденция о делах на нашем заводе. Среди передовых названы цехи Ельшина, Писаревского, Еленевича. 8 июня «Правда» опубликовала первые итоги Всесоюзного социалистического соревнования, начатого нашим коллективом. И там на первом месте — завод № 18!

С огромной радостью и гордостью встретили мы известие о присуждении нашему заводу Красного знамени ГКО за работу в мае 1942 года.

В том же номере газеты заместитель народного комиссара авиационной промышленности П. В. Деметьев писал:

«Завод № 18 был эвакуирован из прифронтовой полосы в глубокий тыл. Славный коллектив завода сумел в кратчайшие сроки установить и смонтировать оборудование, наладить нормальный производственный процесс и сразу начать выпуск боевых самолетов. Обязательство выпустить в мае на 5 процентов больше самолетов, чем предусмотрено планом, выполнено. В течение всего месяца завод работал равномерно по графику. В мае производительность труда выросла на 24,4 процента. На сотни часов сокращено время, затрачиваемое на изготовление самолета».

9 июня мы снова собрались на заводской площади. На этот раз торжественный митинг посвящался вручению заводу переходящего Красного знамени ГКО. Знамя вручали фронтовые летчики — штурмовики-гвардейцы. Передавая нам поздравление с победой, гвардейцы давали обещание еще успешнее громить захватчиков.

Высокую награду — Красное знамя ГКО — принял от гвардейцев-летчиков наш новый директор, он же наш старый знакомый — бывший главный механик, бывший начальник производства завода Александр Александрович Белянский. Стоя на одном колене, Белянский поцеловал край знамени, а затем, приняв его древно и выпрямившись, от имени коллектива завода дал клятву быть и в дальнейшем достойными высокой оценки партии и правительства.

Незабываемые минуты! Волнение и радость отражались на лицах всех людей, собравшихся на заводской площади и заполнивших прилегающие к ней улицы-проезды между корпусами.

В повседневном труде, хлопотах, заботах и старании сделать больше и лучше многие из собравшихся, вероятно, еще недавно и не думали о таком торжественном часе, который довелось пережить теперь. Даже то обстоятельство, что наш завод явился инициатором такого замечательного почина, как Всесоюзное соревнование, еще месяц назад далеко не всеми было воспринято как выдающееся событие.

Но сейчас, услышав из уст летчиков-гвардейцев слова, выражавшие высокую оценку труда нашего коллектива, услышав, как герои фронта называют нас героями тыла, мы начали понимать, что являемся участниками далеко не рядового митинга.

Стало ясно, что Красное знамя ГКО вручено сейчас нам не просто как хорошо работающему заводу-одиночке. Мы поняли, что во всем огромном Советском Союзе, среди десятков, может быть, сотен различных заводов авиационной промышленности наш завод оказался лучшим, достойнейшим.

Безусловно, это успех нашего коллектива. Но, оценивая его так высоко, не следует забывать и о десятках заводов-смежников и о всех тех, кто работал вместе с нами, обеспечивая наш победный финиш.

Заслуженно высокая оценка работы героя этой книги — завода № 18 — не должна восприниматься читателем как нечто уникальное, как неповторимый подвиг коллектива-одиночки. Ведь недаром во Всесоюзном соревновании было учреждено три первых места, несколько вторых и третьих. И заводы, получавшие эти места, шли плотной группой.

Конструкторы, и прежде всего сам Сергей Владимирович Ильюшин, постоянно и пристально изучали опыт боевого применения штурмовика «ИЛ-2», а также опыт его массового изготовления. Причем не только изучали, но и вносили необходимые коррективы, улучшали отдельные узлы и системы самолета. Можно рассказать о добром десятке таких работ, получивших высокую оценку фронтовиков. В качестве примера приведу прицел «ВВ-1», разработанный начальником бригады вооружения СКО Григорием Кирилловичем Васильевым. «Визир Васильева первый» — блестящий пример творческой работы конструктора, создавшего оригинальное устройство для осуществления прицеливания при стрельбе и бомбометании с самолета «ИЛ-2» в полете.

Но из всех улучшений штурмовика «ИЛ-2» главным, проведенным в разгар его серийного производства, надо считать переход с одноместного на двухместный вариант машины. Решающим в этом деле явился следующий эпизод, описанный Сергеем Владимировичем Ильюшиным:

«Вскоре с фронта стали приходить известия: «ИЛов» сбивают вражеские истребители. Противник, конечно, сразу же раскусил недостаточную защищенность самолета сзади. В феврале 1942 года меня вызывает И. В. Сталин. Он пожалел о прежнем решении (то есть о запуске в производство «ИЛ-2» в одноместном варианте. — П. К.) и предупредил:

— Делайте что хотите, но конвейер останавливать не разрешаю. Немедленно дайте фронту двухместные самолеты.

Мы работали как одержимые, — продолжает Сергей Владимирович. — Спали, ели прямо в КБ. Ломали голову: как, не меняя принятой технологии, перейти на изготовление машин с двухместной кабиной. Наконец решили, что каркас кабины стрелка следует штамповать...»

В ОКБ вспоминают, что первая партия двухместных «ИЛов» была получена путем доработки одноместных машин силами заводской бригады.

Отштампованное из дюрала жесткое кольцо врезалось в «бочку» фюзеляжа, и на нем укреплялась пулеметная установка. Для защиты стрелка поперек фю-

зеляжа со стороны хвоста укреплялась броневая плита. Образовавшаяся кабина прикрывалась сверху прозрачным откидным фонарем.

Вот так в конце марта — начале апреля 1942 года на фронте появились первые двухместные штурмовики «ИЛ-2» доработочного варианта.

— Сергей Владимирович прилетел на завод,— вспоминает В. Н. Бугайский,— и передал нам указание Сталина о переходе на двухместный «ИЛ-два». Прибывшие с ним конструкторы привезли чертежи доработочного варианта самолета, чтобы внедрить его в серию. Помнится, при обсуждении технических деталей на заводе у некоторых конструкторов появился «аппетит» кое-что сделать посолиднее, там добавить, там изменить... Узнав об этом, Сергей Владимирович категорически запретил такую «самодеятельность» и тут же рассказал о следующем эпизоде: «Отдав указание о переходе на двухместный штурмовик, Сталин задал мне вопрос, как я думаю это сделать, и выразил сомнение, не будет ли самолет при этом перетяжелен. Я ответил, что постараюсь сделать так, чтобы поменьше затрагивать основные агрегаты самолета, поменьше его утяжелять. На это Сталин возразил примерно следующими словами: «Поменьше — это хорошо, но вы, техники, хорошо знаете, что сумма даже бесконечно малых величин дает величину конечную, и порой весьма солидную...» Наша с вами задача,— подчеркнул тогда Ильюшин,— на первом этапе ввести на «ИЛ-два» кабину стрелка при возможно меньших переделках самолета, с возможно меньшими потерями...»

Так у нас в производстве появился двухместный «ИЛ-2».

Чтобы не вызывать никаких задержек производственного процесса, параллельно с одноместным вариантом изготавливались детали двухместной машины. Дорабатывалась часть фюзеляжей, и по мере готовности двухместный штурмовик вливался в общий поток, постепенно вытесняя одноместные машины. Примерно с середины 1942 года с завода начали улетать на войну двухместные «ИЛ-2».

Казалось бы, задача решена. И стрелок возвратился на самолет, и производство штурмовиков не заторможено, план не пострадал.

Но здесь обнаружилось, а конструкторам это было известно и ранее, что введение полноценной, защищенной броней кабины стрелка с мощной стрелковой установкой и достаточным запасом снарядов (общий вес более 300 килограммов) заметно сдвинуло назад центр тяжести самолета. Это, в свою очередь, несколько ухудшило пилотажные свойства самолета. Машина стала тяжелее взлетать, требовала дополнительного внимания летчика.

Ничего неожиданного, повторяю, в этом не было. И способ «лечения» недуга конструкторам был ясен. Требовалось вернуть крылу тот угол стреловидности, который оно имело на опытном двухместном экземпляре «ИЛа». Легко сказать...

Наконец примерно в сентябре — октябре 1942 года завод стал выпускать двухместные штурмовики «ИЛ-2» с характеристиками даже лучшими, нежели упоминавшаяся опытная машина. В частности, сократилась длина разбега самолета перед взлетом, так как к этому времени была увеличена мощность мотора.

Ошибку, допущенную в конце 1940 года, исправили, но на это потребовалось около двух лет.

...За 1942 год Красное знамя ГКО вручалось заводу шесть раз, то есть ежемесячно.

Наступил и пошел третий год войны с фашистами — 1943 год.

Одиннадцать раз в 1943 году «Правда» печатала постановления о присуждении Красного знамени ГКО нашему заводу. Одиннадцать раз Белянский принимал древко этого знамени из рук летчиков-фронтовиков...

1943 год памятен заводчанам и тем, что за образцовое выполнение правилительственного задания по выпуску самолетов «ИЛ-2» большая группа — 159 работников завода — награждена была орденами и медалями Советского Союза.

Итак, заканчивался 1943 год, третий год войны. Для нашего завода год больших производственных успехов. В «Истории Отечественной войны» мы находим следующие записи:

«Завод № 18 (директор А. А. Белянский) — ведущий среди предприятий, выпускавших штурмовики «ИЛ-2», — в 1943 году дал фронту на 900 машин больше, чем в предшествующем году. Значительное количество среди них составляли двухместные штурмовики с мощным мотором, вооруженные 37-мм пушкой. Коллектив этого завода к середине декабря выполнил годовую производственную программу и до конца года сдал в особый фонд Верховного Главнокомандования 223 боевых самолета. Весь год, за исключением марта, завод удерживал переходящее Красное знамя Государственного Комитета Обороны», «...производство штурмовиков «ИЛ-2», которые составили более трети всех выпущенных в 1943 году машин. В разгар летних боев заводы, изготовлявшие самолеты «ИЛ-2», направляли на фронт более тысячи машин в месяц».

И каждый из этих сотен и тысяч «Илов» был испытан в полете, отработан на нашей летно-испытательной станции, которой бесценно руководили А. Т. Маковецкий и Д. Н. Сиренко.

Непрерывно нарастающий поток машин, выливающийся из ворот главной сборки, растекается по широким отработочным полосам аэродромного цеха. По команде бортмеханика самолет заправляется бензином, маслом и охлаждающей жидкостью. Убедившись в полной исправности систем, в отсутствии течей, бортмеханик приступает к самой главной своей операции — запуску и опробованию мотора, сложной и очень ответственной операции.

Опробование мощнейшего мотора на сравнительно небольшом самолете «ИЛ-2» — это весьма внушительная, впечатляющая процедура. Выведенный на основной режим работы, мотор оглушительно ревет. Все, что находится за плоскостью вращения воздушного винта, стремительно уносится воздушным потоком. Далеко позади самолета еще бушует метель. Одно из первых препятствий на пути воздушного потока — фонарь кабины летчика. Пока он закрыт, находящийся в кабине человек изолирован от бури, урагана, бушующего за винтом. Но он изолирован также и от тех нюансов в шуме мотора, которые как раз и интересуют бортмеханика. А раз это так, то бортмеханик «гоняет» мотор с открытым фонарем кабины и принимает на себя полную порцию звуковой и часть ветровой нагрузки.

Из личных впечатлений скажу, что когда я впервые вывел мотор «ИЛ-2» на номинальные обороты, внешний мир для меня исчез. В первые секунды рев мотора подавил вообще все остальные ощущения. Тут же возник страх, как бы самолет не сорвало с тормозных колодок, потому что сила, мощь, звучащая в трубном гласе, казалась неукротимой. Стрелки приборов, за которыми я должен был наблюдать, оказались неуловимыми, потому что сами приборы прыгали перед моими глазами, и не было силы, способной их успокоить.

Прошла вечность. Я не выдержал и значительно уменьшил обороты двигателя. Мотор приятно зарокотал, все вещи стали на свои места. На крыло вскочил мой учитель летчик-испытатель И. И. Старчай. В свое время я совершил с ним свой первый учебный полет на самолете «ПО-2», а теперь он обучал меня опробованию, гонке мотора на самолете «ИЛ-2». Мне как человеку, пишущему инструкции по эксплуатации самолета, прежде всего самому необходимо знать, как и что делается.

— Что случилось? — крикнул Иван Иванович. — Почему не прогреваешь мотор?

— Наверное, хватит! — прокричал я в ответ. — Сколько времени работал?

— Минуты не гонял! Давай, давай, продолжай! — скомандовал Старчай и спрыгнул с крыла.

И я снова «вызвал зверя» из такой знакомой и на вид мирной моторной установки штурмовика...

Признаюсь, что, после того как я, закончив операцию прогрева мотора строго по инструкции, вылез из кабины и в тишине прошелся по травке около самолета, колени мои слегка дрожали.

Иван Иванович без объяснений понял мое состояние:

— Ничего, Пашенька, это с непривычки, скоро пройдет.

Итак, бортмеханик опробовал мотор, убедился в том, что он работает нормально, все системы и приборы функционируют как им положено, получает подтверждение контрольного механика и военпреда, которые участвуют в опробовании мотора, и докладывает о готовности самолета к вылету. Этот доклад с выводом «готов к полету» оформляется документом — полетным листом, который после подписи его начальником ЛИСа вручается летчику-испытателю. Летчик, получивший задание лететь на этом самолете, надевает с помощью бортмеханика парашют и занимает свое место в кабине. Вновь повторяется операция прогрева мотора после традиционной команды «от винта» и ответа «есть от винта», свидетельствующих о том, что в зоне воздушного винта нет людей. Прогрев закончен, летчик условным знаком показывает, что можно убирать упорные колодки из-под колес шасси, и самолет покатился по дорожке к взлетной полосе. Теперь уже связь с летчиком осуществляется только по радио с диспетчерского пункта управления полетами. Вот наш самолет занял место на взлетной полосе, получил разрешение на взлет, стремительно разбежался, взлетел и ушел из поля зрения в «зону», то есть в условное место над безлюдными степями, где производятся испытательные полеты наших самолетов.

А бортмеханик и его помощники? Они уже спуют вокруг следующего самолета, готовя его к первому полету или устраняя замечания после полета. Нечего и говорить, что при этом их взгляды частенько скользят по горизонту. Наконец горизонт оживает, возвращающийся самолет приземляется на полосу. Вот он подрулил на исходную рабочую площадку и стал. Мотор работает на малых оборотах, летчик сидит в кабине и заканчивает записывать на планшет те из своих наблюдений, которые он не успел записать в полете.

Бортмеханик мгновенно оказывается на крыле самолета и через открытую форточку фонаря кабины кричит летчику: «Ну как — убит?» Отрываясь от записей, летчик кричит в ответ: «Убит!» — и показывает большой палец. На местном жаргоне это означает, что полет прошел успешно.

Конечно, бывает, что летчик «привозит» серьезные замечания, для устранения которых потребуются многочасовая работа специалистов, а затем и повторный полет для проверки. И только после этого самолет будет предъявлен военному летчику-приемщику.

Нелегко, ох как нелегко было работникам ЛИСа успевать за всем заводским коллективом, своевременно отрабатывать и сдавать военным огромное и все возрастающее количество штурмовиков. При этом главную роль в организации труда на ЛИСе сыграло плановое начало. Об этом рассказывает мне Д. Н. Сиренко:

— Все организационные мероприятия смогли дать ощутимый результат в основном потому, что на ЛИСе годами подбирался и ко времени войны сформировался исключительно работоспособный коллектив специалистов высокой квалификации, людей, влюбленных в свое дело, энтузиастов авиации. Я не могу пожаловаться ни на одну бригаду. Но в моей памяти глубоко запечатлелось имя Михаила Никулина — бортмеханика уникального, который со своей бригадой систематически ежемесячно сдавал самолетов больше всех остальных бригад. В отдельные месяцы количество отработанных и сданных этой бригадой самолетов доходило до трех десятков, тогда как средняя по ЛИСу цифра равнялась примерно половине названной величины. Такие успехи явились результатом не только чрезвычайной организованности, величайшего умения, но и предельного напряжения всех сил каждого члена бригады Никулина. Называя его имя как лучшего, я несколько не хочу преуменьшить заслуги других бортмехаников. Еще раз повторяю — плохо работающих у нас в ту пору на ЛИСе не было. Очень хотелось бы мне отметить еще одно обстоятельство, — говорит Сиренко, — это стабильно высокое качество самолетов, выпускавшихся нашим заводом. Я не помню случая, чтобы воинские части когда-либо высказали серьезные претензии, а мы ведь дали фронту огромное число машин.

Автору, по роду своей работы тесно общавшемуся с ЛИСом, хочется подчеркнуть, что на летно-испытательной станции завода подобрался и весьма работоспособный коллектив высококвалифицированных летчиков-испытателей. На ЛИСе трудились такие опытные летчики-испытатели, как Е. Н. Ломакин, К. К. Рыков, С. Д. Королев, В. Т. Буренков и многие другие, мастерство которых годами оттачивалось и в боях и при испытании различных самолетов.

— У нас на ЛИСе, — говорил автору Е. Н. Ломакин, — установилась хорошая товарищеская, рабочая обстановка, которая бывает в коллективе, сплоченном вокруг своей партийной организации. Было очень высоко развито чувство ответственности каждого из нас за свои дела и за работу всего цеха. Благодаря этому стало возможным выполнение той огромной работы, о которой мы сами теперь вспоминаем с удивлением, и достижение высоких качественных показателей, и малая аварийность полетов.

Что такое полет только что собранного, новенького серийного самолета-штурмовика? Первый вылет машины, созданной для того, чтобы летать, работать в воздухе? Прежде всего это генеральное испытание, контроль правильности сборки и функционирования, генеральный контроль качества всех многочисленных узлов, агрегатов и систем, образующих чудо — «летающий танк».

Многим испытаниям подвергаются элементы самолета в процессе постройки и наземной отработки. Но все они, вместе взятые, не могут заменить даже одного испытательного полета. А коль скоро испытательный полет — это контроль, значит, в нем могут быть выявлены какие-то ненормальности, дефекты, место и форму проявления которых никто заранее указать не может.

Значит, первый полет новенького серийного самолета, как две капли похожего на всех своих вчера и сегодня летавших собратьев, это в какой-то мере загадка, подарок с сюрпризом.

Конечно, после выпуска нескольких сотен штурмовиков наши летчики и бортмеханики знали, что в первом полете чаще всего проявляются « типовые » недостатки, присущие самолету. Устранение таких дефектов, как тряска винта или мотора, было делом времени и даже не всегда требовало проверки повторным полетом.

Но встречались и редкие, знакомые, даже опасные сюрпризы.

...Летчик-испытатель Василий Тимофеевич Буренков, возвратившись из очередного полета, внес в полетный лист новое, необычное замечание: перегревается мотор. Пока разгадывали эту загадку на буренковском самолете, аналогичная запись появилась в полетном листе К. К. Рыкова, затем С. Д. Королева и других летчиков. Стало ясно, что мы имеем дело с массовым дефектом, что, по-видимому, кто-то из наших смежников крепко «напахал». Но команда «стоп» раздалась не где-нибудь, а у нас на аэродроме. Сдача самолетов прекратилась на нашем заводе. Объявлен аврал.

Не стану описывать весь тот гигантский труд, напряженные творческие усилия, что последовали за этим «стоп»: важно, что обнаруженный дефект (брак радиаторов маслосистемы) был разгадан и устранен. На готовых самолетах на ЛИСе радиаторы заменили. Сдача штурмовиков военным возобновилась.

Кроме повседневных испытательных полетов, входящих в технологический процесс изготовления и опробования каждого штурмовика, мы проводили и контрольные летные испытания «ИЛ-2». Цель их — проверка сохранения серийными самолетами всех установленных технических характеристик. Испытания эти строго официальные. Проводились они комиссией специалистов под председательством военного представителя на заводе. По результатам контрольных испытаний составлялся подробный технический отчет, который после его утверждения становился официальным свидетельством, высшим аттестатом качества самолетов, выпускаемых заводом за определенный период времени.

Для измерения максимальной скорости полета самолета на малых высотах была оборудована мерная база протяженностью в несколько километров. Испытуемый самолет заходил на некоторое расстояние за крайний столб-репер, снижался

до высоты около пятидесяти метров, разогнался и на максимальной скорости пролетал над первым репером, где первый наблюдатель засекал начало зачетного полета. Так начинались испытания. Запомнился случай, который едва не закончился трагически.

Производились испытания на мерной базе. Летчик-испытатель К. К. Рыков разогнал машину, вышел на максимальную скорость, подлетел к первому реперу, и... мотор на его самолете внезапно и разом остановился.

Что делать?

Под крылом — полотно железной дороги. Высота не более пятидесяти метров. Слева вдоль железной дороги — деревня, за которой поле, справа — бугры и овраги. Рыков отворачивает самолет влево и пытается проскочить над домами деревни, чтобы посадить самолет в поле. Промелькнул первый ряд домов, второй, но вдруг удар, самолет резко разворачивается вправо и плюхается на землю хвостом вперед. Туча пыли. Летчик торопливо открывает фонарь кабины и в наступившей тишине слышит испуганные женские голоса: «Батюшки мои, да он нашу Маньку задавил в огороде, ах ирод проклятый, задавил нашу кормилицу!»

— Этот истошный женский вопль меня как ножом полоснул, — рассказывает К. К. Рыков, — ведь убил кого-то... Быстренько выбираюсь из кабины и сквозь оседающую пыль смутно вижу, что женщина и две девочки с плачем и причитаниями пытаются вытащить из-под консоли крыла большую белую... козу. Видно, очень много значила Манька в жизни этих людей в ту пору, если они, забыв смертельный испуг, вызванный внезапным ударом крыла моего самолета об угол их дома, кинулись спасать козу... Вскоре на поле недалеко от нас, — продолжает вспоминать Рыков, — приземлился «ПО-два», и к нам заспешил начальник ЛИСа Маковецкий. «Что случилось? Все живы?» — еще издали кричит Андрей Тимофеевич. «Все целы», — отвечаю ему, а затем по форме докладываю о случившемся. «Почему заглох мотор?» — «Не знаю, обрезал внезапно». — «Может быть, горючего нету?» — «Горючего полбака». Маковецкий влезает в кабину штурмовика, включает приборы, бензиномер действительно показывает наличие большого количества бензина в баках...

Как оказалось, в действительности бензобаки самолета были пусты. Прибор бензиномер из-за неисправности давал ложные показания, что ввело в заблуждение и бортмеханика и летчика.

Самолет восстановили. Дом колхознице отремонтировали, он стал лучше прежнего. Да и потерю Маньки компенсировали.

...Наращивая выпуск штурмовиков «ИЛ-2», руководство завода не забывало и об экономической стороне дела. Выпуск самолетов не любой ценой, а с минимальной стоимостью. В 1944 году основные цехи стали внедрять у себя принцип хозяйственного расчета. С начала 1945 года на хозрасчете работало 26 основных цехов. Общая экономия средств за год составила около двух миллионов рублей.

В истории Великой Отечественной войны заслуженно видное место занимают патриотические дела, совершенные советскими людьми во имя победы над гитлеровскими захватчиками. В условиях воюющей страны, переживавшей невиданные тяготы разрухи, многие люди в различных концах нашего государства отдавали свои сбережения на постройку танков, самолетов и других видов вооружения. Не остались в стороне от этого движения и труженики нашего завода.

В четвертом квартале 1942 года заводчане собрали миллион рублей на строительство эскадрильи штурмовиков «ИЛ-2». Эту эскадрилью построили и торжественно передали в середине января сорок третьего года.

...За годы войны Красное знамя ГКО двадцать шесть раз присуждалось заводу № 18 имени Ворошилова, а затем было оставлено ему на вечное хранение.

Высокую оценку работа коллектива нашего завода в годы войны получила в «Истории Коммунистической партии Советского Союза». На странице 463 пятого тома мы читаем:

«Авиационная промышленность, особенно ее передовые предприятия — завод № 18 (директор А. А. Белянский, парторг ЦК Л. Н. Ефремов), № 21 (дирек-

тор С. И. Агаджанов, парторг ЦК А. В. Агуреев), № 26 (директор В. П. Баландин, парторг ЦК Д. И. Голованев), № 153 (директор В. Н. Лисицын, парторг ЦК А. И. Шибаев), — полностью обеспечивала фронт самолетами...

Достижения авиационной промышленности сыграли решающую роль в том, что советская авиация, завоевав в 1943 году господство в воздухе, надежно удерживала его до конца войны».

VII

Человеку, пытающемуся проанализировать, осмыслить и понять действия штурмовиков «ИЛ-2» на фронтах Отечественной войны, мы рекомендуем для начала вспомнить обоснование идеи бронированного штурмовика, данное Сергеем Владимировичем Ильюшиным, его слова: «...передо мною встала задача: сконструировать самолет, который бы наиболее полно и эффективно мог быть использован Красной Армией в ее операциях».

С первых же боевых вылетов самолет «ИЛ-2» подтвердил справедливость предположения Ильюшина, заложенных в конструктивные решения самолета. Но первые вылеты показали и то, что для овладения новым штурмовиком летчикам, пересевшим на него с самолетов типа «Р-5», необходимо и время и знания. Раскрыть и полностью реализовать великолепные качества «ИЛ-2» можно, только в совершенстве овладев этой машиной.

Бронированный штурмовик, «летающий танк», был новым, еще неизведанным оружием, опыта эксплуатации которого, а тем более опыта боевого применения к началу войны не было. Этот опыт приходилось добывать в огне сражений.

Должен сразу же оговориться, что я не ставил себе целью произвести исследования по боевому применению «ИЛа». Понятно, что это дело специальной литературы. Но, рассказывая о героической работе коллектива завода, в труднейших условиях строившего самолеты «ИЛ-2», о жестких требованиях к нам, предъявляемых правительством, автор считает для себя невозможным обойти эту тему и не дать хотя бы краткого ответа на вопрос: а как же «ИЛы» воевали?

В ОКБ Ильюшина бережно подобраны и оформлены в несколько альбомов, по годам, вырезки статей из различных газет военного времени. Их сотни, этих пожелтевших от времени бесценных документов, терпеливо подобранных Г. Л. Марковым. Здесь и обширные статьи и небольшие заметки, но каждая из них — свидетельство о боевых подвигах славных защитников нашей Родины. Одновременно это и свидетельство замечательного предвидения конструктором многочисленных боевых ситуаций, и подтверждение правильности принятых им конструктивных решений, которые помогли штурмовику выйти победителем из этих ситуаций.

Очень интересна эволюция содержания рассматриваемых статей по времени. Поначалу это были корреспонденции, выражавшие удивление и восхищение делами летчиков-штурмовиков, останавливавших и уничтожавших мотомеханизированные колонны противника. В то время это было важно до чрезвычайности. Дальше с каждым месяцем войны число корреспонденций о боевых действиях штурмовой авиации, о подвигах летчиков-штурмовиков стремительно нарастает. Большая часть авторов сообщает о конкретных боевых операциях, выполненных штурмовиками. При этом здесь часто делаются открытия, именно открытия новых и новых боевых возможностей штурмовика «ИЛ-2».

Когда Сергей Владимирович Ильюшин определял цели, которые должен поражать его штурмовик: «Танки, автомашины, артиллерия всех калибров, пулеметные гнезда, инженерные сооружения...» — это казалось дерзкой мечтой конструктора. Но практика показала, что боевые возможности, заложенные в этой машине, превосходят самые смелые высказывания ее создателей. Летчики на бронированном «ИЛе» отлично выполняли боевые задания против любого вида вражеских вооруженных сил: против войск на поле боя, взаимодействуя со своими войсками, против танков, бронетранспортеров и автомотоколонн, против бронепоездов, железнодорожных составов и узлов, против мостов и различных переправ, против различных укреплений, против зенитной артиллерии и артиллерийских соединений, против аэродромов и авиации на земле, против истребителей и бомбар-

дировщиков в воздухе, против морских судов и подводных лодок в море, против морских судов на базах и самих баз, против резервов в тылу противника...

Большую группу военных корреспонденций составляли газетные статьи, содержащие методические рекомендации по боевому применению штурмовика «ИЛ-2». Уже отмечалось, что в условиях стремительного нарастания численности воинских соединений, воевавших на «ИЛах», важным делом была оперативная передача опыта бывалых летчиков молодым. Каждый новый вариант боевого применения штурмовика, кроме информации о нем как об очередной военной победе, требовал раскрытия его технической сути, тактического существа, рассказа о практических приемах его осуществления. Одним из таких авторов был летчик-штурмовик В. Б. Емельяненко. Во многих номерах газеты «Сталинский сокол» печатались его статьи под общим заголовком «Из чего складывается мастерство», в которых обстоятельно излагался опыт боевого применения штурмовика «ИЛ-2», добытый автором и его товарищами в сражениях с оккупантами. По этому поводу имеет смысл привести здесь высказывание Героя Социалистического Труда, Генерального конструктора Александра Сергеевича Яковлева, записанное им в большом обзоре «Конструктор и война», напечатанном в «Правде» 28 июня 1944 года:

«Примером того, как новая техника создает новую тактику, может служить блестящая работа конструктора Ильюшина по созданию совершенно нового типа оружия. Его самолет «ИЛ-2» — «летающий танк», один из эффективнейших видов оружия, применяющийся до сих пор с неизменным успехом против немецких танков, является одним из самых эффективных видов нашего авиационного оружия и до сих пор не повторен ни в одной из воюющих армий. Этот самолет является замечательным примером того, как новая техника определяет новую тактику. Самолет «ИЛ-2» потребовал разработки новой в авиации тактики штурмовой авиации...»

...Но как ни хорош был наш «илюша», как ни быстро совершенствовалось мастерство славных летчиков-штурмовиков, все же в боевых операциях ранения получали и наши «ИЛы».

Возвращаясь с задания, самолет-боец редко приходит невредимым. Зачастую на его крыльях, фюзеляже, оперении светятся пулевые пробоины, но ровно гудит его мотор, работают все системы — значит, штурмовик в строю. Реже на свой аэродром совершает посадку — тяжелую посадку — машина, долетевшая на честном слове. Лохмотьями свисают с крыльев и оперения куски обшивки. Хвост фюзеляжа прострочен пулеметной очередью. Бывает, что, израсходовав последние силы по пути домой, самолет не в состоянии выпустить шасси, плюхается на брюхо, взрывает землю погнутым винтом и замирает, распластавшись, подобно сбитой птице... Нестерпимо больно видеть такую картину. Хочется подбежать, помочь подняться упавшему соколу, поставить его на ноги, оживить...

С этой целью и подходит к самолету группа мужчин в штатском. Это работники нашего завода. Они достают из своих походных чемоданов нехитрый инструмент и приступают к работе. Двое ножницами обрезают обшивку вокруг рваных пробоин на крыле и оперении. Двое занялись демонтажом сильно разбитого руля поворота. Старший штатский объясняет подошедшим на помощь военному технику самолета и солдатам с лопатами задачу: необходимо вырыть две траншеи против ног шасси. Размечает на земле траншеи шириной три четверти метра, которые должны полого спускаться под обтекатели шасси со стороны хвоста самолета. Максимальная глубина траншей такая, чтобы ноги шасси можно было выпустить полностью и его колеса стали бы на дно. Начали копать. Когда глубина траншей стала достаточной, аварийной системой выпустили шасси. Подъехал автотягач. Два троса привязали к стойкам шасси за крюк тягача, расположившегося против хвоста самолета. Все заняли места, указанные бригадиром. По команде «пошел» тягач потянул самолет, и тот плавно выкатился из траншей, на глазах как бы вырастая из земли. Теперь он уже не напоминал подстреленную птицу. Это израненный боец. А когда погнутый розочкой винт заменили новым, заменили поврежденный маслорадиатор, бригадир пригласил летчика сесть в кабину. Мотор запустился со второй попытки, как положено по инструк-

ции, вышел на номинальный режим, и его рев возвестил о том, что жив боец и снова рвется в драку... Продвинулись дела и у слесарей, ремонтировавших крыло и оперение. В общем, на третий день наш знакомый получил разрешение сделать пробный полет и возвратился в строй.

Конечно, упомянутый случай ремонта самолета на фронте не является типичным. В нем все сложилось благоприятно — и на аэродроме спокойно и запасные части имелись. Но так, к сожалению, происходило не всегда. Практически то, что получило прозаическое название полевой ремонт самолетов, выглядело в значительной мере иначе. Это работа на открытом воздухе в любую погоду и жизнь в землянках, а то и в шалаше. Были и свирепые бомбежки и обстрелы немецкими самолетами, артобстрелы и минометный огонь. Но наряду с голодом и холодом была тут всегда и радость победы, когда, взревев мощным мотором, уходил в воздух еще один крестник, только что отремонтированный самолет, начиная свою вторую жизнь.

Обслуживанию воинских частей, эксплуатировавших нашу технику, на заводе всегда уделялось значительное внимание. Еще перед войной отдел эксплуатации и ремонта самолетов (ОЭР) пополнился квалифицированными специалистами. Поэтому когда Верховное Главнокомандование потребовало умножить усилия по восстановлению боевой техники на фронте, наш завод смог быстро развернуть широкую сеть ремонтных бригад, охватить ими все основные участки фронтов и осуществлять восстановление большого количества самолетов. Штатские получили «постоянную прописку» на фронте.

Непрерывно наращивался темп выпуска самолетов «ИЛ-2» с завода. Росло количество воинских подразделений, воевавших на «ИЛах», росло и число заводских бригад, обслуживавших воинские части. Был период, когда количество заводских специалистов, работавших в различных армиях на всех фронтах, исчислялось несколькими сотнями. И то, что они делали, порой поистине граничило с чудесами.

Много писалось о необычной живучести самолета «ИЛ-2». Некоторые из них возвращались после боевых вылетов настолько израненными, что если бы не сам факт возвращения, то и поверить в него было бы трудно. Вот эта-то живучесть «ИЛов» и создавала надежную основу для восстановительного ремонта, проводившегося на прифронтовых аэродромах. Мелкие повреждения устранялись тут же, на пробоины в обшивке накладывались заплатки, даже повреждения силовых элементов, включая лонжероны крыла, ремонтировались накладкой стальных уголков. И вот уже пробный полет, после которого самолет занимал место в строю.

Кто же такие эти озервцы, работники отдела Я. Г. Боброва?

К авиационному полку, одному из первых получившему штурмовики «ИЛ-2» с нашего завода, прикомандировали старшего инженера ОЭР, бывшего начальника бригады СКО Александра Сергеевича Руденко с пятью квалифицированными слесарями-универсалами.

С первых же дней войны полк, над которым, кстати сказать, шефствовал Испытательный институт ВВС, был направлен на фронт и получил боевое крещение.

Белорусское направление. Прифронтовая полоса. Авиация противника рыщет всюду, бомбит любые аэродромы и все, что их напоминает. Полку часто приходится менять место базирования...

А. С. Руденко рассказывает мне:

— Самолет «ЛИ-два», перевозивший технический состав полка с одного аэродрома на другой, не выключая моторов, выгрузил нас и улетел. Только после этого выяснилось, что мы высадились на аэродроме, уже покинутом полком. Оказалось, что накануне нашего прилета этот аэродром подвергся ожесточенной бомбардировке и все его оставили. Не улетели только поврежденные самолеты, в том числе и четыре наших «ИЛа». Осмотр показал, что повреждения у машин сравнительно небольшие, устранимые, и мы принялись за дело. Следует отметить, что технический состав этого полка во главе с весьма грамотным инженером Василием Холоповым постоянно и довольно успешно боролся за сохранение боеспособности своих самолетов. Наша заводская бригада в полку была окружена вниманием.

У заводчан с техсоставом полка установились хорошие, деловые взаимоотношения. По заданию Холопова нам привезли необходимые запасные части, и через двое суток все четыре машины были восстановлены. Холопов связался с полком, который, как оказалось, находился поблизости, у деревни Яковлевичи, вызвал летчиков, и те перегнали машины в часть. Мы тоже перебрались на аэродром, где обосновался полк. Правда, название аэродром в данном случае можно применить чисто условно. Аэродромом служило относительно ровное поле — выпас колхозного скота... Тебе, наверно, приходилось слышать о необыкновенной живучести нашего самолета? — спрашивает меня Руденко.

— Приходилось, и неоднократно.

— Так вот, пока сам не увидишь, в некоторые случаи трудно поверить. Его живучесть рождает такую непоколебимую уверенность во всемогуществе штурмовика, что летчики на нем выполняют невероятные задания. Но порой образуются ситуации, граничащие с курьезами... Возвратился один летчик с боевого задания, разгоряченный влетел в нашу землянку и потребовал, чтобы мы срочно «подлечили» его машину, так как ему необходимо немедленно вылетать снова. Дело не терпит, а все машины на заданиях. Спеша и волнуясь, рассказал, что недалеко, на лесной поляне, он обнаружил сцепление автомашин, среди которых много легковых. «Не иначе как штаб немецкого командования», — догадался летчик и решил атаковать. Зашел на поляну и открыл стрельбу из пушек. Выходя из атаки, «не заметил, что среди поляны, как назло, черт большую сосну посадил». Зацепил сосну крылом, сломал ее, но и крыло немного повредил... Оказалось, что «чертова сосна» перебила передний лонжерон крыла и ее обрубок застрял внутри крыла, которое выведено из строя окончательно. Высокий пенёк этой же сосны сильно повредил правую половину стабилизатора... Самолет мы восстановили только через двое суток, взяв крыло с разбитой машины. Да, отдельные операции по восстановлению штурмовиков уже хорошо отработаны, стали типовыми, например подъем самолета, севшего с убранным шасси. Но иногда и такие отработанные приемы дают осечку... Случилось нам поднимать «ИЛ-два», севший на брюхо в пойме реки Десны у города Трубчевска. Трое суток напряженной работы не дали результатов. Траншей заливало водой, грязью. Не было тягача, кончилось продовольствие и табак. Днем кругом было тихо и пустынно, а ночью по дорогам проходили какие-то части. Спали мы по два-три часа по очереди и с рассветом спешили узнать, кто здесь — наши или враги... Выручили нас артиллеристы. Своим тягачом помогли вытащить самолет, отбуксировать его в безопасную зону, дали буханку хлеба, махорки...

Расскажу тебе еще один случай, — не удержался Руденко. — Однажды вечером наш пораненный «ИЛ», преследуемый фашистским истребителем, сел на свой аэродром с убранным шасси и, как говорят, привел фрица на хвосте. Аэродром враги засекли и, конечно, будут бомбить. Поздно вечером все кто мог улетели на запасной аэродром. Один раненый самолет лежал на земле. Остались и мы с ним. Работали мы всю ночь, кстати уже не первую. Подняли машину на ноги, откатили на стоянку. Заменяли винт, маслорадиатор — инженер полка, как и во многих случаях, обеспечил их доставку. Устранили другие мелкие повреждения. На рассвете не отходивший от нас и помогавший нам летчик сел в кабину и запустил мотор. Как раз в этот момент мы заметили, что в боевом строю к нам приближается группа вражеских бомбардировщиков. Наш летчик прямо со стоянки «дает газ», разбегается и, прижимаясь к земле, уходит. А мы бежим в кусты и залезаем в щель. И тут началось! Бомбы рвутся кругом, земля дрожит и со стенок щели сыплется на нас. Сидим, тесно прижавшись друг к другу, словно это может защитить нас от свистящего, ревущего, грохочущего металла... Наконец гитлеровцы улетели. Мы остались целы. Быстро собрались. Вася, наш шофер, пригнал из леса спрятанную там нашу полуторку, и мы поехали догонять свой полк...

В конце нашего разговора Руденко передает мне фронтовую газету «Сталинские крылья» от 31 августа 1941 года. Вся первая страница газеты под общим заголовком «Беречь материальную часть» посвящена приказу наркома обороны

о награждении лётно-технического состава за сбережение, безаварийность и восстановление материальной части. В качестве примера в статье говорится: «Быстрый и качественный восстановительный ремонт самолетов производит ремонтная бригада под руководством т. Руденко. Бригада за короткое время отремонтировала десятки самолетов...»

Другой старший инженер ОЭР, Алексей Захарович Хорошин, пришел на завод из армии. Его бригада, в состав которой входили слесари-сборщики Барташевич, Таниошин, Гречишников, Гвоздев, Черкасов, Анохин, уже на четвертый день войны работала на аэродроме воинской части под Быховом.

Едва успели поднять один самолет, как полку дали команду перебазироваться под Сещу. Только успели добраться до Сещи, как полк перелетел в Алсуфьево. Здесь бригаде довелось много поработать, восстановили несколько поврежденных машин. Получали сообщения о вынужденных посадках самолетов в окрестностях и поднимали их. Затем бригаду направили в район Вязьмы, в распоряжение штаба Западного фронта. По пути узнали, что в Ельне базируется полк штурмовиков. Заехали, нашли полк, а в нем — шесть поврежденных машин, для восстановления которых требуются запасные части. Что делать?

— Посоветовались с командованием полка и решили ехать на своем грузовике на завод за запасными частями. Но что значит получить на заводе несколько воздушных винтов, маслорадиаторов, подкосов шасси и других агрегатов самолета, если все идет на план, все сдается службе военного представительства?.. Начальник производства Белянский, прочтя письмо-просьбу командования ельнинского полка и выслушав мой рассказ, — продолжает Хорошин, — отдал команду о выдаче необходимых запасных частей. В тот же день мы выехали в Ельню, где ожидали нашей помощи поврежденные «ИЛы». Все они вскоре вернулись в строй...

Десятки заводских бригад, сотни специалистов много потрудились на различных участках фронтов Отечественной войны. Вместе со штурмовыми авиаполками, ремонтируя их технику, они прошли всю Россию, освобождали Европу и закончили войну в стане врага. Боевыми наградами отмечен доблестный труд каждого из этих специалистов.

Знаю, что невозможно перечислить здесь всех, но и трудно удержаться от желания назвать хотя бы некоторые фамилии товарищей, наших заводских «полпредов» на фронте.

В золотой фонд завода вошли отзывы воинских частей о великолепной, самоотверженной работе заводских бригад, во главе которых стояли мастера К. Ф. Барташевич, В. В. Казьмин, А. Г. Беляев, П. Я. Зюбанов, И. И. Матвеев, П. И. Бортников, П. Я. Лимарь, и многих других. Имена слесарей-ремонтников, подлинных мастеров на все руки, Епишева, Петракова, Гурынова, Наширина, Горденина, Широкова, Алехина, Логунова и сотен их товарищей, введших в строй поврежденные в боях «ИЛы», не считаясь ни с какими трудностями, вошли в почетные списки кадровиков завода.

Говоря об этой стороне деятельности заводского коллектива, следует иметь в виду, что начиная с января 1942 года Наркомат авиапромышленности планировал нашему заводу полевой ремонт самолетов «ИЛ-2» как отдельное, самостоятельное задание, как обязательную работу, за выполнение которой полагалось отчитываться так же, как и за выполнение плана выпуска самолетов.

В заводских архивах сохранился весьма любопытный документ — официальный отчет о работе ОЭР завода за годы Отечественной войны. В нем показано, что за время войны оэровцы восстановили, вернули в строй шесть тысяч семьдесят девять самолетов. В подавляющем большинстве — штурмовики «ИЛ-2», восстановленные на фронтах. На заводе отремонтировано только 346 самолетов. Огромность этой цифры трудно переоценить. По существу, это как бы дополнительно построенные машины. Не случайно говорили, что оэровцы открыли филиал завода № 18 в Действующей армии...

456 воинских частей и соединений ВВС обслужили бригады завода. Перед нами карта СССР и Западной Европы, на ней точками отмечены пункты, где действовали оэровцы во время войны. Когда эти точки соединили с городом, где на-

ходится наш завод, сеть линий закрыла всю карту. А когда поинтересовались, во что же обошелся полевой ремонт штурмовиков, то оказалось, что средняя стоимость восстановления, возвращения в строй одного «ИЛа» составляла всего 4820 рублей, из которых:

на запасные части приходилось 2205 рублей;

работа стоила 2615 рублей.

По сравнению со стоимостью нового самолета «ИЛ-2» — мизерные цифры. Свыше 41 тысячи самолетов «ИЛ-2» громили захватчиков на всех фронтах Великой Отечественной войны. Славные летчики-штурмовики вписали много замечательных страниц в историю войны. Среди них большое количество Героев и дважды Героев Советского Союза. Каждый третий летчик, удостоенный звания Героя Советского Союза во время войны, — штурмовик. Здесь мне хотелось бы назвать имена хотя бы некоторых кавалеров Золотой Звезды, гордости нашего народа.

Еще раз упомяну имя Героя Советского Союза Василия Борисовича Емельяненко, летчика 7-го гвардейского штурмового авиаполка. Этот полк одним из первых повел «ИЛы» на борьбу с врагом и вырастил в своих рядах 17 Героев Советского Союза. Георгия Тимофеевича Берегового знает весь мир. Но здесь мне хотелось бы отметить то обстоятельство, что заслуженный летчик-испытатель, летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, генерал-майор авиации Г. Т. Береговой — воспитанник штурмовой авиации. 185 боевых вылетов на «ИЛе» — весомый вклад Берегового в нашу победу.

Из механического цеха нашего завода, от токарного станка был призван в армию Федор Ильич Садчиков. Его направили в военное авиационное училище. А на фронт, в 826-й штурмовой полк 335-й дивизии, старший сержант Садчиков попал только в августе 1943 года. С первых же сражений молодой летчик-штурмовик показал себя отважным, но и расчетливым бойцом. Он быстро завоевал авторитет и уважение товарищей, стал заместителем командира эскадрильи. 178 боевых вылетов на штурмовике, построенном его родным заводом. Десятки уничтоженных вражеских танков, автомашин, орудий, самолетов и другой техники — таков итог ратного труда, за который Федор Ильич Садчиков был удостоен звания Героя Советского Союза.

Летчиком-штурмовиком стал и воспитанник заводского техникума Николай Алексеевич Соболев. На четырех фронтах его «ИЛ-2» громили захватчиков, уничтожал их технику. Не довелось ему строить «ИЛы», но зато он славно на них сражался и стал Героем Советского Союза.

Многие наши крупнейшие полководцы и военные начальники в своих воспоминаниях об Отечественной войне отмечают эффективность действий штурмовой авиации. Добрые слова в адрес воинов, сражавшихся на «летающем танке» Ильюшина, находим мы и в книге Маршала Советского Союза А. М. Василевского «Дело всей жизни».

Закljučая эту главу, считаю необходимым познакомить читателя с именами крупных военных начальников — создателей и руководителей советской штурмовой авиации.

Среди них — командиры штурмовых корпусов В. И. Аладинский, Г. Ф. Байдуков, М. И. Горлаченко, И. В. Крупский, Н. П. Каманин, В. В. Нанейшвили, Б. К. Токарев, О. В. Толстиков, В. Г. Рязанов, С. В. Слюсарев, В. В. Степичев, В. М. Филин.

В течение длительного времени успешно командовали штурмовыми авиационными дивизиями Ф. И. Агалцов, Н. С. Виноградов, В. И. Белоусов, П. М. Кучма, М. В. Котельников, А. Ф. Обухов, Л. А. Чижилов, В. И. Смоловик, Г. А. Калугин, И. Д. Удонин, Е. В. Клобуков, Ф. С. Хатминский, Н. Н. Подмогильный, С. Е. Греськов, П. И. Мироненко, Т. Е. Ковалев, Н. Г. Михевичев, А. В. Кожемякин, А. Ф. Исупов и многие другие. Благодаря их умелому руководству, мужеству и героизму советские штурмовики в битвах под Москвой и на Волге, под Курском и Харьковом, в Донбассе и под Воронежем, в Севастополе, Одессе и Новороссийске, на Днестре и Немане, под Минском и Ленинградом, на Висле, Дунае и Одере,

под Будапештом и Веной, в Берлине и Праге, в Маньчжурии и Корее, во многих больших и малых, известных и неизвестных боях внесли достойный вклад в дело победы советского народа над фашистскими захватчиками и японскими милитаристами... Созданная в нашей стране штурмовая авиация приобрела в Великой Отечественной войне большое значение. Она заняла прочное место среди других родов нашей авиации, стала основным средством воздушной поддержки сухопутных войск на поле боя.

Теперь, с учетом того, что нам удалось узнать о легендарном самолете «ИЛ-2», героях летчиках и командирах-штурмовиках, о создателях и строителях этих грозных машин, мы можем и должны принести всем этим людям, настоящим советским патриотам, нашу глубокую признательность и благодарности!

Всем, и прежде всего — С. В. Ильюшину.

Да, многолетние военные действия, весь опыт боевого применения бронированного штурмовика «ИЛ-2» на всех театрах Великой Отечественной войны блестяще доказали правоту Генерального конструктора, трижды Героя Социалистического Труда, академика С. В. Ильюшина, прозорливость генерала Ильюшина, дальновидность и мудрость коммуниста Сергея Владимировича Ильюшина, депутата Верховного Совета Союза ССР, создавшего о р у ж и е п о б е д ы, как справедливо назвала самолет «ИЛ-2» газета «Правда» 16 августа 1944 года.

VIII

Каждому, кто когда-либо возвращался после длительного отсутствия в знакомые места, на свой завод, в город, где до этого долго жил, понятно будет волнение, с которым я подходил к своему родному заводу на новой площадке. Не был я здесь около четверти века.

Конечно, я не узнал окрестностей, где вместо бараков и грязных проездов раскинулся каменный город с широкими асфальтированными улицами. Меня поразило обилие транспорта на этих просторных магистралях. Потребовалось некоторое время, чтобы современные автобусы и элегантные троллейбусы вписались в мои представления о дешезных местах.

Но вот и заводские проходные. Тоже новые — каменные, светлые. Солидный въезд на территорию завода. Широкий проспект, такой зеленый и тенистый, что с проезжей части с трудом просматриваются корпуса цехов, приводит нас на главную площадь, в центре которой стоит памятник Шенкману. Тот, что поставлен был в 1942 году. Памятник опрятен, ухожен, у подножья цветы.

Направляемся к главному корпусу. Подъезд к директорскому входу, как мы называли эти двери, густо зарос высокими елями. И когда мы вышли из их густой тени на светлый участок правой стоянки автомашин, я замер... Распластав знакомые крылья на фоне цветочной клумбы, стоял он, наш прославленный герой, защитник Родины, лучший друг наших летчиков и смертельная гроза захватчиков, — наш штурмовик «ИЛ-2»! Не бутафория, не модель или макет, а настоящий боевой самолет в натуральном виде.

— Вот это и есть тот сюрприз, о котором я вам намекал в письме, — говорит встретивший меня у проходных Петр Тимофеевич Ерьсько, явно довольный впечатлением, которое произвел на меня штурмовик на территории завода.

Никогда я не думал, что встреча со старым самолетом принесет мне столько волнений и радости. Я ходил вокруг него, осторожно (почему-то осторожно) ощупывая каждую деталь, поглаживая броню, убеждаясь, что не только бронекорпус, не только шасси и воздушный винт, но и пушки, стволы которых торчали из крыльев, но и РСы, установленные под крыльями штурмовика, — все, все самое что ни на есть настоящее.

Четверть века я не видел живого самолета «ИЛ-2», казалось бы, что многое должно было стереться в памяти. Но теперь первый же взгляд на него воскресил все в деталях. Я ходил вокруг машины, и каждый ее агрегат, видимый элемент воскресали в памяти эпизоды, связанные с ними...

Насладившись встречей со старым приятелем-штурмовиком, я засыпал вопросами П. Т. Ересьюко. Откуда эта машина? Для чего ее сюда привезли?

Обстоятельный Петр Тимофеевич привел меня в свой кабинет — начальное помещение будущего музея трудовой славы завода — и рассказал следующую историю появления «ИЛа» на заводе:

— У комиссии, собиравшей материалы по истории нашего завода, давно возникла идея построить монумент в виде натурального «ИЛ-два» на постаменте. Идею всесторонне обсуждали, критиковали, но в конце концов приняли к исполнению. Естественно, первым стал вопрос, где взять сам штурмовик. Запросили ближайшие воинские части — нету. Обратились в школы летчиков — нету. Наконец поехали в управление с просьбой: посоветуйте, где добыть один штурмовик Ильюшина для таких-то целей. Получили ответ, что им такой адрес неизвестен. Все самолеты «ИЛ-два» давно списаны и сданы в металлолом...казалось, что положение складывалось самое безнадежное, но мы и здесь не отступили. Были пущены в ход все старые связи, фронтовая нержавеющая дружба. И вот пришла весточка из далекой Карелии: лежат там со времен войны в различных труднодоступных местах разные самолеты. Может быть, среди них и тот, который вы ищете, приезжайте, поглядите... Поехали.

Рассказ продолжает Валерий Григорьевич Быков, недавний вожак заводского комсомола, которому была поручена разведка в Карелии:

— Наши старшие товарищи с большим вниманием отнеслись к поискам штурмовика. В различных районах мы осмотрели останки около двух десятков различных самолетов, и отечественных и иностранных. Находились среди них и «ИЛы», но или сильно поврежденные, или в местах весьма труднодоступных, например на дне одного озера. И вот когда уже надежд найти подходящий самолет оставалось немного, на глаза попала статья в петрозаводской газете. В ней говорилось, что, разыскивая материалы для местного музея Отечественной войны, комсомольцы обнаружили в районе Кандалакши самолет «ИЛ-два», лежавший на одном из болот недалеко от озера Ориярви. Поспешили туда, добрались до самолета. Он самый — штурмовик «ИЛ-два», детище нашего завода. Видимо, пришлось его летчику идти на вынужденную посадку, но посадил он машину так, что не очень и повредил.

Значительно большие разрушения принесло время — ведь «ИЛ» представлял собой уникальный экспонат, тридцать лет «хранившийся» на болоте... Но «илюша» и здесь выстоял. В основном он остался тем же крепышом, охотно поддающимся восстановлению.

Теперь задача: как его отсюда забрать? Дирекция поручила выполнение этой операции старейшему мастеру-озровцу Евгению Андреевичу Капустнику. Вместе с Быковым они отправились в экспедицию по вывозке «ИЛа».

— Для транспортировки самолет прежде всего требовалось разобрать, — продолжает рассказывать Быков. — Конечно, на болоте выполнять эту работу не ахти как удобно, тем более что многие болты сильно поржавели. Но с этим справились довольно быстро. Евгений Андреевич тряхнул стариной — изыскивал такие приемы, которые даже в тех условиях оказывались весьма эффективными... В местном леспромхозе, когда узнали о цели нашей экспедиции, нашлось много добровольных, бескорыстных помощников. Руководители хозяйства выделили трелевочный трактор. Сколотили волокушу — большие сани — и на ней перетащили фюзеляж, крылья и другие агрегаты самолета к озеру Ориярви. На берегу озера наши местные помощники связали солидный бревенчатый плот. Погрузили мы штурмовик на плот и на буксире за катером благополучно переплыли через это большое и довольно бурное озеро. На берегу озера появились машины и приняли агрегаты «ИЛа» в свои кузова. Добрались до железнодорожной станции Алакуртти, погрузились в вагоны — и домой. Весть о прибытии на завод нашего старого детища каким-то образом дошла до цехов. В ангар, куда мы привезли для восстановления агрегаты самолета, стали заходить ветераны заводского коллектива. По тому, как теплели их глаза, как подрагивали пальцы, оглаживавшие многострадальный штурмовик, было видно, сколь дорого им это их творение, как много в

их жизни связано с этой машиной... Припел и наш старейший летчик-испытатель Герой Советского Союза Константин Константинович Рыков. Отыскал заводской номер самолета — 1872932, — заглянул в свою заветную книжечку и объявил: «А ведь этот штурмовик я облетывал в ноябре сорок второго года». Так через три десятилетия состоялась встреча самолета-бойца с его крестным отцом.

На этом удивительные встречи с найденным самолетом не закончились. Оказалось, что жив летчик, воевавший на этом «ИЛе», — Котляревский. Обещал приехать на завод.

А когда Быков с Капустником оформляли документы на перевозку самолета из Карелии, то обнаружился и еще один человек, лично знакомый с этим нашим «ИЛом». Им оказался ведущий инженер Николай Васильевич Боровков. Во время войны он был командиром эскадрильи штурмовиков, в которую входил найденный «ИЛ-2».

— А как же с монументом, когда и где его поставят?

Этот вопрос я задаю нынешнему директору родного завода. Мы беседуем с ним о военных годах, он вспоминает некоторые эпизоды, рассказывает их мне.

— С монументом не все оказалось так просто, как представлялось нам, — отвечает директор. — После того как самолет «ИЛ-два» мы восстановили, он стал реальностью, дирекция и партком обратились к городским властям с просьбой утвердить проект монумента, предполагая установить его у ворот завода. И совершенно неожиданно для себя получили отказ.

— Почему отказ? — изумился я. — Неужели нашлись...

— Нет, нет, — тут же поспешил успокоить меня директор, — не вообще отказ в постройке монумента, за эту инициативу нас похвалили. Возражение касалось установки его у наших ворот, тем более на территории завода. Нам доказали, и мы согласились, что столь солидный монумент должен быть установлен на центральной площади нашего района. Он должен символизировать трудовой вклад трудящихся всего района в дело победы над гитлеровцами — ведь многие окрестные предприятия помогали нам строить грозные «ИЛ-два». Этот монумент должен стать тем историческим, священным местом, где могут вступать в жизнь поколения молодых строителей коммунизма, защитников Родины. Здесь могут проходить торжественные линейки пионеров, прием в комсомол... Вот какая судьба ожидает нашего прекрасного сокола в ближайшее время, — заканчивает ответ на мой вопрос директор завода.

Легендарный самолет «ИЛ-2», гроза оккупантов, давно снятый с вооружения, продолжает жить среди людей. И не только в воспоминаниях ветеранов труда и военных монументах. Ильюшинский штурмовик возрождают к жизни авиамodelисты. Группа ребят под руководством бывшего сотрудника техбюро ОЭР А. Таллера строит модели-копии самолета «ИЛ-2». Модели (большие, в одну десятую натуральной величины) точно отражают не только внешние контуры самолета, но и в деталях показывают его оборудование и вооружение. Это летающие модели, на них установлены маленькие моторчики, и они способны пролетать солидные расстояния.

...Встречи, встречи... На заводе — с теми, кто еще полон сил, продолжает трудиться. На квартирах — с теми, кто на заслуженном отдыхе. В городе, где продолжает работать и развиваться наш завод, и в других городах... Встречи на торжественном вечере по случаю сорокалетия нашего завода.

Происходил он в только что выстроенном великолепном заводском Дворце спорта. Таком Дворце, которому может позавидовать любой район Москвы. Дворец с прилегающим к нему стадионом построен в бывшем заводском поселке, ныне огромном жилом районе, слившемся со старым городом. Широкие проспекты, застроенные современными домами, полны зелени. Микрорайон двухэтажных домиков, построенных в период войны, затерялся среди новых улиц, площадей и скверов, утонул в ясенях и тополях, поднявшихся над крышами...

На юбилейный торжественный вечер собралось около полутора тысяч гостей, среди которых немало было и приезжих. По команде председателя собрания

секретаря партийного комитета завода в торжественной обстановке на сцену внесли знамена — реликвии трудовой славы заводского коллектива:

Красное знамя завода, на котором сверкали ордена Ленина, Красного Знамени и Трудового Красного Знамени;

Красное знамя Государственного Комитета Оборона, оставленное заводу на вечное хранение;

знамя министерства и ЦК профсоюза, врученное заводу в честь пятидесятилетия советской власти;

знамя ЦК ВЛКСМ, завоеванное комсомольцами завода в годы Отечественной войны.

...Для завершения своего рассказа о родном заводе я воспользуюсь только некоторыми сведениями из доклада директора на торжественном собрании.

За образцовое выполнение производственных заданий восьмой пятилетки завод награжден орденом Трудового Красного Знамени, а 256 его лучших людей — орденами и медалями. За победу в соревновании в честь пятидесятилетия советской власти и столетия со дня рождения В. И. Ленина заводу вручено на вечное хранение памятное Красное знамя министерства и ЦК профсоюза. Правительство наградило завод ленинской юбилейной грамотой, а более двух тысяч передовых людей коллектива — юбилейными ленинскими медалями.

— На разных этапах деятельности завода, — докладывал директор, — огромное значение имела оперативная, боевая массово-политическая работа по мобилизации всего коллектива на активное участие в социалистическом соревновании, в движении за присвоение заводу высокого звания коллектива коммунистического труда. Сейчас этим движением охвачены почти все труженики завода. Звание «коллектив коммунистического труда» присвоено девятнадцати основным цехам. Коллектив нашего завода, выступив инициатором социалистического соревнования под девизом «пятнадцать ударных декад — пятнадцати союзным республикам», успешно воплощает в жизнь намеченные рубежи второго года девятой пятилетки.

Я слушал директора, и меня наполняла радость за большие дела славного заводского коллектива, за освоенные им высоты авиационной техники, за его безудержное стремление вперед. Эту радость дополняла гордость от сознания возможности такой коллектив, такой завод назвать р о д н ы м коллективом, р о д н ы м заводом.



НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

Б. ЧЕХОНИН



АВСТРАЛИЯ: ГОРОДА И ЛЮДИ

Итак, решено, я еду в Австралию корреспондентом ТАСС. Рискованно. До этого вся журналистская жизнь была связана с Японией. На Японских островах пришлось побывать не раз, а потом прожить пять с половиной лет. А тут незнакомая страна. Даль! Зеленые пятна равнин, желто-коричневые изломанные эллипсы горных массивов, синь океанов...

Путешественнику, задумавшему преодолеть это расстояние каких-нибудь сто лет назад, потребовалось бы от семи месяцев до года. Сейчас, в век реактивной техники, около суток.

В сингапурском аэропорте Австралия уже чувствуется вовсю. В книжных киосках — яркие рекламные проспекты об уникальности пятого континента. Что же, Австралия и впрямь уникальна во многом. Она большая страна и к тому же маленький континент. Как материк она меньше Европы на 14 процентов. А по сравнению с Азией или Африкой пятый континент вообще крошка. Единственная страна в мире, занимающая целый континент, самый плоский континент мира. Горы и возвышенности составляют лишь 5 процентов территории, остальное — обширные равнины. И еще одна местная особенность — широкое распространение пустынь. Каменистые, песчаные, поросшие колючей травой и редким кустарником, они занимают около двух третей площади страны. Пустыни протянулись через центр материка на тысячи километров от берегов Индийского океана до предгорий Восточно-Австралийских гор. В центральной части континента дождей не бывает по несколько лет.

В проспектах немало примеров уникальности австралийского континента. Это полумесяц, перевернутый здесь, в Южном полушарии, наоборот; бумеранги двух типов — возвращающиеся и не возвращающиеся, они в любом магазине сувениров; провинциальные одноэтажные городки — точная копия декораций американских ковбойских фильмов. Толпы автомобилей на улицах городов, на каждом двух человек по автомобилю. Второе место в мире по числу несчастных случаев на дорогах: за двенадцать месяцев здесь гибнут около 3 тысяч автомобилистов, а свыше 70 тысяч получают ранения.

Общезвестно: Австралия — страна овец. Но чтобы представить это, надо увидеть. Свыше 150 миллионов овец! Австралийские мериносы дают свыше половины всего мирового настрига этого вида шерсти. За ставками шерстяных аукционов пристально следят миллионы австралийцев. От цены на мягкое золото во многом зависит благополучие их экономики.

И последнее — Австралия одна из самых малонаселенных стран мира (3,8 человека на квадратную милю) и к тому же самая урбанизированная. Более половины ее населения живет в шести главных городах и в федеральной столице Канберре.

Сразу после посадки нас стали пропускать через систему иммиграционного контроля. Мою семью отделили от остальных пассажиров и подвели к специальному боксу. Мужчина огромного роста внимательно изучил наши паспорта, а потом заглянул в какой-то особый список. Через две минуты нас передали с рук на руки второму чиновнику. Он был ростом пониже, но, очевидно, повыше рангом. Другие пассажиры бодро шествовали в таможню, а оттуда в зал к толпившимся родственникам и друзьям, нам предстояло еще пройти вторую ступень иммиграционного чистилища.

— Знаете ли вы, что ваша виза действительна только на месяц?

— Нет, я думал, по крайней мере на один год.

— Завтра же зайдите в министерство иностранных дел. Возможно, они сумеют договориться с нашим начальством.— И потом, испытующе глядя на меня: — Чем вы думаете заняться в Австралии?

— Буду писать, я корреспондент.

— Что собираетесь писать?

Это походило уже на обыкновенный допрос.

— Статьи, очерки и, конечно, письма своим московским друзьям.

Он посмотрел на меня долгим оценивающим взглядом, прежде чем разрешил перешагнуть иммиграционный барьер.

В таможене люди приветливее, они не пытаются перетряхнуть наш довольно большой багаж. И все-таки характер вопросов подчеркивает: здесь Австралия, а не Европа.

— Везете с собой мясо или мясные изделия? У вас есть меха? Покажите. Где и когда купили шубу мадам? Вы обязаны вывезти шубу в Россию.

Когда я, мокрый от всех процедур, пожаловался в зале другу из общества «Австралия—СССР», он сочувственно улыбнулся:

— Брось, Борис, здесь живут самые разные люди. Ты же знаешь, мы не просто страна, а целый континент.

...Первые дни в австралийской столице. Она как-то сразу берет тебя в плен патриархальностью деревенской жизни, правда в условиях самого современного комфорта, оторванностью от мировых оживленных туристских маршрутов. И еще одно достоинство, так ценимое журналистами: здесь ничто не мешает работать. Ночью в дом не врываются звуки моторов, визг тормозов, скрежет строительных механизмов, как, скажем, в Токио, где жизнь не затихает двадцать четыре часа в сутки. В Канберре поначалу с непривычки мешают разве что птицы.

Гомон попугайчиков в садике будит в пять утра. Зеленые, красные, самых радужных расцветок, они слетаются сюда с восходом солнца, чтобы вместе со скворцами деловито поклевать что-то в траве. Легкий ветерок доносит запах роз и свежего сена, а над домом и подстриженными лужайками из-за гор встает весеннее октябрьское солнце. Его свет проникает через тюлевые занавеси в спальню, зажигает на улице желтым пламенем густые кроны цветущих мимоз и выбеливает лепестки вишен.

В этот час в саду уже сидят кокки. Я так и не узнал точно, откуда прилетел к нам огромный какаду. Сын говорил, что попугай жил у одного австралийца, чей дом был неподалеку. Возможно, и так — кокки не боялся людей. Стоило появиться в саду, как пернатый гость слетал с сушилки для белья, где вместо орехов щелкал деревянные защепки, и садился на протянутую руку. Кокки хитрый, он знает, что его ожидает лакомство. Потом, тряхнув хохолком, кокки улетал к соседям. Его сменял новый визитер... В парадную дверь нашего дома что-то с размаху бухало. Если дверь оказывалась запертой, это «что-то» скребло ее лапой, скребло громко, бесцеремонно. На крыльце стоял Джулиус, ирландский сеттер соседа, долковника австралийской армии. Сосед уехал в Сингапур командовать воинской частью, а собаку оставил сыновьям. Тех же одолевали заботы поважнее: спортивные машины, которые они ремонтировали часами, друзья, жены, дети. И вот с утра Джулиус энергично крутил на крыльце хвостом, приглашая в соседний лес на прогулку. Там его поджидала масса соблазнов: запахи птиц в высокой бурой траве, кролики — за ними можно побегать с лаем — и утреннее купанье в пруду за колючей проволокой офицерской школы.

Мы идем еще по пустынной Эллиотт-стрит мимо каменных коттеджей, японской сакуры, русской черемухи и белоствольных берез. Через несколько минут асфальт сменяет песчаная дорожка. Кругом серый эвкалиптовый лес, сбрасывающий зимнюю кору. Дорожка взбирается на гору к танку — памятнику австралийским солдатам, павшим в годы первой и второй мировых войн. Отсюда Канберра просматривается как с самолета. Стоит убрать воображением зарешеченные окна военного министерства внизу, островок высоких билдингов центра — и воссоздается первозданная красота этого горного уголка австралийского континента, красота, увиденная двести лет назад первыми поселенцами из далекой Европы и в наши дни запечатленная на полотнах художника-аборигена Наматжиры: яркая зелень солнечной долины в кольце фиолетовых горных вершин.

Современных австралийцев не обвинишь в неразумном отношении к природе. Канберра — счастливое исключение из многих зарубежных столиц. Человек построил здесь густую сеть бетонных дорог, заполнил город автомашинами, превратив его в самую автомобилизированную столицу мира, но и он же исключил из черты столицы все заводские трубы, позаботился о зелени, цветах и воде.

Фотографу трудно сделать здесь панорамный снимок города: слишком далеко друг от друга разбросаны кварталы. Между ними парки, поля для гольфа и огромное озеро Барлей Гриффин. Лет тридцать назад на месте озера текла узенькая речка, утопавшая в зарослях ивняка. Австралийцы построили плотину, вырыли котлован, и речушка превратилась в озеро, чьи берега окинешь взглядом разве что с местной крыши мира — Черной горы. Чтобы обойти искусственный водоем, потребуется никак не менее дня.

В наши дни воды озера бороздят яхты, а в центре его на семидесятиметровую высоту бьет фонтан «Джеймс Кук». Так назвали здесь водный памятник первооткрывателю Австралии. Длинный алмазный шлейф фонтана стелется над озером, водяная пыль обдает временами камни, что когда-то были частью моста Ватерлоо, а теперь, привезенные из Англии, превратились в гранитное основание канберрского моста, переброшенного через озеро. Иногда водяная пыль преграждает путь стаям черных бакланов и почти всегда обдает дождем людей на берегу.

У «Джеймса Кука» по красоте есть один соперник на озере, тоже творение человеческих рук — башня-звонница Карилон. Бетонные плиты, соединенные воедино, взметнулись в небо трехгранным столбом с зеленого островка. В них архитектурный гений соединил и лаконичную простоту и звонкую переливчатость колоколов.

Как свободно дышится в этих местах. Летом с гор беспрерывно стекает прохладный воздух. Он продувает долину, уносит в глубь континента бензиновую гарь. Недалом советские люди прозвали Канберру Кисловодском. Верно — Кисловодск, только австралийский, где вместо нарзана пиво, а голубей потеснили яркие попугаи.

Пора, однако, пора назад, к пишущей машинке. На лужайке меня ожидает объемистый рулон австралийских газет. Их бросают сюда на полном ходу из машины ровно в 6.30 утра.

...Газеты. Из них узнаешь не только о том, что творится в Москве, Нью-Йорке, Сиднее, но и о происшествиях у нас на Эллиотт-стрит. Однажды они сообщили, что в доме напротив, где жил работник австралийского Пентагона, побывала полиция и долго допрашивала по какому-то загадочному поводу всех членов семьи. Другого соседа, на этот раз иностранца, обокрали. Воры унесли радиотехнику стоимостью в 800 долларов.

Как странно и непривычно узнавать о том, что творится рядом с тобой, из газет! Но это чуть ли не единственный вид информации. Отчужденность, изоляция, одиночество людей в масштабе не улицы, а Австралии. Но об этом позже. А пока поговорим о других чертах национального характера австралийцев.

Обобщения не всегда верны. Австралия — сложная страна, сложен, неоднороден и национальный состав ее населения. Только с начала второй мировой войны до 1964 года на пятый континент переселилось два миллиона эмигрантов. И все же у австралийского народа безусловно есть свои традиции и национальные особенности.

Австралийцы — мужественный, предприимчивый народ, предки которого в поисках лучшей жизни переселились сюда, на край земли. В немалой степени на формирование их характера повлияли гигантские незаселенные пространства. В Канберре один из моих знакомых писателей рассказывал, что обширность страны научила австралийцев не быть мелочными, не обращать внимания на пустяки, не волноваться из-за ерунды. Они обладают пронизательностью, достоинством и к тому же часто недюжинной физической силой. Австралийский школьник, к примеру, значительно крупнее и тяжелее своего английского сверстника. Одни объясняют это полудеревенскими условиями жизни в большинстве австралийских городов, другие регулярным потреблением отличного по качеству молока. Более миллиона 600 тысяч детей в возрасте до тринадцати лет получают в школе бесплатное молоко.

Австралийцы — ярые патриоты. В первые дни моей жизни в Канберре профессор национального университета Ян Миллер учил полушутя-полусерьезно следующему ме-

тоду установления контакта с местными жителями: лучший способ сблизиться с австралийцами — это дать понять им: вы жалеете, что не принадлежите к их числу.

В самом деле, стоит иностранцу сойти с трапа самолета, как его почти тотчас же спрашивают: как вам нравится Австралия? Несколько позже ему уже не задают вопросов, а просто говорят: «Австралия — самая лучшая страна в мире». В Канберре, городе правительственных чиновников, простое упоминание Австралии в иностранном фильме может быть встречено аплодисментами.

Австралийцы, однако, не только патриоты. Они понимают: как бы хороша ни была их страна, ей не обойтись без установления тесных дружественных связей с другими государствами.

В советское посольство в Канберре ежемесячно поступают сотни писем от австралийцев. В большинстве случаев люди берутся за перо, чтобы поделиться своими чувствами, рассказать о восхищении нашими успехами в экономике, науке, внешней политике, культуре. В Австралии немало друзей Советского Союза. В 11 крупнейших городах страны активно работают отделения общества дружбы с Советским Союзом.

В канберрской фильмотеке советского посольства, откуда по просьбам австралийцев десятки документальных и художественных кинокартин отправляются ежемесячно на экраны школ, различных учреждений и предприятий в самые отдаленные уголки Австралии, наконец, в магазине советской книги в Сиднее, в профсоюзных, студенческих, политических и даже яхтклубах — повсюду убеждаешься: интерес к советской действительности не только растет.

Среди политических деятелей Австралии в последнее время все больше таких, которые начинают не на словах, а на деле поддерживать советскую внешнюю политику мирного сосуществования стран с разными социальными системами. К числу этих деятелей в первую очередь относятся руководители лейбористской партии, которая после двадцатитрехлетнего перерыва пришла к власти в декабре 1972 года.

Выступая в январе нынешнего года в Москве во время своего официального визита в Советский Союз, премьер-министр Австралии Эдвард Гоф Уитлем сказал: «Австралийцы с глубоким уважением и восхищением относятся к культуре советского народа, со славными достижениями которой я лично познакомился во время этого моего визита в Советский Союз... Я рассматриваю мой визит в вашу страну и теплое гостеприимство, которое вы оказываете мне и всем сопровождающим меня лицам, как важный вклад в дело укрепления дружбы между советским и австралийским народами».

Но вернемся к тому, что австралийцы говорят о себе сами.

Как-то в корреспондентский пункт ТАСС в Канберре пришла бандероль с книгой профессоров Мельбурнского университета Джона Плейфорда и Дугласа Киршнера. В своем только что вышедшем труде «Австралийский капитализм» они утверждали, что образ жизни на пятом континенте в значительной степени схож с американским. В основе того и другого, указывали авторы, лежит способность современного буржуазного общества диктовать своим членам те законы и нормы поведения, которые его устраивают. В результате австралийцы подсознательно ведут запрограммированный для них обществом образ жизни. И этот образ воспроизводит моральные нормы капиталистической системы в целом.

Профессора подчеркивали, что интересы австралийцев якобы сводятся к сидению перед телевизионным экраном, футбольным матчам, игре на скачках, возне с автомашиной, к ремонту и перестройке своего дома. «Большинство людей, — утверждают ученые, — стремятся к бегству от действительности — главная характерная черта современного капиталистического общества... Бегство от действительности предусматривает примирение с общественными нормами, ставящими во главу угла смысла человеческой жизни материальные ценности. Австралиец с детства привыкает считать, что основное мерило значимости человека в обществе — размеры его банковского счета или величины заработной платы, количество и марки его автомашины. Средний австралиец не ощущает потребности расширить свой духовный багаж, он не думает о прошлом, не пытается заглянуть в будущее. Его единственная цель — суметь выжить сегодня».

Правы ли доктора наук из Мельбурнского университета, вынося «среднему австралийцу» суровый приговор? Даже не выезжая за пределы столицы, убеждаешься: стричь «среднего австралийца» под одну гребенку было бы по крайней мере ошибочно.

Австралийское общество за последние годы стало контрастнее, возросла поляризация богатства и бедности, усилились противоречия внутри его. «Вряд ли стало возможным сейчас говорить о характерном для Австралии образе жизни даже в широком смысле этого слова. В современной Австралии существует несколько образов жизни. И по мере того как наше общество приобретает космополитический оттенок, таких образов жизни становится все больше и все меньшей похвалы заслуживают они». Это говорит известный австралийский писатель-социолог Крэг Макгрегор. С ним не поспоришь. Макгрегор — признанный не только в Австралии авторитет.

В конце 60-х годов, незадолго до своей гибели (на него напали в море акулы), премьер-министр Гарольд Холт заявил корреспонденту газеты «Острелиен»: «Я не знаю в мире другой такой свободной страны, где бы так справедливо распределялось все, что производится обществом, среди его членов». Но обратимся к фактам. В Канберре в мои руки попали статистические данные. Несмотря на огромный рост национального дохода страны за минувшие семьдесят лет, процент, идущий в карман трудящихся, не увеличился с начала нынешнего столетия. Эту истину вынуждена была признать и лондонская «Таймс»: «Распределение богатства в Австралии одно из самых неравномерных в мире. Богатые очень богаты, бедные очень бедны. В такой потенциально богатой стране нет оправданий для бедности. Тем не менее она существует в самых тревожных масштабах». Газета приводила конкретные примеры. На нужды социального обеспечения, указывала она, в Австралии расходуется 5,5 процента национального дохода, в то время как в странах европейского «Общего рынка» — 15,2 процента, в Скандинавии — 10,9 процента.

Какие же были данные у премьер-министра Гарольда Холта утверждать, что в Австралии нет классов? Данных, разумеется, никаких. Идиллическая картина, созданная на том основании, что в стране произошло расслоение рабочего класса, значительный рост категории людей, занятых в сфере обслуживания. Опросы института Гэллага показывают, что половина австралийцев причисляет себя к так называемому среднему классу. Этот процент значительно выше, чем в Соединенных Штатах Америки и Англии.

Один из показателей глубоких социальных изменений в структуре рабочего класса после второй мировой войны — быстрый рост категории «белых воротничков». Численность их росла в два раза быстрее остальных категорий и составила к 1970 году 60 процентов от 5 миллионов 322 тысяч австралийских трудящихся. В недалеком будущем, предсказывают специалисты, процент «белых воротничков» еще более возрастет. Это один из парадоксов нашего времени, когда автоматизация приводит к резкому сокращению рабочей силы на предприятиях, а в области сбыта продукции, работы над улучшением ее качества, сфере обслуживания растет потребность все в новых и новых специалистах.

Если говорить о том, кто же относит себя в Австралии к среднему классу, то это в первую очередь служащие, привилегированные категории квалифицированных рабочих, фермеры средней руки, мелкие торговцы. Средний класс — основной плательщик налогов. Образ его жизни широко известен. Каждое утро долгая поездка на автобусе или электричке в город. Рабочая рутинка изо дня в день, из года в год, получасовой перерыв на обед, чтобы проглотить пару бутербродов и чашку кофе, одна-две кружки пива с товарищами после работы в баре и дальше возвращение в пригород, в свой небольшой домик, к экрану телевизора и семейным заботам. Глава семьи в семидесяти случаях из ста — член спортивного или другого клуба, его машина — марки «хольден» или «форд» двух-пятигодичной давности. В субботу утром хозяйка дома отправляется на машине в ближайший супермаркет за продуктами на целую неделю. В воскресенье утром муж моет семейный лимузин, и во второй половине дня вся семья отправляется к морю, в горы или на речку. Дети посещают государственные школы, где обучение бесплатное. Большинство из них получает среднее образование, в университет поступают немногие.

Встает вопрос: каков материальный уровень жизни среднего класса в Австралии? Разный. Здесь, как и повсюду в стране, велико расстояние между крайними полюсами социальной вольтовой дуги... Если же говорить о среднем и низшем звене этой категории австралийцев, то ее представители живут в долг, обеспечивая себе «материальное счастье» в кредит. К 1970 году задолженность австралийцев при покупке товаров в кредит достигла миллиарда 400 миллионов долларов. Инфляция, экономический спад 1971—

1972 годов больно ударили и по интересам среднего класса в Австралии, значительно снизив уровень его жизни.

Для Австралии сегодняшнего дня привычная картина, когда цены на товары первой необходимости повышаются на 10—25 процентов в год, когда армия безработных превышает постоянно 200 тысяч человек, когда австралийский рабочий, еще сравнительно недавно живший в условиях капиталистического процветания, с новой силой познает на своем опыте известное марксистское положение об абсолютном обнищании трудящихся, не теряющее своей силы и в наши дни.

ЗНАКОМЬТЕСЬ, СИДНЕЙ

Дорога в любой австралийский город для жителя Канберры начинается на Нортборн-авеню у Центрального почтамта. Отсюда идет отсчет миль, отсюда ленты бетонных и грунтовых дорог протянулись через горы, песчаные пустыни и тропики до далеких окраин пятого континента.

Это для австралийца. Для советского журналиста любое путешествие по Австралии начинается дома, и не за сборами в дорогу, а за столом. Хочешь выехать? Будь любезен отстукать на машинке три экземпляра аппликации, указать маршрут, точную дату, время отъезда и возвращения. Через двое суток звонок из протокольного отдела австралийского МИДа. В трубке любезный голос:

— Приезжайте, пожалуйста, аппликация готова.

Это значит, что на ней уже поставлена круглая печать и подпись начальника отдела, сообщено в специальные органы. И эти органы проследуют за тобой через города, до самого Сиднея. А вдруг ты, к примеру, снимешь в пути недозволенный объект. Хотя известно точно, что по дороге из Канберры в Сидней подобных объектов нет.

До Сиднея триста километров пути. Сперва машина мчится по прямой среди лугов с колючей бурой травой, одиноких эвкалиптов и овечьих отар. Потом крутой поворот на Илавара Хайвей, и сразу словно не бывало унылости австралийского пейзажа. Кругом пасторальные краски садов и пшеничная желтизна полей. Но вскоре природа открывает свои настоящие красоты. Машина врывается в лиано-пальмовые субтропики, врывается и тут же резко замедляет свой стосорокакилометровый бег. Опасно, горная дорога. Здесь нет возможности глядеть по сторонам, только успевая лавировать на узком серпантине. Из-за горы то и дело выползают огромные грузовые «мерседесы», для них твой «холден» лишь шустрая блоха.

Спуск окончен, мы в Вуллонгонге. И хотя до Сиднея считанные мили, здесь нельзя не остановиться — слишком велик соблазн. Город красив — одноэтажные домики утопают в зелени на протяжении тридцати миль. Общий вид не портит даже завод, выплавляющий чуть ли не половину австралийской стали. Он полностью изолирован от жилых районов.

Но Вуллонгонг колоритен не столько своей ухоженностью. Здесь живут и работают люди из 36 стран. Эмигрантская судьба везде одинакова — самое трудное производство, горячие цехи, работа в полторы-две смены. Надо скорее выплатить ссуду за дом, отложить какие-то деньги на черный день.

В Вуллонгонге наш брат любит сделать остановку и чтобы услышать славянскую речь, и чтобы плотно закусить «краковской» колбасой, «российским» сыром с вкусно пахнущим хлебом, сибирскими пельменями. Для желающих — наисвежайшие устрицы. Это уж на австралийский манер.

И затем два часа обязательно на пляже. Пляжи здесь картинные — прямо с рекламного плаката. Бесконечно длинные ленты белого песка и волна океанского прибоя. Молодые парни и девушки смело входят в волну, а потом, оседлав ее на специальной доске, в туче водяных брызг несутся к берегу. Отсюда не хочется уезжать. Так бы бездумно пролежал на песке день, неделю, две, любуясь молодостью, океаном, белыми чайками, что стали почти ручными.

Короткий рывок по прямой вдоль песчаных пляжей, снова поворот к синеватым вершинам, подъем как взлет по широкой автостраде на горный кряж, а там в туманной дымке уже маячат контуры далеких небоскребов. Приехали, Сидней.

Мне нравится недорогой мотель «Флорида Тауэрс». Атмосфера домашности, про-

стоты. Нравятся сами номера. Из гостиной с двумя раскладными диванами лестница ведет в спальню. В таком двухэтажном номере без труда может разместиться семья из четырех человек. Кухня сияет начищенными кастрюлями и тщательно вымытой посудой. Постояльцы избавлены от необходимости питаться в дорогих ресторанах: сходил в магазин, купил продукты и приготовил нехитрый командировочный обед.

Утром, когда ты сидишь на балконе в удобном кресле и попиваешь «даровой» растворимый кофе (его стоимость включена в оплату гостиницы), внизу перед тобой голубое пятнышко бассейна, загорелые тела, а чуть подалее огромное синее пространство — морской залив Рашкаттерс-бей. На его волнах яхты из разных стран. И над всем этим теплое австралийское солнце.

Здесь, у кромки морской воды, понимаешь, как далеко шагнула в последнее время Австралия, ее экономика, техника и, главное, градостроительство. Это и одиночные небоскребы Рашкаттерс-бей — гулливеры среди толпы лилипутов-домов. Это и сити с его тесными шеренгами зданий в тридцать — пятьдесят этажей, устремленными в небо корпусами космических ракет.

Небоскребы, бесспорно, украшение Сиднея, крупнейшей финансовой и промышленной столицы Австралии — страны, где 90 процентов населения живет в городах. Вот один из семейства высотных зданий — «Острелия сквер тауер». 50 этажей, 3300 окон (на изготовление оконных рам пошло 65 тонн алюминия), 19 скоростных лифтов. Стоимость — 30 миллионов долларов. В считанные секунды ты на сорок четвертом этаже. Здесь смотровая площадка, отсюда Сидней как на ладони. Внизу зеленый остров Гайд-парка, причалы порта с океанскими лайнерами, огромный мост через залив с восьмьюрядным движением машин, двумя линиями электрички, тротуарами для пешеходов, и дальше на юг и север протянулся гигантский город, уходящий за горизонт.

С сорок четвертого этажа «Острелия сквер тауер» обретает зримую форму Сиднея 2000 года. Старые кирпичные здания сити и прилегающих к центру трущобных районов рушатся под ударами строительных механизмов. На смену кирпичу приходит бетон, стекло и искусственный климат.

По утвержденному стратегическому плану, Сидней станет городом высотных зданий и башен. Но его не ждет судьба Манхэттана с небоскребами, выстроившими плечом к плечу, с темными узкими каньонами улиц. Австралийские архитекторы не хотят повторять американский опыт и стремятся дать центру больше пространства, зелени новых бульваров и парков, населить сити, помимо банков, акционерных обществ, еще и людьми, чтобы по вечерам он не выглядел мертвым городом, чьи обитатели исчезли, кажется, навсегда.

Новое веяние в застройке Сиднея, которое наблюдаешь с высоты сорок четвертого этажа «Острелия сквер тауер», это серьезная революция в жилищном строительстве. Еще недавно цель жизни каждого австралийца — собственный дом все больше утрачивает свою притягательность. Статистика подсчитала: в ближайшие тридцать лет более половины обеспеченных австралийцев будут жить в многоквартирных домах. Причин такой эволюции несколько. Главное, конечно, рост цен на землю и строительные материалы: по данным все той же статистики, цена земли и строительных материалов возрастет к 2000 году более чем в два раза.

А пока лицо Сиднея определяет собственный дом. Разные эти домики. Одни из камня, с установками искусственного климата, с ухоженными садами, где зелень подстрижена и расчесана так, будто в саду побывал не садовник, а парикмахер. К некоторым особнякам и гаражам на две-три машины пристроены еще большие конюшни. В богатой Австралии модно иметь собственных верховых лошадей. Утром в субботу их заводят в узкие вагончики на колесах, прикрепляют к автомобилям, и семейные автопоезда трогаются в леса и парки, где, бросив на стоянке двухсотильные «хольдены» и «мерседесы», их владельцы пересаживаются на древний вид транспорта в одну лошадиную силу и скачут часами по грунтовым дорогам, сбрасывая с себя накопленный в конторах банков и фирм стресс.

В рабочих районах нет места цветам и бассейнам. Большинство домишек из досок, и стоят они, прижавшись тесно друг к другу. В домишках нет даже отопления. Зимой в них сыро и холодно, летом жарко и душно. Здесь иной мир, другая ступень социальной лестницы. Таков Сидней, разный Сидней.

Женщинам, что приезжают в самый большой город страны из провинции, Сидней запоминается магазинами. Многоэтажный «Фармерс» занял целый квартал между Джордж-стрит и Питт-стрит. Он берет покупателей в плен щедрой россыпью английских, французских и итальянских товаров. «Корнелиус», у входа которого днем и ночью дежурит полиция, знаменит дубленками и отлично сшитыми шубами из сибирской норки и русского сурка. Здесь не погуляешь свободно по магазину, не потрогаешь его меховой товар. С порога покупатель попадает в цепкие руки гида. Быстрый оценивающий взгляд:

— Что угодно, мадам? На каком языке вы будете говорить?

Покупательницу долго водят по великому шубному царству, объясняя достоинства экспонатов на родном для нее языке. К русским выходит сам господин Корнелиус, бывший житель Одессы, ныне австралиец и постоянный гость ленинградских пушных аукционов. Он внимателен, предупредителен.

Дети останутся без ума в Сиднее от луна-парка, где крутые американские горки основательно укатают их и не менее основательно вытряхнут карманы родителей. В состоянии восторга туристов приводит парк львов. Настоящие львы свободно разгуливают среди машин. Любуйтесь, фотографируйте, до царя зверей прямо рукой подать. Беда, что эту руку не высунешь из окна — администрация требует окон не открывать.

Меня в дневном Сиднее занимает деловой пульс, что бьется в конторах фирм, на фабриках и заводах, рациональность, продуманность производственных процессов и организация труда. Как, к примеру, откажешь в уме поставить дело Дону Макуильяму — управляющему крупнейшей в стране фирмы столовых вин. Дон сравнительно молод, ему тридцать восемь, но отец — владелец фирмы — рискнул доверить сыну судьбу семейной компании: пяти заводов и почти бесчисленных виноградарей.

За бокалом шампанского в зале для просмотра рекламных фильмов о продукции предприятия Дон рассказывает о себе. Нет, он не получил свое место на блюдечке с золотой каемочкой. Дон шел к нему, как путник в пустыне к колодезю воды, шел, несмотря на трудности и преграды, шел в течение двадцати лет.

— Отец никогда бы не сделал меня управляющим, — говорит Дон, — я должен был доказать ему, что стою этого места.

После института наследник владельца фирмы одиннадцать лет изучал производственные процессы, точнее, работал на заводах отца в разных уголках страны. Работал сначала мойщиком бутылок, потом на конвейере, в лабораториях, цехах. Приходил рано утром вместе с рабочими и возвращался домой позже всех. Остальные девять лет ушли на освоение секретов управления производством, стажировку в зарубежных родственных фирмах во Франции и Соединенных Штатах.

Судьба Дона Макуильяма не исключение, а скорее правило в современной Австралии для наследников промышленных магнатов.

Питер Норт — известный человек в австралийской автомобильной промышленности. Он возглавляет английскую фирму «Лейлэнд Острелиа». Норт принимает меня в своем огромном, до блеска вылизанном кабинете. Молодой мужчина тридцати восьми лет. Брюнет, среднего роста, с решительно сжатыми тонкими губами, которые редко размыкаются, как будто опасаясь, что вылетит больше положенного слов. В довершение портрета — тщательно выутюженный, устаревшего покроя костюм. В общем, Питер Норт — как бы рекламное воплощение своей фирмы, немного консервативной и, конечно, надежной, почти вечной.

Впрочем, реклама — обманчивая вещь. Австралийцы помнят, как, не выдержав конкуренции, лопнули здесь две предыдущие автомобильные фирмы Великобритании. Очевидно, английские бизнесмены влюблены в троицу. Питеру Норту снова поручено возродить британское влияние в австралийской автомобильной промышленности. Нелегкое это дело, когда на твоём пути могущественные конкуренты — американские «Форд» и «Дженерал моторс», японские «Тоета», «Ниссан».

Норт хорошо понимает: для него единственная альтернатива — расширай продажу автомобилей или убирайся. Среднего не дано. Поэтому каждая его минута расписана. Рабочий день около четырнадцати часов.

Как и Дон Макуильям, Норт, сын фабриканта, прошел большую административ-

ную школу с самых низов, но избрал в отличие от отца для применения своего таланта не алюминиевую, а другую отрасль промышленности.

— Мой талант,— говорит он,— в умение находить выход из безвыходных положений. То, о чем другие люди говорят как о проблемах, я воспринимаю как новые возможности. Я люблю испытания. Жизнь интересна борьбой.

За несколько месяцев Норт полностью сменил руководящих работников своей фирмы. Остальным внушил: высокие административные посты не даются навечно. Доверие и заработную плату надо оправдывать выдумкой, инициативой, упорством в достижении поставленной цели, а не респектабельной внешностью и умением говорить комплименты.

— Пусть они пораскинут мозгами, пусть немного не поспят по ночам,— любит говорить Норт.— Каждый на любом посту должен думать о судьбе фирмы, если мы не хотим быть все вместе выброшенными за борт. Я хочу,— рассказывает он,— посадить в машину парней, что монтируют стекла в прокладки, и пропустить их через мойку. Пусть поймут, как чувствует себя человек в дождь, когда вода протекает внутрь. Я заставляю всех их работать у конвейера так, будто они делают части для своего собственного автомобиля.

Жестокая конкуренция. За многие годы зарубежных поездок мне пришлось увидеть множество самых разных анкет. Но такую, что передали мне недавно в Сиднее во время журналистского интервью, я увидел впервые. И она не хуже биографии Дона Макуильяма впечатляла подходом большого бизнеса к проблеме подбора кадров. Подходом, опять-таки продиктованным обострившейся конкуренцией, и не только со своими монополиями, а и с зарубежными сверхконцернами, которые год от года усиливают мертвую хватку в различных отраслях экономики Австралии. Вот лишь краткое содержание этой анкеты на восьми мелко исписанных листках: секретно, анкета для служащих, форма — один-«б», не может быть использована за пределами нашей компании.

— Почему вы решили передать ее мне, журналисту?

— Мы боимся лишь конкурентов внутри страны. Советские фирмы не имеют своих филиалов в Австралии.

Что же, не будем подводить руководство компании, расскажем только о тех пунктах, что вряд ли являются секретом для зарубежных фирм.

На первой странице вопросы под рубрикой «семья». Поинтересовавшись скороговоркой о детях, жене, компания переходит к главному — социальному «статуту» потенциального служащего. Ей хочется знать, владеет ли он домом, если да, то выплатил ли полностью или частично ссуду на его покупку. Какой марки и года выпуска его машина. Компанию интересует район местожительства кандидата на пост, величина квартирной платы (если нет собственного дома) и многое другое.

Составив картину имущественного положения кандидата в служащие, руководство фирмы требует дать отчет о состоянии его здоровья. Вопроснику этого раздела посвящается чуть ли не целая страница. Когда последний раз подвергали себя медицинскому осмотру? Перечислите все хронические заболевания, а также перенесенные операции, автомобильные инциденты за последние пять лет. Страдаете ли вы головными болями, подвержены ли аллергии, болят ли у вас периодически глаза? Как часто и много ли пьете спиртных напитков, сколько сигарет выкуриваете за день?

Кажется, заполняешь медицинскую карту, а не анкету для поступления на работу. И это по-своему понятно. Компания боится себя от возможной потери рабочих дней и, следовательно, сокращения прибылей.

Потом, конечно, следуют расспросы об образовании, опыте работы. Вопросы детальные: компании нужно знать из этой области о вас все, все... В заключение составитель анкеты обрушивают целый водопад вопросов. Их цель — определить уже не социальную принадлежность кандидата в служащие, а его политическое лицо. В какой партии состоите? Ваша профсоюзная деятельность? Назовите политические организации, клубы, членом которых являетесь или являлись. Ходите ли в церковь?

Словом, деловой Сидней в конкурентной борьбе монополий не собирается без боя сдавать позиций, он шагает вровень со своими заокеанскими учителями и соперниками одновременно.

...Короткое возвращение в мотель. Стакан апельсинового сока, наспех сваренные сосиски, чашка доброго кофе со сливками — обед наспех, или по-австралийски — ленч. Машина оставлена на стоянке, в центре все равно ее негде припарковать. И вдруг неожиданно долгое топтание у таблички «Остановка по требованию». Его прерывает замечание сердобольного человека в рабочей робе:

— Боюсь, что вы проторчите тут до следующего утра.

Оказывается, бессрочная забастовка. Со второй половины дня бастуют водители двух тысяч городских автобусов. Ром Тонкин, член исполкома профсоюза автобусников, объяснил мне позднее суть дела. На городском транспорте отыскались свои доны макуильямы и питеры норты, поборники «рационализации» труда. Решили уволить кондукторов, а их работу заставили выполнять водителей. В итоге водитель должен был уподобиться чуть ли не жонглеру из цирка: вести свой двухэтажный автобус в плотном, бампер к бамперу, потоке машин, объявлять остановки и, кроме того, продавать билеты пассажирам двух этажей.

Интенсификация труда возрастет вдвое, и вдвое же увеличится смертность от инфарктов, инсультов среди водителей городского транспорта — таков прогноз врачей. И сиднейцы, узнав из газет, в чем дело, терпеливо вышагивали пешком многие мили, давились в электричках и поддерживали автобусников.

Вечером, когда солнце прячется где-то в бурных песках австралийских пустынь, с балкона «Флориды Тауэрс» видно, как рядом, за стеной высоких домов, небо вспыхивает красным отсветом реклам. Это зажигает огни Кингз-кросс, королевский перекресток, район развлечений, первоклассных отелей и мелких сомнительных лавчонок. Кингз-кросс — единственное место в Сиднее, да, пожалуй, во всей Австралии, где жизнь не затихает до петухов.

В память врезались первые минуты знакомства с Кингз-кроссом. На углу беседовали три молодые австралийки. Я нацелил на них фотокамеру: что может быть лучше женских красивых лиц! Вдруг бросок одной в мою сторону:

— Ты что, идиот?

— Не думаю, я иностранец.

— Мне плевать, что ты иностранец. Сейчас же убери эту штуку, не то разобью ее о твою голову!

И тут же замечание прохожего, невольного свидетеля этой сценки:

— С фотоаппаратом здесь не шутите. Жизнь на Кингз-кроссе стоит недорого.

Кингз-кросс. Королевский перекресток «разрешал» многое.

Еженедельник «Серчлайт», купленный мной в книжной лавке этого района, конструируя с «Секси», рекламировал сексуальную свободу для молодых, у которых нет цейтнота со временем, как у бизнесменов. «Хотите весело встретить рождество? — восклицал он. — Присоединяйтесь к восьмидесяти участникам оргии на берегу океана во французском лесу. Продолжительность оргии — 48 часов. Программа — девушки, пироги и пирожные с начинкой из марихуаны. Спешите записываться!»

Откуда-то со ступени подвала меня схватила за локоть мужская рука:

— Заходите, не пожалеете.

Внизу была небольшая группа потных мужчин, взявшая в полукольцо крохотную эстраду. На эстраде, высвеченные лучом прожектора, раздевались женщины: одна, вторая, третья, бесконечный конвейер. Наглядевшись на голое тело, накачавшись пива и виски, мужчины тяжело поднимались вверх по лестнице, скорее на улицу, где можно выбрать подругу, стоящую на углу.

Австралийское общество разрешает не только стриптиз, проституцию, порнографию. Рядом с подвалом перед входом в отель я увидел распродажу «серьезной» литературы. Две карманные книжечки одинаковой величины — изречения Христа и цитатник Мао Цзэ-дуна. Христос по объему был вполтину меньше, но ценился в два раза дороже: доллар против пятидесяти центов за изречения Мао.

Мы сидим с известным религиозным деятелем Тедом Ноффсом в маленькой церквушке на одной из боковых улиц Кингз-кросса. Небольшая комната, ряды стульев, никаких икон, алтарей, кроме кафедры проповедника. Этот проповедник и есть Тед Ноффс. Интересный человек мой собеседник, интересный своей универсальностью. Отличный оратор, циничный политик, ловкий бизнесмен. Лишь дельцу под силу

выдумать такое — открыть на Кингз-кроссе церковь, и не одну, а при ней еще кафе и зал для религиозных дискуссий.

Тед утверждает, что людские пороки порождает само австралийское общество. И ему не остановить их победное шествие без помощи церкви.

— Только церкви под силу вылечить социальные болезни, — убеждает меня Ноффс. И тут же: — Хотите посмотреть, как мы боремся с этой скверной?

Я, конечно, хочу. Через несколько минут мы в зале. Ряды спускаются амфитеатром к маленькой сцене. Под одобрительный свист трехсот молодых людей Тед бодро подходит к микрофону.

— Тема сегодняшней дискуссии, — сообщает он, — будущее Австралии. Наша родина сейчас на перепутье, давайте поговорим, какую дорогу ей надлежит избрать.

С первых слов Тед овладевает аудиторией, он знает ее, чувствует, умеет время от времени встряхнуть.

— Что мы за нация? — громко обвиняет он притихший зал. — Что мы умеем делать? Танцевать, рожать детей, ездить на машинах, слушать джаз и смотреть телевизор! Это все! А где другое, самое важное — духовные ценности жизни?

Аудитория напряженно молчит, но когда Тед заводит неожиданно речь о боге, зал раскалывается от протестующих выкриков.

Тед не возьмешь голыми руками. И все-таки он понимает: пора сменить пластинку. На сцену выпускают молодого парнишку из Хиросимы. Он говорит о проблемах японской молодежи. Потом слово берет канадка. Ее сменяет человек-оркестр. Он одновременно играет на гитаре, губной гармонике и к тому же ухитряется петь в микрофон.

...Поздно. Религиозное шоу закончено. Я бреду потихоньку обратно в мотель. А над заливом сереет полоса неба. Кингз-кросс постепенно гасит свой вечерний наряд. Нет уже девиц на углу, возвратился домой инвалид в кресле — нищий, что еще недавно «продавал» тут шариковые карандаши. Гаснет и яркий подсвет знаменитого шарового фонтана. По Кингз-кроссу гуляет предрассветный ветер, унося куда-то обрывки бульварных газет.

ЖИЗНЬ, ИЗ КОТОРОЙ ОНИ УХОДЯТ

В ту ночь я долго не мог заснуть. В темноте номера то мелькали перед глазами яркие грани реклам Кингз-кросса, то звучал риторически-гневный вопрос Теда Ноффса: «Что мы за общество? Что мы умеем делать?»

...Был воскресный февральский день. День, когда люди, задохнувшись в домах от влажной летней жары, заполняют пляж в сиднейском пригороде Мэнли. Вместе с ними я лежал на горячем песке и смотрел, как ласкают берег волны Тасманова моря. Кто знал тогда, что в нескольких метрах от нас, в грязной стеклянной будке автобусной остановки завершилась трагически еще одна жизнь. И конец ее на этот раз не пройдет незамеченным. Через несколько дней о нем напишут газеты Сиднея, поставив перед австралийцами тревожный и жестокий вопрос: что мы за люди, в каком же обществе мы живем?

На скамейке сидел усталый пожилой человек. Случайный прохожий, наклонившись к нему, попросил закурить, но просьба повисла в воздухе без ответа. В понедельник прохожий снова оказался на автобусной остановке и увидел вчерашнего незнакомца на прежнем месте. Тут он дружески хлопнул его по плечу: «Привет, старина, надеюсь, теперь разжился сигаретами?» Человек упал, упал со скамейки лицом на пол. Медицинская экспертиза показала — он был мертв два дня.

Как могло произойти это? Сотни, вернее тысячи прогуливавшихся по дорожке вдоль моря видели застывшую без движения фигуру, и только один из тысяч, увидев, попытался с человеком заговорить.

«Вы хотите умереть одиноким? — писала, комментируя случай в Мэнли, крупная сиднейская газета «Сан-Геральд». — Отправляйтесь на любую улицу нашего города в часы пик. После вашей смерти на тротуаре прохожие брезгливо обойдут труп, с тем чтобы тотчас забыть о нем».

Человек в Австралии новый, я не раз возвращался к трагедии в Мэнли. Поче-

му люди так безразличны друг к другу, что заставляет их отворачиваться от человека, умирающего в нескольких шагах? Ведь они не бездушные автоматы, каждый любит кого-то или кем-то любим.

«Боязнь оказаться во что-то замешанным», «Недостаток веры в бога», «Я не знаю сам, что движет людьми» — объяснили мне психиатр, пастор и полицейский.

Мой хороший знакомый — социолог из университета Новый Южный Уэльс Эндрю Джей попытался сформулировать причину очерствения душ по-другому.

— Люди не виноваты,— говорит он, сидя в университетском кабинете, заставленном десятками книг.— Они поступают подсознательно. К этому приучают их с детства система воспитания, замкнутость австралийской семьи. Австралиец привыкает к отчужденности всего окружающего. Он не общается с соседями, как правило, не имеет по-настоящему близких друзей. Что касается людей, незнакомых ему лично, то они перестают для него существовать.

— Ну, а если с человеком беда, как в Мэнли?

— Тогда безразличие возрастает вдвойне. Вступает в действие нечто вроде защитной реакции от жизненных потрясений.

Эндрю Джея не обвинишь в беспочвенности выводов. Он буквально напичкан фактами, материал для его исследований в изобилии дают статистика, полицейская хроника и судебные медицинские отчеты. Только успевай анализировать, обобщать.

Изоляция, отчужденность людей... Каждый двенадцатый австралиец минимум раз в своей жизни побывал на приеме у врача-психиатра, 50 процентов всех больничных коек в стране занято нервными больными. Психическое здоровье — одна из самых важных социальных проблем в Австралии сегодняшнего дня.

— Во многих случаях,— заявил мне на прощанье Эндрю Джей,— причина заблуждений — сознание одиночества, своей ненужности в жизни и, более того, неумение найти общий язык у себя в семье.

Кстати, об одиночестве в семьях. Пусть извинит меня читатель за злоупотребление цифрами. На моем столе таблица со статистическими данными за 1971 год. 49 процентов браков в Австралии, говорится в ней, расторгнуты по одной причине: муж и жена утратили способность к коммуникабельности.

Емкое и удобное для официальной статистики это слово — «коммуникабельность»! Сколько слез, мук одиночества, разочарований в близком тебе человеке кроется за его обтекаемостью. Статистика умалчивает о социальных причинах потери коммуникабельности, о том, что приводит к разрыву двух недавно самых близких людей.

Рвущаясь подобно ракете вверх спираль цен, высокая квартирная плата, съедающая около трети заработка, жизнь в условиях постоянного стресса (где взять деньги на погашение взносов за вещи, купленные в рассрочку, на оплату врачей) — именно в этом не статистика, а известный общественный деятель совсем не прогрессивного толка Хазель Уилсон видит подводные рифы, что пускают ко дну многие семейные корабли.

Муж вернулся с работы домой, где его ждет уставшая, изнервничавшаяся жена. Она перестирала гору белья, мучительно долго выгадывала каждый цент в продовольственном магазине, прежде чем приготовить обед на большую семью. Теперь ей не терпится поделиться всем этим с мужем, а он, устав на работе за день, не хочет, чтобы его тревожили здесь. Он думает молча размотать напряжение дня за кружкой пива перед телевизионным экраном. Так делается изначальный шаг к потере коммуникабельности, образуется первая пробойна в семейном корабле.

А потом... Известно, самая длинная дорога начинается с первого шага. Дойдя до ее конца, мужья уходят из дому, из жизни, полной материальных забот и семейной вражды. Уходят, чтобы остаться наедине с жизненными трудностями. Жизнь не ласкова в Австралии и к ста тысячам брошенным женам и к ушедшим от них мужьям.

В надежде на лучшее одни оставляют семьи, другие покидают Австралию. Я помню горячую исповедь итальянца Сальваторе Чинаппи, его полные горечи большие глаза, когда он рассказывал на пресс-конференции историю своей жизни в Австралии.

— Я чувствовал себя здесь совсем одиноким, у меня не было настоящих друзей, даже таких, с кем можно просто посидеть за стаканом вина.

Знакомые смотрели на него как на очередного «грязного итальянского эмигранта». Два года Чинаппи отчаянно пытался смешаться с австралийцами, стать одним из

них, а не итальянским изгоем. Год потратил на изучение языка, на привезенные из Италии деньги купил небольшой участок земли, чтобы построить свой дом и привести в этот дом жену. Усилия оказались напрасными, никто не хотел иметь дело с эмигрантом. Специальность связиста — Чинаппи овладел ею на службе в итальянской армии — здесь не засчитали. Устроился чернорабочим, копать канавы для прокладки водопроводных труб.

— Я не из тех, кто пасует перед трудностями, но пришлось продать все и купить обратный билет в Италию. Пусть моя родина бедная, но там меня ждут товарищи и друзья.

Судьба Сальваторе Чинаппи не исключение. В 1972 году Австралию покинуло рекордное число эмигрантов — 32 280 человек.

Одиночество, тиски материальной нужды — только ли они заставляют людей покидать Австралию, где они надеялись найти обетованную страну? Перечень горьких претензий обширней, и с ним обращаются к правительству, помимо обманутых иностранцев, сами австралийцы, которые все чаще покидают свою страну навсегда.

Пожилой человек лежал на тротуаре Уиллям-стрит возле Гайд-парка в Сиднее. Он корчился от боли, из его носа шла кровь. Сотни людей по пути на работу обходили его, делая вид, что ничего не случилось. Наконец, девушка остановила машину и подбежала к нему. Она вызвала «скорую помощь». Врачи сказали, что человек умер бы, если бы девушка запоздала на несколько минут.

Газета «Сан-Геральд».

Сильные уходят из этой жизни в другую, туда, где она им кажется лучше. Слабые, и число таких с каждым годом становится больше, сводят счеты с опостылевшей жизнью по-своему — исчезают из нее навсегда. Впрочем, так поступают не одни слабые. По крайней мере, профессор Джон Роберт Рид не принадлежал к числу слабых. Я помню его квадратный подбородок, упрямую складку рта и волевые глаза за стеклами больших роговых очков. Звезда австралийской медицины, отец троих детей, обеспеченный человек, который «стоял» тысячу долларов в день, он, казалось, совсем и не думал о смерти. Мать, видевшая своего сорокадвухлетнего сына за неделю до гибели, заявила потом корреспондентам: «Джон, как всегда, был уравновешен. Я бы рассмеялась в лицо тому, кто хотя бы на минуту предположил, что он способен убить себя».

И вот в дождливую августовскую субботу, отправив жену и детей отдыхать, Джон выписал себе последний рецепт: «Джону Роберту Риду — 50 таблеток барбитуратов. Профессор Д. Рид». Он знал — достаточно и тридцати, но ему хотелось исключить любую случайность, Рид принял твердое решение — умереть.

В чем причина? Мать профессора считает, объяснения не найти. Возможно, старая женщина и права. Но где гарантия, что случай с профессором Ридом не проявление новой тенденции, зарегистрированной психиатрами и социологами в Австралии за последнее время: из жизни добровольно уходит все больше людей, не знакомых с материальной нуждой. Касаясь мотивов подобных самоубийств, крупный еженедельник «Нешна таймс» писал: «Как это ни парадоксально звучит, главная причина роста самоубийств (по числу их мы давно перегнали Англию, США и занимаем пятое место в мире) — это социальная изоляция, одиночество в наших перенаселенных городах. И еще одна причина, ее не сбросишь со счетов — кризис личности, обостряющееся противоречие между служебной карьерой и личной жизнью».

Многие заводят собак. Им кажется, четвероногий друг спасет их от понятого и прочувствованного теперь семейного одиночества. Они не нужны своим детям, жены давно перестали любить их тоже. Теперь полюбить настала пора собаки. И четвероногий друг по-настоящему любит, он ждет возвращения хозяина с работы, знает его шаги и звук мотора его машины. Он прощает все: и плохое настроение и незаслуженные обиды. Он приносит много радости своему хозяину, и все же новому другу не под силу заменить хозяину потерянную им семью.

Как-то я познакомился в Канберре с таким неудачником. В австралийской начальной школе подружился его и моя дочери. Однажды вечером, пока наши девочки

играли в куклы, в гостиной его огромного дома он рассказал мне историю своих злоключений. Была мечта юности — построить дом, обязательно собственный, и купить последней марки дорогую машину. К сорока годам он достиг всего этого. Ну а дальше, ради чего стоит жить? А тут судьба нанесла удар: в двух шагах от дома машиной задавило семилетнего сына, за которым у них с женой не было времени смотреть.

— Мне хотелось покончить с собой,— признается мой собеседник.— Спасла церковь и неожиданно пришедшая вера в бога.

Чувствуется, что-то недоговаривает мой новый знакомый. Вера в бога, возможно, и вправду спасла его от самоубийства, но она не указала ему дороги к подлинным ценностям жизни. И вот он осторожно выспрашивает у меня, советского человека, куда ему дальше идти. Признаюсь, я предпочел сменить тему разговора. Не понял бы он. Мы можем вот так «мирно сосуществовать» за стаканом виски, но нам не найти уже общего языка. Слишком разноразно прожита жизнь, слишком разные идеалы усвоены с детства.

5000 бездомных в Мельбурне спят на скамейках в парках, на пляжах, в вагонах пригородных поездов. Большинство их — жертвы нашего общества. Наше общество приспособлено к жизни отдельными семейными ячейками и узкими группами, и в нем одиночкам нелегко найти место. Бездомные, отверженные и забытые — по-настоящему одиноки.

Газета «Геральд».

Я снова хотел бы обратиться к данным официальной и потому, надеюсь, объективной статистики. Эти данные рисуют точную, хотя и неприглядную в своей реальности картину положения с тем, что называют в Австралии социальными болезнями общества.

100 тысяч австралийцев и 250 тысяч австралиек живут на транквилизаторах. Причина — нестерпимый жизненный стресс, желание уйти от действительности сегодняшнего дня. Даже в тихой, провинциальной уютной Канберре число попыток самоубийства удвоилось за 1970—1973 годы. Исследования видного сиднейского профессора Энкеля говорят: более половины австралийцев и треть австралиек относятся к категории лиц, злоупотребляющих алкоголем.

А наркотики? Хватит, лучше на этом поставить точку, автор вовсе не хочет сказать, что австралийцы — это нация алкоголиков, самоубийц, наркоманов. Но факты есть факты, и об этом широко говорят и пишут сами австралийцы.

«Помогите!» — этот крик все чаще раздается в Австралии. Во много раз чаще, чем можно себе представить. Чьи слова? Газеты «Сан-Геральд», а ее прогрессивной не назовешь. Корреспондент газеты побывал в благотворительной организации «Линия жизни», члены которой всегда на передовых позициях помощи людям. За год, рассказали ему, мы отвечаем на 18 тысяч звонков. Люди просят помощи, совета, говорят о своем нежелании жить. Вы не представляете, как много людей хотят услышать по телефону дружеский голос или просто слово участия.

Так где же все-таки выход? По мнению некоторых, необходимо создать специальные государственные центры для борьбы против социальных болезней, за жизнь разувверившихся в ней людей. Другие утверждают: спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Давайте, мол, резко увеличим количество добровольных обществ — клубов одиноких сердец.

Клубы одиноких сердец: не трагикомичная ли это распродажа потрепанных жизнью людей? Так, по крайней мере, я думал, когда обратился в эти клубы за литературой. Вместе с тем, признаюсь, я хотел найти возможность для критики: вот, мол, как используют клубы в Австралии для завязывания разного рода сомнительных знакомств. Потом, когда ко мне домой регулярно стали поступать тощие брошюры из клубов, я не увидел в них ничего смешного, предосудительного. Сотни, тысячи мужчин и женщин объявляли о своем существовании, о желании найти друг друга, рекламировали себя, как рекламируют подремонтные старые машины, от которых хотят избавиться владельцы. «Вдовец 45 лет, любит читать книги и смотреть кинофильмы. Ищет друга-женщину, с тем чтобы жениться». «Мужчина 40 лет, ищет друга

для совместных посещений концертов, кинофильмов и других общественных мероприятий». «Брюнетка, 47 лет, хорошо сохранившаяся, имеет дом, любит вязать свитеры и печь пироги. Ищет порядочного непьющего мужчину, согласна стать любящей матерью его детей». Это были самые грустные печатные страницы, которые мне пришлось держать в руках когда-нибудь в Австралии. И, странная вещь, так же как бедность рельефна на фоне богатства, так и одиночество людей, их разобщенность все более заметны в Австралии сегодняшнего дня, когда население страны быстро растет из года в год. Мне особенно запомнились в этой связи слова австралийского журналиста Филиппа Адамса: «В толпе сегодня ты чувствуешь себя более одиноким, чем на атолле, затерянном в океанских просторах островке».

На глазах у прохожих человек превратился в огненный факел. Он бежал по городской площади Мельбурна и кричал: «Я хочу умереть!» Незадолго до смерти в больнице имени Принца Генри он признался медицинской сестре: «Я был нестерпимо одинок и поэтому решил умереть».

Газета «Эйдж».

Кстати, о таких необитаемых островах, на которых в Австралии прячутся от общества люди. На одном из них — Де Витт — спряталась Джейн Купер, молодая женщина, добровольно избравшая жизнь современного робинзона. Ее хижина находится на маленьком клочке суши в шестидесяти милях от берегов самого южного австралийского штата Тасмания. Кругом бурые скалы, мокрый непроходимый лес и шум прибоя. Здесь нет птиц, привычных для австралийских лесов, одни пингвины, чьи яйца составляют основную пищевую рацион беглянки. В месяц только четыре солнечных дня, почти непрерывный дождь летом и мокрый снег зимой. Здесь встречаются Индийский океан и холодное Тасманово море.

Джейн высадила на остров рыбацкая шхуна. Ловцы акул долго уговаривали молодую женщину вернуться обратно, но она осталась верна навязчивой идее — провести остальную жизнь в одиночестве. День похож на другой как две капли воды. В восемь утра подъем, купанье в холодном море, завтрак из пингвиньих яиц или рыбы, что привозят ей раз в две недели возвращающиеся с ловли знакомые рыбаки, потом нехитрый обед и такой же ужин. У Джейн есть еще рис и другая крупа, что послужило уберечь от крыс. Крысы большие и смелые, не спешат убежать даже, когда к ним подходишь вплотную. Кто знает, как бы себя чувствовала Джейн, если бы не имела мачете. Огромный нож-резак помогает призывать крыс к порядку, когда они очень нагледят. В перерывах между обедом и ужином Джейн читает, ведет свой дневник и отвечает на письма. Писем много — со всего света, количество их особенно возросло, когда об австралийской женщине-робинзоне написал популярный американский журнал. «Джейн, меня восхитил ваш отказ от современного общества». «Джейн, подождите меня, я скоро присоединюсь к вам». Но Джейн не хочет, чтобы к ней кто-то присоединялся. Она уверяет: ее одиночество совсем не дешевый трюк, рассчитанный на газетную рекламу. Стремление к нему у нее воспитала с детства семья.

Одиночество и семья — совместимы ли эти понятия? Мы уже писали, что совместимы.

Где корни родительской отчужденности? Они, конечно, бывают разные. Большинство людей в Австралии воспитано в духе того, что семейная, личная жизнь далеко не главное для человека. Основное — социальный статус, положение в обществе. Человек уходит с работы с думами о том, что с ним произошло за день, что сказал его начальник, как он при этом посмотрел, что осталось несделанным и что предстоит сделать завтра. Он об этом говорит в пивном баре с товарищами по службе, а вернувшись домой, не расстается с мыслями о работе даже в постели. Он знает: работа — главное, ее нельзя потерять.

Отец не пытается узнать, какие отметки принес сегодня из школы маленький Джон, что нарисовала в альбоме Мери, и уж тем более ему не до того, чтобы поговорить с ними, залезть, что называется, в душу ребенка, заглянуть в его внутренний мир. Дети — отражение поведения родителей. Постепенно они дичают, с годами вырабатывается сознание: ты никому не нужен — вечно занятому, равнодушному отцу

и замученной домашними заботами матери. Замкнись, уйди в свою собственную скорлупу. Совсем как тот мальчик из рисованного австралийского фильма. Его спросили, знает ли он, кем будет, когда вырастет. Малыш ответил: «Одиноким человеком».

Как научиться переносить одиночество? Этому посвящены в Австралии целые книги. Вот, к примеру, «Искусство жить в одиночестве», автор Нэнси Дрю, цена 90 центов. Если вы одинокая женщина без ближайших перспектив на замужество, эта книга для вас, пишет в предисловии Нэнси. Эта книга — попытка обсудить проблему одиночества женщины в обществе, где большинство других женщин замужем, выработать философию одиночества, которая будет полезна тем, кто остается дома один по вечерам.

Что же за советы дает Нэнси Дрю? Служба людям, стремление быть полезной им — добровольно работать секретарем одного из благотворительных обществ, сидеть по вечерам с детьми соседей, когда последние уходят куда-нибудь в гости, учить молодежь опыту жизни. Что же, как будто неплохо. Но позволит ли австралийское общество с его замкнутой ячейкой семьи активно вмешиваться постороннему человеку в воспитание детей?

Еще две вещи, которые могут спасти от одиночества: путешествия в группах туристов по Австралии и за рубеж; строительство своего дома или покупка уже готового и переоборудование его на свой вкус. Но откуда на все это одинокой женщине взять деньги, если только отец не оставил дочери крупного наследства? Нэнси признает, что немного увлеклась одной стороной своей программы борьбы с одиночеством. Ничего, у нее в запасе есть другое средство от одиночества — философия, в которую, как в новую веру, она пытается обратить своих незамужних читательниц.

Семья, зачем она вам? Вдумайтесь, сколько горьких минут она способна принести человеку: вечная необходимость искать компромисс с детьми и мужем, работать на них день и ночь, стирать, готовить... А тут независимость одинокого человека. Ты принадлежишь себе, и только себе. Не надо ни к кому приспосабливаться, встаешь когда хочешь, идешь куда считаешь необходимым — и никому никакого отчета. Свобода, полная свобода!

В общем, заключает книгу Нэнси Дрю, жизнь во многом то, что мы делаем из нее. Не полагайтесь на случай, будьте всегда активны. Помните: у вас нет завтра, есть только сегодня.

Нет завтрашнего дня. Не правда ли, горькое и в своей горечи красноречивое признание австралийской писательницы и журналистки. И не уничтожает ли оно все сказанное ею ранее до этого? К чему пытаться скрасить свою жизнь, когда у вас нет завтрашнего дня?

Азиатский студент сжег себя в коридоре Мельбурнского университета. Причина смерти — одиночество, оторванность от близких людей.

Еженедельник «Нешл таймс».

...И еще один пример того, как австралийцы сами себя пытаются спасти от одиночества. Всякий раз, когда я приезжал в Мельбурн, обязательно заглядывал к своей австралийской знакомой мисс Маргарет Сегесман. И почти всегда она встречала меня приветливо, хотя и в странном на первый взгляд для своих шестидесяти шести лет костюме — черном гимнастическом трико.

Интересно сложилась жизнь у Маргарет Сегесман. Подданная Швейцарии, она покинула родину сразу же после второй мировой войны. Врачи посоветовали ей, серьезно больной, уехать в Индию, лечиться у йогов. Семь лет прожила Маргарет в Индии, окончила школу йогов, заточила себя на долгое время в пещеру, где то ли гимнастика йогов, то ли жизнь без забот и простая пища, то ли все это вместе плюс солнце и горный воздух вылечили ее окончательно и позволили даже уехать в Австралию. Здесь в Мельбурне Маргарет сняла верхний этаж дома по Коллинз-стрит и открыла первую настоящую школу йогов для австралийцев. Нет, это не коммерческое предприятие: все доходы от школы, а они немалые (школу окончили свыше 30 тысяч человек), одинокая женщина отдает благотворительным учреждениям.

— Я мечтаю приносить пользу людям, — говорит она. — Человек не должен чувствовать себя загнанным волком, которому не поможет никто.

От Канберры до Мельбурна восемь часов езды на автомашине. Узкая дорога не похожа на американский фривей, но скорости прямо-таки импортированные из-за океана: сто двадцать — сто сорок километров в час. Иначе нельзя, если хочешь вписаться в заданный мощными машинами ритм.

Слава богу, доехал, «холден» припаркован в гараже мотеля, и сейчас самое лучшее — стряхнуть с себя напряжение бешеной гонки дня. Способ традиционный — финская баня или школа Маргарет Сегесман.

Нас много, человек двадцать пять, люди разного возраста, незнакомые между собой. Мы лежим на полу укрытые одеялами. Через зашторенные, наглухо закрытые двойные рамы в комнату почти не проникает уличный шум. Зато мы ясно слышим голос Маргарет Сегесман. Поначалу отчетливый, громкий, он становится все мягче и тише:

— Трудности дня забыты, жизнь — прекрасная штука, вы отдохнули, испытываете чувство легкости, полны бодрости и энергии.

Это, конечно, лишь грубая схема. Я записал на магнитофонную пленку гипнотический сеанс Маргарет Сегесман и могу ответственно сказать: классы релаксации — так он называется здесь — вещь полезная и эффективная. Когда ты сбрасываешь с себя одеяло и в прихожей зашнуровываешь ботинки, усталости как не бывало.

Но не классами релаксации и даже не гимнастикой йогов за последнее время знаменита в Австралии школа мисс Сегесман. Страницы газет и журналов обошла в 70-х годах сенсационная новость: в Мельбурне Маргарет Сегесман открыла курсы «тач терапии» — терапии касанием. В школу йогов тотчас же бросились корреспонденты иллюстрированных еженедельников. Какой соблазн — заснять на пленку американскую новинку на австралийской почве! Тем более что новинка в США наперчена густо сексом.

Увы, корреспондентов ожидало чувство разочарования, а мисс Сегесман снова утвердила свое реноме человека серьезного, чья цель — помочь людям. Мне пришлось побывать на одном из таких уроков. В длинном зале на коленях стояло около сотни людей. Глаза закрыты, руки вытянуты вперед, как нащупывающие антенны. «Начали!» — звучит команда молодого инструктора. Две цепочки двигаются на коленях навстречу друг другу. Сблизились, руки касаются рук, гладят головы, лица. Никаких вольностей. Да и захочешь ли их, если твой партнер — шестидесятилетний мужчина или домохозяйка, перешагнувшая тоже значительный возрастной рубеж.

Маргарет Сегесман уверяет меня, что «тач терапии» — надежное средство в борьбе с одиночеством. Люди, боявшиеся человека с улицы, теперь свободно разговаривают с ним. Многие, кто годами засыпал со снотворными пилюлями, впервые стали закрывать глаза без помощи их.

Не берусь судить, насколько научно обоснованы слова Маргарет Сегесман. Корреспондент не врач и не психиатр. Но перед тем как уйти из школы, я спросил у хорошенькой пепельной блондинки:

— Ну и как, помогает?

— По крайней мере, я чувствую себя легче. Может быть, потому, что я здесь не одна.

...Итак, что же все-таки может на самом деле спасти австралийцев от одиночества, излечить их от социальных болезней, которые приносят такое зло?

Трудно, очень трудно выписывать какие-то рецепты, * не дело это иностранного корреспондента. Австралийцы сами в состоянии разобраться у себя дома. Тем более что тревогу бьют не только прогрессивные организации, деятели культуры, профсоюзы, левые политические партии. Масштабы проблемы начинают понимать и правые силы, которые не хотят целиком лишаться поддержки австралийского избирателя и отдать навсегда лейбористам власть.

Канберра — Сидней — Мельбурн — Москва.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

АЛЬБЕРТ УСТИНОВ



ЭМОЦИИ КРИТИКИ

К вопросу о единстве социального и эстетического анализа

В годы и месяцы, минувшие после выхода в свет постановления ЦК КПСС «О литературно-художественной критике», наша критическая мысль не только заметно расширила горизонт охвата литературных явлений, не только всесторонне способствовала углубленному исследованию современного литературного процесса — как никогда усилился интерес к проблемам собственно критики. Среди них особо серьезной представляется проблема единства эстетического и социального анализа. Именно о ней говорил в своем докладе на Всесоюзном совещании критиков в минувшем году Л. Новиченко, призывая осуществлять это единство «углубленно, с партийной, ленинской страстью».

Единство эстетического и социального анализа... Нельзя сказать, чтобы этот принцип был где-то на задворках наших работ, посвященных методологии критики. Нет, он декларируется всегда и везде как неперемное и даже единственно верное условие исследования художественного произведения.

Здесь я хочу коснуться проблемы единства эстетического и социального анализа с точки зрения, так сказать, эмоциональных критериев: каково их место в системе эстетического анализа?

Ясная истина: художественное произведение воспринимается эмоционально. Без эмоционального воздействия вся разнообразная «информация», заложенная в нем, какой бы умной, своевременной и полезной она ни была, только по недоразумению может быть причислена к художественной литературе. Именно эмоциональное несет произведению то самое «чуть-чуть», без которого не существует искусства.

Отсюда и другая истина: вряд ли будет иметь смысл такой критический анализ, ко-

торый не охватывает эмоциональную сферу художественного произведения.

Вопрос этот было бы резонно перевести в русло проблемы единства формы и содержания произведения. В самом деле, эмоциональный эффект произведения достигается благодаря этому единству: важно «качество» содержания, воздействующее на нас глубиной мыслей и чувств, и «качество» формы, придающее произведению неповторимый индивидуальный облик.

Жаль, что при анализе единства формы и содержания в иных критических работах мысль об эмоциональном наполнении произведения как-то пропадает, ступевывается. Художественная литература, чей организм составляют «клетки-слова», сами по себе несущие определенный смысл, открывает для критика возможность целиком сосредоточиться на логическом объяснении содержания и формы.

Именно в этом случае происходит тот казус, когда мы хвалим произведение, которое, при всех неоспоримых «содержательных» достоинствах, лишено эмоционального, а следовательно, и подлинно художественного воздействия. Не против такой ли критики предостерегал еще Белинский, говоря: «Критик и публика — это два лица беседующие: надобно, чтобы они заранее условились, согласились в значении предмета, избранного для их беседы. Иначе им трудно будет понять друг друга. Вы разбираете сочинение, с важностью говорите о законах творчества, прилагаете их к разбираемому сочинению и, как $2 \times 2 = 4$, доказываете, что оно прервосходно. И что же? Публика восхищена вашей критикой и вполне соглашается с вами, видя, что в самом деле пункты эстетических законов подведены правильно и что в сочинении все обстоит благо-

получно. Но вот что худо: часто случается, что она забывает о превознесенном сочинении еще прежде, чем забудет о вашей критике. Отчего же так? Оттого, что разбираемое вами сочинение была хитрая, галантерейная работа, а не изящное создание, что оно, может быть, имело эстетическую форму, но было лишено духа жизни эстетической».

Статью В. Г. Белинского «О русской повести и повестях Гоголя», откуда эти слова, уместно как можно чаще вспоминать в разговоре о методологических проблемах современной критики — она примечательна и по идеям и по методологической направленности. Здесь и мысль о прогрессивной идейной основе критического анализа, противостоявшего в работах замечательного критика сенковско-шевыревскому консерватизму, литературному «любомудрию», барскому пренебрежению к «низкой» действительности. Здесь дух наступательности: статья не только сопоставляет литературу с жизнью — она говорит от имени жизни. В ней все литературные факты рассматриваются не изолированно друг от друга, а в исторической и эстетической взаимосвязи, давая наряду с рассматриваемым предметом картину современной критики литературы. Она в хорошем смысле субъективна, ибо открыто говорит о позиции критика, его отношении к предмету разговора. Мысль выражается ясно, образно и эмоционально.

Отмеченными особенностями этой статьи в какой-то мере характеризуются и наши общие задачи, высокие цели современной критики. Позволю себе напомнить два основных вывода, к которым пришел Белинский в этой статье и которыми руководствовался в своем дальнейшем творчестве.

«Первый и главный вопрос, предстоящий для разрешения критика, есть — точно ли это произведение изящно, точно ли этот автор поэт?»

И второй вывод: «...творчество бесцельно с целью, бессознательно с сознанием, свободно с зависимостью: вот основные его законы».

Что касается первого положения, то в работах современных критиков мы обнаруживаем его часто в каком-то «нечистопородном», что ли, виде. Я имею в виду то обстоятельство, что почти все нынешние критические статьи априорно признают автора «поэтом», поскольку формально «в сочинении все обстоит благополучно»: есть тема, идея, сюжет, взаимоотношения персонажей в соответствии с идеей, композиция, помо-

гающая раскрытию замысла, и т. д. Даже когда появляется совсем уж нехудожественная, а то и антихудожественная «художественная литература», все равно, случается, критика «профессионально» отметит в ней плюсы и минусы, сделает необходимые оговорки, которые для подобного рода литературы как балзам на душу: значит, тем не менее за литературу принимают... И существование такой «литературы» и необходимость борьбы с ней, на мой взгляд, убедительно подтвердила недавняя дискуссия о литературе и литературщине на страницах «Литературной газеты», начатая статьей В. Гусева «Дым без огня».

Принципиальность и взыскательность в соединении с тактом и бережным отношением к творцам духовных ценностей — принцип, записанный в постановлении ЦК КПСС «О литературно-художественной критике». Направлен этот принцип против какого-либо «мирного сосуществования» литературы и халтуры, против «капитулянтских» настроений: никуда-де от серого потока не денешься, он всегда был и будет, всегда была литература и окололитература. Нет, признавая живучесть зла, мы тем более обязаны усилить борьбу с ним!

Еще Пушкин на заре русской литературной критики глубоко задумывался над подобными вопросами. «Скажут, что критика должна единственно заниматься произведениями, имеющими видимое достоинство; не думаю. Иное сочинение само по себе ничтожно, но замечательно по своему успеху или влиянию», — говорил он и приводил в пример роман «Иван Выжигин» Ф. Булгарина («замечательно» здесь употреблено в значении примечательно). Саркастические статьи Пушкина по поводу творчества Булгарина — конкретный пример борьбы с псевдолитературой.

Что касается другой формулы Белинского (бессознательное с сознательным, бесцельное с целью), то с ней, на мой взгляд, происходила определенная трансформация во времени. В методике иных критических статей и рецензий наших дней эту мысль не то что «опровергали» или оспаривали, а просто опустили в первой, «неудобной» ее половине (бессознательное, бесцельное), оставив легко понимаемую «сознательную» половину.

Говоря так, я не имею в виду книги и статьи по эстетике, серьезные литературоведческие работы, где вопросы специфики художественного творчества, образа, диалектики рационального и эмоционального, ре-

ального и идеального находят правильное освещение и серьезно исследуется закон, так дерзко сформулированный Белинским. Я хочу подчеркнуть, что в повседневной критике в применении к конкретным явлениям литературы этот закон нередко забывается, игнорируется диалектическое единство эмоционального и рационального в художественном творчестве, упускается из виду, что эмоциональное и рациональное начала в художественном образе, словно наследственная информация в ДНК, определяют общие родовые и типологические особенности художественного творчества.

Скажем, к примеру, что «рациональное» содержание «Фауста», в каких бы понятиях мы его ни формулировали, неотделимо от эмоциональной сферы гётевского произведения, от темперамента, страсти, симпатии и антипатии автора.

Примером односторонней (в данном случае рациональной) оценки произведения может служить повторение чуть ли не в каждой работе о «Евгении Онегине» фразы Белинского «энциклопедия русской жизни»: как остроумно заметил Н. Гей, «по «номенклатуре» изображения русской жизни роман Пушкина весьма далек от полноты и всеохватности», чтобы называться энциклопедией, потому этот тезис Белинского имеет смысл лишь в соединении его с мыслью о «пафосе художественности»¹.

Что такое рациональные критерии, понять нетрудно: им подвластны все элементы повествования, на которые можно разложить произведение при анализе. А каковы же эмоциональные критерии?

«Работ своей психики» называл художника В. В. Воровский, имея в виду, что формирование художественных образов проходит именно в этой сфере². А. В. Луначарский говорил о некой «иррациональной» стороне художественного творчества³. Почему мы должны открещиваться от этого понятия, как от скоромного в великий пост? Только потому, что оно трудно поддается определению и требует для себя точного выражения?

Критика, случается, называют посредником между писателем и читателем. Что ж, это одна из его функций. Плохо толь-

ко, когда критик «посредничает» подобно тому, как это описал Белинский в приведенном выше отрывке: читателя книга нисколько не задела за живое, но критик начинает растолковывать, что и как изобразил автор в произведении, и по этому рассказу выходит, что все получилось ничуть не хуже, чем у любого классика. Смущенному читателю остается только посетовать на свое невежество...

Мне ближе критик, который, чувствуя себя равным с писателем, будучи деятельно, кровно заинтересованным в успехах родной литературы, вместе с тем выступает от имени читателя как его полномочный представитель. Не последнее место в анализе такого критика занимает непосредственное читательское восприятие. (Белинский называл этот необходимый момент в процессе изучения произведения или целиком всего творчества поэта «правилом Гёте», имея в виду знаменитое: какого читателя желаю я? — такого, который бы меня, себя и целый мир забыл и жил бы только в книге моей.)

Среди авторов критических работ, умело сочетающих глубокий социальный и эстетический анализ произведения с эмоциональным читательским восприятием, прежде всего вспоминается Александр Макаров. Предельная точность в передаче замысла и эмоционального строя произведения в его статьях была такова, что через самое критическое рассуждение до читателя доносилась первозданность художественного замысла произведения. Во многом это происходило потому, что критик не подавлял в себе непосредственный читательский отклик.

«Читаю и не могу не читать, поражаясь могуществу поэзии, способной отразить смысл жизни, думы, чувства, дела поколения, возвращенного временем гордым и трудным и ставшего гордостью своего великого времени», — писал Макаров о стихах Ярослава Смелякова.

«Лирика Эдуардаса Межелайтиса в последние годы заняла очень большое место в душевной жизни автора этой книги. Приворожила его. Не только своей философской стороной, мучительно-радостными размышлениями о человеке, его природе, сути и назначении, но и тем, что его развитие во времени как бы отразило самое Время великих исканий, Время сотрясающих сердца и народы социальных бурь и порыва к идеалу. И автор не мог думать ни о чем, а только о творчестве этого поэта», — говорил он во вступлении к работе

¹ Н. Гей, «Некоторые проблемы изучения Белинского». «Вопросы литературы», 1974, № 11, стр. 176.

² В. В. Воровский. Литературно-критические статьи. М. 1956, стр. 315.

³ А. В. Луначарский. Собрание сочинений. М. 1964, т. 2, стр. 42.

«Эдуардас Межелайтис», как бы доказывая незыблемость «правила Гёте». А свою работу о Твардовском он предваряет рассказом о том, как провожал на фронт друга, как в этот момент они оба восприняли только что прозвучавшие по радио стихи поэта, и это, словно эмоциональный камертон, дало читателю нужный лад к большому разговору о поэте.

Может быть, во всех этих случаях следует учитывать сам высокопоэтический характер анализируемых критиком произведений? Но вот макаровский анализ прозы. Он начинается также с поэтических ассоциаций. критик объясняет: «Хорошо, когда о прозе вдруг думается стихами. Что более точно, чем поэзия, может передать общее ощущение, настроение, вызванное явлением жизни или литературы, которая ведь тоже явление вечно творящей жизни!.. Хорошо, что чтение молодых, очень еще молодых прозаиков вызывает в памяти прилив высоких понятий... Но я, кажется, начал уже растолковывать то, что, право же, можно и не растолковывать, и преграждаю путь свободному течению мысли. А она еще не желает стать мыслью объясняющей и капризно, непоследовательно перекидывает мостик от поэтических ассоциаций к личным воспоминаниям...» Те выдержки, что приведены из статей А. Макарова, пусть и не содержат конкретного анализа, но они характерны для его критического «настроения», они отзываются камертоном эмоциональному строю произведения. Найден эмоциональный ключ книги, и он определит весь критический анализ. Вернее — критик проделывает «восстановительную» работу. Начав с конечного результата — идейно-эмоционального воздействия произведения на читателя, — он идет к его истоку, к замыслу, ясно определяя каждый характер, входящий в сюжет произведения.

Примеры из книги А. Макарова «Идущим вслед» можно было бы умножить еще за счет разборов произведений А. Рекемчука, В. Липатова, В. Семина, В. Аксенова, которым он посвятил две большие статьи — «Серьезная жизнь» и «Через пять лет». Мне макаровские статьи представляются наиболее убедительными из всего, что написано об этих авторах.

А написано немало и... разноречиво. Прямолинейная рационалистическая критика находила у многих из этих писателей серьезные ошибки, исходя из некоего «общего знаменателя» — несоответствия правды фак-

та правде идеала. Но подход к произведению с заданной схемой плохо убеждал.

Иная методология была у Макарова. В первой статье он почти не анализирует произведения молодых в то время писателей. Вся она — выплеск непосредственного впечатления от их книг, горячее рассуждение по поводу племени младого, незнакомого, идущего на смену старшим, но сохраняющего «фамильные» черты предшественников.

Вторая статья, написанная шестью годами позднее, когда авторы уже обрели «имена», насыщена детальным анализом, при этом идейные оценки строго выверяются эмоциональным строем произведения, а эмоциональные акценты подвешиваются осмыслению с точки зрения их совпадения с идейным замыслом произведения. Например, анализируя образы героев в повестях Виля Липатова «Глухая мята», «Стрежень», «Черный яр», «Чужой», А. Макаров особо сосредоточивается на эмоциональной окраске авторского слова о них, выясняя, кто же из героев особенно близок авторскому сердцу, кого писатель возвышает в мнении читателя, кому сочувствует, кого порицает.

А. Макаров отмечает, что авторские эмоциональные акценты в обрисовке персонажей нередко ставятся с «нажимом». Но если такая открытая, резко выявленная оценочность дает отличный результат в образе Егора Сузуна, где авторские эмоции естественно сливаются с читательским восприятием, или, по крайней мере, спасает положение, сообщая эмоциональную окраску несколько назидательной фигуре Максима Ковалева («Черный яр»), то перегрузка «оценочностью» такой значительной по замыслу фигуры, как Черепнин («Чужой»), приводит к обратному результату — к рационалистическому морализированию.

Так, умение вести как бы синхронный анализ рационального и эмоционального планов позволяет критику с большой степенью достоверности определять идейно-художественные достоинства произведения.

Опыт этот всегда должен быть у нас на вооружении, критика призвана уделить особое внимание анализу эмоциональной сферы художественного творчества, соединяя его с нашим богатым опытом социологического анализа. Современная идеологическая борьба (где сфера литературы и искусства оказывается одним из самых горячих участков) захватывает не только идейные, политические, социологические аспекты искусства, но и его «чисто» эстетические стороны. При

этом художественная сторона нашей литературы — при неоспоримом преимуществе одушевляющих ее идей — становится поистине решающим аргументом, убедительность идеи поддержана убедительностью эмоциональной!

«В основе социалистической эстетики, как воплощение жизненных потребностей времени, лежит тесное единство искусства и политики, нерасторжимость идейности и художественности. Марксистско-ленинский критический анализ предполагает целостное рассмотрение неразрывных и вместе с тем очень тонких связей между искусством и политикой. Такой анализ дает возможность показать определяющее влияние общественной жизни на художника и в то же время раскрыть специфическое выражение идей эпохи на языке и средствами искусства», — говорит Виталий Озеров в книге «Тревоги мира и сердце писателя».

Книга эта, определенная автором как «очерки международной литературной жизни», горячо отстаивает принципы социалистического реализма в конкретной полемике с его недругами. В книге рассматриваются важнейшие аспекты сегодняшнего литературного процесса, такие, как проблема партийности, народности, мировоззрения писателя, положительного героя, интернационализма, проблемы жанра и поэтических форм. Живой и увлекательный рассказ о встречах с писателями многих стран, творческие диалоги сообщают эмоциональную убедительность защищаемым автором теоретическим положениям. Очерково-публицистический жанр книги не снижает, а усиливает ее пафос. Характеристики, которые книга дает тем или иным художникам, выигрывают в глубине и убедительности потому, что даны на фоне широкой социальной картины нынешнего мира и в то же время просвечены изнутри, согреты светом эмоционального отношения писателя. Думается, намного ближе читателю стали в освещении Виталия Озерова болгарские писатели Л. Стоянов, Г. Караславов, южноафриканский писатель Алекс Ла Гума, монголка Сономын Удал, другие столь же интересные художники.

Касаясь, например, «Индийской повести» Т. Ахтанова, критик останавливается на эпизоде, где автор описывает дочерна иссушенного солнцем белобородого старика рикшу, напрягшего в предельном усилии свое жимистое тело, чтобы вывезти в гору двух холеных толстяков. Перед глазами Ах-

танова — точно ожившая картина антиимпериалистического плаката. Казахский советский писатель был потрясен ею. Да, он видел такие картинки в школьных хрестоматиях, знал о существовании рикш. Но — «человек, впряженный в повозку другим человеком... к этой картине привыкнуть немудимо». Даже когда коню трудно везти в гору, человек спрыгивает с телеги, а тут... «Жгучее чувство стыда за весь род людской», какое испытал автор повести, остро переживает и критик: «Скажу прямо: чувствуешь себя прескверно; и огорчение трудно сдержать, и помочь ничем не можешь... Мы уже привыкли жить по иным законам и не можем представить себе возможность эксплуатации человека человеком, безнаказанного оскорбления человеческого достоинства». Не ограничиваясь лишь социальным значением изображенной художником картины, критик указывает и на источник ее эмоциональной силы — непосредственную гражданскую взволнованность писателя, глубинный строй его мироощущения.

К сожалению, в нашей практике часто встречаются книги иного рода — когда объектом внимания автора становится лишь «видимый миру» антураж произведения, взгляд критика не доходит до «иррациональных», невидимых миру мук художника. Критик, который привык анализировать только лежащие на поверхности элементы, порой слишком уж сознательно выставленные напоказ автором некие художественно-технические приемы, призванные донести до читателя замысел автора, такой критик оказывается не в состоянии отделить истинное от поддельного.

Именно слабость связей между эмоциональными и рациональными критериями при анализе художественного произведения плодит в наших статьях бесконечные оговорки, «указатели» с положительными и отрицательными знаками. Когда я прочел в журнале «Литературное обозрение» рецензию Н. Денисовой на повесть А. Каштанова «Заводской район», я только-то и понял из нее, что повесть... о заводском районе. «Конечно... но так ли это...», «Во всем этом тоже есть... И все же, все же...», «Нет, речь не о том... впрочем...» — вот характерные конструктивные элементы этой статьи. Плюс — минус, плюс — минус... так и приходит критик к своим выводам, которые под стать его методологии: «Вообще, нам кажется, талант автора оказался в данном случае зреее его мысли... некоторые главы, сами по себе ин-

тересные, кажутся необязательными для развития главной темы, а итоговое сведение «концов с концами» беднее непосредственного содержания повести».

Вот и понимай: и талант налицо, и «главы, сами по себе интересные», и богатое «непосредственное содержание повести»... Можно подумать, что мыслимый, так сказать, логический ряд автономен по отношению к этим «интересным самим по себе главам», к «непосредственному содержанию», будто он развивается сам по себе. А уж если автономно, то могут действительно показаться «необязательными» главы ухода Степана к молоденькой продавщице, «нелепого и неожиданного», по словам Денисовой, — просто не следует принимать в расчет эмоциональный эффект «испуганно следящих» за Антониной глаз этой продавщицы, длительное отчуждение между героиней и Степаном перед его уходом... Что касается критика, то он не принимает таких вещей принципиально, ибо, как сказано в рецензии, «мы находимся не в условиях практики человеческого общежития, а в пределах литературы с ее исконным и законным тяготением к общезначимым критериям». Но кому будет нужна такая литература, если ее «общезначимые критерии» будут оторваны от «практики человеческого общежития»?

Это пример довольно распространенного критического метода. Но существует и другой, так сказать, «чисто эмоциональный», и он ничуть не лучше метода «чисто рационального». Чтобы далеко не ходить за примерами, обратимся в этом же журнале к статье Л. Аннинского о Шукшине «Шукшинская жизнь». Как и во многих своих статьях, здесь критик очень чутко улавливает тончайшие «движения души» художника и словно фиксирует их на осциллограмме. Критик настроивается на эмоциональную волну писателя и в яркой, эмоциональной форме оценивает особенности его таланта.

Но начертив осциллограмму творчества художника, Л. Аннинский почти не толкует ее показаний. А ведь это прямая обязанность критика! Снова разрыв единства эмоциональных и рациональных критериев. Кстати сказать, Л. Аннинский, если судить по нашей периодике, оказывается одним из самых желанных авторов при организации критических «дух мнений» об одной книге: слишком часто он расходится с суждением, построенным сухим рациональным способом; напротив, и с ним самим не соглашаются, видя в его суждениях больше чувства, нежели научной

основательности. Он даже однажды сам так выразился: «Я попытаюсь, конечно, логически объяснить читателю что к чему, но поскольку стихи — материя тонкая, то позволю себе для начала такое чисто человеческое признание: мне от этих стихов... холодно, а если на это возразят, что когда холодно, то это хорошо (в литературе так бывает, а в критике еще чаще), то уточню: мне от них холодно и нехорошо». Это из статьи Л. Аннинского «Инерция стиля» («Литературная газета»), где он спорит с Ал. Михайловым о книге И. Шкляревского «Воля». В другой подборке типа «два мнения» критик так определяет суть поэзии П. Мовчана: «Суть — в потоке страстей. Суть — в том хаотическом, незавершенном, наглядном, захлебывающемся, тяжком, стремительном, пышном орнаменте, который выявляет в поэзии Мовчана особый склад личности лучше, чем любые попавшие в этот водоворот приметы». Одни эмоции! Даже не менее эмоциональный В. Турбин вынужден был охлаждать критика на страницах «Литературной газеты» (13 марта 1974 года)... В обоих случаях резюме редакции не в пользу Л. Аннинского. Вместе с тем оппоненты признают его эстетическую чуткость — то исходное профессиональное свойство, без которого невозможна критическая деятельность.

Нередко мы встречаемся с ошибками в критических оценках, причины которых кроются именно в неумении почувствовать особенности эмоционального строя произведения. Показательной в этом отношении мне представляется дискуссия, которая велась несколько лет назад по поводу «Привычного дела» В. Белова. Помнится, такой серьезный критик, как В. Панков, на страницах «Литературной России» обвинил писателя в психологическом просчете при обрисовке характера Ивана Африкановича: мол, поступки героя не соответствуют природе его характера. Поступки его действительно противоречивы. Но там, где с точки зрения здравого смысла Иван Африканович поступает не «по-дрыновски», мотивировку следует искать в самой эмоциональной атмосфере эпизода, вызывающего душевный читательский отклик именно этими несоответствиями логическому смыслу! Вспомним: герой ворует сено, а стожки ставит свои, особые, по которым его поймают; замахнулся на жену перед ее смертью, хотя этого не делал всю жизнь, и т. д.

В критике всякий субъективистский путь

справедливо осуждается. Привлекает своей «объективностью» путь логически-спокойного разбора произведения с подведением материала «под законы», однако и на этом пути, к сожалению, критику ждут серьезные потери, если она лишена ощущения трепетного эмоционального мира литературы.

Рецепт не в том, чтобы отказаться от метода «подводить пункты эстетических законов». Но прежде чем заняться «химическим анализом», мы должны «насладиться поэтическим синтезом», говоря словами Белинского. Такая методология позволяет сохранять для читателя аромат художественности, сознание того, что перед нами действительно художественная литература, а не социо-

логическое исследование или научный трактат (и такое встречается в нашем критическом мире).

Нацеливая советских художников на создание высоких идейно-эстетических ценностей, партия при этом настойчиво призывает нас вести борьбу с серостью и халтурой. Не требует объяснения, сколь велика роль критики в искоренении «серого» зла. Эта роль будет тем значительней, чем вдумчивей всякий раз критик будет соблюдать условия единства эмоциональных и логических критериев, единства социального и эстетического анализа.

Алма-Ата.



В. КИРПОТИН

★

О ПУШКИНЕ, О ЛИЧНОСТИ, СМЕНЕ ПОКОЛЕНИЙ И НАДИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЯХ

Писать и говорить о Пушкине стало очень трудно, и не потому, что о жизни и наследии поэта написаны монбланы книг и статей. Дело в другом: Пушкин становится все нужнее и нужнее современному человеку, современному советскому человеку. Судить же о процессе, который продолжается, в котором сам участвуешь, труднее, чем о процессе закончившемся или даже отдаленном.

Иные из классиков вдруг стали нуждаться в комментариях. А вот Пушкин становится все понятней, все ближе, все интимно-родственной. Комментировать приходится архаические слова, значение мифологических персонажей, античных, библейских, а не существо дела. Существо поэзии Пушкина легко и свободно ложится на душу современного человека, облагораживает его, вдохновляет на труд, на любовь, на жизнь в сегодняшней столь далекой от пушкинской действительности.

Пушкина не раз пытались низвергнуть с пьедестала, не раз раскачивали, и, казалось, вот-вот он попадет в огненную печь для окончательной и уже непоправимой переплавки. Не буду напоминать хорошо известные литературные эпизоды. Важнее другое: в начальные годы революции, в гражданскую войну, в первые годы нэпа молодежь если увлекалась литературой, то увлекалась Маяковским не вместе с Пушкиным, а вместо Пушкина или даже в ущерб Пушкину. Читателю казалось, что Пушкин несозвучен эпохе, а иные Пушкина просто не знали.

Парфен Рогожин («Идиот» Достоевского) до встречи с Мышкиным и Настасьей Фи-

липповой не слышал имени Пушкина. Эта деталь, этот пример из другой эпохи показателен: предвидение поэта о всенародном признании долго оставалось еще только предвидением. И вот наступают 1936—1937 годы, столетие со дня гибели Пушкина. Это был, пожалуй, первый юбилей, приобретший массовый, всенародный характер. Собрания, посвященные Пушкину, не вмещали всех желающих, газеты полны были Пушкиным, книги Пушкина и о Пушкине расходились мгновенно, те самые юноши и девушки, которым возвышенная поэтическая речь Пушкина казалась чуждой, твердили стихи Пушкина наизусть. Комсомол со всем своим юношеским увлечением пошел в поход к Пушкину и за Пушкиным.

ЦК комсомола организовал собрание в Политехническом музее, посвященное Пушкину. Зал, в обычных случаях полупустой, был битком набит. Непопавшие толпились на улице.

Торжественное собрание в Большом театре, сессия Академии наук, на этот раз в Колонном зале Дома союзов, собрание в Союзе писателей — всюду счастливые слушатели, всюду свежесть восприятия, всюду радость открытия и приобщения к Пушкину.

Что же так повернуло душу людей, совершивших и продолжавших вершить революцию, к Пушкину? Простое приобщение к культурному наследству или даже прилежное усвоение культурного наследства не могли породить такого энтузиазма, такого сознания насущной необходимости, даже злободневности написанного Пушкиным.

Ко времени столетия со дня смерти Пуш-

кина произошел перелом в сознании интеллигенции, так отчетливо проявивший себя на Первом съезде писателей. Ярко сказалась международная притягательная сила молодого советского общества. Открылся путь негладкий и тем не менее рождавший всеобщее воодушевление.

Что же касается пушкиноведения, представление о беспротиворечивости поэзии Пушкина, свойственное либеральному литературоведению, согласно которому в ней «все глядит тихо, спокойно и радостно» (Дружинин), было слишком поверхностно, чтобы люди, совершившие революцию или прошедшие через ее грозы и бури, удовлетворились таким отношением к Пушкину.

Пушкиноведение начало все более и более глубоко проникать в трагические противоречия творчества поэта, в трагизм его биографии, его жизни.

Поколения Октября и послеоктябрьских лет по своему историческому опыту были подготовлены, чтобы пробиться сквозь «розовую» краску в самую глубину и толщу пушкинского творчества.

И оказалось: все противоречия, которые ранили Пушкина и погубили его, были неразрешимы для его времени. Все финалы его открыты, все они свидетельствуют о боли незакрывшихся ран. «Борис Годунов» заканчивается знаменитой ремаркой «Народ безмолвствует». Но безмолвие не есть завершение и снятие противоречия, оно — лишь указание на выход, который еще только мерцал впереди.

Пушкин не склонял головы перед выветрившимися, дискредитированными, десакрализованными идолами, он не способен был лгать, не признавал обязательность общеустановленного ритуала ни на службе, ни в быту, ни во дворце, ни в церкви, ни в канцелярии, ни в гостиной, ни в усадьбе. Властвующие отлично понимали, что и поэзия и сама личность поэта несовместимы с укладом, который они считали условием своего господства. Царю, его министрам и его военным бюрократам дела не было до того, хочет ли тот или иной дворянчик служить или предаваться удобствам и утехам партикулярной жизни, — в стремлении же Пушкина уйти в неслуживую частную жизнь видели крамолу и вызов, желание утвердиться в мире на иных, мятежных основаниях. На него стали смотреть как на отщепенца и опасного бунтаря, способного потрясти все здание.

Поколения Октября почувствовали себя

способными разрешить противоречия старого общества, погубившие Пушкина. Октябрьское и послеоктябрьские поколения сумели глубже проникнуть в существенные пласты пушкинского наследия, чем какое-либо из предшествовавших. Изменить то роковое, что произошло в 1837 году на Черной речке, уже никто не мог, но наследие Пушкина, труд его, имя его были предохранены от погружения в историческую дымку — мы оказались наследниками Пушкина.

Встреча с Пушкиным, сознание, что в грандиозной деятельности грозного века мы вместе с тем осуществляем дух заветов Пушкина, придали любви к Пушкину особый оттенок, оживотворили отношение к нему, извлекли Пушкина из музея, из пантеона великих образов прошлого и сделали его нашим современником, нашим учителем, нашим другом, нашим товарищем.

Революция вила новую жизнь и придавала новое, современное значение наследию Пушкина. Поэтический гений Пушкина, немеркнущая красота его творений, оказавшись в русле нашей устремленности к будущему, усилили поэтический ореол, свойственный коммунистическому идеалу. Об этом тоже не следует забывать.

Не могу взять на себя задачу исчерпывающим образом изложить все, чем Пушкин дорог нам в сегодняшние дни, чем он питает наш разум и наше сердце сегодня. Тут не все стоит на месте, тут происходят свои сдвиги, не всегда сразу замечаемые, но тем не менее важные. В общем процессе выделяется та или другая черта, та или другая нота.

Сейчас, думается мне, приобретает чрезвычайную важность атмосфера, создаваемая пушкинским идеалом взаимоотношений личности и общества, стремлением к подвижной гармонии между личностью и обществом — стремлением, пронизывающим все творчество поэта.

Пушкин не сразу нашел свое решение проблемы, быть может, он и не «отработал» свой идеал до конца (если только можно «отработать» идеал до конца!), но всегда был последователен, но идеалом этим в итоге дышит все написанное им.

Пессимисты твердят, что история не щадит человеческой личности и даже не замечает ее. Однако не все лучи света погибают, многие прорезывают мрак и дают исходные точки для грядущего обновления. Пушкин был убежден, что исторический процесс, рост и распространение просвеще-

ния рождают, формируют и воспитывают человеческую личность. Пушкин понимал, что формирование личности повлекло за собой одновременно возникновение противоречия между личностью и обществом. Однако и сквозь конфликты Пушкин искал и находил гармонию между личностным началом, между личностью как трудно достижимой, но прекрасной и необходимой ценностью и сверхличными, или надындивидуальными, ценностями, следование которым не суживает, а обогащает человека. Он мыслил как единственные и надличностные ценности как единство, обогащающее оба полюса. Он искал и находил эту диалектическую гармонию, и не его вина, что он не мог ее осуществить в своей жизни.

Без личностного начала человек превращается в унылую и стандартную пешку. Без личностного начала не может развиваться и цвести культура в ее высших и прекраснейших формах.

Но без надындивидуальных ценностей личность ударяется в своеволие, в анархизм, ведущий ко злу и бедам, к авантюризму и жестокости. В конце же концов оказывается, что никакая личность не всемогуща и не всевластна. Тогда она испытывает крах. Она капитулирует и в лучшем случае начинает метаться между гордыней и смирением.

Я уже сказал, что Пушкин искал и лишь постепенно находил гармонию между личностью и надындивидуальными ценностями.

Представляет несомненный интерес проследить хотя бы вкратце, как Пушкин искал и находил эту гармонию.

Началось с падения фетиша бога, отказа от фантома религии. Пушкин жалел впоследствии о том, что написал «Гавриилиаду», но «Гавриилиада» не была случайной страницей в его творчестве. В «Гавриилиаде» много юношеского озорства, но озорство это явилось следствием чувства обретенной свободы. Религия — самая древняя идеологическая школа морального рабства. Не может быть человек свободен, пока не освободится от гипноза понятия «бог». Религиозный человек ничего не делает бескорыстно. Он всегда руководствуется чувством подчиненности, ищет санкцию, ожидает награды или кары, награды за добродетель, кары за грехи.

Попробуем смоделировать ход мысли пушкинского современника, усомнившегося в догматах веры...

Падение религии рано или поздно влечет за собой падение всех освященных религией установлений, норм и догм. Все они развеиваются как призраки. До тех пор, пока образовавшееся пустое место не займут другие, не абсолютные, не метафизические, но все же, несомненно, надындивидуальные ценности, пропадают критерии добра и зла, все кажется дозволенным: ведь источником всех табу было ничто, был нуль! Все унаследованные недискуссионные заповеди превращаются в ничем не мотивированную бессмыслицу. «Какой тут грех? Где зло? Пустое, вздор!» — читаем мы у Пушкина. Устранение небесного владыки ведет к падению авторитета владыки земного, царя, всей иерархии привилегированных честей и обычаев. Седой капитан, разводя руками, говорит у Достоевского: «Если бога нет, то какой же я после того капитан?»

Человек отпущен на свободу, и первоначально он все ставит на себе самом. «Лишенный всех опор отпадший веры сын» с ужасом или отчаянной отвагой видит, «что в свете он один», что ему не на кого оглядываться, некого спрашивать.

Так это было не раз среди ищущих и дерзновенных людей разных поколений.

«— Принципов... нет,— говорит Базаров не отцам, а Кирсанову-сыну.—...есть ощущения. Все от них зависит.

— Как так?

— Да так же. Например, я: я придерживаюсь отрицательного направления — в силу ощущения. Мне приятно отрицать, мой мозг так устроен — и basta! Отчего мне нравится химия? Отчего ты любишь яблоки? — тоже в силу ощущения. Это все едино. Глубже этого люди никогда не проникнут. Не всякий тебе это скажет, да и я в другой раз тебе этого не скажу.

— Что ж? И честность — ощущение?

— Еще был.. А? Что? Не по вкусу? — отстранил Евгений возражения Аркадия. — Нет, брат! Решился все косить — валяй и себя по ногам».

Тургенев правильно понял состояние образованного и мыслящего человека, как только он почувствовал себя на свободе, — вне развитой общности, вне массового движения, вне долгой дисциплины материалистического мышления, как только он почувствовал себя анархически свободным.

Вечности нет, бессмертия нет, нет вневличных критериев для оценки твоего поведения, и юный Пушкин сделал из этого мироощущения легко напрашивающиеся эпикурей-

ские выводы: играй, лови счастливые минуты...

Смертный, век твой—привиденье:
Счастье резвое лови;
Наслаждайся, наслаждайся;
Чаще кубок наливай;
Страстью пылкой утомляйся
И за чашей отдыхай!

Юный Пушкин легко поддавался излишествам чувственности. Он признавался:

Напрасно я бегу к сионским высотам,
Грех алчный гонится за мною по пятам...
Так, ноздри пыльные уткнув в песок
сыпучий,
Голодный лев следит оленя бег пахучий.

Пушкин учился и с течением времени научался смирять «голодного льва»; преградами на его пути к «сионским высотам» были не особенности его природы, а жестокая и враждебная ему действительность.

Однако даже и в первоначальном эпикуризме Пушкина не было хищнических моментов. То, что он разрешал себе, он разрешал и другим. Предпосылкой его «все позволено» было органичное сознание равенства, ему чуждо было отношение к другому человеку как средству, ему претило ограничение чужой свободы — угнетение, пролитие крови, ему чужда была апология зла. Поэтому эпикуреизм, столь привлекательный для полной сил, неискушенной юности, не мог слишком надолго стать центром духовной жизни его исполинской личности. Свобода не за счет других, а вместе с другими светла и заманчива, что и говорить, но круг ее слишком ограничен и зыбок, если эти другие только друзья, только возлюбленная, если рвущаяся к свободе личность просто старается не замечать семьи, общества, государства со всеми связанными с ними тяготами, «бременами», преградами, невозможностями, обязанностями, долгом, противоречиями, требованиями совести.

Пушкин не остановился на эпикурейской ступени своего развития, он был в движении, и, что очень важно, его движение не было продиктовано капризом, оно определялось логикой, свойственной диалектике понятий, взятых из необходимой «игры» самой действительности. Непрочная и не слишком глубокая, хотя и философски обоснованная эпикурейская радость неизбежно переходила у Пушкина в глубокую горечь, в бездонное, казалось, отчаяние, и приступы этого отчаяния делались у него тем более частыми, чем глубже проникал в сущность вещей его разум, чем неблаго-

приятнее становились внешние обстоятельства, чем дальше уходила юность. Пушкин пишет леденящие строки:

Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?
Иль зачем судьбою тайной
Ты на казнь осуждена?

Кто меня враждебной властью
Из ничтожества воззвал,
Душу мне наполнил страстью,
Ум сомнением взволновал?

Цели нет передо мною:
Сердце пусто, празден ум,
И томит меня тоскою
Однозвучный жизни шум.

Из ничтожества — здесь в старинном смысле слова из ничего. Жизнь начинается вот с этого порога, длится миг и вот тут же кончается навсегда. Зачем волноваться, поддаваться изнурительным эмоциям, утомлять мозг поисками цели — ты песчинка, ты ограничен во времени и пространстве, нет цели вне тебя, наиндивидуальные идеалы бессмысленны.

Холодное, леденящее отчаяние стихотворения «Дар напрасный» антитетически и вместе с тем органически связано с эпикурейским циклом у Пушкина. Оба восходят к тому, что выразилось в «Гавриилиаде» и породило «Гавриилиаду». Творчество Пушкина представляет собой не совокупность разных слоев, а живое, движущееся единство. Старая органическая целостность мира, старые скрепы, связующие человека с другими людьми, с народом, с человечеством, с космосом, утратили свое значение, истлели, человек остался один, он и метался от наслаждения к отчаянию, от эпикуреизма к стоицизму — и ни на одном полюсе не находил точки опоры.

Равнодушное счастье, практикуемое «добрыми ленивцами», «мудрецами-эпикурейцами», подавляло творческие основы человеческой личности, рождало и культивировало — в изящной или грубой форме — потребительское отношение к жизни.

Отчаяние воспитывало в человеке стоическое отношение к бедствиям:

К печалям я привык, расчелся я с
судьбою
И жизнь перенесу стоической душою.

Но в какие бы формы ни выливалось отчаяние, оно парализовало человеческую деятельность.

В итоге человек, предоставленный само-

му себе, терял очарование юности, дружбы, «прямой любви», увлечение творческим трудом. Будущее уходило от него, он стоял перед нулем — и начинал задумываться о небытии, небытие ему даже начинало казаться привлекательней жизни. В «Трех ключах» Пушкин отдает предпочтение последнему ключу, холодному ключу забвенья:

Он слаще всех жар сердца утолит.

Уничтожение старых надиндивидуальных ценностей в тех условиях, когда новые еще не были найдены, не были выработаны, жизнь и мышление, жизнь и чувство в вакууме, в пустоте неизбежно выдвигали перед Пушкиным и другими великими и гордыми умами мысль о смерти, о значении смерти для оценки жизни, о смысле смерти.

Насколько важны были искания Пушкина, насколько глубоко проникал он в тайны человеческой психологии, ищущей новые этические ценности, видно уже по одному тому, что и Белинский прошел через те же думы о смерти и жизни, через то же отчаянье¹.

К смерти можно относиться так, как королева-мать и король-убийца в трагедии Шекспира. Они поучают Гамлета: чего ты тревожишься, отец твой умер — все умирают; таков порядок — живи, пока живешь. Продиктованы ли их советы желанием уловить ускользающий день с его минутными наслаждениями или желанием заглушить страх смерти — все равно они делают существование человека безыдеальным.

Гамлет, однако, понимал, какие загадки ставит перед человеком смерть.

В русской литературе Державин нашел грандиозные, грозные и величественные слова о смерти... Все умрем, всех поглотит вечность — и народы, и царства, и царей, чего же тебе искать исключения! Слова Державина, может быть, не утешали, но они вселяли мужество, они спасали достоинство человека. В его поэзии человек в свой смертный час оказывается один на один с космосом, Державин топил человека в пропасти забвенья, в пустой бездне бесконечности, он элиминировал человеческий род, поколения, преемственность поколений.

Лермонтов, предчувствовавший свою раннюю гибель, не мог, однако, представить се-

¹ Письма Белинского до сих пор не оценены в полной мере. Они требуют самостоятельного и полновесного исследования.

бе эмоционально, психологически (как это свойственно иногда отрочеству), что такое смерть в своей неумолимой реальности. Он умрет, но ему будут сниться сны. Смеженными очами он увидит тоскующую юную деву, он умрет, но в груди его будут дремать силы жизни, все дни, все ночи он будет слышать сладкий голос, поющий о любви.

Фет испытывал перед перспективой неизбежной смерти грусть и отчаяние бессилья. Жизнь — сознание; личностное сознание возвышается над мирозданием, малое, оно способно обнять, понять, вобрать все в себя — и вместе с тем оно непрочно, как свеча на ветру. Смерть близкого вызывала у Фета чувство безнадежной жалости и покорного недоумения:

Не жизни жаль с томительным дыханьем,
Что жизнь и смерть? А жаль того огня,
Что просиял над целым мирозданьем,
И в ночь идет, и плачет уходя.

В поэзии конца XIX и начала XX века у такого великого лирика, как Блок, речь шла уже о его смерти, о смерти мучающейся в недобром мире отдельной личности. Жизнь — только отсрочка. Смерть говорит: пускай он немного помучается, я отворю дверь, он успокоится в моем царстве, вспоминая на пороге имя любимой. Одиночество было одним из главных элементов трагического в поэзии Блока, и выход из трагедии обозначился едва ли только не в «Двенадцати».

Большая трагическая поэтесса, умершая сравнительно недавно, говорила:

Но я предупреждаю вас,
Что я живу в последний раз.
Ни ласточкой, ни кленом,
Ни тростником и ни звездой,
Ни родниковой водой,
Ни колокольным звоном —
Не буду я людей смущать
И сны чужие навещать
Неутоленным стоном.

Предупреждение это не могло выдерживать тональности трагической исключительности. Никто, кроме особенным образом настроенных приверженцев некоторых Древних восточных верований, не надеется на последующее перевоплощение, никто не может рассчитывать на утление своих земных печалей после смерти. Каждый может сказать: «...я живу в последний раз», превращая, таким образом, «я» в «мы».

Пушкин много думал о смерти. С не меньшей, вероятно, силой, чем Лермонтов, предчувствовал он свою гибель:

День каждый, каждую годину
Привык я думой провождать,
Грядущей смерти годовщину
Меж их стараясь угадать.

Земля прекрасна, и жизнь мила — Пушкин это знал и чувствовал лучше, глубже, возвышенной других. В церковных проповедях, опорочивавших «подлунный мир», устранявших различие между здешним и потусторонним бытием (и «здесь и там одна бессмертная душа»), он видел ханжество. Пушкин любил жизнь и умел пользоваться жизнью, но, размышляя о смерти, он не исключал себя из поколения, и это вносило в его думы не смиренно-религиозную, а философскую, умиротворяющую ноту. Стансы «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» печальны, что и говорить, но не безнадежны, в них провидится продолжение угасающей жизни в милом младенце, страх и трагедия смерти снимаются мыслью о смене поколений и бесконечности космоса:

И пусть у гробового входа
Младая будет жизнь играть,
И равнодушная природа
Красою вечною сиять.

Сыновья и внуки вспомнят умершего, они вберут его наследие в свою жизнь — и так без конца.

Не буду цитировать полностью известных строк «Здравствуй, племя младое, незнакомое!». Хочу лишь напомнить: новая поросль сосен ассоциируется у Пушкина с порослью поколений; обращаясь к тянущимся ввысь, догоняющим своих «предков» деревьям, он мыслит о бессмертии в потомстве:

...Но пусть мой внук
Услышит ваш приветный шум, когда,
С приятельской беседы возвращаясь,
Веселых и приятных мыслей полон,
Пройдет он мимо вас во мраке ночи
И обо мне вспомнит.

По Пушкину, единственная возможность «перевоплощения» создается переходом от поколения к поколению, их естественной органической связью между собой:

Увы! на жизненных браздах
Мгновенной жатвой поколенья,
По тайной воле провиденья,
Восходят, зреют и падут;
Другие им вослед идут...
И наши внуки в добрый час
Из мира вытеснят и нас!

Поэтому-то, по Пушкину, неотвратимость смерти не отрешает от жизненных интересов, не ожесточает — она оставляет человеку последнюю волю к добру.

Наследие Пушкина противостоит столь распространенным в XX веке представлениям о смерти как о доказательстве бессмыслицы и абсурда бытия. Все люди умрут, удел прошлых поколений напоминает им об их собственной участи, в отличие от животных и растений человек знает, что умрет. И это еще увеличивает его ужас, жизнь нацелена на смерть, и жизнь есть только «бытие-к-смерти» — нет ничего более чуждого Пушкину, чем этот морально-метафизический ряд.

Смена поколений подрывает могущество смерти, смерть не всемогуща, раз действует непрекращающаяся эстафета жизни, есть будущее, есть надежда и на последней грани индивидуального бытия.

Смерть существует, смерть трагична, но она — звено в никогда не прекращающейся цепи бытия.

Смена поколений создает объективную основу для существования наиндивидуальных ценностей и их торжества над всем тем, что оспаривает их наличие, их обязательность, их реальную воспитательную и ориентирующую важность.

Но одной биологической преемственности недостаточно для умножения и развития цементирующих наиндивидуальных ценностей. Лира Ленского-поэта «гремучий, непрерывный звон в веках поднять могла». Но если б Ленский, женившись, «расстался с музами», «пил, ел, скучал, толстел, хирел», то он не оставил бы потомству ничего, кроме разоренного имени. Лишь деятельность во имя «блага мира» может создать страстную заинтересованность в улучшении настоящего, может повести к творчеству во имя будущего, во имя идеала.

Пушкин понимал трагизм истории, он слишком хорошо знал, что такое войны, «мятежи и казни». Он не был равнодушен к человеческим страданиям, он остро переживал беды и боли народные, но он никогда не относился к истории как к чуждому и враждебному потоку, он был убежден, что человечность, гуманизм, общественное благоденствие возрастают в процессе исторического движения. Скептики твердили, что в истории все не удастся; Пушкин упрямо отвечал: в истории не все «не удастся», культура накапливается в смене поколений,

осуществление идеала возможно только в истории и само есть часть историко-социального и историко-нравственного восхождения.

Умер Петр, ушли в могилу его соратники, время осудило бессмысленные жестокости и оправдало его преобразования:

Красуйся, град Петров. и стой—
Неколебимо, как Россия.

Время открыло на базе достигнутого Петром новые перспективы, новые противоречия, новую борьбу и новые свершения — новую жизнь, вобравшую в себя не исчезнувшее бесплодно прошлое.

Мечтая о бегстве из враждебной ему станицы в деревню, в поместье, Пушкин считал необходимым условием успешности своей предполагаемой свободной деятельности семью: «Блажен, кто находит подругу: тогда удались он домой»; семья, дети, род, жатва поколений — необходимые посредствующие звенья между трудами в настоящем и надеждой на наполненную бесконечность. «...крестьяне, книги, труды поэтические, семья, любовь...» — вот программа существования, создающего связь конечной индивидуальности с могуществом, правотой и ценностью наиндивидуального бытия.

Отход от «пушкинского» пафоса преемственности поколений — явный признак истощенности творческих сил сословия, класса, лица, а иногда и целых культурных формаций. На этой почве развиваются самые крайние разновидности философского субъективизма, ведущие в никуда и в ничто. «У меня никогда не было чувства происхождения от отца и матери, — признавался теоретик «персоналистской» ветви экзистенциалистического философствования Н. Бердяев, — я никогда не ощущал, что родился от родителей. Нелюбовь ко всему родовому — характерное мое свойство. Я не люблю семьи и семейственности и меня поражает привязанность к семейному началу... Некоторые друзья, шутя, называли меня врагом рода человеческого»; «Отталкивание от родовой жизни принадлежит к самым первоначальным и неистребимым свойствам моего существа. Отталкивание во мне вызывали беременные женщины... деторождение мне всегда представлялось враждебным личности, распадением личности. Подобно Кирхенгардту, я чувствовал грех и зло рождения. Перспективы родово-

го бессмертия и личного бессмертия противоположны».

Пессимистически окрашенному субъективному идеализму история, в которой революционные скачки неизбежны, представляется концом света, светопреставлением, гибелью и личности и рода человеческого. Апелляция к богу здесь мало утешает: Бердяеву приходила в голову «кошмарная» мысль, что бог зол и что только «из рабских чувств он мыслится людьми как добрый».

Доверие к будущему смягчает и даже снимает свойственное и Пушкину понятие судьбы как predetermined, неодолимой обреченности. Оно дает возможность отнестись к будущему как к времени осуществления сегодня задуманных, сегодня начатых дел, оно устраняет отношение к труду, к созиданию, к творчеству как к бессмысленной сизифовой работе. В движении поколений человечество освобождается от иллюзорных мнимовечных ценностей. Их место занимают ценности изменяющиеся, развивающиеся, обогащающиеся, реально осуществляющиеся.

Пушкин оптимистичен, его оптимизм — не оптимизм незнания и неопытности, как это часто бывает, а оптимизм, преодолевающий самые трудные загадки бытия, его напоследок оздоравливает.

Скажут: пушкинское представление о смене поколений слишком общо. Да, общо, но существенно, в нем великая сила.

Если б Пушкин дал на волновавшую его проблему поколений эмпирический, конкретный ответ, то его значение не вышло бы за пределы дня, Пушкин не шел бы с нами, не воодушевлял бы, не помогал нам сегодня, не лечил бы от утопических мечтаний, от скептицизма, от отчаяния, не учил бы, наконец, радоваться жизни.

И эпикурейский разгул и стоическое отчаяние были в поэтическом мировоззрении Пушкина моментами, которые не только не надломили его, несмотря на самые неблагоприятные условия, но, наоборот, послужили для него школой, позволившей преодолеть ограниченность и горечь замкнутого в себе эгоистического индивидуализма. Он сам это понимал:

Воспоминание безмолвно предо мной
Свой длинный развивает свиток;
И с отвращением читаю жизнь мою.
Я трепещу, и проклиная,
И горько жалею, и горько слезы лью,
Но строю печальных не смываю.

Бога нет, нет загробного воздаяния за добро и за зло, злые нередко блаженствуют и живут долго, праведные нередко страдают и умирают рано. Пушкину самому суждено было погибнуть во цвете лет, а убийце его прожить до глубокой старости, в богатстве и спокойствии, но тем не менее существуют объективные надындивидуальные ценности, и человек только тогда что-нибудь значит, когда он не растворяется в пошлом потребительском существовании и не складывает в отчаянии руки на груди.

В самых различных произведениях и каждый раз по-новому Пушкин показывает, что современные ему противоречия находят разрешение в смене поколений, в будущем. «Пир во время чумы» заканчивается ремаркой: «Пир продолжается. Председатель остается погруженный в глубокую задумчивость». Вальсингам задумывается. Он не вернется к нерассуждающей вере, проповедуемой священником. Но его не удовлетворит и буйный предсмертный разгул, и отчаянное бесстрашие перед чумой, и упоение гибелью, он будет искать и искать, и, быть может, луч рассвета ему блеснет в социальной и нравственной общительности и еще более и еще точнее — в том, что мы называем гуманизмом.

Гуманизм Пушкина сильно отличается от вербального и пресного гуманизма прекраснородушных мечтателей и от расплывчатого либерального гуманизма. Его гуманистический идеал включает в себя представление о силе, способной побороть зло, об одухотворенной энергии, превышающей некультивированную силу первобытных, темных, низменных страстей. Не надо упрощать: в песне Вальсингама отразились демоническое восхищение и мрачная отвага, охватывавшие порой и Пушкина перед лицом погибельных стихий:

Есть упоение в бою,
И бездны мрачной на краю,
И в разъяренном океане
Средь грозных волн и бурной тьмы,
И в аравийском урагане,
И в дуновении Чумы.

Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья—
Вессмертья, может быть, залог!
И счастлив тот, кто средь волненья
Их обретать и ведать мог.

Но за реакцией Вальсингама на грустную песню доброй Мери мы чувствуем также и

настроение, и убеждение, и более возвышенную ступень идеала самого Пушкина.

Если ранняя могила
Суждена моей весне,—

поет Мери; она умоляет милого не приближаться к ее зачумленному телу, не касаться ее мертвых уст, она зовет его оставить селенье, пока не минет зараза, и только тогда посетить ее бедный прах. Это отражение строя чувств, нашедших свое выражение и в непосредственных лирических излияниях Пушкина. Вальсингам отличает истинное мужество, дружество, человеколюбие Мери от словесной похвалы, не могущей скрыть эгоистического страха за свою жизнь, охватившего Луизу при виде телеги, наполненной мертвыми. «Но так-то,— говорит Вальсингам, и это также слова самого Пушкина,—

...нежного слабей жестокий
И страх живет в душе, страстьми
томимой!

В конечном итоге Пушкин встретит «чуму» как войтель, он найдет успокоение только в победе над «чумой». На страницах «Пира во время чумы» лежит отблеск мечты о такой полноте жизни — и тела и духа, — какую не могли себе представить ни верующий священник, ни атеист-метафизик.

Пушкин учит деятельному участию в сегодняшней жизни, уменью готовить лучшее будущее для себя, для детей, для новых поколений. Такое будущее, в котором истина, справедливость, красота составят единую атмосферу гармонического личного и общественного существования.

Злободневно ли это? Имеет ли это отношение и к нашему сегодняшнему миру? Да, злободневно, да, имеет отношение...

По убеждению Пушкина, свобода, в том числе и свобода творчества, должна сочетаться с уважением к надындивидуальным ценностям. «Поэзия,— писал он по поводу произведений Иосифа Делорма,— которая по своему высшему, свободному свойству не должна иметь никакой цели, кроме самой себя, кольми паче не должна унижаться до того, чтоб силою слова потрясать вечные истины, на которых основаны счастье и величие человеческое, или превращать свой божественный нектар в любострастный, воспалительный состав». (Ограждая искусство от упрощений, Пушкин считал нужным, однако, заметить: «Но опи-

сывать слабости, заблуждения и страсти человеческие не есть безнравственность, так как анатомия не есть убийство».)

Пушкин оставил нам произведения, в которых с необыкновенной художественной силой, а потому и с необыкновенной убедительностью доказал реальность существования наиндивидуальных ценностей, оскорбление которых, отказ от которых неизбежно ведет к возмездию.

Если в «Цыганах» значение наиндивидуальных ценностей отчасти еще только декларируется в назидательной речи старого цыгана, то в «Маленьких трагедиях», в «Евгении Онегине», да и в других произведениях они выступают как объективная данность мира. Герой, считающийся только с самим собой, игнорирующий значение и силу объективных нравственных законов, сталкивается как бы с невидимой стеной, жизнь наказывает его, иногда даже в будничной судьбе.

Онегин был рожден и с «сердцем и умом». Себялюбие извращает первоначальную положительную суть его личности, оно лишает его способности ориентироваться в мире, оно делает его убийцей, заставляет пренебречь той, которая дала бы ему счастье. Из-за своего эгоизма Онегин оказался в одиночестве, в тоске.

Восстановление нарушенного нравственного закона не имеет ничего общего ни с юридической карой, ни с индивидуальной мезтью. «Русалка» по жанру принадлежит к «маленьким трагедиям», в которых тема возмездия звучит очень сильно. «Русалка» осталась незаконченной, может быть, именно потому, что тема возмездия в ней сбилась на тему индивидуального отмщения:

Прошло семь долгих лет—я каждый день
О мщеньи помышляю...
И ныне, кажется, мой час настал.

Не исключено, что, вернись Пушкин к замыслу «Русалки», он переработал бы ее в духе «Яныша-королевича» (сюжетная основа обоих произведений одинакова), где покинутая возлюбленная не мстит, где возмездием оказывается невозвратимость желанной и оскорбленной утраченной любви:

Против солнышка луна не пригреет,
Против милой жена не утешит.

Возмездие наступает большей частью не тотчас, и оно вовсе не сводится к восста-

новлению старого, окаменевшего уже закона. Возмездие в творчестве Пушкина не консервативно, а прогрессивно и даже революционно, оно обращено не к прошлому, а к будущему. Нарушение старого нравственного закона подчас свидетельствует о его видоизменении, о замене его новым, более совершенным и высоким нравственным законом.

По Пушкину, вообще высшей направляющей силой искусства является идеал и уж ни в коем случае не дидактика, какие бы формы она ни принимала. «Мелочная и ложная теория, утверждающая старинными риториками, — писал Пушкин, — будто бы польза есть условие и цель изящной словесности, сама собою уничтожилась. Почувствовали, что цель художества есть идеал, а не нравочение». А истинный идеал по самой природе своей обращен к будущему.

Обращенность Пушкина к будущему — а это значит к процессу, породившему и подготовившему русскую революцию, — с особой силой проявилась в «Медном всаднике», одном из самых совершенных, прекрасных и величественных произведений в литературе всех времен и народов.

В «Медном всаднике» нравственное возмездие оборачивается историческим возмездием — и в этом торжествует реализм Пушкина, подлинно реалистический характер его поэтического мышления².

Памятник Петру был воздвигнут по замыслу Екатерины, стремившейся внушить подданным, что она, узурпаторша, является духовной наследницей и продолжательницей дела Петра. Автором его был Фальконе, сын века Просвещения, единомышленник Дидро. Фальконе вышел за пределы царичьего заказа. Он вложил в созданную им статую другую идею: путь в будущее — это взлет, напряжение, борьба света с тьмой. Его Петр дышит упрямым, волей, способностью и готовностью преодолевать преграды, он вдохновлен грандиозными целями. Петр взлетает над стариной, над традиционной действительностью, он топчет змия и благословляет основанный город.

Воплощенная в бронзе коллизия привела в движение творческий гений Пушкина. Пушкин мыслил не отвлеченно, он вооружен был знанием конкретной истории Рос-

² См. об этом подробнее в моей работе «Наследие Пушкина и коммунизм». Книга «Вершины». М. 1970, стр. 65—78.

сии, таким, каким, пожалуй, никто не владел в его время. Он знал цену, которую заплатила Россия за Петрову реформу. Он понимал, что реформа привела к последствиям, которых не предвидел и которых не желал Петр.

Прямое, механическое продолжение политики Петра, не учитывающее запросов нового времени, вело в пропасть. «Медный» разум и «медное» сердце Петра подгонят «коня» к краю бездны. Нужен новый путь, нужны новые силы, чтобы обеспечить будущее России. Нужны другие люди, нужны новые герои.

Новые потребности интенсифицировали процесс развития личности, обостряли ее жажду самоутверждения. Новые люди несли с собой критику старых ценностей, а иногда и полный отказ от них.

Пока вышедший из их рядов, вновь возникший в литературе герой, думая отгородиться от истории, мечтал о своем уголке, о горшке щей, о своей Параше, о житейском благополучии, он не представлял исторической силы *in actu*. Великая заслуга Пушкина состоит в том, что он разглядел и на этой, самой первоначальной ступени потенциальную взрывчатую силу нового героя.

Евгений — образ бедного чиновника, со времен Пушкина властно вошедший в русскую литературу. Первое движение Евгения в столкновении с медными законами истории — ужас, ужас перед самим собой, перед своей дерзостью; первый результат его ропота, его мятежа — поражение.

Но это было величайшим историко-философским, социальным и эстетическим открытием: Пушкин открыл, что Евгений соразмерен Медному всаднику, что он имеет право вызвать Медного всадника на бой. Потерпевший поражение Евгений был эстетически оправдан и возвеличен Пушкиным.

Чтобы понять, как оригинально, неожиданно и велико было открытие Пушкина, следует вспомнить, что еще в 50-х годах «бесценный триумvirат» либеральных критиков — Дружинин, Анненков и Боткин доказывали, что ни мужик, ни человек городских низов не могут стать героями значительных художественных произведений, а значит, и делателями истории.

История не есть только обращение к прошлому, история учит прозревать будущее — смена поколений оказалась вместе с тем сменой классов, сменой героев.

Однако на всех ступенях исторического развития личность не может, не должна замыкаться в себе самой, ограждать себя от могучей «игры» наиндивидуальных потребностей, интересов и идеалов. И в то же время игнорирование личности, ее интересов, ее развития, ее свободы, пусть относительной, мешает созиданию величественного здания нового общественного, нового социального будущего.

Положительная роль личности в смене поколений стала у Пушкина «оправданием» личности, выросла в доверие к истории, к будущему, к переменам, хотя бы они рождались в огне и буре, у «бездны на краю». Наследие Пушкина завещано самим Пушкиным будущему — вот почему оно так естественно и органически воспринимается нами.

В мрачной ночи, воцарившейся после расправы над декабристами, Герцен подслушал в «звонкой песне» Пушкина прежние гимны в честь свободы. Воодушевленный Октябрьской победой Александр Блок вспомнил Пушкина, знавшего, «что рано или поздно все будет по-новому, потому что жизнь прекрасна».

Действительно, никто так не понимал красоты и радости жизни, как Пушкин, и в то же время никто в его век не чувствовал так остро, что жизнь разорвана мучительными противоречиями, что красота и радость осквернены и поруганы, что они превращены в свою противоположность — в беспорядок, безобразия, горе и страдания для множества, для народа.

Тезис «жизнь прекрасна» превращался у Пушкина из непосредственного переживания в эстетическое, этическое и социальное требование, настоятельно ждущее или даже добивающееся своего осуществления.

Мы не можем и не должны искать в произведениях Пушкина тезисов, формул, текстов, подтверждающих наши сегодняшние программы. Такое формальное, механическое и вульгаризаторское отношение к проблеме ничего бы не дало. Связь наша с Пушкиным глубже, диалектичней. Связь эта не заканчивается нами — она продолжается и во вновь поднимающихся поколениях.

Сюжет «Медного всадника», сюжеты «крестьянских» произведений Пушкина свидетельствуют о поисках новых социальных ориентиров. Такие на первый взгляд загадочные произведения, как «Странник»,

прочитываются именно в свете разочарования Пушкина в социальной, нравственной и бытовой структуре общественного бытия его времени.

В своих поисках Пушкин шел навстречу грядущим поколениям.

...уж близко, близко время:
Наш город пламени и ветрам обречен;
Он в угли и золу вдруг будет обращен,
И мы погибнем все, коль не успеем вскоре
Обрести убежище; а где? О горе, горе!

От Пушкина, «махнув рукой», отступились как от безумного, «чья речь и дикий плач докучны и кому суровый нужен врач»,— ему дали погибнуть, царствующие и властвующие погубили его ранней и мучительной смертью.

И все-таки он увидел «некий свет», он призывал держаться «сего света», он указывал на «спасенья верный путь», он шел сквозь «тесные» тогда еще «врата» в будущее. Каждое поколение, каждая эпоха прочитывали Пушкина по-своему (что отметил еще Белинский). Развязка «Медного всадника», развязка «Странника», да и других произведений Пушкина открыты для будущего, для неизвестных еще самому Пушкину решений.

Пушкин с надеждой относился к сдвигам и переломам в истории. Как художник он вдохновлялся Смутным временем, восстанием Пугачева, кризисом античной цивилизации, кризисными явлениями современности. Пушкин предвидел и даже предвосхитил приход в историю выпрямившегося, восставшего «маленького человека». Пушкин никогда не терял основного своего ориентира: он смотрел вперед, он жаждал осуществления идеала человеческой личности не для избранных, а для всех, для каждого и вместе с тем утверждал необходимость подвижных, изменяющихся, но всегда объективных, надындивидуальных, обязательных для всех ценностей.

Пушкин предохраняет не только от безверия, цинического скептицизма, от безыдеальности, но и от незрелого утопизма, от всяческих надуманных субъективных построений. В самых неожиданных взлетах своей творческой фантазии он никогда не теряет своеобразной, привлекательной и убедительной поэтической трезвости.

Творчество Пушкина равнозначно признанию реального мира, любви к реальному миру, к человечеству, к людям. Художник может временно погрязнуть в суетных ме-

лочах пошлой обыденности, в шелухе действительности, злую силу которой Пушкин понимал не меньше, чем Гоголь, но в творчестве своем, если он подлинный художник, он обязательно вернется к трагической и прекрасной объективной сущности мира.

Пушкинское бытие онтологично, оно не является мысленной проекцией замкнутого в самом себе и уже тем самым ограниченного, узкого субъекта. Личность, укрывающаяся в себе, превращается в несчастную личность. Теряя мир, она теряет свое реальное наполнение, она теряет себя. Возниженная идеалистическая субъективность в поисках спасения от пустоты, от одиночества нередко ведет, как это ни парадоксально на первый взгляд, к гипертрофии животной природы человека.

Пушкинское бытие не экзистенциально. Бердяев не понимал и не любил Пушкина. Афоризм Бердяева «Любовь к творчеству есть нелюбовь к миру, невозможность оставаться в границах этого мира» объясняет, почему ему была недоступна сокровищница пушкинской поэзии. Пушкинская поэзия — преображенное отражение объективного мира. В нашем сознании она срощена с космической и человеческой вселенной,— Пушкин знает, что в ней-то и заключена беспредельность. Пушкин и в своем поколении и в смене поколений широко распахивает ворота в мир, открывает личности выход в мир. Выход может оказаться трагичным, как это было с самим Пушкиным, но это выход, обеспечивающий личности ее достоинство, ее ценность, мотивирующий выбор оптимистического мировоззрения и гуманной нравственности.

О Пушкине много написано как о поэте гармонии и о мире его поэзии как о мире светлом, ясном, гармоническом. В известном смысле это верно, если только помнить, что о гармонии как установившейся соразмерности и покоящемся равновесии можно только мечтать. Такая гармония есть в классической архитектуре, в жизни ее нет, не было ее и у Пушкина. Гармония образуется не завершенной неподвижностью, не безмятежностью. Гармония рождается в становлении, в движении, в напряжениях, в борениях, в восхождении новых поколений, в страданиях и радостях, гармония — торжествующая над смертью жизнь.

Наследие Пушкина учит преодолевать себялюбие, эгоистическую замкнутость, мелочность, заботу, страх, ужас перед

смертью. Наследие Пушкина учит в исторических испытаниях, в жизненных обстоятельствах, каковы бы они ни были, сохранять понимание разницы между истиной и ложью, между добром и злом и тем самым укрепляет надежду на будущее, без которой нельзя работать и творить.

Мир подчинен причинным связям и причинным закономерностям, в мире существуют добро и зло, добро и зло связаны между собой причудливой диалектикой, но добро, как и правда, существует объективно.

Из всего духа пушкинского мировоззрения и пушкинского творчества видно, что поэт не находил противоречия между причинностью и нравственными идеалами. В образном пушкинском мире воздействие моральных надындивидуальных ценностей представляет существенный фактор не только для оценки поведения героев, но и для выбора ими пути в сложных обстоятельствах. Пушкин был реалистом, и значение положительных, нравственных и исторических целей в его произведениях обосновывалось их значением в действительном мире. Пушкин показывает, что накапливается не только зло, но и добро — поэтому он, несмотря на испытанные жестокие удары и горькие уроки, несмотря на многие разочарования в роде, друзьях, женщинах, судя часто строгим судом и самого себя, предчувствуя надвигающуюся гибель, мог с глубокой убежденностью писать:

Но не хочу, о други, умирать;
Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать...
.
О нет, мне жизнь не надоела,
Я жить люблю, я жить хочу.

В пушкинской хвале жизни звучит в итоге не эпикурейская жажда наслаждений и не призыв к стоической выдержке, чтобы как-нибудь перетерпеть опущенные человеку дни,—в ней запечатлена одновременно и сердечная и мажорная философ-

ско-этическая убежденность в достоинстве и личном значении надындивидуальных ценностей.

Пушкин обращен к будущему, к будущим поколениям. Будущее, творимая история, род человеческий докажут наличие ценностей, длящихся дольше, чем временное, но вовсе не эфемерное единичное существование. Даже поэма о чуме, о гибели указывает на «бессмертья.. залог». Это бессмертие земных надындивидуальных ценностей. Дерзкий и вызывающий, богоборческий и богоустрашающий гимн чуме никак не ассоциируется с елейно-благостным, смиренно-покорным, пресно-бессодержательным бессмертием, обещаемым религией. Вальсингам прямым образом отказывается от поучений, от утешений священника. Бессмертие, которое он провидит,— бессмертие этических достоинств и этического поведения: бесстрашие перед тьмой могилы, сознание — напомним еще раз,— что «нежного слабей жестокий и страх живет в душе, страстями томимой».

Вальсингам не выторговывает себе посмертной награды, он напоминает о нравственных началах, заложенных в человеке и сказывающихся в самых отчаянных ситуациях.

Пушкин хотел жить, всеми клеточками своего существа он знал: только через органически переживаемую личностную жизнь, в которой ошибки, заблуждения, горе, несправедливости, страдания и скорбь неминуемы, дается радость, счастье, любовь, дружба, общение, искания, напряжение сил, бесстрашие, делание, творчество, утверждение надындивидуальных нравственных и исторических ценностей.

Поэтому так важно, чем наполнена личностная жизнь, насколько она свободна от своекорыстных, отравляющих, а то и умерщвляющих культуру шлаков, поэтому Пушкин и вплетал в печальные и в вихальные «припевы» мощные и торжественные мелодии Мужества, Разума и Поэзии.



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Дмитрий Ковалев. О самом заветном. — **А. Кондратович.** Путиами победы. — **М. Харитонов.** Письма Томаса Манна. — **Р. Орлова.** Верить ли Бредли Пирсону?

ПОЛИТИКА И НАУКА

Б. Галанов. Дорогами войны — дорогами победы. — **И. С. Кон.** Книга зовет к новым исследованиям. — **Ф. Бурлацкий.** Загадка и урок Никколо Макьявелли.

Литература и искусство

О САМОМ ЗАВЕТНОМ

Петрусь Бровка. Пишу о сердце человечьем... Сборник. Перевод с белорусского. М. «Молодая гвардия». 1974. 256 стр.

Как дерево корнями, 7

песню

Я черпаю в сердцах людей...

Необычную книгу белорусского народно-го поэта Петруся Бровки выпустило издательство «Молодая гвардия». Стихи и проза, рассуждения и воспоминания, статьи и заметки перемежаются в ней. Автор словно бы с близкого и далекого расстояния смотрит на самого себя и своих сверстников.

Начинается сборник подкупающе простым рассказом писателя о своей сельской комсомольской юности, еще не распроставшейся с наивным отрочеством, с его видением и пониманием. Какие это были годы для паренька из глубинной деревушки на Витебщине! Как восторженным сердцем угадывал он то, что революционно обновляло человеческую душу, рвущуюся к свету!

Все было овеяно простодушной до наивности романтикой, окрылено порывом к новому: и первые его селькоровские заметки под псевдонимом Красный Карандаш, разоблачающие хапуг, окопавшихся в теплых местах, и комсомольские горячие дела, и учеба. И первые поэтические пробы, робкие, но уже обнаруживающие целевую,

гражданскую направленность начинающего поэта. И радость поэтических надежд. Так и осталась эта комсомольская увлеченность на всю жизнь в поэте, стала его духовной основой.

Как благодарен я черному хлебу,
Чистой воде из холодной криницы,
Лесу зеленому,
Синему небу,
Светлой речушке, что в поле струится;

Рокоту залитых солнцем кварталов,
Городу, где возмужал я с годами,
Где испытал
И узнал я немало,
Где породнился навеки с друзьями;

Людам с открытой и щедрой душою,
Чьей многолетней дружбой горжусь,
Краю, который повсюду со мною,—
Краю, который зову—
Беларусь!

Во всем, что включено в книгу — и ранее написанное и теперь, — биография автора, биография его поколения, неотделимые от биографии советской власти. Узнаешь на этих страницах и о том, как зарождались

многие наиболее значительные произведения писателя. Уже в самих жизненных их истоках — общественные побуждения действительной, гражданственной природы, отсюда публицистическая направленность возникающего замысла.

Петрусь Бровка — поэт публицистической злободневности. Он сознательно и не без гордости с первых строк заявляет об этом. И читая книгу, невольно думаешь, что, к сожалению, поэты наши, особенно молодые, нынче как бы стесняются прямого публицистического стиха, забывая уроки и Некрасова, и Маяковского, и Демьяна Бедного, и Янки Купалы, и Якуба Коласа. Этим замечательных художников Петрусь Бровка считает пожизненными наставниками.

П. Бровка всегда стремится выразить свое понимание главных задач времени на том языке, которым говорят обычные трудовые люди. Прямо, как с газетной страницы, обращается он к своему читателю:

Быть коммунистом —
 Это значит
 За все вокруг нести ответ
 И помнить:
 Те, кем путь твой начат,
 Всегда с пристрастием смотрят вслед.
 Быть коммунистом —
 Значит верить,
 Что достиженья — не предел.
 Быть коммунистом —
 День свой мерить
 Шкалаю грядущих дней и дел.

Иногда кажется, что у поэта особо интимных интонаций и быть не может — настолько гражданственны в стихах его непосредственные чувства. Но это не совсем так. Мне помнится, как, зная мои поэтические склонности, Петр Устинович попросил перевести подборку его лирики, где через родную природу мягко и легко ложилась на душу его потаенные переживания, понимаемые лишь сердцем. Особенно запомнилось мне маленькое стихотворение о жаворонке с умильной, по-крестьянски невысказанной грустью. Между тем настрои-

вали эти стихи на светлое, любовное видение не замечаемой в каждодневных заботах красоты окружающего нас родного мира.

Война внесла новые героические мотивы в его поэзию. Страницы об испытаниях великими бедствиями в минувшей войне, о мужании нашей поэзии в эти суровые годы, о том, как посетил поэт в глубоком тылу старика Якуба Коласа, напряженно следящего за передовой, читаются с большим волнением. И особенно трогают душевные, бесхитростные рассказы о друзьях — Александре Твардовском, Михаиле Исаковском, страницы о встречах с Михаилом Шолоховым, Максимом Рыльским. С грустью пишет он о Петре Глебке, своем самом заветном друге, которого уже нет теперь рядом. Интересны его воспоминания о Янке Купале и Якубе Коласе. У них он и сейчас учится глубокой народности.

В непритязательном, простодушном его рассказе о друзьях-писателях есть понимание всей значительности личности художника. После прочтения книги возникает потребность задуматься над самой природой таланта художника. И это представляется мне очень важным, особенно для молодого читателя, к которому, по сути, обращена вся книга с первой ее страницы и до последней.

Петру Устиновичу Бровке, лауреату Ленинской премии, Герою Социалистического Труда, исполняется семьдесят лет. Он продолжает неустанно, наравне с молодыми работать. Пишет стихи и прозу. И исполняет свои депутатские обязанности.

Я уже говорил о том, что Петрусь Бровка видит, чувствует, работает, внося в жизнь пафос своей комсомольской юности, которую он до сих пор принимает восторженным сердцем. И потому не случайно, мне думается, даже самим названием книги автор подчеркнул именно это: «Пишу о сердце человечьем».

Дмитрий КОВАЛЕВ.



ПУТЯМИ ПОБЕДЫ

Константин Симонов. Незадолго до тишины. «Дружба народов», 1973, №№ 1—2.
 Константин Симонов. Разные дни войны. «Дружба народов», 1974, №№ 4—6, 11—12; 1975, № 1.

Более двух лет с некоторыми перерывами журнал «Дружба народов» печатал военные дневники Константина Симонова,

читатель как бы хронологически перелистывал войну с конца, постепенно возвращаясь к ее первым грозным дням.

Великая Отечественная война была настолько громадным событием в жизни и истории нашего народа, что и через тридцать лет ничто ее не заслонило и не могло заслонить. Иногда кажется, что она все еще рядом. Во всяком случае, все ее этапы и периоды на памяти многих миллионов людей и вряд ли требуют дополнительного напоминания и разъяснения. А потому откуда ни начинай разговор о войне, все будет ясно и понятно, все к месту.

Разговор же, который ведет Константин Симонов в своих дневниках о войне, очень серьезен. К слову сказать, хорошо, что Симонову наконец-то пришла мысль свести воедино свои дневниковые записи, порознь, в отдельных кусках и извлечениях, печатавшиеся в разные годы и в самых разных его книгах. И не только потому, что теперь мы имеем возможность прочитать все сразу и полностью, хотя и этого немало, а прежде всего по той причине, что перед нами, в сущности говоря, новое и значительное документальное произведение о войне, писавшееся поначалу, конечно, без такой цели — явиться к читателям произведением, книгой, но вот явившееся! Спустя много лет после того, как дневник начал свое существование.

Впрочем, это не совсем дневник, не только дневник, а скорее довольно сложный конгломерат, где записи более чем тридцатилетней давности часто прерываются комментариями, и подчас обширными, и где те же записи в ряде случаев подпираются и подкрепляются, усиливаются отрывками из военных корреспонденций автора, тесно связанными с тем материалом, который занесен на дневниковые страницы.

Читая записки в том порядке, как они появлялись в журналах, видишь, что автор настойчиво опробовал разные принципы организации материала, искал наилучшую форму для естественного, а не механического слияния дневниковых страниц с необходимым современным комментарием, объяснением и даже разъяснением, если в нем есть нужда. Задача эта меньше всего была формальной, как это можно было бы подумать: поместить ли комментарий в конце большого дневникового куска («Записки молодого человека»), или между глав («Незадолго до тишины»), или, наконец, внутри дневникового текста сразу же, как возникает для этого повод. Л. Лазарев, автор напечатанной в «Октябре» (1975, № 1) интересной статьи «Долгая была вой-

на... (Заметки о военных дневниках Константина Симонова и некоторых проблемах мемуарной литературы)», очень точно заметил, что все поиски и пробы имели своей целью «сопоставление и сочетание двух точек зрения, между которыми тридцать лет жизни, двух взглядов, у каждого из которых есть свои преимущества: один — в упор, точно фиксирующий происходящее во всех деталях и подробностях, которые — отступи чуть дальше — расплываются; другой — издалека, проникающий в причины и следствия, обнаруживающий связь явлений, которую с близкого расстояния заметить невозможно. И преимущества одного компенсируют ограниченность другого. Это постоянная «съемка» с двух «точек», делающая изображение «стереоскопичным».

Все так, и все же положение дневниковых записей и комментариев «неравноправно», а в читательском восприятии они и неравноценны.

Основа книги, ее главный массив — дневник, свободный, раскованный, богатый наблюдениями и размышлениями и поразительно обстоятельный. Во время войны Симонов написал и опубликовал как никто много: несколько сборников стихов, первое свое большое прозаическое произведение «Дни и ночи», пьесы «Жди меня», «Русские люди», «Так и будет», множество рассказов, очерков, корреспонденций, лишь часть их составила четыре сборника «От Черного до Баренцева моря». Записки военного корреспондента. Не знающая устали и убыли энергия, рабочий напор Константина Симонова хорошо были известны во время войны журналистской и писательской братии. Я несколько не преувеличиваю: сам слышал немало разговоров об этом во фронтовых редакциях. Да, собственно говоря, неутомимость Симонова постоянно подтверждала себя на страницах газет и журналов, в книгах, которых он издал за войну, пожалуй, больше, чем кто-либо другой. Но, оказывается, он находил время и для записей, которые тогда никак не могли лечь ни в повесть, ни в пьесу, ни в корреспонденцию. «Я хорошо понимал, — замечает Симонов, — как важно для писателя вести военные записки, и, пожалуй, даже преувеличивал их значение, когда, отвечая во время войны на вопрос американского телеграфного агентства, писал: «Что касается писателей, то, по моему мнению, сразу же, как кончится война, им нужно бу-

дет привести в порядок свои дневники. Что бы они ни писали во время войны и как бы их за это ни хвалили читатели — все равно на первый же день после окончания войны самым существенным, что они сделали на войне за войну, окажутся именно их дневники»...»

В самом деле, и спорно и слишком запальчиво. Но не будь этой мысли и этого побуждения, мы не читали бы теперь симоновских дневников, обстоятельность которых действительно может вызвать удивление: многие страницы напоминают скорее спокойную, неторопливо разглядывающую события прозу, чем личный дневник, обычно по неизбежности отрывочный, бегло-заметочный, как всякая засечка для памяти. А тут самая настоящая документальная проза.

Собранные вместе, дневники включают самый разнообразный материал о пережитом и увиденном во время войны. А видел на войне Симонов очень много, видел всю войну от первых ее до последних дней и на самых решающих участках.

1941 год. Западный фронт, где Симонов сразу же попал в сложнейшую обстановку, потребовавшую и мужества, и находчивости, и исключительной журналистской оперативности. Потом обороняющаяся Одесса, Крым, Севастополь. И с места в карьер противоположный конец огненной линии фронта — Заполярье, где в то время на море и на суше тоже шли тяжкие бои.

1942-й. Участие в первой и такой трагической десантной операции в Феодосии. Новороссийск, Северный Кавказ. Снова Заполярье, снова Кавказ, Брянский фронт и, наконец, Сталинград. Симонов увидел его еще в самом начале героической обороны, город уже был окружен красным заревом пожаров, а потом сам пылал и рушился, «было все на кону», и все перипетии этого сражения, когда наша армия добилась решающего перелома в ходе войны, Симонов запечатлел в своих корреспонденциях и очерках. Они нашли отражение и в дневнике.

Год 1943. Опять Северный Кавказ, где в это время шло стремительное наступление наших войск. Первые освобожденные весной районы Смоленщины, там для Симонова начиналась война, там он испил ее горькую чашу. И снова юг, западнее Ростова-на-Дону, снова Центральный фронт. Сражение на Курской дуге, второй мощнейший

после Сталинграда удар, в результате которого у гитлеровской военщины, будь она хоть несколько разумней, не осталось бы никаких иллюзий относительно исхода войны. Симонов, конечно, там. Осенью многократные поездки в наступающие армии под Брянск, Гомель, Киев и в конце года в Харьков, на первый процесс над военными преступниками. «Ни из какой самой тяжелой фронтовой поездки я не возвращался в Москву с таким камнем на душе, как тогда, из Харькова», — запишет он в дневнике.

1944-й. Командировка за командировкой. На Украинские фронты — под Каменец-Подольск и Тернополь, в Закарпатье и северные уезды Румынии, в Одессу, тоже памятную по обороне сорок первого года. И рывок на север, на Карельский перешеек, где Симонов был свидетелем одного из десяти могучих ударов, обрушившихся на гитлеровцев по всему фронту летом и осенью того года. Побывать всюду было невозможно даже с мобильностью легкого на подъем Симонова. Но он успел съездить и на Белорусские фронты, докатившиеся в тот год до Польши и начавшие ее освобождение, и на Украинские, шедшие уже по Румынии, а затем по Болгарии. Симонов в Югославии, первый советский журналист, попавший к партизанам Тито. А от них «на свой страх и риск», как он скажет потом, без согласования с редакцией, без заграничного паспорта он «махнул» ни больше ни меньше как в Италию и оказался там как раз в те дни, когда полным ходом шло освобождение и этой страны.

И последний год войны — 1945. «Писатель к концу войны, — замечает Симонов, — начал подавлять во мне журналиста: я все меньше писал в газету корреспонденций и все больше полочерков, полурассказов; все чаще я рассматривал свои записи в блокнотах не как материал для завтрашней корреспонденции, а как заготовки для чего-то, что напишу когда-нибудь потом. Внутри меня, соседствуя и все чаще противореча друг другу, боролись два видения войны — условно говоря, корреспондентское и писательское. И последнее к концу войны брало верх, порой в ущерб моим прямым корреспондентским обязанностям». Однако и конец войны проходит в непрерывных поездках. Пусть одна из них на IV Украинский фронт, в армию Москаленко, совершается скорее не с корреспондентской, а с писатель-

ской целью: для газеты она дала мало, а дневниковых записей столько, что они составляют большую часть записей «Незадолго до тишины». Пусть так, и все же темп и ритм поездок не ослабевает, жадность до новых впечатлений не убывает. Не случайно последняя дневниковая запись сделана 10 мая по дороге в Судеты, на Прагу, уже после того, как Симонову довелось присутствовать в Карлхорсте на исторической церемонии подписания капитуляции германской армии.

Одно это беглое — и, конечно, неполное! — перечисление, где побывал Симонов во время войны, уже позволяет представить, какие события нашли отражение в его дневниках. Симонову осторожен. Публикуя записи в журнале, он трижды и почти в одних и тех же выражениях внушает читателю, что книга его не мемуары военного и не труд историка, а именно дневник писателя, своими глазами видевшего какую-то частицу событий Великой Отечественной войны. «События эти были необъятно огромны, а круг моих личных наблюдений весьма ограничен, и я достаточно хорошо понимаю это, чтобы не претендовать на их полноту». Эту фразу как стабильную формулу он повторил дважды, и вряд ли только для того, чтобы обезопасить себя от чьих-то читательских претензий. Но наверняка с той целью, чтобы читатель ясно знал, какое чтение его ждет, чувствовал границы и особенности дневникового жанра и его возможности.

А возможности дневника не так малы и ограничены, как это может показаться иному читателю, а может, и самому автору (не оттого ли настойчивое предупреждение, что следует видеть в его книге?). Да, это не мемуары, но, может быть, у дневника есть и свои преимущества перед мемуарами и даже перед трудом историка? Только ли это сырье для будущих работ, только ли личные записи на всякий случай?

Конечно, не только. И для доказательства того, что «не только», нет нужды ссылаться на известные примеры, когда дневники становились событием и в документалистике и в литературе. Достаточно самих симоновских дневников. Почему-то Симонов не раз и не два, а гораздо чаще до публикации записей останавливался в раздумье: стоит ли, надо ли оставлять то или иное место, размышление, явно анахронистичное, ошибочное и попросту невыгодное для авто-

ра? — и оставлял его, не вычеркивал, предпочитая обо всем объясниться с читателем в комментариях. Ни в мемуарах, ни в исторических трудах, ни тем более в художественных произведениях такого не случается. В дневниках бывает сплошь и рядом. Почему? Да потому что занесенное на бумагу по горячим следам событие, в сущности, не подлежит позднему вторжению автора и как бы свято: это уже документ, даже если он делался в те дни «для себя». А если эти записи «для себя» не только для себя, но и значительны по содержанию, отражают важные события в жизни народа, то они неизбежно приближаются и к историческому документу, а может, и не приближаются, а являются таковым.

Полагаю, что таким документом тех лет и стали дневники Симонова. Они насыщены множеством деталей, характернейших подробностей, рассыпанных буквально по всем страницам книги. Детали, которые сохранили дневники, ненадежная память давно могла бы потерять безвозвратно. А этим деталям цены нет, их не придумаешь.

«Он (Москаленко.— А. К.) снова берется за телефон, слушает чей-то доклад и, оторвавшись от телефона, говорит:

— Просят немедленно прекратить огонь по Голосовицам. Говорят, что уже захватили их! — Потом добавляет с улыбкой:— Тут уж сведения точные, тут они быстро докладывают, когда знают, что по ним могут огонь открыть».

«Петров слезает с «виллиса», достает суковатую палку с загнутой ручкой и, опираясь на нее, идет по шоссе. Пробка такая, что, кажется, она навеки не сдвинется с места. Лица у всех мокрые, шинели промокли насквозь. Все мерзнут от этого пронизывающего до костей дождя со снегом.

И все-таки какой-то солдат, уставший до такой степени, что ему все все равно, стоит среди всей этой суеты на дороге, прислонившись спиной к борту грузовика, и спит. Ревут и гудят машины, задевают плечом проходящие мимо люди, а он стоит и спит!»

Какая неожиданная усмешка Москаленко, и какое точное наблюдение, и как оно не прямо, не в лоб, но выразительно говорит о темпе наступления: наши еще ведут огонь по населенному пункту, а он уже захвачен, и тут уж запросишь начальство о прекращении огня. В другой раз, когда дело не так ладится, с докладами, ясное дело, не спе-

шат, и умный, опытный командарм над этим и посмеивается... Короткая запись, казалось бы, «проходная» в большом и обстоятельном рассказе о пребывании на КП Москаленко, но в ней и «технология» и «психология» войны. А в другой цитате, о Петрове, пробке на дороге и солдате, заснувшим посреди грохочущей кутерьмы, да еще стоя, прислонившись к грузовику, мы видим, каких нечеловеческих усилий требует наступление, как трудна дорога к победе. Недаром на тех же дневниковых страницах, где речь ведется о наступательных боях, мы с некоторым удивлением слышим то требовательный, то саркастически-усмешливый и, как нам кажется, слишком жесткий голос командарма. Такой уж у командарма не очень приятный характер? Мы догадываемся, что не в характере дело, и все же ощущается необходимость объяснения, и Симонов его дает, и в этом объяснении мы снова встречаемся с емкой, точной и неожиданной мыслью, выказывающей глубокое знание войны:

«Язык войны — жесткий язык. Перечитывая сейчас записанные мною тогда на командных и наблюдательных пунктах телефонные переговоры, я не стал смягчать задним числом ни их резкости, ни их жесткой требовательности. Такое смягчение нарушило бы правду той ни с чем другим не сравнимой по своему нервному накалу атмосфере, в которой работали военные люди в периоды активных операций на фронте.

В разгар боев, когда за каждой оплошностью, за каждой утущенной минутой в конечном итоге всегда зримо или незримо присутствует ее цена — людские потери, — начальники редко хвалят своих подчиненных. Гораздо чаще проверяют, требуют, нажимают. Одобряют — коротко, благодарят — скупое, требуют — постоянно.

А хвалят и награждают потом, когда все, что приказано было сделать, сделано, когда все это уже позади...»

Такого рода оговорки («Перечитывая... я не стал смягчать... не стал исправлять...» и т. п.) в комментариях к дневникам иногда кажутся излишними. Строгий и суровый тон и лад записей, честная и беспощадная, неуклончивая фактура их создают ощущение чистой правды, и к чему уж тогда оговорки. Правды тяжелой, и читать дневники не так-то просто: на многих страницах они сталкивают нас с войной, запечатленной пером тут же: все как было и никакой

беллетристической ретуши. И правда нелегкая, и чтение нелегкое. Иные картины — скажем, рассказ о поездке в 51-ю армию, когда она вела мучительно трудное, безнадежное и, уже видно было, обреченное на неуспех наступление по чудовищной распутице, — взгляду, далекому от войны, могут привидеться слишком жестокими, чуть ли не натуралистическими: столько в них трупов, крови, пота, грязи, нечеловеческих страданий и бессмысленных гибелей, от которых война меньше всего застрахована. «Зрелище, которое я увидел вслед за этим, должно быть, никогда не забуду. Слева и справа от дороги насколько хватало глаз тянулось огромное грязное поле, истоптанное так, словно по нему долго ходил скот. На этом грязном поле с кое-где торчащими пожелтевшими стеблями прошлогодней травы и с бесчисленными мелкими минными воронками лежали трупы. Редко на войне я видел такое большое количество трупов, разбросанных на таком большом и при этом легко обозримом пространстве. Это были румынские минные поля, расположенные между первой и второй линиями их обороны. Поля эти тянулись примерно на километр вглубь, и на них лежали бесчисленные трупы — румынские и наши. Сначала, убегая с первой линии обороны, на эти собственные минные поля нарвались румыны. А потом, очевидно, на них же нарвались и наши, спешившие через эти поля вперед, вслед за отступавшими румынами. Мертвецы чаще всего лежали ничком, как упали на бегу — лицом в землю, руки вперед. Некоторые сидели в странных позах, на корточках. У некоторых оставались в руках винтовки, у других винтовки лежали рядом».

«Не знаю, прав ли я, — продолжает автор, — но я мысленно восстановил по этому зрелищу картину того, что произошло здесь» — и эта авторская ремарка, пожалуй, действует еще сильнее, чем описание тягостной картины. До того ли, прав ли не прав, когда глазам предстало такое, от чего можно оцепенеть и онеметь! До слов ли тут, до рассматривания и уж тем более до попытки ли «мысленно восстановить...». Но автор находит в себе силы восстановить картину происшедшего: война его приучила ни от чего не отвращать взгляда, видеть все как есть и пытаться все понять. Так, по-видимому, у людей воевавших и возникал воинский опыт, на этом он зиждился — на понимании великой цены правды, как бы она

ни была горька. «А всего иного пуще не прожить наверняка — без чего? Без правды сущей, правды, прямо в душу бьющей, да была б она погуще, как бы ни была горька» — эти слова поэта не риторическая фигура, а один из жизненно важных выводов. И именно так скорее всего должен был видеть войну и писатель, не отдельно, каким-то особым, писательским зрением, а как все воевавшие — открыто и мужественно, постигая всю ее правду до конца.

И в этом смысле дневники Симонова, записанные в свое время «про запас», на будущее, — книга, исполненная истинного мужества.

Ничего не скрывает автор дневника, да и зачем от дневника-то скрывать? Читая записи, мы оказываемся в тех днях, в их сумятице, неясности, на фронте, потерявшем всякие мыслимые очертания, рассеченном противником на части, в армии, вынужденной отступать. Тоже очень и очень непростое чтение. Не воспроизведенная история, а словно бы вновь протекающая на наших глазах, ожившая. Читаем дневник, и нас опалает жар тех летних дней сорок первого, когда война вломилась в нашу страну, в жизнь каждого человека. Много трудного в этом чтении, но немало и такого, что позволяет еще раз увидеть истоки, первые ростки нашей будущей победы. И прежде всего в той стойкости и храбрости, с которой в тяжелой, по мнению ряда зарубежных военных и политиков — уже проигранной, кампании наша армия вела борьбу действительно не на жизнь, а на смерть.

В дневниковых записях трагедия соседствует с героикой; описание обороны Могилева, затем Бобруйска, Борисова, где героизм без прикрас, самоотверженность, не знающая ничего, кроме долга, где люди умирают потому, что не видели другого способа прикрыть, заслонить Родину, и эта чистейшая патетика подвига уже там, на этих горьких страницах, звучит как предвестие победы. И, очевидно, совсем не случайно именно там, в лесах под Могилевом и Бобруйском, Симонов встретил и «маленькую докторшу», ставшую потом одним из главных действующих лиц всех трех книг романа «Живые и мертвые», и полковника Кутепова (встреча с ним — одно из самых сильных впечатлений Симонова на войне), и многих-многих других, тоже отозвавшихся потом в его прозе. Можно было бы

сопоставить дневники и прозу Симонова и убедиться, что как раз на дневниковой основе, а вернее, на богатейшем запасе фронтовых впечатлений и поднималась эта проза — аналогий и сопряжений тут множество. Да и сам Симонов предупреждает читателей, что в его дневниках они могут столкнуться «с уже знакомыми им отчасти лицами и со многими схожими ситуациями и подробностями», и правильно делает: возвращаясь от дневников к романам, мы в чем-то по-новому, иными глазами перечитываем сами романы, во всяком случае убеждаемся в их прочной, надежной достоверности, без которой художественная правда в реалистическом произведении и не возникнет. Но вряд ли при этом следует утверждать, что «фронтовые дневники К. Симонова — своеобразный и интереснейший комментарий к его трилогии». Только-то? Надеюсь, что у М. Кузнецова, который так отозвался о симоновских дневниках, это более чем зауженное определение скорее к слову пришлось в беседе с Юрием Бондаревым и Василем Быковым о военной литературе последних лет («Литературная газета» от 19 февраля с. г.). Больше он ничего не говорит о дневниках, а потому не будем ему пенять за сугубо литературоведческое внимание к произведению, главный интерес которого, без всякого сомнения, состоит в другом.

А. Лазарев, пожалуй, несколько преувеличивает, когда только одни комментарии к дневникам он называет «общей панорамой войны». «С этой панорамой, — замечает он, — какой она нынче представляется писателю, отдавшему последние десятилетия целеустремленному изучению и осмыслению того времени, и соотносятся дневниковые записи. Благодаря такому монтажу изображение войны и становится по-настоящему «объемным»...» Но я уже заметил, что мне лично дневники куда более дороги, чем комментарии, которые могут разрастаться как угодно и быть сами по себе необычайно интересными и все же не интереснее, не значительнее дневников, записей тех лет, свидетельств того великого и незабываемого времени. И в самих дневниках обширнейшая панорама войны, запечатленная точным и всегда неравнодушным пером, войны, увиденной с самых разных точек — из окопов и с КП командармов, на ее главных, как говорили во время самой войны — ударных, направлениях. «Я свидетель многих активных действий и крупных событий. Я — за

редчайшими исключениями — не ездил туда, где было тихо, меня посылали туда, где что-то готовилось или происходило. Я имел возможность сравнивать, я видел активные действия нашей армии во все годы и во все периоды войны». Так пишет Симонов о себе, и он имеет полное право оставить ложную скромность в стороне: он говорит о себе правду. А поскольку это так и его дневники со всей их нынешней, порой архивно-исследовательской оснасткой действительно впечатляющая панорама войны.

В отдельном издании, где дневники займут свое место соответственно хронологии (собственно, иного расположения, иной композиции для дневников и не существует), читатель отчетливее проследит одну важную тему всех симоновских записей (в записях она возникла произвольно, но постепенно стала вполне осознанной и с каждым новым этапом войны звучала все сильнее и сильнее) — тему возмужания нашей армии, роста ее силы, мастерства солдат и командиров, умения бить врага и побеждать его. Война есть война, и в наступлении солдату физически несколько не легче, чем в отступлении, физически, может быть, иногда и тяжелее. И Симонов не преминет заметить: «В памяти остались не столько бои, сколько адский труд войны: труд, пот, изнеможение; не столько грохот орудий, сколько утопающие в грязи солдаты, в обнимку километрами несущие из тылов к артиллерийским позициям снаряды, потому что все, абсолютно все застряло!» Но вместе с тем Симонов все чаще заносит в дневник множество самых разных наблюдений, свидетельствующих о том, что времена изменились и дух, настроение армии другие, а потому и воевать неизмеримо легче. И эти наблюдения тоже увидены зорко, тоже точны своей непридуманностью:

«Мы сидели на наблюдательном пункте и ждали, что вот-вот снова начнется. Ждали час, потом еще час... Потом Горишный вдруг сказал фразу, которая в первую секунду показалась мне странной:

«Боюсь, не пойдут они сегодня на меня». Я не понял и переспросил».

Как не переспросить, когда командир дивизии больше всего боится, что гитлеровцы не предпримут сегодня наступление на его позиции. И выдавшему виды Симонову, объездившему многие фронты и побывавшему во многих переделках, приходится вы-

слушивать предельно логичное объяснение, до которого он, однако, в то время ни за что бы сам не додумался: «...он спокойно, как маленькому, стал объяснять мне, что его дивизию сегодня поддерживают восемь артиллерийских полков, и чем больше он перебьет наступающих немцев, тем ему легче будет потом, когда самому придется наступать на них. И я запомнил то утро и эту фразу, потому что она была связана с внезапным и острым ощущением, что немцы уже ничего не смогут с нами сделать».

Теперь-то и мы легко сообразим без всяких указаний, что такую фразу командир дивизии мог сказать перед битвой на Курской дуге: в наш стратегический замысел той битвы входило побольше перебить фашистов как раз в дни их наступления, когда они еще будут тешить себя надеждой на реванш за сталинградское побоище. Теперь-то мы сообразим, но и удивление Симонова в тот момент не минет нас, и вместе с ним мы вновь сможем почувствовать, как трудно и в то же время стремительно наша армия обретала иной дух. Одна вот такая фраза Горишного способна была перевернуть все умонастроение и просто настроение человека. «У меня, — пишет далее Симонов, — как и у многих других, переживших сначала страшное для нас лето сорок первого года, потом почти такое же страшное лето сорок второго, оставался еще какой-то осадок удивления, что вот мы, те самые, которых так давили и гнали перед собой немцы, вдруг начали их побеждать. Теперь этот осадок наконец исчез. И то, что немцы не могут ничего с нами сделать, и то, что мы бьем их, наконец в порядке вещей».

Армия стала качественно иной, она уже научилась побеждать, к ней пришла зрелость воинского опыта, трезвое понимание противника, его возможностей и не менее строгая, лишенная и намек на шапкозакидательство вера в свои силы. В записях Симонова эти перемены замечены и отмечены во множестве деталей: «Из дома во двор вытащено несколько столов, за ними работают оперативники. Такое чувство, что всем инстинктивно не хочется заходить куда-нибудь под крышу: под крышу — это надолго. А хотя ненадолго. Остановились — и дальше. И в этом ощущение быстроты движения». «Ему приносят сводки, но он держит их в руках, не читая, и, кажется, думает уже не о сегодняшнем, а о завтрашнем дне. Потом устало говорит мне: „Ночи такие короткие, а заснуть сразу не могу...“»

Особое, радостное состояние оттого, что — успех за успехом и впереди, уже где-то совсем недалеко, последняя, Главная Победа. И как апофеоз: «Третье мая. Пыльный солнечный день. Несколько наших армий, бравших Берлин, двигаются сквозь него в разных направлениях, поднимая страшную пыль. Идут танки, танки, самоходки, «катюши», тысячи и тысячи грузовиков, орудия, тяжелые и легкие, прыгают на обломках противотанковые пушки, идет пехота, тащатся бесконечные обозы. И все это идет и лезет в город со всех концов. Растерян-

ные жители на разгромленных улицах, на перекрестках, из окон домов подавленно смотрят на все это движущееся, гремящее, невероятно людное и совершенно бесконечное. Даже у меня самого ощущение, что в Берлин входят не просто дивизии и корпуса, а что через него сейчас проходит во всех направлениях целая Россия...»

В дневниках Константина Симонова весь путь к победе запечатлен от начала до конца, путь трудный и трижды славный.

А. КОНДРАТОВИЧ.



ПИСЬМА ТОМАСА МАННА

Томас Манн. Письма. Издание подготовил С. К. Апт. «Наука». 1975. 463 стр.

Томас Манн признавался в одном из писем, что очень боится прямой автобиографии; она представлялась ему «труднейшей, почти неразрешимо трудной задачей для литературного такта». Переполненность собственной личностью, собственной судьбой «во времена больших общественных испытаний, когда у частной жизни есть столько причин для сдержанности», способен вызвать, по его словам, чувство какой-то «оскорбленной стыдливости».

Конечно, все его художественное творчество в известном смысле автобиографично; исследователи до сих пор продолжают уточнять «личный» подтекст тех или иных мотивов и обстоятельств в его произведениях. Но наиболее непосредственную и полную автобиографию Томаса Манна, чей столетний юбилей мы отмечаем в эти дни, составляет сейчас, пожалуй, его обширнейшая, во всем объеме еще не изданная переписка¹.

Интенсивность ее редкостна для времен, все более склонных к не столь обязательному общению. Впечатляет уже сама эта готовность занятого работой писателя к щедрой личной самоотдаче. Впечатляет ответственность, с какой он подходил к этим частным посланиям, — они литературно отточены не менее, чем работы, предназначенные для печати. Писатель такого ранга, как Томас Манн, не мог, впрочем,

не сознавать, что едва ли не все написанное им рано или поздно имеет шанс стать достоянием читателей.

Но странно было бы тут говорить лишь о щедрости, о самоотдаче. Письма Томаса Манна — это и радость общения, и благодарность за дружбу, и объяснение в любви, улыбка, юмор — многое. Они были, наконец, насущнейшей потребностью писателя, привыкшего не просто мыслить, но осуществлять свою жизнь «с пером в руке». Письмо было как бы одним из инструментов непростого, длившегося всю жизнь душевного труда, самовоспитания, интенсивного осмысления мира — труда, в котором Томас Манн не давал себе поблажек и который составлял высшее содержание и высшую радость его жизни.

Появившийся недавно впервые на русском языке большой том переписки Т. Манна открывается письмом 1901 года. Автору двадцать шесть лет. Последнее написано за два дня до смерти человеком, которому пошел девятый десяток. Примечательно: основная часть переписки приходится на последние десятилетия жизни писателя. И дело тут не просто в умышленном отборе, даже не в том, что с ростом славы поневоле разбухала корреспонденция писателя. В середине жизни, к сорока годам, Томас Манн был уже автором «Будденброков», «Королевского высочества», нескольких драм, новелл, эссеистических работ. Но сколь неизмеримо больше ему предстояло: достаточно назвать «Волшебную гору», эпический цикл об Иосифе и «Доктора Фаустуса»! Как возрастает с годами глубина и на-

¹ Дневники Томаса Манна согласно воле писателя должны быть опубликованы не раньше августа 1975 года, когда минет двадцать лет со дня его смерти.

пряженность этой жизни! Один из первых рецензентов «Доктора Фаустуса» особенно изумлялся страстности этого произведения, «предсказать которую при библейском возрасте автора ни у кого, пожалуй, не хватило бы смелости».

Эти напряженность и глубина не давались сами собой. Уже для того, чтобы с таким достоинством рассчитывать время, необходимое для исполнения монументальных замыслов, требовалось нечто большее, нежели просто надежда на свою «биологическую стойкость». Писатель любил вспоминать полухулиганские слова Гёте о том, что для долголетия надобно мужество. Это вдвойне справедливо, когда речь идет о такой жизни, прожитой в такие времена. Две мировые войны, ужас и позор фашизма, изгнание, гибель родных и близких. Сколько современников оказались душевно надломленными, сколько покончило с собой, сколько литературных судеб сошло на нет! Сколько подстерегало ложных соблазнов, какая могла одолеть душевная усталость, сколько поводов было сослаться на внешние обстоятельства, на судьбу — и питаться соками рано достигнутой славы!

Истинная плодотворность человеческой и писательской жизни не дается даром. О Томасе Манне по праву можно сказать: он создал сам себя. Письма его — впечатляющие свидетельства тому.

Утверждение, казалось бы, несколько парадоксальное: ведь уже самые первые из них дышат безусловной зрелостью и глубиной. Да и можно ли сомневаться в зрелости двадцатилетнего автора «Будденброков», романа, который он сам считал счастливейшим своим созданием и который много лет спустя был удостоен Нобелевской премии...

Когда мы говорим о душевном труде, труде жизни формирующем в самом серьезном значении слова, имеется в виду нечто несравненно более глубокое, чем, допустим, профессиональное самосовершенствование. «В начале нового тома «Иосифа», — пишет Томас Манн в 1941 году своей постоянной корреспондентке Агнес Э. Мейер, — сказано: «...мир был не просто миром, который существует сам по себе, а его, Иосифа, миром, который можно делать добрей и приветливей. Обстоятельства были могущественны. Но Иосиф верил, что они подвластны личному началу, что оно определяет больше, чем безличная сила обстоя-

тельств... Вот попытка заглянуть в душу счастливицы, — добавляет Томас Манн, — предпринятая, как, наверно, заметит любезный читатель, не без учета некоторого субъективного опыта».

«Странно, — размышляет он на ту же тему три года спустя в письме своему другу дирижеру Бруно Вальтеру, — ведь, казалось бы, дух должен делать человека менее пригодным для жизни... А он явно повышает его сопротивляемость ей и вообще, видимо, более важен для жизни, чем уверяли нас романтики антидуховности».

Это принципиальная убежденность, с которой в немалой степени связано представление Томаса Манна об ответственности «человека духа» как за свою судьбу, так и за все, что происходит в мире, для которого его идеи, слова и поступки (но не синонимы ли это для писателя?) отнюдь не безразличны.

«Романтики антидуховности», помянутые Томасом Манном, — это прежде всего эпитоны нищезанятия, чьи идеи не случайно взяли на вооружение рвавшиеся к власти национал-социалисты. Зрелое развитие Томаса Манна неотделимо от активной антифашистской борьбы, в процессе которой формировалась и уточнялась не только его общественно-политическая позиция, но и вся система мировоззрения. Писатель раньше многих распознал опасность иррационалистических, антиинтеллектуальных концепций, апеллирующих к самым темным и низменным инстинктам, к мистике «крови и почвы», отшвыривающих прочь культурно-гуманистические ценности. У подобных идей, увы, была своя внутренняя логика. «Мужиковствующее почвенничество, антилитературность, антицивилизаторство, — комментирует Томас Манн в 1935 году падение Кнута Гамсуна, — а теперь он дошел до товарищеской близости с нацистами». Особый счет предъявляет писатель немецкому национализму, в который ударилась часть интеллигентов, не замечая, что он, по словам Томаса Манна, «находится в каких-нибудь двух шагах от варварства, а то и вовсе в нем погрязает».

Письма Томаса Манна вновь ставят перед нами вопрос о том, в какой степени правомерно предъявлять счет отвлеченным идеям за практику тех, кто ссылался на них в нацистской Германии, вопрос сложный и не раз обсуждавшийся в литературе. Польский писатель Станислав Лем в хо-

де известной полемики с манновским «Доктором Фаустусом» называл «несколько излишними» интеллектуальные усилия, «которые были вложены в поиски ницшеанских корней фашизма»². Палачи не читали философов, да и прочитав, могли извратить что угодно на свой людоедский лад. Можно ли это предвидеть, сидя за письменным столом, и каждый раз соизмерять ответственность за сказанное?

Спору нет, сомнительно выводить прямую, кратчайшую связь между высказываниями философа и преступлениями, которые совершались много лет спустя со ссылкой на его имя. Но совсем ли случайно именно эти идеи открыли возможность именно такой интерпретации; не обнажился ли тем самым какой-то их внутренний изъян?

Конечно, пишет Томас Манн в 1946 году Гансу Поллаку, «нельзя взваливать ответственность за современную демагогию на Гегеля или Ницше. И все же... Не есть ли это умаление, недооценка духа — избавлять его от ответственности за его последствия, за его претворение в действительность? Что Гегель, Шопенгауэр, Ницше внесли свой вклад в формирование немецкого духа и его отношения к жизни, так же неоспоримо, как тот факт, что Мартин Лютер имеет какое-то отношение к Тридцатилетней войне, ужасы которой он заранее недвусмысленно звал «на свою шею». Отрицать вину духа значит, по-моему, преуменьшать его роль».

Трагическое развитие событий вновь и вновь обнажало злокачественную природу всякой интеллектуальной и этической безответственности, всякой уступки варварству. «Ужасный, бессердечный и безмозглый провал» иных немецких интеллигентов на экзамене, которому они подверглись в 1933 году, вызывал у писателя чувство горечи и стыда.

Известно, что путь самого Томаса Манна не был прост. Его взгляды складывались не сразу, в них было немало противоречивого. Но вслед за Гёте писатель по праву мог сказать о себе, что, «меняя свои мнения... никогда не меняя своих убеждений». Формула эта парадоксально утверждает постоянство и цельность неких глубинных, личностных, мировоззренческих, нрав-

ственных основ того духовного, человеческого стержня, который определяет природу всего остального. Именно это имел в виду писатель, говоря о «развивающемся единстве» своей жизни.

Политику он тоже воспринимал как «широкое понятие, переходящее без резкого разграничения в область этических проблем».

Без резкого разграничения... Иные из корреспондентов Томаса Манна выражали сожаление, что антифашистская деятельность отнимает у него столько души и энергии, отвлекает от художественного творчества. Писатель отвечал им, напоминая об ужасах фашизма: «Вы учите, что мы не должны волноваться по этому поводу, а должны заботиться о постоянных человеческих ценностях... Это странно». «Для меня самоусовершенствование, — подтверждает он в другом месте, — и чувство ответственности за противодуховную богопротивнейшую глупость на свете по природе своей неразделимо едины».

Порой писатель сам не без иронического смущения отзывался о своей все возраставшей общественно-политической активности, не раз повторяя, что он вовсе не годится «для роли непреклонного блюстителя нравственности». Но можно ли искусственно разделять человеческую жизнь с ее живой болью и страстью на сферы более или менее высокие, исходя из абстрактных, снобистских, эстетских положений, которыми слишком легко прикрыть душевную скудость и безразличие?

«Какое мне дело до «мировой истории», мог бы я, казалось бы, думать, покуда она позволяет мне жить и работать? — размышлял Томас Манн в 1934 году в письме венгерскому историку культуры и религии Карлу Кереньи. — Но так думать я не могу. Моя морально-критическая совесть находится в постоянном возбуждении, и мне становится все невозможнее заниматься и дальше пусть и возвышенной игрой своей работы над романом, пока я не «дам отчета» и письменно не изолью сердца, не поделюсь его тревогой, знанием, мучительным опытом, а также ненавистью и презрением...»

Человек и писатель может делать только то, что его допекает; и что кризис мира становится кризисом и моей работы и жизни, это в порядке вещей, и мне следует видеть в этом знак того, что я жив».

² С. Лем, «Мифотворчество Томаса Манна». «Новый мир», 1970, № 6, стр. 250.

Здесь проявилась присущая Томасу Манну «социально воспитанная напряженность духа», если воспользоваться его собственным превосходным выражением. Писатель опровергает мнение, будто вязаться в борьбу против сил зла значит унизиться до их уровня. «Разве я деградировал от ненависти?.. — возражает он в одном из писем. — Я написал... произведения, полные свободы, веселья и, если хотите, превосходства. Я немного горжусь тем, что справился с этим, вместо того чтобы оказаться среди душевнобольных».

Подобное превосходство во многом обусловлено самой природой подлинного искусства, которое в конечном счете всегда служит жизни, ее утверждению и обогащению. Напоминая об этом, Томас Манн формулирует творческую и жизненную позицию, исполненную высокого достоинства и высокой человечности.

Примечательно, с какой настойчивостью он всю жизнь подчеркивает, выявляет в себе, в своем творчестве, в самом мире элементы добра, любви, тепла, как горячо опровергает представление о якобы «нигилистическом, дьявольском» характере своей знаменитой иронии.

Писатель выше всего ценит способность искусства помогать человеку в духовном поиске. Это относится не только к художественному творчеству, но и к критическому, анализирующему слову, которое своими средствами формулирует, проясняет представление о мире. «Как все-таки невероятно обогащают жизнь и наслаждение ею, как углубляют, усиливают, превращают ее в постоянный праздник ума и чувств образование, знание, вкус к красоте, радостно-просвещенная культура зрения», — пишет Томас Манн за год до смерти Карлу Кереньи. Искусство связано для него с представлением «о порядке, организации,

форме, о выразительности, о гармонии, о новом и добром, об усилении ощущения жизни посредством того, что называют очень туманным словом «прекрасное»...».

Усиливать ощущение жизни посредством прекрасного... Счастлив человек, который в этом видит суть своей деятельности, сколь бы сложно ни складывалась его судьба. Письма Томаса Манна, быть может, особенно ярко приоткрывают внутренний, не всегда заметный постороннему взгляду драматизм его жизни. «Чего только не выпадало на долю, — пишет он после войны Агнес Э. Мейер, — и ненавидеть, и отчаиваться, и бороться, и при этом еще петь песни. Вы правы, считая, что я кое-что испытал на своем веку».

И все же...

«Вы называете мою жизнь «тяжкой», — говорил он несколькими годами ранее той же корреспондентке, — но я не воспринимаю ее так. В принципе я с благодарностью воспринимаю ее как счастливую, благословенную жизнь — я говорю: в принципе, ведь не то важно, что в такой жизни встречаются, конечно, и всякие муки, опасности и темные стороны, а то, что фон ее светлый, так сказать, солнечный, — и им-то в конечном счете все и определяется. Я часто совершенно объективно, чисто как феноменом, восхищаюсь тем, как умудряется преодолеть самые враждебные внешние обстоятельства и обратить их на пользу себе приветливо настроенный индивидуум».

Быть может, это один из самых важных уроков Томаса Манна — урок духовной собранности и ответственности, нравственной выдержки и социального оптимизма. Каждая новая встреча с ним — плодотворное, вдохновляющее чтение; мир становится для нас глубже, осмысленней — богаче.

М. ХАРИТОНОВ.



ВЕРИТЬ ЛИ БРЭДЛИ ПИРСОНУ?

Айрис Мердок. Черный принц. Роман. Перевод с английского И. Бернштейн и А. Полыановой. «Иностранная литература», 1974, №№ 8, 9, 10, 11.

Бредли Пирсон, герой романа английской писательницы Айрис Мердок, предстает поначалу — и это ощущение не рассеивается полностью до конца — серым, вялым, обыденным. Служил в налоговой инспекции, ушел до времени на пенсию. Строго

соблюдает приличия, пуританин. В самый патетический момент романа его рвет. И весь фон романа — тусклый.

Вот уж не принц и не черный!

Пирсон рассказывает о том, что произошло с ним и с окружающими его людьми,

как за короткий срок **круто** изменилась, сломалась его жизнь. Версия Брэдли Пирсона не единственная. В конце книги приведены голоса четырех «комментаторов» — они же участники драмы. У каждого свой вариант происшедшего. Совпадают они лишь в том, что все отвергают подлинность рассказа Брэдли Пирсона. Опровержения, сгруппированные в конце, возникают и раньше.

Я писатель, говорит он о себе. Нет, вы графоман, вы просто вообразили себя писателем, возражают ему.

Пороку и герой не верит себе: может, и правда все — только мое воображение?

Читателю предоставляется возможность избрать одну из версий (Пирсона, его четырех ниспровергателей) или придумать, составить свою — шестую, седьмую, восьмую...

Итак, по рассказу Пирсона, произошло вот что.

...Он всегда писал медленно, мучительно. На службу пошел потому, что боялся, как бы писательство из призвания не превратилось в ремесло. Теперь наконец испытывает то предтворческое состояние, которое подобно беременности: вот-вот должны наступить роды. Однако возможен и выкидыш. Роды, как и положено, сопряжены с муками, это потрясение. Между тем прошедшая жизнь добродетельного инспектора и нынешнее существование в маленьком замкнутом кругу лишено испытаний, лишено потрясений.

Пирсон ощущает настоятельную потребность уехать из Лондона, погрузиться в себя и сестра за книгу. За свою Главную Книгу. Но разные, вроде бы малозначительные события задерживают отъезд. Появляются Марло, брат Кристиан, бывшей жены Пирсона, возвещающий, что она вернулась в Лондон; сама Кристиан (Пирсон отказывается ее видеть, но она тем не менее врывается); Арнольд Баффин, преуспевающий беллетрист, — между ним и его женой произошла семейная ссора, в панике он вызывает Пирсона как «скорую помощь» и как третейского судью; его жена Рейчел, стареющая, несчастная в браке женщина, навязывает Пирсону экзальтированную дружбу-любовь и после некоторого сопротивления вызывает у него нечто вроде взаимности; сестра Пирсона, сбегавшая от мужа, — а тот только и ждал, чтобы соединиться с любовницей.

Все словно сговорились не дать возможности Брэдли Пирсону осуществить свое намерение.

Он видит на улице юношу в черном (принц?), осыпающего мостовую белыми лепестками. Подойдя ближе, он понимает, что это девушка, сразу не разберешь — женщины в мужских костюмах, длинноволосые юнцы. И бросает она не лепестки, а обрывки бумаги: рвет письма. Один кусочек со словом «любовь» долетает до Брэдли. Поравнявшись с ней, он узнает Джулиан, дочь Баффинов. Этот эпизод, как и другие, многозначителен: здесь и прямая роль в сюжете и намек на будущее.

Джулиан живет в том же мире тусклой обыденности: не очень умна, не очень красива, чему-то кое-как учится, хочет стать писательницей, просит Брэдли помочь ей составить рекомендательный список литературы. Он то подсмеивается, то едва ли не издевается над девушкой. До поры до времени она очередное препятствие, мешающее ему покинуть Лондон.

И вдруг на Брэдли низвергается любовь. К этой самой Джулиан. Любовь странная, нескладная, неуместная, противоречащая здравому смыслу, общепринятым и вовсе не мешанским представлениям. Ей двадцать лет, ему пятьдесят восемь. Он знает ее с колыбели. Ее родители — его друзья. Он едва не стал любовником ее матери. У него на руках больная сестра.

Но вопреки всему — любовь, правая уже тем, только тем, что она истинная.

Брэдли бежит за химерой, как побежал за воздушным шариком, выпущенным Джулиан, еще не сознавая, что влюблен. Прежнее существование, налаженный быт, планы — все разбивается вдребезги. Вот и потрясение. Вот он и покидает Лондон, хотя вовсе не так, как собирался. Все преобразается.

Преображение Брэдли и Джулиан открыто только ему и ей. В глазах других все происшедшее — скандал, извращенность, дурное наваждение. И этот суд не совсем неправедный. Ведь Брэдли действительно бросил больную сестру, заставил себя не заметить ее самоубийства, стал жестоко равнодушным. Эгоист? Да, и это. Влюбленный. Писатель —

Он на это мебель стопит,
Дружбу, разум, совесть, быт...

Мердок все время предоставляет читателям возможность принять и другую версию.

Вот, например, Брэдли встречается с Рейчел — уже после бегства с ее дочерью. И Рейчел, чтобы «исцелить» и его и дочь, говорит ему, что рассказала Джулиан о своей начинавшейся связи с Брэдли. А он просто не понимает, о чем она говорит. Но ведь и по его версии это было — так подумает любой читатель, мы знаем об этом от самого героя. И перелистано всего страниц сто, и прошло-то всего несколько дней. И было и не было. Рейчел говорит правду. Но Брэдли настолько изменен истинной любовью, что для него это прошлое какого-то иного человека.

Книга наполнена событиями необыкновенными: бурные страсти — ревность, любовь, ненависть, месть, самоубийство, убийство, — а растет все это из обиденности, в ней коренится, ею взращивается.

И люди и их отношения подчас смешны, мелодрама переходит в фарс: когда Пирсон вот-вот уже готов пасть в объятия Рейчел, раздается голос мужа и незадачливый, несостоявшийся любовник убегает, едва успев засунуть в карман носки.

Шахты, колодцы, подполье сознания и подсознания возникают на плоскости, возникают неожиданно, вопреки уже сложившемуся представлению о персонажах.

Эмоциональное напряжение, которое испытываешь, читая роман, рождается не только простым: а что дальше? а что потом? — но и как напряжение силового поля между этими двумя полюсами.

Форма романа заданна: завязки развязываются, каждая сюжетная ситуация отзывается в конце, все сказанное, даже мельком оброненное, — все не зря, все обыгрывается, все важно и для сюжета и для характеров. Рейчел в одной из первых сцен говорит, что в ней сохранился огонь, который способен и убивать, — этот литературный штамп, почти нестерпимый по претенциозности, оборачивается, однако, страшной реальностью. Кочерга, смешная и никчемная в первой сцене, становится орудием убийства в последней.

И каждая ситуация проигрывается несколько раз — словно репетируется, отработывается, уточняются реплики, позы, реакции окружающих.

Перед читателем не просто роман, книга, написанная Брэдли Пирсоном в тюрьме, куда его посадили по подозрению в убийстве, но вместе с тем и творческий процесс, «роман романа», сам жизненный материал

превращающийся в книгу, его отбор, черновики, варианты: а если бы Марло не успел... а если бы Брэдли стал любовником Рейчел...

При первом же появлении сестра Брэдли начинает говорить о самоубийстве и принимает снотворные таблетки. Это повторяется несколько раз, и кажется — эта неумная, жалкая женщина никогда так не поступит. Но она кончает самоубийством именно приняв снотворные таблетки.

Повторяемость эпизодов, их логическо-эмоциональная обусловленность — своего рода внутренние рифмы — придают роману Айрис Мердок не просто структуру (качество любого хорошего романа), но и жесткую заданность, почти математическую. Однако с того момента, как Брэдли понял, что любит Джулиан, о структуре забываешь. Хотя она не исчезла. И закрыв последнюю страницу, размышляя о странных, причудливых жизненных судьбах, начинаешь глубже понимать то сочетание тонкого расчета и незапрограммированного искусства, которое присуще разве что классической шахматной партии.

Роман построен как система внутренних зеркал: каждый эпизод значим и сам по себе и отражается в другом или в нескольких других эпизодах, обогащается обертонами, дополнительными цветовыми оттенками, а то и отрицается, изменяется, искажается.

«Черный принц» — шестнадцатая книга Айрис Мердок. Она ирландка, родилась в 1919 году в Дублине. Училась в Оксфорде, там же осталась профессором философии. В первые послевоенные годы работала в организациях ООН — в комиссиях помощи беженцам, жертвам войны.

Ее первая статья — «Мысль и язык» (1951), первая книга — «Сартр, рационалист-романтик» (1953), первый роман — «Под сетью» (1954). И далее в библиографии причудливо чередуются романы и научные работы: так, между «Замком на песке» (1957) и «Колоколом» (1958) — статья «Метафизика и этика». Но художественное творчество Мердок постепенно оттесняет ее научные исследования. Однако философские интересы писательницы сказывались и сказываются в ее беллетристике. Она начала с экзистенциализма. Потом от Сартра и Кьеркегора Мердок шла к Платону.

Герои романов Мердок — современные английские интеллигенты, к ним и обращены ее книги. Мир идей для нее обжитой,

родной. В основе сюжетных конфликтов чаще всего драма идей, столкновения мировоззренческие, интеллектуальные. Одно из немногих отклонений — исторический роман «Алое и зеленое» (1965). События знаменитого пасхального воскресенья в 1916 году, когда ирландцы восстали против английского владычества. История ее родины и семейная история писательницы. Но и здесь преобладают не поступки, не события, а размышления о них, идейные споры, игра идей, приключения мысли.

И «Черный принц» — многоголосый роман-спор. Одна из его главных внутренних тем — сочетание и противостояние, связь и столкновение обыденного и художественного сознания. Быт, рутина, застой взрываются изнутри самой обыденности двумя силами — любовью и творчеством.

Мердок во многих книгах — и в «Черном принце» — оспаривает тезис экзистенциализма, высказанный одним из персонажей Сартра: «Ад — это другие». Для Мердок «другие» создают ад лишь для того, кто не любит. Способность любить по-настоящему, способность проникнуть сквозь тот невидимый, но весьма плотный занавес, которым окружена, отгорожена каждая человеческая душа, и есть высшая способность человека. И единственный шанс преодолеть господствующий хаос.

Псевдолюбви — браку Баффинов, бывшему браку самого Брэдли, браку его сестры — противопоставлена истинная любовь. Любовь Брэдли к Джулиан. Я окончательно поверила Брэдли Пирсону именно с того момента, когда он полюбил. Поверила и тому, что он писатель, способный изобразить свой внутренний мир и чужие миры.

Псевдописательство воплощено в Арнольде Баффине: он каждый год издает по роману, баловне публики, его имя у всех на устах.

Брэдли Пирсон проповедует аскетически-идеальное служение искусству. Умение, глубоко сосредоточившись, постоянно работать, терпеливо ждать. Умение молчать. Знает ли Мердок слова Тютчева: «Мысль изреченная есть ложь», — но именно об этом неотвязно думает Брэдли. Он ждет, пока создаст, создаст шедевр. Создание — его единственная цель.

Споры Пирсона и Баффина занимают в романе много страниц, пожалуй, непомер-

но много. Это противопоставление не абсолютно: Баффин не лишен артистизма, известного обаяния. А Пирсон временами смешон и жалок. Они тянутся друг к другу, стремясь к взаимному дополнению. Они завидуют друг другу. И наконец возникает ненависть. Уже не только из-за разногласий в принципах. Баффин-отец не может допустить, чтобы его единственную дочь увел человек, который старше его. И он возненавидел соблазнителя.

А Пирсон в исступлении ненависти и отчаяния — Джулиан исчезла — за десять минут уничтожает собрание сочинений Баффина. Но уничтожить подобную литературу практически невозможно, да и нужно ли?..

Роман «Черный принц» создала писательница, исповедующая в основном принципы Пирсона. Прежде чем опубликовать первый роман, она сожгла пять рукописей. Однако ей не вовсе чуждо и мироощущение Баффина. Мердок выпускает по роману в год, и не все они и не во всем принадлежат к истинному искусству. Да и «Черному принцу» присущи многие черты расхожей беллетристики. Не случайно этот роман стал своего рода бестселлером.

Комментарии в конце — воплощение обыденного сознания. Персонажи, с которыми мы уже познакомились, стремясь опровергнуть, лишь подтверждают и дополняют повествование Пирсона.

К чему столько шума насчет искусства? — спрашивает Кристиан. Она вышла замуж за старого приятеля Пирсона, и они вполне преуспевают в бизнесе. Рейчел утверждает, что Брэдли при ее счастливым браке с Арнольдом был жалким приживальщиком и они с мужем лишь подсмеивались над его попытками ухаживать за ней... А мы уже прочитали, как именно она, опять же ослепленная гневом, убивает мужа и сваливает вину на Пирсона. Марло все происшедшее объясняет с позиций вульгарного фрейдизма — эдипов комплекс, гомосексуализм: Брэдли якобы на самом деле был «влюблен» в Баффина и ревновал его к дочери. Умудренная Джулиан (она вышла замуж за того самого человека, чьи письма рвала в первой сцене, — ничего не пропадает!) кое-что «признает», но ей эти несколько дней кажутся детским бредом.

Обыденное сознание — самодовольное, успокоенное, таково оно у всех, кто убежден, что владеет абсолютной истиной. Сомневается только Брэдли Пирсон. Не потому,

ли веришь именно ему? Он писал правду о том, как вели себя Кристиан, Рейчел, Марло. Только, как выяснилось из их признаний, они еще хуже, чем представлялось ему. В очерке «Лабиринты фантазии» В. В. Ивашева приводит строки из письма Мердок: «Многие люди, которых я наблюдала, страшнее тех, которых я изображала». Это вовсе не значит, что они сознательно лгут себе. Почти никто не узнает свой голос, услышав его в магнитофонной записи; так, очень трудно «узнавать» свои собственные поступки.

Комментарии в «зеркальной» системе романа — это зеркала, как бы повернутые внутрь, на себя. Реальность в романе — зыбкая, колеблющаяся. Один говорит, что любил, другие отрицают. Один говорит, что не убивал, другие утверждают — убил! Однако эта разногласица не похожа на ту, что запечатлена в замечательном японском фильме «Расёмон», где каждый по-своему прав, где и нет одного ответа, одной правды.

Вопросы открыты. Спор продолжается и после того, как книга прочитана. Сама Мердок не дает ответа, но к ответу приводит. Обыденное сознание как бы торжествует победу над сознанием художественным. Суд признал Брэдли виновным в убийстве Арнольда Баффина. Его приговорили к пожизненному заключению, и он умер в тюрьме.

Но, по-моему, победа эта мнимая. Ведь он написал книгу. И я, читатель, верю правде искусства. Верю тому, что он не убивал. Верю тому, что он любил, до конца. Верю Брэдли Пирсону.

Послесловие М. Урнова к журнальной публикации романа заканчивается утверждением, что произведение это «заслуживает со-

чувственных раздумий и не праздных споров». Что ж, раздумья и споры не заставили себя ждать. В мартовском «Литературном обозрении» — дискуссия о романе, в которой выступили доктор филологических наук З. Гражданская, писатель К. Ковальджи, студентка Т. Падве. Примечательно многообразие тем, выдвигаемых в связи с обсуждением романа. Прежде всего это социальная природа зла в капиталистическом обществе, породившем Брэдли Пирсона. Один из авторов специально пишет о нравственной проблематике книги, о такой ее эстетической особенности, как противостояние, противоборство «текстов» Пирсона и других персонажей. Говорится и о том, что «философский маскарад», разыгрываемый персонажами «Черного принца», — лишь зыбкий покров на живой плоти реалистических образов. Утверждается, что вместе с чертами, которые определены конкретными обстоятельствами — социальными, политическими, временными, национальными, — мы обнаруживаем в героях и такие черты, которые порождают в читателях Айрис Мердок восприятие, чем-то перекликающееся с восприятием зрителей Шекспира. Нет, возражает другой критик, в тесно замкнутом мире именно данного романа возможности творческой личности крайне ограничены... Самую молодую участницу дискуссии Мердок интересует прежде всего как романист-философ, художественно воплощающий идеи Кьеркегора, Платона... И все вместе участники обсуждения говорят о том, что книга Айрис Мердок — свидетельство глубокого внутреннего кризиса в том слое современной Англии, который считается ее духовной элитой.

Споры о романе идут, споры несомненно будут продолжаться.

Р. ОРЛОВА.



Политика и наука

ДОРОГАМИ ВОЙНЫ — ДОРОГАМИ ПОБЕДЫ

Борис Полевой. Эти четыре года. Из записок военного корреспондента. М. «Молодая гвардия». 1974. Т. 1. 619 стр. Т. 2. 558 стр.

В военных записках Дениса Давыдова, героя войны 1812 года, я однажды прочитал следующее (речь шла о войнах Рос-

сии с Наполеоном): кто прослужил все эти годы, не сходя с поля чести, свершил уже свои обязанности как солдат. Я думаю, что

военный корреспондент «Правды» в годы Великой Отечественной войны Борис Полевой выполнил свои обязанности как журналист и как солдат тоже. Он всегда был бок о бок с бойцами, не сходил с поля чести — в отступлении и в наступлении, на марше, в сражении. «Эти четыре года» — так называются его объемистые (свыше тысячи страниц) военные записки о виденном и пережитом, в основе которых лежат дневники писателя. Первые записки делались еще в тяжелом сорок первом на фронте под Калинином. А последние — те, из которых родилась своеобразная книга «В конце концов», ставшая теперь эпилогом ко всему повествованию, — относятся ко времени процесса над главными военными преступниками в Нюрнберге.

Полевой был энергичным военным корреспондентом «Правды», можно даже сказать сильнее: одним из самых активных и неутомимых ее корреспондентов. Сколько раз именно он, опережая других газетчиков, первым сообщал миллионам читателей в тылу и на фронте волнующие подробности боевых операций, первым называл имена героев. Иногда казалось, что он и впрямь вездесущий: так стремительно он переносился с одной горячей точки войны на другую, всегда, однако, попевая со своим материалом к сроку в номер. Дела давно минувших дней, и сейчас, наверное, следует признаться в том, что мы, корреспонденты дивизионных, армейских и фронтовых газет, всегда втайне завидовали корреспондентам газет центральных. Особенно в ту пору, когда твой собственный фронт надолго стабилизировался, на передовой происходили только поиски разведчиков, и весь корреспондентский корпус перекочевывал на другой фронт — в районы активных боевых действий.

Впрочем, куда бы ни забрасывала Полевого беспокойная военная судьба, все равно чувство профессионального долга, желание воочию увидеть людей подвига, познакомиться с теми трудными условиями, в которых им приходилось действовать, неизменно брали верх над всеми прочими соображениями. И вот отправляясь в поход за «настоящей темой», он оказывался в окруженном штабе танковой бригады полковника Ротмистрова, хотя, как выясняется, отсюда не только корреспонденции посылают, но и выйти трудно; в другой раз в качестве воздушного стрелка совершает вылет на штурмовике, наносящем удар по не-

приятельским колоннам; в третий — пробирается на горячие улицы города Великие Луки, когда там еще не кончен жаркий бой; в четвертый — на парашюте спускается за линией фронта к партизанам Словакии в разгар знаменитого Словацкого восстания.

И все-таки если бы мне понадобилось выбрать для читателей, еще не знакомых с записками Бориса Полевого, самый колоритный в его книге рассказ о нелегкой, беспокойной работе военного корреспондента, я, пожалуй, выбрал бы главу «Последний военный репортаж». Вызвавшись по совместительству со своими корреспондентскими обязанностями исполнить хлопотливые обязанности офицера связи, Полевой добился единственной возможности отправиться на крохотном «У-2» в восставшую Прагу. Самолет приземлился на городском стадионе, и оттуда добравшись до пражской радиостанции, уже находившейся в руках повстанцев, Полевой передал начальнику штаба фронта генералу Петрову информацию об обстановке в Праге, а потом корреспонденцию в Москву, в «Правду».

Наверное, в критические дни и часы, когда совершались такие полные риска и опасности походы за драгоценными газетными строчками, военному корреспонденту и в голову не приходило, что параллельно с очерками о героизме летчиков, танкистов, пехотинцев, артиллеристов и партизан складывались сюжеты будущих невыдуманных рассказов о том, как добывается, чего иной раз стоит эта самая строчка военной корреспонденции, и что когда-нибудь истории журналистских поисков будут читаться с захватывающим интересом, как хорошие приключенческие рассказы.

А между тем это действительно так. Конечно, и в дни войны встречая корреспонденции Бориса Полевого на страницах «Правды», читатель живо ощущал сопричастность автора описываемым событиям. Полевой не пытался увлечь читателей описанием людей, которых не знал и не видел. «Эффект присутствия» всегда придавал его материалам особую доходчивость и выразительность. Но теперь — когда в записках Полевого в силу законов самого жанра рассказ ведется непосредственно от первого лица и писатель нередко уделяет внимание тем драгоценным подробностям фронтового быта, которые раньше могли казаться несущественными, а в действительности добавляют весьма существенные

краски к нарисованной картине,— наглядно убеждаешься в том, какой короткой оказывалась дистанция между писателем и его героем.

Беглые записи для памяти, сделанные сразу же по следу горячих событий, красочные сценки, встречи и беседы с интересными людьми — одним словом, все те впечатления военных лет, которые Полевой впоследствии систематизировал и подготовил к печати в виде военных записок, дали писателю богатейший материал для будущих романов, рассказов и повестей. С произведениями о знаменитом летчике Алексее Маресьеве и Матвее Кузьмине, этом Сусанине калининских лесов, о Мусе Волковой, героине романа «Золото», и докторе Вере мы познакомились значительно раньше, чем с дневниками писателя. В дневниках эти люди выступают, как правило, не крупным планом, а в ряду многих и многих летчиков, пехотинцев, врачей, партизан, с которыми Полевой встречался на дорогах войны. Но из дневников мы узнаем не только полные захватывающего интереса подробности рождения той или иной фронтовой корреспонденции Полевого — мы узнаем также не менее увлекательные предыстории написанных им книг.

Когда дневники Полевого еще издавались частями, по мере того как автор готовил их к печати, мне уже приходилось писать, что дневники эти можно было бы сравнить с обширной движущейся панорамой, во всем сохраняющей дух и колорит сурового военного времени. Сейчас, когда «Сокрушение Тайфуна», «В большом наступлении», «До Берлина 896 километров» и «В конце концов» собраны вместе, мне бы хотелось повторить такую оценку, прибавив, что на страницах книги вырисовывается впечатляющий коллективный портрет настоящих труженников войны, вынесших на себе все ее тяготы.

Именно настоящих.

Да, пожалуй, трудно было бы подыскать другой столь же точный и емкий эпитет для характеристики командира дивизии полковника Александра Кроника, хладнокровно, предусмотрительно и умело руководившего штурмом Великих Лук, или простой украинской крестьянки Ульяны Белоград из села Попивка и ее дочери Марийки, сохранивших у себя знамя полка, много из-за этого претерпевших и перестрадавших, но не отдавших его немцам. Я мог бы

перечислить множество фактов героизма, которые запечатлел в своей книге Борис Полевой, и назвать десятки и десятки имен, потому что живым воплощением нашего «истинного военного потенциала» были не пушки, не танки, не самолеты, а люди, управлявшие этой грозной военной техникой, их решимость и воля к победе, их мужество и стойкость, их верность родине, партии. И портреты этих людей Полевой набрасывает с любовью и неизменным восхищением.

Разумеется, от дневниковых и порой по необходимости беглых зарисовок невозможно требовать подробных и развернутых характеристик. В кочевой, беспокойной жизни военного корреспондента сколько бывало интереснейших, но, увы, мимолетных встреч. Однако даже и в тех случаях, когда фронтовые дороги перекрещивались лишь ненадолго и больше потом не сводили вместе писателя с его собеседником, журналистская зоркость и наблюдательность помогали Полевому подметить и двумя-тремя штрихами очертить самое главное, самое существенное в облике повстречавшихся ему людей: незаурядное мужество совсем юной актрисы фронтового филиала вахтанговского театра миниатюрной Вероники Васильевой, у которой под обстрелом ни разу не дрогнул голос, она продолжала играть свою роль, хотя потом с детской чистосердечностью признавалась писателю: «А вы знаете, как я боялась!»; самоотверженность и великодушие раненного под Ловатю (и, как вскоре оказалось, раненного смертельно) танкиста, который, пробираясь к своим, подобрал в переулке, унес с собой, спас жизнь маленькой девочке. Несколько слов, несколько фраз, а люди остались в памяти читателей.

Среди развернутых портретов-характеристик назовем портрет одного из замечательных полководцев Отечественной войны, И. С. Конева; Полевой встречался с Коневым в разные периоды войны, когда по-разному складывалась обстановка на фронтах, подробно с ним беседовал, брал интервью для «Правды» и имел возможность накопить богатые непосредственные впечатления. А вместе с бригадным комиссаром Александром Фадеевым Полевой побывал во многих опаснейших переделках. Отдельные черты и черточки характера, рассеянные на многих страницах дневника, постепенно складываются в цельный, выразительный портрет. Фадеев-литератор, кото-

рому нужно все видеть, все знать, быть на самом острие событий, встречаться с самыми интересными людьми, Фадеев — умный и чуткий собеседник, Фадеев-рассказчик, Фадеев — строгий, неліцеприятный судья и отзывчивый друг, задушевный человек. Трогательный эпизод запомнился Полевому в одном прифронтовом селе, где Фадеев «учинил» елку для колхозных ребятишек и шумно, весело собирал для елки странные, но издали прекрасные украшения: бритвенные лезвия и стаканчики, пробки от одеколona, пузырьки, форменные пуговицы, звездочки от погон. Все пошло в дело. А масса телеграфных лент с текстами переданных в столичные газеты корреспонденций легко превратилась в елочные гирлянды.

Книга Бориса Полевого написана в свободной манере живого, непринужденного, непосредственного рассказа. Дневниковые записи «былей народной войны», как называет их сам автор, чередуются тут с краткими художественными новеллами, публицистические отступления автора соседствуют с анализом боевых операций наших войск, лирику сменяет памфлет — гневные, негодующие описания грабежей, зверств и насилий, учиненных гитлеровцами на оккупированной территории.

Мчится по землям, очищенным от врага, повидавшая виды «пегашка» военного корреспондента «Правды» Бориса Полевого с верным водителем Петровичем за рулем. Ее пассажирам доводилось и хрониться в кюветах от неприятельских бомб, и (как

пелось в популярной журналистской песенке) в рядах наступающих войск врываться в города, и ночевать в машине, и оперативные очерки в газету нередко сочинять тут же, в кабине «пегашки». Сколько километров в жару и в холод прошли, проехали, сколько увидели, сколько пережили! А главное, сохраняя верность гражданскому и журналистскому долгу, сколько подробностей записал военный корреспондент Полевой в свой фронтовой дневник не только ради дня сегодняшнего, но и завтрашнего. Даже и тогда, когда обстоятельства отнюдь не располагали к тому, чтобы взяться за дневник. «События наплывают одно на другое. Даже записывать не успеваешь. И все так значительно, что жалко, если что-нибудь забудется, затеряется в памяти, — как бы в укор и предостережение самому себе отмечает в дневнике Полевой. И тут же добавляет: — Вот сейчас выдалась свободная ночь и попробую-ка я записать события последних дней».

Эти ежедневные, день за днем собиравшиеся записи, эти волнующие свидетельства очевидца помогли приблизить время вплотную к нашим глазам во всем богатстве драгоценных, неповторимых деталей, сберегли имена многих героев войны, воскресли их подвиги. Я думаю, что рядом с военными повестями и рассказами Полевого, уже давно снискавшими популярность у читателей, отныне встанут и «Эти четыре года» — честная, мужественная книга военного журналиста и писателя.

Б. ГАЛАНОВ.



КНИГА ЗОВЕТ К НОВЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ

Национальные процессы в США. Редакционная коллегия: С. А. Гонионский, А. В. Ефимов, Ш. А. Богина. М. «Наука». 1973. 400 стр.

Вряд ли нужно доказывать, что современные социальные, в том числе и этнические, процессы не могут быть поняты без широкого сравнительно-исторического исследования, учитывающего особенности отдельных стран, регионов и исторических эпох. Институт этнографии имени Н. Н. Миклухо-Маклая Академии наук СССР — крупнейший в нашей стране центр таких исследований. Его сотрудники изучают этнические процессы, происходящие в нашей стране (следует особо отметить монографию «Социальное и национальное» под редакцией Ю. В. Арутюня-

на и др.) и в капиталистических странах.

Национальные процессы в США, которым посвящена рецензируемая работа, представляют для нас особый интерес. США — ведущая страна капиталистического мира, и тенденции ее развития в каком-то смысле показательны для современного капитализма вообще. Кроме того, в образовании американской нации особую роль играла иммиграция. В. И. Ленин еще в начале века писал, что «штат Нью-Йорк... проходит на мельницу, перемалывающую национальные различия. И

то, что в крупных, интернациональных размерах происходит в Нью-Йорке, происходит также в каждом большом городе и фабричном поселке»¹. Как это называется на характере американской нации и на общественно-политической и культурной жизни США? Обостряются или смягчаются противоречия, обусловленные историческим неравенством этносоциальных меньшинств? По какому пути идет решение связанных с этим проблем и разрешимы ли они вообще в рамках капиталистической системы? Эти и подобные вопросы имеют сегодня жгучий политический интерес и служат объектом острой идейной борьбы.

Рецензируемый коллективный труд построен исторически. Первые три главы его описывают общие тенденции исторического формирования американской нации, дают историко-статистический обзор этнического состава населения США и характеристику исторического развития американской нации в XIX веке. Далее следуют главы, посвященные отдельным этническим группам — индейцам, эскимосам, неграм, мексиканцам, славянским группам и пуэрториканцам. Сюда же примыкает несколько выпадающая из общего строя глава «Этнические процессы в Русской Америке», посвященная территориям (Аляска, Алеутские острова и др.), которыми до 1867 года владела Россия. Последние три главы книги посвящены снова более общим вопросам — расово-национальным основам иммиграционной политики США в 20—60-х годах XX века, иммигрантскому населению современных США и роли религии в формировании американской нации.

Несомненное достоинство книги — ее высокая информативность и насыщенность добротным фактическим материалом. Особенно интересны в этом отношении главы «Этнический состав населения США», «Историческое развитие американской нации», «Индейцы — коренное население США», о пуэрториканцах и «Иммигрантское население современных США». Ознакомившись с книгой, читатель узнает много нового о том, как исторически формировалась американская нация, каково сейчас положение национальных и расовых меньшинств в США, какие проблемы их волнуют

и т. д. Опираясь на официальную статистику и многочисленные исследования американских социологов и этнологов, авторы рисуют широкую панораму экономических, социальных и культурно-лингвистических процессов, из которых складывается жизнь американских меньшинств. Они показывают, что, несмотря на значительную тенденцию к ассимиляции, этнические меньшинства сохраняют ряд особенностей, которые в условиях капиталистического общества порождают множество социальных конфликтов².

Со страниц книги встает яркая картина национальной и расовой дискриминации негров, индейцев, пуэрториканцев и других этнических групп. При этом авторы последовательно проводят принцип классового подхода: национальные процессы и отношения рассматриваются как производные от социальной структуры общества, детально прослеживается социально-классовое расслоение самих этнических меньшинств, национальная и расовая дискриминация ставится в связь с экономическими интересами и политикой правящих кругов США, а борьба против нее — с общей антиимпериалистической борьбой. «При всем культурном и этническом своеобразии каждой иммигрантской группы и ее судьбы в Америке, — читаем мы, — основу ассимиляции всех иммигрантов следует искать в их включении в экономическую и социальную структуру американского общества». Поэтому характер этой «структурной ассимиляции» «определяется главным образом строением и потребностями принимающего общества и только во вторую очередь — социальной природой иммигрантов». В книге широко использована Программа и другие теоретические документы Коммунистической партии США, подвергнуты убедительной критике многие реакционные концепции.

Но при всех бесспорных достоинствах книга оставляет у взыскательного читателя чувство некоторой неудовлетворенности, потому что богатство фактической информации не всегда сочетается в ней с солидными теоретическими обобщениями. Отчасти это связано с ее историческим построением. Авторы стремятся прежде все-

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 24, стр. 126.

² Некоторые из этих проблем освещались на страницах «Нового мира» — 1966, № 9; 1970, № 3.

го ответить на вопрос, как сложилась американская нация, и охарактеризовать современное положение отдельных этнических групп. Вопрос о том, каково будущее этой системы отношений, какие социальные силы и институты поддерживают, а какие расшатывают ее, интересует их меньше. Разумеется, исторический анализ не только сам по себе правомерен, но и является в каком-то смысле предварительным условием социологического обобщения. Но он, в свою очередь, требует определенной теоретической перспективы: какие именно процессы и почему привлекают к себе внимание, каково соотношение экономических, социально-политических и культурных аспектов формирования нации, в чем специфика данной нации по сравнению с остальными и т. д. К сожалению, эти теоретические вопросы не получили в книге систематического освещения и не сведены в единую концептуальную схему.

Чрезвычайно важная для общего направления книги первая глава «К вопросу о сложении нации США и некоторых тенденциях ее развития», призванная быть теоретическим введением ко всему исследованию, не выполняет этой задачи. Она фрагментарна и иллюстративна. Двухстраничное «Заключение», состоящее в основном из общеизвестных общих положений, не компенсирует этого пробела. В результате общие проблемы, которые должны были бы организовать все исследование, фактически остаются не сформулированы и книга превращается в серию самостоятельных, весьма неравноценных и написанных в разном логическом ключе очерков, которые связаны друг с другом в основном пространственно — по предмету (речь идет о проблемах США) — и, так сказать, общим переплетом. И если в одних главах, прежде всего в разделах, написанных Ш. А. Богинной, теоретические точки отсчета явно присутствуют, то в других они не ощущаются. Специфические проблемы отдельных меньшинств заслоняют общую систему «этнической стратификации» и закономерности ее исторической эволюции.

Авторы детально описывают различные аспекты ассимиляции национальных меньшинств в США, но не пытаются применить к ним какую-то теоретическую типологию, выработанную в нашей стране (например, В. И. Козловым) или за рубежом.

Недостаточно представлен в книге и социально-психологический аспект национальных отношений. Авторы приводят многочисленные и яркие факты национальной и расовой дискриминации, предрассудков и т. д. Но они не пытаются теоретически проанализировать соотношение социально-психологических предрассудков и фактической дискриминации тех или иных меньшинств, проследить динамику этнических стереотипов во взаимоотношениях разных этнических групп.

Более широкий социологический подход позволил бы углубить теоретический анализ и многих конкретных проблем, затрагиваемых в книге. В ней приводятся чрезвычайно интересные данные об изменении семейного быта нескольких различных иммигрантских групп (греков, финнов, итальянцев, японцев, китайцев и др.). Проблема эта очень важна, так как семейное воспитание — один из основных каналов передачи и сохранения национальных традиций. Но для серьезного обсуждения ее необходимо принять во внимание также структуру традиционной семьи, соотношение мужских и женских ролей (в частности, отцовской и материнской) в соответствующих национальных общностях в их «естественной» среде, до эмиграции в США. Без этого различная степень устойчивости семейного быта в разных иммигрантских группах непонятна. То есть нужен более обстоятельный экскурс в социологию семьи.

Центральной темой своей книги авторы считают складывание единой нации посредством многообразного и сложного процесса ассимиляции меньшинств. Но одинаковы ли условия и характер этого процесса у иммигрантов, негров и индейцев? Простое «разведение» их по разным главам не дает ответа на этот вопрос, который включает в себя и проблему наличия собственной «почвы», и проблему расовых различий, и многое другое. Здесь нужно искать, сопоставлять... То есть дело снова упирается в теорию.

Мои критические замечания и вопросы не умаляют высоких достоинств книги. «Точка зрения» всегда остается точкой и не может быть заменена многоточием или линией. Книга «Национальные процессы в США» в каком-то смысле подводит итоги ранее проделанной советскими учеными работы в этой области. То, что эта ра-

бота была ориентирована главным образом исторически, правомерно. Но теперь, когда исторический материал собран и обобщен, нужно идти дальше, дополнив то, что делалось и делается историками, сравнительно-социологическим и социально-психологическим исследованием. Редакторы книги в заключении сами называют ряд таких проблем — «вопросы о межэтнических контактах, о развитии семьи, о

складывании общеамериканской культуры» и т. д. Новые проблемы требуют, однако, и нового, более систематизированного и точного понятийного аппарата, и новых методов исследования. Отсюда — необходимость более тесного сотрудничества этнографов с социологами и социальными психологами.

И. С. КОН,
доктор философских наук.



ЗАГАДКА И УРОК НИККОЛО МАКЪЯВЕЛЛИ

Никколо Макьявелли. История Флоренции. Перевод Н. Я. Рыковой. Общая редакция, послесловие и комментарии В. И. Рутенбурга. Л. «Наука». 1973. 440 стр.

Выход в свет «Истории Флоренции» несомненно привлечет к себе интерес не только научных кругов, но и широкой общественности. И не только потому, что этот труд служит одним из украшений прекрасно задуманной серии памятников исторической мысли, но и потому, что он разрывает завесу молчания над мыслителем и писателем, чье творчество и чья судьба до сих пор служат предметом самых полярных суждений и эмоций.

Первое издание «Истории Флоренции» вышло в Риме 25 марта 1532 года, через пять лет после смерти автора. А в 1563 году Тринтендский собор утвердил решение Павла IV о включении работ Макьявелли в индекс запрещенных книг. Лишь в 1572 году римская курия разрешила сыновьям Макьявелли напечатать его сочинения, но только... под псевдонимом. В течение двух столетий флорентийская академия Делла Крус писала вместо Макьявелли — флорентийский секретарь. С тех пор звание это прочно ассоциировалось с его именем, как будто не было других людей, занимавших в разное время эту должность. «История Флоренции» продолжала издаваться и за минувшее время выдержала несколько десятков изданий в разных государствах Италии, а также во Франции, Англии, США, Швеции и многих других странах мира. На русском языке она издается впервые.

Вообще говоря, трудам Никколо Макьявелли не очень-то повезло в России. На протяжении длительного времени не только запрещалось издание работ Макьявелли, но даже их чтение считалось тяжчайшим политическим преступлением. В 1737 году

состоялся процесс против известного в ту пору русского государственного деятеля князя Д. М. Голицына, который слыл просвещеннейшим человеком своего времени. Одним из главных преступлений Голицына суд признал чтение книг Макьявелли. Князь с трудом избежал смертной казни. Этого, однако, не удалось избежать А. П. Волынскому, который по иронии судьбы руководил судом над князем Д. М. Голицыным. Будучи сам сторонником либеральных реформ, он явился автором проекта «Отправления государственных дел». В 1740 году Волынского обвиняют в замысле государственного переворота, и снова одним из тяжких его преступлений было признано то, что он читал «книги Макиавеля». Так судья и жертва — оба оказались почитателями Макьявелли и оба понесли наказание за это.

Первую публикацию в России в защиту Макьявелли исследователи относят к началу XIX века. Журнал «Русский вестник» напечатал «Выписки из Макиавеля о войне римлян», сопроводив их следующими словами: «Может быть, некоторым странно кажется, что с именем Петра Первого, графа де Сакса и Суворова упоминаю о Макиавеле, которого привыкли называть проповедником коварства и наставником тиранов... Отчего же Фридрих II восстал против Макиавеля? Не смею сказать решительно, но может быть личная польза его требовала, чтобы не постигали настоящего смысла сочинений Макиавеля».

Чрезвычайно интересное толкование взглядов Макьявелли дал А. С. Пушкин. С присущей ему тонкой политической ин-

туцией он увидел в Макьявелли «великого знатока природы человеческой». Разоблачая популярного в некоторых кругах официальной России того времени иезуита Посвина, Пушкин видит особое его лицемерие в поношении им Макьявелли. Вот что писал поэт: «Езуит Посвин, столь известный в нашей Истории, был одним из самых ревностных гонителей памяти макиавелевой. Он соединил в одной книге все клеветы, все нападения, которые навлек на свои сочинения бессмертный флорентинец, и тем остановил новое издание оных».

Первое издание трудов Макьявелли на русском языке состоялось в пору либеральных реформ и служило одним из симптомов ослабления цензурных рогаток. В 1869 году в одной книге были собраны «Государь» и «Рассуждения...». Однако «История Флоренции», так же как и другие работы, тогда еще не выходила в русских изданиях.

Предубеждения, которые висели над самим именем флорентийского секретаря, начали рассеиваться в советские годы. В 1934 году на русском языке опубликован первый том сочинений Макьявелли, в который вошли «Государь», «Мандрагора», несколько новелл и некоторые из написанных им дипломатических документов. Второй том, к сожалению, так и не увидел света.

Теперь несколько слов об «Истории Флоренции». Она представляет собой последний крупный труд Никколо Макьявелли. Толчком для написания этого блистательного произведения, как это нередко бывает, послужил самый банальный факт. Благодаря хлопотам друзей Макьявелли, отвергнутого властвующим домом Медичи, Флорентийский университет 8 ноября 1520 года поручил ему на условиях выплаты ста флоринов годового жалованья написать историю Флоренции. Жалованье небольшое, но оно явилось спасением для отстраненного от службы и не имевшего никаких средств к существованию Макьявелли, на содержании которого находились пять детей, жена и любовница. Благодаря хроническому безденежью «хитроумнейшего политического мыслителя» мы располагаем сейчас трудом, который занимает достойное место рядом с «Историей» Геродота, жизнеописаниями Плутарха, с историческими трудами Тита Ливия.

«История Флоренции» не похожа на те исторические труды, с которыми мы привыкли

встречаться у авторов новейшего времени. По способу изложения и манере она стоит ближе к античной традиции, которая усматривала в истории не только и не столько памятник событий, сколько материал для размышления, урок, который должны извлечь нынешние и грядущие поколения из опыта прошлого.

В своем труде Макьявелли выступает одновременно в роли историка, мыслителя и новеллиста. Здесь все его разнообразные таланты обнаруживаются в полной мере. Изложение событий перемежается с размышлениями об их подлинной природе, о причинах деятельности тех или иных общественных и политических групп, о мотивах поведения людей. Не испытывая и доли смущения, он вкладывает в уста своих героев — представителей власти или бунтарей против нее — развернутые и красочные монологи с темпераментным изложением их политической философии, их требований, их замыслов и целей. Поэтому за историческими событиями восьми книг «Истории Флоренции» более всего видна фигура самого Макьявелли — активной и деятельной личности, глубокого и разностороннего мыслителя и политика, страстно обуреваемого флорентийскими и общетальянскими патриотическими чувствами.

Выход «Истории Флоренции» дает нам хороший повод для размышлений о причудливой судьбе одной из удивительных личностей эпохи Возрождения.

Палитра взаимоисключающих оценок, дававшихся Макьявелли, отличается таким обилием красок, что нередко складывается впечатление, будто речь идет не об одном, а, по крайней мере, о десятке людей. Официальная церковь объявила его «безнравственным», а Кромвель использовал «Государя» во время своего конфликта с Римом. Наполеону приписывают слова: «Тацит пишет романы, Гиббон — не больше как человек звучных слов, Макьявелли — единственный писатель, которого стоит читать»; Фридрих II написал брошюру «Антимакьявелли», а Мустафа III перевел «Государя» на турецкий язык. Руссо называл его «порядочным человеком» и «добрым гражданином»; Спиноза — «благоразумнейшим мужем», который «стоял за свободу и дал также неоценимые советы для ее укрепления»; Декарт замечал в Макьявелли «наставника государей», а Гегель находил, что

Макьявелли руководствовался «высоким сознанием необходимости формирования государства». В историографической литературе Макьявелли характеризуют так: героический, гениальный (Майнеке), демонический (Риттер), решительный (Гольштейн), эстет (Гундольф).

Современный марксистский исследователь Жорж Муни насчитал не менее пяти различных интерпретаций Макьявелли: наставник тирании, тайный разоблачитель деспотизма, первый великий всеитальянский патриот, основатель политической науки и др.

Прах Никколо также имел странную судьбу. Церковь вначале колебалась, давать ли разрешение на христианские похороны известного богохульника. Но вот прошло время, и в 1787 году над его гробницей был воздвигнут памятник с эпитафией: «*Tauto Domini molim rag ellegium*» (что означает: «Имя его выше всяких похвал»). Эта надпись была сделана по указанию Пьера Леопольда Первого, просвещенного деспота Тосканы, находившегося в состоянии постоянного конфликта с церковью. Реабилитация Макьявелли была для него крупным антиклерикальным жестом.

Быть может, лучший ответ на загадку Макьявелли дает сама его фамилия, которая переводится некоторыми исследователями как «вредный гвоздь»? Гвоздь был символом семьи Макьявелли. Это прозвище фамилии дворянского рода, которое воспринималось как выражение силы — гвоздь может постоять за себя.

Во всей истории человеческой мысли едва ли есть судьба более загадочная, чем судьба Макьявелли. Посмотрите только, как странно сложилась его биография. В двадцать девять лет он занял довольно видный пост секретаря Совета десяти во Флорентийской республике и на протяжении четырнадцати лет выполнял ее ответственные поручения. Потом, после прихода диктатора Медичи, опала, тюрьма, ссылка. Наконец литературная деятельность. Отчего же человек, который заявил себя перед всем миром как выдающийся политический мыслитель, оказался так неловок в роли политического деятеля? Отчего сам он не мог воспользоваться советами, которые так щедро раздавал правителям и деятелям своего времени? Загадка.

Ну а посмертная литературная судьба? Вдумайтесь только в такой факт: Макья-

велли написал множество работ — «Государя», «Рассуждения на первые три книги Тита Ливия», «О военном искусстве», «Историю Флоренции», комедию «Мандрагора», новеллы. После него осталась блистательная переписка с Франческо Веттори и другими современниками, выполненная в лучших традициях эпистолярного жанра. Его донесения Совету десяти по поводу внешнеполитических миссий при дворе графини Имоли, Чезаре Борджа, французского короля Людовика XII, германского императора, римского двора и других властителей того времени являются постоянным объектом исторического и литературного анализа. Тем не менее именно «Государь», написанный в течение нескольких месяцев, создал ему славу — странную, неровную, отчасти даже скандальную. Именно вокруг этой книги концентрируются поныне все ожесточенные страсти сторонников и противников великого флорентийца.

С какой целью был написан «Государь»? Служит ли эта работа, в которой, по мнению многих, Никколо Макьявелли заявляет себя сторонником тирании, наиболее полным выражением его взглядов? Или это поступок, сделанный по соображениям житейским, подобный тому, который был совершен Галилеем, отрекшимся от своих взглядов? Да и в книге ли только дело? Так ли уж разителен контраст между «Государем», «Рассуждениями...» и «Историей Флоренции», если брать за основу мировоззрение и принципы флорентийского секретаря?

Не менее загадочно соотношение Макьявелли и макьявеллизма. Макьявеллизм приобрел, как хорошо известно, совершенно однозначное толкование. В этом слове сошлось все самое худшее, самое отвратительное, что можно увидеть, сказать и помыслить о жестокости, лицемерии и беспринципности, хитрости, коварстве и лживости политического человека, политической власти. Цель оправдывает любые средства — эта ужасная формула, приписываемая иезуитам, не была нигде изложена с большей откровенностью, чем в «Государе», где она к тому же облечена еще в научную форму.

Но вот что по-настоящему загадочно: был ли сам Макьявелли макьявеллистом? Является ли его учение действительно тем, что в нем пожелали увидеть многие? Или правы те мыслители, начиная от Спинозы и Руссо, которые открыли в учении Макьявелли не-

что иное — первый по-настоящему глубокий анализ политической власти, выполненный к тому же с прогрессивных и патриотических позиций?

Если даже это и так, то все же остается проблемой: по какой причине именно его труды дали повод для подлинно макьявеллического истолкования? Судьба учения Макьявелли — не менее острая загадка, чем его прижизненная политическая судьба.

Наконец, существует еще и другое: загадка личности, загадка призвания. Подумать только: человек всю жизнь мечтал о карьере маленького чиновника в маленькой Флорентийской республике, совершенно не понимая как будто своей природы, того, что в нем было заложено богом, как говорили в старину, не чтя в себе гениального художника, писателя, мыслителя!

Не парадоксально ли: человек одной и той же рукой в одно и то же время пишет великолепные «Рассуждения...», блистательную «Мандрагору» и жалкие прошения в канцелярии о возвращении на жалкую должность в игрушечном Флорентийском государстве! Какая слепота в отношении собственного призвания! И это он, который так знал, любил и почитал древних с их величайшим «познай самого себя»!

Дал ли сам Макьявелли, этот носитель нетривиальной «гвоздевой» фамилии, повод для столь произвольных суждений о себе? По-видимому, да.

Но чем больше вы вчитываетесь в «Государя», в безжалостные, циничные и жестокие советы, которые автор без всякого стеснения адресует тиранам, тем больше вы чувствуете, что сам он не несет ответственности за эти слова, как художник не в ответе за уродство лица, которое он изображает на холсте, как хирург, вскрывающий омерзительный гнойник, прикрытый нежным покровом кожи. Есть нечто неуловимое в самом стиле, интонации, которые делают музыку этого произведения. Это тон интеллектуального и нравственного превосходства, подобный тому, который испытывает судья, выносящий приговор. Превосходства мыслителя, открывшего новый закон. Превосходства художника, который снисходит до натуры. Такие чувства, по-видимому, должен испытывать дрессировщик, который хладнокровно входит в заповедник к диким зверям. Он гладит их гладкую блестящую шерсть, изучает остроту зубов и когтей и заставляет их проделывать

все сложные фигуры, думая про себя: «Я знаю, что вы гнусные твари, но таков мир. Я принимаю это просто как факт и не морализирую по этому поводу». Эта интонация примиряет вас с автором «Государя», хотя не вполне, не до конца, не разрешая всех ваших сомнений о чистоте его побуждений, о его собственной жизненной позиции.

Когда же вы читаете «Рассуждения...» или «Историю Флоренции», его блистательные размышления о прошлом, настоящем и будущем, перед вашими глазами возникает образ великого патриота и гражданина, неистового республиканца, горячо любящего свой народ, бескомпромиссного борца, ревнителя свободы. Эти книги целиком пронизаны светом справедливости, жаждой добра, восхищением доблестью, честностью, героизмом человека.

«Государя», «Рассуждения...», «История Флоренции» написаны с позиций ученого, или, как сейчас сказали бы, интеллектуала, который принимает во внимание только факты, игнорируя соображения морали и не внося в политику нравственных оценок. В случае с «Государем» такой ученый исследует как данное природу монархической власти и строит систему представлений о ней, имея в виду в качестве цели эффективность управления. В случае с «Рассуждениями...» он все делает в той же форме и в тех же целях, но уже взяв за основу республиканский принцип. И там и здесь он пишет не как должно быть, а как есть в действительности.

Но это, собственно, не разгадка, а размышления о загадке Макьявелли. Ну а в чем же урок? А вот в чем. «Государь» не только книга, но и поступок, за который Никколо несет расплату вот уже пять столетий. Давно забыт Цезаре Борджа, убийца и злодей. Забыты и тысячи других убийц на тронах. Но имя Макьявелли не забыто. Им до сих пор нередко пугают детей. Он не убил, не предал никого. Он служил республике и страстно любил родину. Но он имел ужасную неосторожность искать в злодее патриота и восхищаться Борджа. Воистину нет страшней поступка, чем злое слово...

Издание «Истории Флоренции» больше чем через тридцать лет после последней публикации работ Макьявелли знаменует, надо думать, стремление к подлинно научному суждению об историческом значении его личности и его творчества. Собственно,

перелом этот давно подготовлен прогрессивными мыслителями всего мира и опирающимися на их мнения основателями марксизма.

Известно, что Карл Маркс проявлял большой интерес к сочинениям Макьявелли. В архиве К. Маркса и Ф. Энгельса — в книге пятой — мы находим пространные выписки из его работ, которые занимают более пяти страниц. В письме к Ф. Энгельсу Маркс писал: «Его (Макьявелли.— Ф. Б.) история Флоренции, это — шедевр»¹. «Почти одновременно с великим открытием Коперника,— писал К. Маркс в другом месте,— открытием истинной солнечной системы — был открыт также и закон тяготения государств: центр тяжести государства был найден в нем самом. Различные европейские правительства пытались,— правда, поверхностно, как это бывает при первых практических шагах,— применить этот закон в смысле установления равновесия государств. Но уже Макиавелли, Кампанелла,

а впоследствии Гоббс, Спиноза, Гуго Гроций вплоть до Руссо, Фихте и Гегеля, стали рассматривать государство человеческими глазами и выводить его естественные законы из разума и опыта, а не из теологии»².

Мы находим у К. Маркса и высокую оценку нравственной позиции Макьявелли как великого итальянского патриота: «...Гарибальди, который с огненной душой соединяет частицу того тонкого итальянского гения, какой можно обнаружить в Данте не менее, чем в Макиавелли...» — пишет К. Маркс³.

Эти оценки, изложенные столь однозначно, побуждают нас к всестороннему анализу творчества «Великого Немого». И можно только радоваться тому, что издание «Истории Флоренции», за которым, как мы надеемся, последует наконец и публикация полного собрания сочинений автора, будет способствовать ответу на загадку Никколо Макьявелли.

Ф. БУРАЦКИЙ.

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 29, стр. 154.

² Там же, т. 1, стр. 111.

³ Там же, т. 15, стр. 190.



КОРОТКО О КНИГАХ



ЮРИЙ РЫТХЭУ. Белые снега. Роман. «Нева», 1975, №№ 1, 2.

Взаимоотношениям людей в процессе крупных исторических преобразований посвящен этот роман Рытхэу о приобщении далекой Чукотки к новому миру, рожденному Октябрем.

Борьба за советскую власть на Чукотке показана писателем широко и многогранно. С самого начала Рытхэу передает всю меру сложности тогдашних событий и процессов. Дореволюционная Чукотка — это целый и цельный мир совершенно самобытных общественных и личных отношений, со своей системой норм и понятий, обусловленных жизнью в крайне удаленных и суровых условиях арктического Севера. Перед нами свидетельство человека, обладающего свежестью взгляда на вещи, понимающего «изнутри» национальный уклад, обычаи своего народа.

Задача перестройки здешней жизни легла в первые годы советской власти на плечи нескольких русских коммунистов-энтузиастов, приехавших на эту землю. Им было нелегко. Сложности возникали не только из-за языкового барьера, сурового климата, неблагоустроенного, по русским представлениям, жилья, непривычной пищи, но и из-за недоверчивого подчас вообще отношения к «тангитанам».

Учителя Петр Сорокин, Елена Островская, милиционер Семен Драбкин целиком отдавали себя делу преобразования Чукотки. Большинство чукчей с радостью тянулись ко всему новому. Но были и такие, кто упорно держался за старое. Это хозяева байдар, вельботов, оленьих стад. Дело доходит до кровавого конфликта, жертвой которого стал самоотверженный коммунист Драбкин. «Как же трудно, оказывается, переделывать жизнь! — восклицает автор. — То, что случилось, — это только малая часть великих трагедий маленьких людей, цепляющихся за свое прошлое, за свое богатство...»

Повествование Рытхэу покоряет своей художественной непосредственностью с первых же сцен. Вот герой романа Пэнкок, наблюдая в бинокль горизонт, чтобы обезопасить моржовое лежбище от возможного вторжения кораблей, со свойственной чукчам спокойной медлительностью рассматривает стойбище от яранги к яранге, вспоминает историю каждой из них, при-

поднимая мысленно полог и вдыхая «привычный запах теплого жилья...». Такие описания привлекают органичностью авторского взгляда на чукотское бытие. Нигде не сдвигая древних представлений чукчей к современным взглядам на вещи, Рытхэу строго придерживается принципа исторической достоверности.

В этой связи хотелось бы вспомнить эпизод, где слышит «голос» шаман Млеткын, долгим голоданием и жизнью в безлюдной тундре подготавливая себя к общению с потусторонними силами. Мысли самого Рытхэу по этому поводу не нарушают строгой объективности тона повествования. Он бережен к психологии своих героев и правдиво воссоздает ее на страницах романа.

Рытхэу не первый раз пишет о становлении советской власти на Чукотке. Это, в частности, тема его романа «Сон в начале тумана». В «Белых снегах», однако, события показаны писателем детальней. Тема перестройки древнего сознания чукчей — стержневая у Рытхэу — в последнем романе раскрывается в основном в связи с ломкой привычных устоев родовой общины, сделавшей гигантский скачок в социализм. Побеждало стремление людей понять друг друга, их взаимная доброжелательность, уважение к привычкам и знаниям друг друга. Так завязывалась дружба двух народов, завязывалась нелегко, зато плоды ее хорошо видны. Доказательством тому и самобытное творчество самого Рытхэу.

Т. Комиссарова.



А. ШАРОВ. Волшебники приходят к людям. Книга о сказке и о сказочниках. М. «Детская литература». 1974. 304 стр.

У Корнея Ивановича Чуковского было в саду сломанное дерево. Его давно следовало бы спилить, но Чуковский не разрешал, потому что на этом дереве любили качаться соседские дети.

Однажды, рассказывал Чуковский, к нему пришла девочка и попросила:

— Дедушка Корней! Можно мне покачаться на дереве?

— Качайся, Любочка, — ответил Корней Иванович.

Девочка покачалась и ушла. Но вскоре вернулась опять:

— Дедушка Корней! Можно мне показаться на дереве?

— Качайся, Любочка,— снова ответил Чуковский.— Только ты же недавно качалась. Тебе еще не надоело?

— Я не качалась,— сказала девочка.— И я не Люба, я Таня. Это мою маму зовут Люба. Любовь Ивановна.

Наверное, Корней Иванович полугрустно-полудушливо хотел этим сказать: вот как долго я живу, уже путаю поколения.

Но А. Шаров вспомнил эту историю еще и для того, чтобы продемонстрировать, так сказать, профессиональное мышление сказочника. И сказочников. Потому что, как пишет А. Шаров, у сказочников и у сказки «иные часы». Иные, чем у нас с вами.

Не зря биографии сказочников — С. Т. Аксакова, Погорельского, Ершова, Пушкина, Сент-Экзюпери, Корчака, Сервантеса, Андерсена — перемежаются у Шарова главами, однообразно-знаменательно названными «Тайны сказки». Шаров пытается разгадать эти тайны, найти ключ к постижению удивительной жизнеспособности этого жанра. Даже бессмертия, ибо сказка ведет свое начало с такой древности, что...

Впрочем, здесь А. Шаров не без основания цитирует Генри Лонгфелло: «Если спросите — откуда эти сказки и легенды... Я скажу вам, я отвечу: «От лесов, равнин пустынных, от озер Страны Поночной... С гор и тундр, с болотных топей, где среди осоки бродит цапля сизая, Шух-шух-га...»

Книга А. Шарова не литературоведческое исследование. И главы, названные им «Тайны сказки», написаны не ученым, а писателем-эссеистом. Поэтому мы не станем упрекать автора за то, что в его работе нет аналитических наблюдений над природой жанра. Напротив, учитывая художническую задачу А. Шарова, скажем, что писателю удалось интересный разговор с читателем о причинах, вызвавших сказку к жизни, о непреходящей потребности в сказке. Причем потребности не только ребенка — народа! Она поборник добра, потому что нравственные нормы, запечатленные в ней, напрямую связаны с изначальной верой народа в добро, в его непрременную, обязательную победу над злом. Эту главную особенность сказки понимали и учитывали в своем творчестве все художники, среди которых и те, о ком рассказывает Шаров. Творя сказку, каждый из них опирался на ее богатые традиции. В том числе и на нравственные.

Потому-то нередко сказка, что называется, приходилась не ко двору. А. Шаров, в частности, напоминает о судьбе ершовского «Конька-горбунка», сначала было напечатанного с купюрами, а потом и вовсе запрещенного николаевской цензурой. Но и после снятия цензурного запрета, при Александре II, судьба сказки Ершова не стала счастливой. Хотя ее вроде бы активно пропагандировали — печатали в массовых, дешевых, лубочных изданиях. Но не прежде чем изуродовав до неузнаваемости. Ибо можно ли было узнать в

ничтожном, раболепном человечке: «Иван чувством умилился, слыша милость, прослезился, сто поклонов отсчитал, благодарность изъявляя» — прежнего героя Ершова, гордого, вольнолюбивого, преисполненного чувством собственного достоинства.

Надо отдать должное А. Шарову: он собрал богатый историко-литературный материал, обнаружил немало фактов, неизвестных до сих пор широкому читателю.

Вместе с тем стоит посоветовать на то, что автор иногда как бы утрачивает чувство адресата. Местами тон повествования становится слишком, что ли, игривым — прямое свидетельство того, что автор забывает, что его книга, как об этом объявлено издательством, «для старшего возраста» (другой вопрос, что и с «младшим школьным» и даже «дошкольным» возрастом не следует говорить снисходительно, со взрослого высока).

Но, не закрывая глаз на недостатки, будем помнить о достоинствах книги. Будем благодарны автору за его интересный популярный рассказ о природе сказки и о специфическом даре сказочника, которому дано жить по часам сказки. По тем самым «иным часам», которые способны остановить время, спрессовать его, не беря в расчет даже такие очевидности, что каждая Любочка становится Любовью Ивановной, но которые всегда показывают: время творить добро, время утверждать человеческое достоинство, время помнить о связи с началами жизни.

Геннадий Красухин.



С. Г. БОЧАРОВ. Поэтика Пушкина. Очерки. М. «Наука». 1974. 208 стр.

Границ естественного слуха не раздвигнуть — ультразвук уху слышать не дано, но пределы слуха духовного, читательского в частности, расширить, к счастью, можно. Книга С. Бочарова лишний раз в этом убеждает. После нее многие обороты пушкинского слова слышны явственней, иные, наверно, вообще слышны впервые. Читаем в «Выстреле»: «Однако ж во вторую весну моего затворничества разнесся слух, что графиня с мужем приедет на лето в свою деревню. В самом деле, они прибыли в начале июня месяца». «Это не голый факт,— пишет С. Бочаров,— и не простая информация. Можно «просто сказать», что графиня с мужем приехали в свою деревню; но у рассказчика сообщение обращается в целую маленькую композицию пронесшегося слуха и отклика на него («В самом деле...»). Повествовательная фраза звучит как реплика, отвечающая молве. Рассказ резонирует миру как некое эхо». В прозе, в романе, в стихах природа повествования у Пушкина вообще такова: речь, как будто просто сообщающая, что происходит в мире, оказывается и вместилищем разных точек зрения на мир — доказательству этой мысли служат глубокие разборы пушкинских текстов в очерках С. Бочарова.

В сжатой прозе Пушкина эффект внут-

ренней объемности особенно разителен. Не успевает кончиться краткая фраза, как меняется ракурс мировидения. «На стене висели два портрета, писанные в Париже m-me Lebgu» («Гиковая дама»). Германну ли, пробравшемуся в спальню графини, всматриваться, кем писаны старинные портреты, да он явно и знать не знает о m-me Lebgu. «Описание превосходит его кругозор,— констатирует С. Бочаров.— Автор продолжает своим знанием (во второй половине фразы) то, что видит герой (в первой ее половине); «...внутри этой фразы автор входит со своим знанием историка и искусством художника в открытую для него «субъектную сферу» героя». Столь же незаметно создает Пушкин «бездну пространства» (по слову Гоголя) уже не внутри фразы, а внутри целого произведения — той же тонкой композицией точек зрения, игрой взаимоотношений «рассказчиков» (в «Повестях Белкина»), превращениями повествовательных фрагментов в диалогические реплики и, наоборот, как бы вовлечением прямой речи в единый повествовательный поток, где она может потом всплыть в виде «стилистической зоны» персонажа...

«Повести Белкина», замечает С. Бочаров, с одной стороны очень простые, вместе с тем «сложно и даже изощренно построены. В полноте же своей они доступны «двойному зрению», одновременно схватывающему их цельную простоту и их сложный состав». Важно, что вывод С. Бочарова органично вырастает из анализа. Иные сегодняшние критики прямо жупел для оппонентов сделали из пушкинской «простоты» и, даже оговариваясь порой, что это-де «сложная простота», подразумевают, что сложность сам же Пушкин и преодолел, оставив читателю одну простоту. Но двойное зрение, схватывающее не только жизненную историю, рассказываемую писателем, но и строение его рассказа, необходимо читателю всегда, а читателю Пушкина в особенности. Образ мира, в слове явленный, мы часто склонны воспринимать, как раз забывая про слово, как если бы он был внушен самой реальностью непосредственно. У Пушкина этот образ откровенно явлен именно в слове, а слово, как ни у кого другого, открыто радуется способности творить из себя мир. Непостижимо нерукотворный и вместе с тем нескрываемо сотворенный, устроенный художником-творцом — таков пушкинский мир, художественный в точном значении этого понятия. Белки, скажем, ни единым звуком не обозначил себя в тексте пяти «своих» повестей. Но велика его роль, как превосходно показано в очерках, в общем устройении художественного целого. «Звучащий мир пушкинских повестей объединяется молчаливым образом Белкина». Вот почему повести «можно читать отдельно... «без Белкина» — однако лишь до известной степени. Читатели и исследователи, читающие без Белкина, полностью сбросив его со счета, неизбежно читают с известной потерей смысла».

Легко и «Онегина» прочесть с потерей смысла; знакомясь с очерком, посвященным стилистике романа, об этом вспоминаешь, так сказать, по контрастной ассоциации. К примеру, совсем недавно Ст. Рассадин усмотрел в поэтике предсмертной элегии Ленского псевдоромантическую «банальность», «расхожест» и т. д., противопоставив ей поэтику описания дуэли самим Пушкиным; там «условность» («стрела», пронзающая дуэлянта), Пушкиным уже изжитая, тут «реальность» («Гремит о шомпол молоток»). Но ведь «пробили часы урочные», «потух огонь на алтаре» — тоже описание дуэли, а очевидно, что это та же поэтика, что и в элегии Ленского? Впрочем и чтобы видеть очевидное, вероятно, требуется «двойное зрение». Вот как понимает интересующий нас эпизод С. Бочаров: «„Так он писал темно и вяло“. Но точно после этого приговора эта поэзия Ленского оживает в авторской речи — в сцене дуэли где автор серьезно и прямо рассказывает о его гибели на языке его сознания... «Идеальная» поэзия Ленского неожиданно реализуется, «переходит в жизнь»... превращается в прямую речь самого автора, рассказывающего о смерти молодого певца и о нем скорбящего на его собственном («чужом» для автора) языке...»

С протейским даром Пушкина говорить на чужом языке как на собственном связано глубокое соображение исследователя об отличии иронии Пушкина в «Онегине» от романтической иронии. В романтической иронии точки зрения, языки и стили, взаимно снимая друг друга как вполне относительные, выходят «в пустоту» (выражение Ю. Лотмана), в пушкинской же иронии выход за относительные пределы чьего-либо языка и стиля есть всегда выход «в некую непрерывно ощущаемую полноту».

Жаль, что автор не развернул обстоятельно своей трактовки этой полноты у Пушкина (полагаем, что она родственна той радости творения мира в слове, о которой мы сказали выше). Вообще читателю книги С. Бочарова подчас недостает объемлющих выводов, сведения наблюдений в систему. Судя по необычному для теоретического труда подзаголовку — «очерки», автор сам это понимает. Хочется надеяться, что это понимание послужит ему же стимулом для продолжения работы.

С. Ломянадзе.



Б. ЭЙХЕНБАУМ. Лев Толстой. Семидесятилетие. Л. «Художественная литература». 1974. 359 стр.

Заветным замыслом Б. М. Эйхенбаума была многотомная монография о Л. Н. Толстом. Первые два тома вышли в 1928—1931 годах. Набор третьего — «Лев Толстой. Семидесятилетие» — погиб во время одной из бомбардировок осажденного Ленинграда. После войны исследователь восстановил книгу. Теперь она переиздана с добавлением трех больших глав из неоконченной монографии о Толстом. Эти главы («Толстой-сту-

дент (1844—1847)», «Толстой на Кавказе (1851—1853)», «Толстой в «Современнике» (1856—1857)») публикуются впервые и занимают больше половины издания.

Работы Б. М. Эйхенбаума о Л. Толстом относятся к лучшему из того, что написано о великом писателе, а книга «Лев Толстой. Семидесятые годы», может быть, лучшая из толстовских работ исследователя. Можно выявить два основных исследовательских принципа Б. Эйхенбаума: во-первых, утверждает он, нужно изучать не «литературу вопроса» (то есть что, где, когда и кто писал о Толстом), всего важнее — литературные факты (произведения, письма, дневники, воспоминания, литературную полемику, журнальную борьбу и т. п.); во-вторых, каждый факт сам по себе ничего не значит, он должен быть рассмотрен в контексте литературном и шире — общественно-историческом.

После окончания «Войны и мира» Л. Толстой надолго замкнулся в Ясной Поляне: он был обижен на современников, которые холодно встретили его книгу. Б. Эйхенбаум разъясняет, скорее даже не разъясняет, а демонстрирует точным сцеплением фактов и событий, почему «Война и мир» не была понята современниками.

Движение творческой мысли Толстого к крупнейшему его созданию 70-х годов — роману «Анна Каренина» показано Б. Эйхенбаумом с поразительной точностью. «Академическая» философия, подчеркивает Б. Эйхенбаум, не удовлетворяла Л. Толстого потому, что «всякий мыслитель выражает только то, что создано его эпохой, и... сознание это уже присуще живущему поколению». История, по мысли Толстого, также не дает подлинного постижения человеческой жизни. Истории-науке он противопоставлял историю-искусство и замышлял большой роман из эпохи Петра I. Замысел этот оказался нереализованным, так как слишком далека была эпоха: лица в романе «не говорили и не двигались».

Б. Эйхенбаум, анализируя «Анну Каренину», почти не прибегает к интерпретации романа, его задача — показать, как в «Анне Карениной» соединились несоединимые вещи: внутренняя история страсти и злободневные вопросы общественной жизни, помещичьего хозяйства, науки, философии, искусства. В простом по композиции романе Толстому удалось создать сложный «лабиринт сцеплений», в котором действуют не типы, не персонажи (с их жесткой детерминированностью социальной, психологической или какой другой), а подлинно люди: «...они «текучи» и изменчивы, они поданы интимно — как индивидуальности, наделенные общечеловеческими свойствами и легко соприкасающиеся».

В 70-х годах лежат истоки жесточайшего духовного кризиса Толстого, разразившегося уже в 80-е годы. Б. Эйхенбаум, осмысляя путь писателя в «лабиринте сцеплений» эпохи 70-х годов, доказывает, что не все в его творчестве может быть объяснено внешними обстоятельствами — биографическими и социальными. Лев Толстой — фигура слож-

нейшей духовной организации, гениальный художник, и Б. Эйхенбаум понимает, что всякий исследователь должен быть готов к тому, что многие побуждения Толстого, его поступки, высказывания (часто противоречащие одно другому) не объяснимы прямой, «открытой» причинностью. Исследователю Льва Толстого необходимо обостренное понимание сложнейшего мира художника. В работе Б. Эйхенбаума такое понимание налицо.

В. Сапогов.

Кострома.



ГЕНРИ ДЖЕЙМС. Повести и рассказы. Переводы с английского. Составление и предисловие А. Едигратовой. М. «Художественная литература». 1974. 432 стр.

Книгу Генри Джеймса, пожалуй, можно было бы предварить словами его многолетнего друга, американского писателя У. Д. Хузулла: «Перед вами работа психолога, обладающего воображением поэта, острым умом юмориста, сознанием безупречного моралиста и мудростью по-настоящему опытного наблюдателя жизни». Все перечисленные здесь достоинства присутствуют в прозе Генри Джеймса — американского писателя конца XIX — начала XX века.

Сборник Генри Джеймса открывается его ранней повестью «Дэзи Миллер». Повесть написана емко, в так называемой драматической повествовательной манере, которую не без влияния кумира своего первого периода И. С. Тургенева разрабатывал Г. Джеймс. Писатель изобразил хорошо знакомую ему среду американских экспатриантов в Европе. Конфликт повести, почти хроникерски изложенный автором, весьма красноречив. В кружок манерных и чопорных снобов, озабоченных соблюдением омертвевших условностей и приличий, неожиданно вторгается чистое и живое существо — юная Дэзи Миллер. Общество взбудоражено «неблаговоспитанностью» девушки и подвергает ее всеобщему осуждению. В конце повести Дэзи Миллер умирает, не понятая окружающими и «не объясненная» автором. Впрочем, последнее не случайно. Проза Г. Джеймса рассчитана на участие воображения читателя, а автор как бы остается в тени.

И все же лучшие новеллы сборника те, в которых, нарушая саспенсивные запреты, автор не прятается за маской беспристрастности. Это поэтические «Письма Асперна» и безысходно-трагические по звучанию «Смерть льва» и «В следующий раз». Тема каждой из трех новелл, выстрадавшая всей жизнью Джеймса, до того ему близка, что как бы провоцирует на откровенность. В центре их стоит писатель. Мир творческих занятий казался ему последним не затронутым всеобщей пошлостью «позолоченного века» островком, где могут найти прибежище артистические натуры. При известной узости социальных связей Генри Джеймса — человека, его художнические интересы часто перемещались в близкую

ему сферу психологии творчества. Благодаря его новеллам мы имеем возможность взглянуть на мир как бы «изнутри» сознания художника.

Герои «Смерти льва» и «В следующий раз» Нил Парадей и Рей Лимберт — художники до мозга костей. Они не приемлют буржуазную действительность. Но выбрать другую им не дано, и перед обоими стоит проблема: как, не идя на компромисс со своим искусством, обеспечить себе материальную возможность продолжать дело жизни, то есть, употребляя горько-ироническую фразу Джеймса, и тому и другому бедняге «придется втиснуться в век, в котором он рожден». Не удивительно, что история каждого из них — неожиданный успех одного художника (в «Смерти льва») и перманентная неудачливость другого («В следующий раз») — заканчивается одинаково трагично. Не просто оказывается «втиснуться» в буржуазную действительность писателям, не знающим «искусства угождения публике»!

Две последние новеллы — «Поворот винта» и «Веселый уголок» — представляют образцы позднего стиля писателя. Эти неподатливые, тонко нюансированные строки с характерными вводными предложениями и сложными метафорами, написанные в особом, трудно переводимом ритме, требуют от

читателя напряженного внимания. Обе новеллы посвящены «темным» сторонам человеческой психики. Если первая несет явный налет экспериментаторства, то во второй Генри Джеймс обратился к сквозной в его творчестве теме «любви-ненависти» к Америке. Герой рассказа, пожилой холостяк, возвратившись после тридцатитрехлетнего отсутствия на родину, которую он покинул из-за несогласия с грубой неэстетичностью ее житейской прозы, встречается в отцовском доме со своим двойником... Две мысли приходят на ум, когда пытаешься интерпретировать сложную символику рассказа. Это, во-первых, мысль о слишком явной связи судеб героя и его автора, подумывавшего на закате жизни о возвращении в Америку и одновременно боявшегося того, что ему предстояло увидеть на родине. Во-вторых, современный читатель несомненно разглядит за мистикой раздвоения личности весьма конкретную социальную символику.

Книга новелл Генри Джеймса, впервые изданная на русском языке, без сомнения, привлечет внимание советского читателя к творчеству этого большого и сложного художника.

Г. Грубман.

Петрозаводск.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



ПОЛИТИЗДАТ

К. Маркс и Ф. Энгельс. Манифест Коммунистической партии. 63 стр. Цена 7 к.

К. Маркс, Ф. Энгельс, В. И. Ленин. О религии. Составители И. Галицкая, Ю. Пищик, Э. Филимонов. 440 стр. Цена 78 к.

В. Афанасьев. Социальная информация и управление обществом. 408 стр. Цена 1 р. 58 к.

Проблемы гегемонии пролетариата в социалистической революции. 1905—февраль 1917 гг. Коллективная монография. 311 стр. Цена 1 р. 32 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

А. Бек. На своем веку. Роман-записки о династии металлургов. 192 стр. Цена 60 к.

Г. Комраков. До осени полгода. Повесть. 175 стр. Цена 25 к.

Г. Коновалов. Предел. Роман. 380 стр. Цена 82 к.

Поэты Эстонии. Вступительная статья С. Исакова. Редактор стихотворных переводов Вс. Рождественский («Библиотека поэта». Малая серия) 662 стр. Цена 1 р. 21 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Арабская поэзия средних веков. Перевод с арабского. Вступительная статья К. Яшена. Составление и послесловие И. Фильштинского. («Библиотека всемирной литературы») 767 стр. Цена 1 р. 76 к.

А. Велогин. Синий вереск. Избранная лирика. Перевод с белорусского. Предисловие Г. Березкина. 175 стр. Цена 54 к.

А. Лупан. Мельница моего детства. Рассказы. Перевод с молдавского М. Чимпоя. 269 стр. Цена 67 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Ю. Давыдов. Глухая пора листопада. Исторический роман. 558 стр. Цена 1 р. 22 к.

Дорога домой. Сборник повестей и очерков о жизни и работе молодежи семидесятих годов. Предисловие Г. Маркова. 383 стр. Цена 67 к.

«СОВРЕМЕННОК»

Ю. Бондарев. Горячий снег. Роман. («Библиотека российского романа») 398 стр. Цена 88 к.

Е. Долинова. Радость с собой, беду с собой. Роман. 287 стр. Цена 70 к.

В. Кочетков. Отзывается в сердце. («Новинки «Современника») 142 стр. Цена 51 к.

Б. Мейлах. Талисман. Книга о Пушкине. 367 стр. Цена 1 р. 8 к.

ВОЕНИЗДАТ

С. Баруздин. То, что было вчера. Рассказы и повести. Предисловие И. Чистякова. 264 стр. Цена 54 к.

В. Борисов. Пентагон и наука. 192 стр. Цена 40 к.

А. Епишев. Некоторые вопросы идеологической работы в Советских Вооруженных Силах. 128 стр. Цена 21 к.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

В. Соколов. Четверть века. Избранные стихи. 1948—1973. Предисловие В. Кожина. 255 стр. Цена 82 к.

В. Солоухин. Рыбий бог. Документальные рассказы. («Писатель и время. Письма из деревни») 61 стр. Цена 9 к.

В. Успенский. Далекая и желанная. Очерки. («Писатель и время. Письма из деревни») 78 стр. Цена 11 к.

«ПРОГРЕСС»

Апартеид. Правда о расизме в Южной Африке. Составление и предисловие А. Ла Гумы. Перевод с английского. 248 стр. Цена 77 к.

Из современной австрийской поэзии. Теодор Крамер, Гуго Гупперт, Эрих Фрид, Пауль Пелан, Ингбор Вахман. Перевод с немецкого. Составитель Л. Гинзбург. Предисловие Е. Витковского. 335 стр. Цена 1 р. 2 к.

«ИСКУССТВО»

В. Воровский. Эстетика. Литература. Искусство. Вступительная статья И. Черноуцана. 544 стр. Цена 2 р. 36 к.

А. Лосев. История античной эстетики. Аристотель и поздняя классика. 776 стр. Цена 4 р. 3 к.

«НАУКА»

Д. Акчам. Черная бумага. Рассказы. Перевод с турецкого. Предисловие В. Гарбузовой. 71 стр. Цена 19 к.

Н. Дьяконова. Лирическая поэзия Байрона. 168 стр. Цена 58 к.

В. Свинозников. Реализм лирической поэзии. Становление реализма в русской лирике. 368 стр. Цена 91 к.

«МЫСЛЬ»

Г. Деборин, Б. Тельпуховский. Итоги и уроки Великой Отечественной войны. Издание 2-е, доработанное. 439 стр. Цена 1 р. 64 к.

Б. Софронов, Л. Дорогова. Мир человека. Методологические вопросы формирования духовного мира личности. 206 стр. Цена 78 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

О Ганалаян. Аветик Исаакян. Ереван. «Айастан». 11 стр. Цена 28 к.
В. Кондратенко. Курская дуга. Роман.

Предисловие А. Корнейчука. Киев. «Днипро». 399 стр. Цена 1 р. 69 к.

В. Панова. О моей жизни, книгах и читателях. Лениздат. 343 стр. Цена 60 к.

Поэзия 1917—1920 годов. Сборник. Составление и предисловие А. Михайлова. Мурманское книжное издательство. 191 стр. Цена 1 р. 14 к.

А. Твардовский. Поэмы. Саратов. Приволжское книжное издательство. 392 стр. Цена 2 р. 9 к.



Главный редактор **С. С. Наровчатов**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку (ответственный секретарь), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, М. Б. Козьмин** (первый зам. главного редактора), **В. А. Косолапов, А. А. Кулешов, В. М. Литвинов, А. И. Овчаренко, А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, О. П. Смирнов** (зам. главного редактора), **Ф. Н. Таурин, К. А. Федин**

Редакция: Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 299-81-77.
Издательство «Известия Советов депутатов трудящихся СССР»
Почтовый адрес: 103806. Москва, К-6, Пушкинская пл., д. 5.

Сдано в набор 28/IV 1975 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 13/VI 1975 г.
А 02299. Формат бумаги 70×108¹/₁₆. 28,7 уч.-изд. л. 9 бум. л. (25,2 усл. печ. л.)
Тираж 175.000 экз. Зак. 1542.

Отпечатано с матриц типографии издательства «Известия Советов депутатов трудящихся СССР». Москва, Пушкинская пл., 5, в ордена Ленина комбинате печати издательства «Радянська Україна». Киев-47. Брест-Литовский проспект, 94. Зак. 03641.

Цена 70 коп.

70636